



Олег
Юрганов

На
перекрёстках
судеб

Документальный
роман-трилогия

Владимир 2016

... Моей замечательной жене — Зиночке,
которой я обязан литературным творчеством,
нашим сыновьям — Борису и Дмитрию,
а так же добрым друзьям нашей семьи —
Татьяне Солодиловой и Давиду Житницкому ...

**Олег
Юрганов**

На перекрёстках судеб

Документальный
роман-трилогия

Художник **Татьяна Солодилова**
Фото О. Юрганова на обложке – **Геннадий Гурвич**

Документальный роман: «На перекрёстках судеб», книга вторая – «Белое и Чёрное» (часть первая) посвящен жизни автора – Юрганова Олега Борисовича. В первой книге трилогии – «Родня и Время», автор показал сложнейшее переплетение *истоков* – социальных и родовых, выпестовавших русские характеры фамильных кланов Юргановых и Юрьевых. Их представители – Зина Юрьева и Борис Юрганов объединились в семейный альянс, став родителями Олега Юрганова. В своей книге он представляет годы жизни в том виде, в каком они отложились в его памяти. Это – правда бытия человека, прошедшего путь от беспомощного и болезненного младенца до личности, познавшей страдания тяжких недугов и борьбы за выживание, процесс превращения угловатого *подростка* в *упорного юношу, молодого человека*, прекрасно знающего «цену фунта лиха». Его жизнь протекала в «эпоху развитого социализма», безостановочно декларированного КПСС и его вождями, как важного *этапа строительства коммунизма* в СССР. Она полна глобальных противоречий, рисков и угроз, пережитых автором. Мировоззрение, складывавшееся в период жизни в Баку, в Краснодаре и Саратове, затем в Минске, подвергается давлению со стороны тоталитарной *системы* власти. Судьба автора разворачивается в столице Белоруссии следующие двадцать пять лет, вплоть до краха страны Советов в начале девяностых годов XX века и отъезда Олега Борисовича Юрганова в иммиграцию в США, о чём будет рассказано во второй части книги «Белое и Чёрное.»

**Аркаим
Владимир 2016**

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман...

А. Пушкин

... Но в памяти такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит...

Д. Самойлов

...В какую бы историческую эпоху

ни жила личность, в палитре

её поступков и принятых

решений, доминируют

две краски: белая и чёрная.

Их сочетания в картине судьбы

человека, помогают понять

и оценить: «кто-есть-кто...»

Из случайно услышанного разговора
на Минской научной конференции
по социальной психологии.

Май 1970 год.

Предисловие

Эпиграфы к этой книге представляются мне главным *азимут* движения памяти в том море поступков, которые были мною совершены в течение жизни. Я не буду помечать какие деяния стал бы я относить к так называемым «белым», а какие к «чёрным». Опираясь на собственный опыт, читатель попытается определить сущность сделанного мною, ссылаясь на те последствия, о которых пойдёт речь.

В любом случае книга «БЕЛОЕ и ЧЁРНОЕ» – раздумья о прожитых днях, начавшихся в середине XX столетия и продолжившихся в начале следующего. Часть поступков, которые «перевалили» рубикон веков будут обозначены, как свидетельства моих усилий. Они воплотились в мои собственные деяния, о которых мне самому пришлось судить, как о чём-то естественном, согласованном с моим мировоззрением. Или, наоборот, как о событии для меня не характерном, но увы(!), свершившемся.

Обычно каждый человек живёт *на миру*, а умирает в *одиночестве*, оставаясь сам с собой. Славянская поговорка: «*на миру и смерть красна*» скорее предполагает состояние души, готовой расстаться с бренным телом, чем констатирует желанный (случайный, нелепый, насильственный...) факт ухода в мир иной. Одиночество даётся нам для подведения итогов, в которых безжалостная статистика *Белого* и *Чёрного* в прожитых днях становится критерием успеха или неудач в завершающейся жизни.

Главные события жизни, проходящие из поколения в поколение по сути остаются неизменными: получение образования, освоение профессии, достижения в работе, встречи с любимыми женщинами, брак, рождение детей, их воспитание... Хотя мера значимости этих событий у каждого человека своя: можно долго учиться, забыв о любви, иной раз слишком поздно узнаёшь о невозможности иметь детей, обнаруживаешь неготовность любить, приходишь к добровольному отказу от семьи... Да мало ли? И что? Считать все эти незавершённости *чёрными метками* своей судьбы? И так, и не так. В любом случае, разочарования будут не только у тебя, но и у человека, который произвёл тебя на свет. Следствия возникнут у того, кто посвятил жизни с тобой годы, но так и не добился ни удовольствий, ни удовлетворения. Накопится масса несчастий. Появятся неудачи, впустую прожитые дни! Или случится всё совсем наоборот!

А с какого *возраста* всё это, с человеком происшедшее, откладывается в памяти? По-разному у каждого. Связано это с *последствиями* тех сотен тысяч решений, которые принимаются человеком, хотя запоминаются жалкие проценты деталей, частных. То есть *случаи* наиболее важные, *рукотворные*, корни всё-таки пускают, причём настолько глубокие, что к исходу жизни их вспоминаешь без особых затруднений. Иные события случаются, когда годков тебе – всего-то ничего! А бывает... Совершишь что-то, даже отягощённый уже *мудростью*, но силишься-пытаешься забыть сделанное до последнего дыхания...

Я решусь говорить о случившемся, не опираясь на обыденный житейский опыт, помечаемый большинством людей не *фразой*: «...ну что я помню... мне было года три или пять...» и т.п., а *опорой* на случившиеся факты и события, которые помнятся в деталях. Как и при написании первой книги трилогии, мне поможет, вездесущий Интернет, с его бесконечным, в том числе историческим пространством,

в котором прячутся миллионы *подсказок*! Однако главные соучастники – свидетели моего бытия, то есть те, кто продолжает жить в моей душе и я *готов* размышлять об их *влиянии* на мою судьбу, на чувства, память. Они помогают осознать суть событий, которые не исчезли, а *отложились*...

...Я родился в 1939 году. Заболел, когда мне было шесть месяцев от роду. Но чувствовать боль, как реальность я начал в *первый год* жизни. Это случилось в 1940-м и ничего в этом году, кроме боли в моих бёдрах, я не помню. А это – следы плача и беспомощности... Следы реальности, о которой я не мог не помнить, а потому вынужден говорить. А вот лиф, который в санатории для больных младенцев держал меня, прижав к кровати, запомнился мне не по личным ощущениям, а по фотографии, сделанной отцом, когда, по словам матери, он приехал ко мне в Бузовны. Хорошо помню сюжет пропавшего снимка: мальчик с моим лицом лежит в кровати. Поверх груди – широкая, прижимающая меня плоскость квадрата, с углов которого спускаются «*хвосты*» лямок, привязанных к перекладине кровати... А вот отца, снимавшего меня – *не помню*.

Кто был в палате рядом со мной? Увы! Память не удержала. А спустя год или два, уже отчётливо помню, как вылезая из-под плотного квадрата и мои ноги, свисая с кровати, касаются холодного пола крохотными голыми стопами.

Эти фрагменты помогают воссоздать картину *эпохального* события, зимы 1944 года, когда я *впервые встал*. Однако воспроизвести его в собственной памяти я очень долго не мог. Нужен был толчок – рассказ моей матери о моей *выходке*, впечатлившей всех в бузовнинском противотуберкулёзном санатории...

С каждым годом жизни я всё очевиднее представляю случившееся в моём бытии. Готов не просто рассказывать о том, что в жизни *моей* произошло, но даже внятно размышлять о мотивах моих поступков, их последствиях, нравственных

усилиях, которые были приложены мной, чтобы эти поступки случились.

При этом, каждая часть моей жизни посвящена своим *особым* задачам, без решения которых не были бы возможны следующие её этапы. Детство было посвящено *осознанию* окружающего мира. Отрочество – началу *понимания* себя и *запечатлеванию* особых внутренних ощущений при восприятии других людей. Юность – *опыту любви*, появлению *идеалов* и служению им. Молодые годы заняты придирической *цензурой воплощения* всего того, что было *осознанно* в предшествующее время жизни. Зрелость – время *цементирования* жизненного опыта, а старость – попытка *переплавить* его в мудрость. Мир, формирующейся жизни человека, так устроен, что белое максимально проявляется на фоне *чёрного*, а *судьба* в о п л о щ а е т с я в биографии личности.

Калейдоскоп моих встреч и знакомств, дружба – движение рядом по жизни, надежды и ожидания, мои женщины и жёны, рождённые ими дети, они же – меня *предавшие* или *преданные* моей судьбе... Это – жизнь, мною прожитая, при соучастии тех, кто примерял на себя одежды великого множества *родовых ролей*.

Я остался человеком, чья судьба и характер сложились в СССР при власти, именуемой *советской*. Об этом факте мне следует говорить в *первую* очередь, потому что прожитая эпоха была переполнена ежеминутными усилиями КПСС, его Агитпропом, ВЛКСМ, профсоюзами и, конечно же его неистовыми *пропагандистами* – уникальными *спецами*, *организовавшими* движение по жизни и меня, и моих сограждан – делая это почти... *вслепую*. Единственным ориентиром для них была сочинённая философами, историками, а по сути – политическими фантазёрами и реальными вождями с безграничной властью – *путеводная коммунистическая идеология* – *непредставляемая и непредсказуемая*. При этом, я не могу сказать, что сам был слеп всё время моего

движения по жизни. Я ощущал *призрачность* существовавшей идеологии, растворённой в каждодневном бытии. Как и миллионы моих сограждан я к ней *приспосабливался*. Когда у меня были для этого рычаги, *приспосабливал* других. Я *декларировал* свою веру в политические мифы. Служил им, а получив *под зад* от этой, *осязаемой* мной, системы, вовсе не спешил её *разоблачать*. На это я оказался не способен, оставаясь в КПСС почти четверть века...

Падение режима я встретил *равнодушно*. Единственное его достоинство – победоносно завершённая Великая Отечественная война, освоение космоса и атомная бомба. Однако всё это достигнуто скорее вопреки, чем вследствие прокламируемых достоинств системы. Миллионы жертв – вот реальный итог Советской власти. Так что, увидев, как рушится *колосс на глиняных ногах*, я понимал, что он *отбрасывает* длинную тень вслед уходящим поколениям, объединённым опытом советской жизни, полной духовной бесперспективности...

Иммиграция в США стала следствием *утраты* мифологических ценностей, уже *непригодных* в постсоветском бытии. Моя интуиция подсказывала мне, что риск отъезда *оправдан*, хотя, уже живя в США, я долго еще не понимал – *чем?* Прожив в Америке свои первые десять лет, *осознал* – всё, что случилось в Балтиморе со мной, моей женой, моими детьми, случилось бы и в Минске, Краснодаре, Энгельсе, Саратове, там, где я жил и много работал. Но разница была в том, что *тень системы*, именуемой *Советская власть*, убила бы меня, упаковав насмерть в свои плотные и чёрные одежды *нищеты, безысходности и беспомощности*. Я бы не успел написать о своей жизни, хотя об этом уже думал, простившись в возрасте пятидесяти двух лет с советской эпохой...

...В США можно спокойно размышлять о *прожитых* днях, не боясь естественного *перехода* в мир, откуда никто

и никогда не возвращался. За это я буду благодарен *стране*, которую... никогда не *любил*. Скорее *боялся*, потому что был уверен в гибельности её прагматической идеологии. Всегда ждал от неё опасных поворотов в своей судьбе. Обманывался в мрачных прогнозах относительно *её будущего и моего*, как-то связанных друг с другом Глобальными Земными Скрепками.

Однако о *смысле* ушедшего в прошлое бытия и моих будущих перспективах мне стало думаться только во втором десятилетии моей жизни в США. Оно то и было посвящено литературному творчеству, в котором мои раздумья о *текущей жизни*, то есть о прошлом, настоящем и будущем, мерно перетекающим в дни *завтрашние*, обрели *отчётливость* и *ясность*.

И всё же... Душой я остался в России! Все мои помыслы о стране, которая никак не может выйти из густой тени советского колосса, что вызывает в памяти и чувствах миллионов моих сограждан глубокий и никому невидимый *нарыв*. Может быть, наступит время, когда гнойник лопнет, избавив организм России от семи с лишним десятилетий *мифологической истории*, которые тащили так называемое «государство рабочих и крестьян» в лабиринты обманчивого величия, без *животворной правды*, к которой народ страны, тем не менее, веками испытывал *неодолимое влечение*. Опыт моей жизни, как мне кажется, есть *часть* этой правды, которая помогает *понять* чем завтра будет жить страна и народ, к которому я продолжаю принадлежать, который люблю, с *горечью* осознавая, что *отдаляюсь* от него всё дальше и дальше...

Автор.

22 мая. 2014 года. Балтимор, США.

Глава 1

Несостоявшееся детство

Дети дерзки, привередливы, вспыльчивы, завистливы, любопытны, своекорыстны, ленивы, легкомысленны, трусливы, невоздержанны, лживы и скрытны; они легко раздражаются смехом или слезами, по пустякам предаются неумеренной радости или горькой печали, не выносят боли и любят её причинять, – они уже люди.

Жан де Лабрюйер
французский философ и моралист XVII века.

Я появился на свет 27 февраля 1939 года. Несчётное множество раз я называл устно и писал это словосочетание при различных обстоятельствах и всё же не перестаю удивляться сакральности словосочетания: *я появился на свет!*

Почему это случилось? Ответ прост... Потому что мои родители встретились, поженились и настал момент любовной страсти, в итоге которой я *был зачат*, а спустя время, отведённое природой для созревания плода, *осуществилось моё рождение*.

Те обстоятельства, при которых возникло знакомство моих будущих родителей, были довольно банальными. О них написано в первой книге моей трилогии: «Родня и Время» и смысла нет повторяться. Тем не менее, мне кажется, что будь у моего отца иной характер – более застенчивый, более робкий, более замкнутый – вряд ли бы я *появился на свет*. То есть, не стань он, поддавшись побуждению, добиваться встречи с красивой молодой женщиной, не раз дававшей *знаки отсутствия* интереса к нему, как минимум, я бы не родился!

Мои *размышления* об этом начались с момента, когда я оказался в лечебном учреждении, которое боролось с туберкулёзом, пытаюсь поставить меня на ноги. Я лежал в изоляторе и, одиноко обозревая белый потолок, вдруг подумал, а что бы случилось, если бы я *не родился*? Самой первой мыслью была простая догадка: я не болел бы так тяжело, не пытался бы выжить, мучительно предугадывая, что со мной будет спустя день, месяц, годы?..

Тогда я не знал, что встретив на улице красивую молодую женщину, мой отец мгновенно и надолго потерял покой, *ощутив желание* познакомиться с ней, заговорить. С этого, поначалу, как мне кажется, *малоосознанного* момента, начинаются попытки мужчины, уже имеющего кратковременный, но неудачный опыт первого супружества, установить *контакт* с молодой незнакомкой – привлекательной



Зинаида Юрьева
город Баку, 1938 год

женщиной, которая о ч е н ь ему понравилась. Однако, ч т о ему *понравилось* в женщине, которая, спустя время, стала моей матерью? Что заставило его *действовать*, чтобы установить с ней неразрывную связь? Лишь по прошествии многих лет мне удалось узнать, что *инициатором* знакомства был он – мой отец! Сама, моя мать, оказалась женщиной, весьма *вяло* реагировавшей на его появление в поле её зрения.

Из тех сведений, которыми я располагаю, мне совсем не кажется, что мой отец и моя мать были безусловно *счастливы* в своём браке, хотя их объединяло *взаимное* уважение. Обоюдные *роли* жены и мужа были сплавлены в *единое* целое, хотя обычные противоречия характеров, проблемы в их браке побуждали, напрягали их отношения, вызывая конфликты, но... не разрушая супружества.

Однажды я напрямую спросил мать: «*любишь ли ты отца?*» Она честно ответила: «*Не знаю...*» Помолчав добавила, соединяя слова в медленно звучащие предложения: «*Раз уж я вышла за него замуж и родила двоих детей, то какие могут быть разговоры?*»

Чувство долга... Обязательство, данное не Богу в церкви, при венчании... Такого не было... Человеку... В ответ на его предложение выйти за него замуж. Как бы ни прозвучало согласие

моей матери на брак, в каких бы условиях оно ни было произнесено, готовность выйти замуж и нести все тяготы супружества осталась неизменной. На всю жизнь... И хотя случались порой *опасные* для судьбы семьи кризисы, от супружества мать не отказалась. У отца всё было в браке иначе. Запутанней... Противоречивей... Не так ясно, как у жены – моей матери...

Но сама жизнь была гораздо запутанней, полна интриг, неизвестных, как говорится, широким массам, убежденным в том, что в обществе, в котором они жили нет ничего более ясного, чем строительство счастливой жизни.

В 1939 году волна жесточайших репрессий уже спала. Уже произведен жесточайший отбор среди «человеческого материала». Выброшены и уничтожены сотни тысяч тех, кто считался врагом сравнительно молодого государства... Ну что такое 22 года! Возраст силы, удали, безграничной веры в себя и возможностей, которые *играют* в крови тех слоёв населения Азербайджана, которое было избавлено *от классово чуждых элементов*. Оно строило новую жизнь, осваиваясь в структурах управления молодого государства. Налаживая



Борис Юрганов
город Баку, 1937 год

его деятельность руками преданных, неподкупных большевиков, как правило, не обремененных предрассудками избыточной образованности, интеллигентности, начисто *выскобленными* в недавней гражданской войне и бескомпромиссной, прямолинейной диктатурой НКВД.

Я только *попытался* представить себе ту атмосферу, в которой мне предстояло *родиться* в городе Баку, в феврале, в самом конце зимы 1939 года.

В Америке я издавал литературно-публицистический журнал «Русский Балтимор» на Интернете и решил начать публиковать роман, в котором рассказывал обо всём, что стало мне известно о тех обстоятельствах и условиях, сложившихся в Баку в 1939 году, в которых возникла моя жестокая и жуткая по своей сути болезнь. Однако, завершив первую часть романа, я понял, что писать дальше... просто не могу! Можно как угодно называть моё состояние характера в годы, когда мне исполнилось 66 лет, время начала работы над романом, но я оставил эту затею. Мне предстояло ответить на собственный немой вопрос, заключенный в заголовке главы этой, моей главной книги: «*Несостоявшееся детство*». Все признаки времени, эпохи моего рождения, прожитой части жизни, которую следует относить ко времени детства, говорили о том, что оно у меня не могло состояться по каким-то конкретным причинам. Мне не стоило перечислять эти причины, потому что я мог быть субъективным, потому что один из соавторов моего рождения – мой отец – был носителем туберкулёза и невольно наталкивал на мысль о неизбежности моего заболевания, со всеми предпосылками, вытекавшими из *этого* обстоятельства. Однако, пусть даже присутствие в моём организме *этого фактора* привело к заболеванию, но могла ли та *обстановка*, в которой развивалась Советская республика Азербайджан, складывающиеся в ней социальные, профессиональные, культурные, политические и тому

подобные *отношения* умножить *беззащитность* зачатого родителями и рождённого матерью *для жизни* моего организма? Не сомневаюсь – могла! Как? Почитайте фрагмент незавершённого моего романа и вы убедитесь...

«В самом конце зимы...»

1.

*Азербайджан,
Баку, кабинет начальника
Азербайджанского НКВД,
12 февраля 1939 года.*

Артур Муслимович Насибов, глава НКВД Азербайджана, стоял у окна и задумчиво рассматривал изморозь на оконных стеклах. Зима в этом году выдалась на редкость морозной и снежной. В Баку стояли крепкие морозы, которые и старожилы-то не припомнят. Однако, причудливые рисунки на стекле с ажурными, переплетающимися линиями его сейчас не занимали. Насибов пытался овладеть своими мыслями, разбегавшимися после прочтения документа, лежавшего на его столе в пухлой пасти губошлепой папки.

Он подошел к столу. Было утро. До обычного ежедневного совещания оставалось около часа. Насибов осторожно, двумя пальцами правой руки, приподнял толстую губу красной папки, а левой вытащил документ, который так его озадачил еще вчера вечером, когда, задержавшись на работе, он быстро его прочитал. Любопытство сразу вытеснило след тяжести прошедшего дня. Он даже не стал задумываться над содержанием документа. Единственное чувство, которое вернулось к нему сейчас – д о с а д а.

Она-то и обострила его чувства, едва он наткнулся на первые же строчки документа, взяв его своими пухлыми пальцами, заросшими на поверхности черными редкими и короткими волосами. «В Народный Комиссариат здравоохранения Азербайджана...»

Насибов читал документ уже в третий раз. Всё никак не мог составить свое личное отношение к тому, что там было написано. Вот и теперь, подсознательно, желая продлить миг встречи с сутью дела, изложенного в Докладной записке Мамеда Ниязова, главного инфекциониста республики, Насибов, прослывший и «наверху», и среди своих коллег – человеком с железной выдержкой, почувствовал что-то похожее на неприятный холодок под ложечкой. Начал читать медленно – уже в который раз – стараясь вникать в каждое слово.

*«Народному Комиссару здравоохранения
Азербайджана тов. Самедову Р. Т.
от Начальника Отдела по контролю и борьбе
с инфекционными заболеваниями Ниязова М. К.
12/П/1939 г. город Баку*

Уважаемый товарищ Самедов Р. Т. Довожу до вашего сведения, что в соответствии с приказом Народного комиссара здравоохранения Азербайджана от 2 ноября 1938 года за № 23/Т-8 в Нахичеванском районе города Баку началась кампания по проведению противотуберкулезных прививок среди новорожденных детей, а так же детей в возрасте от года до трех лет. Прививки проводились с 10 января по настоящее время текущего года и, согласно графика будут продолжены. Прививку прошли 200 детей. Среди некоторой части вакцинированных детей возникли непредсказуемые реакции,

причины которых в настоящее время расследуются. У 38 новорожденных, получавших противотуберкулезную вакцину с 10/1/39 г. в родильном доме, уже через две недели, то есть, начиная с 24/1/39 г. обнаружили признаки воспаления легких, по ряду симптомов напоминающих начальную стадию туберкулеза. Помимо картины заболевания легких, у вакцинированных детей из этой группы, возникли воспалительные процессы в коленных и тазобедренных суставах. 25 детей, вакцинированных прививкой против туберкулеза 20/1/39 г., находились в возрасте от года до трех лет и с 5/1/39 по настоящее время так же находятся в состоянии развития болезни с признаками воспаления легких или воспаления коленных, тазобедренных суставов. Аналогичную картину показывают организмы 44 детей, находившихся на момент вакцинирования против туберкулеза в возрасте 4–6 лет. У многих – болезненное состояние, напоминающее грипп, начальную стадию воспаления легких, иногда переходящее в острую форму, а у некоторых, уже в начальной стадии недуга, появляются устойчивые боли в груди или в суставах ног и рук. Если выделить детей, страдающих острой формой недомогания, то их, по нашим сведениям, не менее 55 человек. Вероятность того, что количество таких детей будет расти – очень высокая, поскольку по недосмотру персонала детской поликлиники большинство детей, перед вакцинацией, перенесли инфекционные заболевания и еще не вышли на стадию полного выздоровления. 15 детей, как новорожденных, так и в возрасте от года до трех лет, в настоящее время госпитализированы и находятся в Первой городской детской инфекционной больнице. Остальные дети находятся под амбулаторным

наблюдением по месту жительства. По нашим сведениям, проведенная в Первой городской инфекционной больнице экспертиза прививочного материала, дает достаточно оснований подозревать его в завышенной концентрации микробного вещества. Прошу вас распорядиться о приостановке кампании вакцинации до установления объективных причин массового развития болезни с подозрением на туберкулез в среде привитых детей Нахичеваньского района города Баку. Жду ваших распоряжений.

Начальник противоинфекционного отдела Наркомата здравоохранения Ниязов М. К.»

Артур Муслимович спрятал документ в папку и, сложив руки в пальцевый замок, сильно прижал ладони вместе. «Что все это значит? Докладная Ниязова пришла вчера поздно вечером от наблюдателя НКВД, который работает в Наркомате здравоохранения и является завербованным сотрудником начальника III отдела НКВД республики Артёма Горбунова, который отвечал за предотвращение антисоветской деятельности в правительственных учреждениях Баку. Его агентурная сеть следила за поведением и разговорами в правительственном аппарате, в частности в Наркомздраве, где работал автор Докладной. Наблюдателю НКВД, являвшемуся специалистом, который трудился в кадрах Наркомздрава, не указывали, как следить за поведением служащих наркомата, полагаясь на его опыт. Примеры хорошего поведения чиновников – очевидны и надо их пропускать мимо ушей и глаз. Главное – опасные или подозрительные факты, которые следует отслеживать, фиксировать и немедленно о них докладывать.

Годы репрессий и чисток результат дали! Давно

не было такого случая, чтобы люди Горбунова, приносили ему для анализа какой-нибудь компрометирующий власть документ. Так... Мелочь! В мозгах новой генерации чиновников, заменивших десятки репрессированных правительственных работников два года назад, отложилось ровным слоем исполнительность, послушание и хорошие, с точки зрения начальства, привычки. Насибов подошёл к окну, задумчиво глядя на плотные переплетения густой изморози на стёклах. Начальника III отдела НКВД Азербайджана эта Докладная чем-то насторожила и он просил Насибова прочитать её и самому принять решение о дальнейшей судьбе её автора.

Упрекать в излишней поспешности Горбунова нельзя. Он опытный коммунист. Прошёл Гражданскую войну. Работал в армии в контрразведке. Никогда не привлекался к судебной ответственности. В своих выводах осторожен и аккуратен. Может быть, ему, русскому по рождению, и не хватает понимания национальной ментальности азербайджанцев, но дело это наживное...

Насибов вернулся к столу. Прочитал Докладную Ниязова, которого знал, как умного и придирчивого чиновника. Но руководить таким отделом должен человек именно с таким характером! Что может произойти, если этот документ остался бы только в поле зрения главы Наркома здравоохранения Самедова и его подчиненного Ниязова? Но утечка произойдёт неизбежно... Конечно, судя по всему, возможен шум, слезы, скандалы родителей в поликлиниках... То есть, возникнет суматоха. Сначала она случится в Нахичеваньском районе. Потом в городе... Унять её будет очень сложно. Дети... Вспомнились слова Багирова – «...Детей репрессированных надо немедленно

блокировать в момент задержания родителей. Лучше всего убирать в детские учреждения за пределами республики. Они – мина замедленного действия...» Насибов вспомнил как, два или три года назад он, тогда еще «зеленый» сотрудник органов, присутствовал на оперативном совещании, которое проводил нынешний секретарь ЦК компартии Азербайджана, в прошлом глава НКВД республики. Тогда он и услышал эти слова бывшего шефа. Да... Эта Докладная тоже, как мина замедленного действия. Насибов длинно вздохнул, чувствуя, что не готов вернуть документ Горбунову с отчетливой директивой. «Сегодня надо поговорить с Самедовым...»

Что думает по этому поводу глава здравоохранения Азербайджана? Сумеет ли утрясти зреющие неприятности? А что делать ему, Насибову в такой ситуации?.. Доложить в ЦК КП Азербайджана? Но кому? Своему куратору, одному из секретарей ЦК... Может быть, сразу, незамедлительно, сообщить Первому секретарю ЦК Багирову? Вокруг кампании вакцинации может возникнуть шум политический...

Наркомздрав наверняка заявит о переходе из районного масштаба вакцинации на городской, затем – республиканский... Похоже надо уже сегодня разработать план действий... С учётом фактов, указанных в этой Докладной Ниязова. Хорошо бы согласовать с товарищем Багировым... Очень не хотелось беспокоить Первого секретаря... Но куратор НКВД в ЦК партии Азербайджана – из русских. В прошлом рабочий Сабунчинской электростанции, учился в Москве, толковый товарищ, но сумеет ли он правильно понять ситуацию? Работает в ЦК всего пол-года... В любом случае прежде всего надо поговорить с Самедовым...

*Кабинет Ниязова М. К.
Начальника противоинфекционного
Отдела Наркомата здравоохранения
Азербайджана.
12 февраля 1939 года*

Секретарь Народного Комиссара здравоохранения республики, только что по телефону оповестила Ниязова, что в 12 часов дня его ждет Реваз Тофикович Самедов. Мамед Кадырович уже знал о чём у них будет идти разговор и, устроившись поудобнее за своим столом, придвинул пачку бумаг с теми злополучными сведениями, которые не давали ему покоя уже пятый день. Сегодня с утра, нарочным, прислали из детской поликлиники Нахичеваньского района города Баку свежую информацию о состоянии детей, привитых противотуберкулёзной вакциной.

Ничего утешительного. Среди детей, вакцинированных за последние три недели, картина остро протекающего заболевания – очевидна! Симптомы воспаления легких почти у всех. Судя по первым анализам, скорее всего это ранняя стадия туберкулеза. Микробиологический анализ показывает наличие у всех детей палочки Коха в крови. Конечно же, температура, затрудненность дыхания, потливость, потеря аппетита, кашель. У детей постарше, в возрасте год, два, три – жалобы на боли в груди, хрипы в легких, отхаркивающаяся мокрота.

Участковые врачи детской поликлиники Нахичеваньского района просто с ног сбились! Обычные методы лечения простудных заболеваний, которые первоначально применяли к заболевшим, никакого лечебного эффекта не дали. Да и когда было, чтобы горчичники, стрептоцид, микстуры от кашля давали

бы результат, если в организм при вакцинации попала туберкулезная инфекция с таким активным микробным материалом.

Не сразу возникло подозрение у Ниязова, что организмы привитых против туберкулеза детей атаки вакцины не выдержали. Изучая сводки из поликлиники, день за днем, именно к этому он вынужден склоняться. Или вакцина оказалась с недостаточно ослабленным микробным материалом или прививка была произведена среди детей, еще не окрепших после перенесенных простудных или инфекционных заболеваний...

Второе – очень возможно. Его запрос о количестве вакцинированных детей, перенесших накануне скарлатину, корь, дифтерию, простудные заболевания, желудочные недомогания был исполнен и Ниязов убедился, что по срокам прививок и временем выздоровления детей от инфекционных болезней, есть явные противоречия. У 20 детей, с перенесенными инфекционными болезнями, вакцинация была проведена слишком рано! Организм получил вакцину, будучи ослабленным после инфекции. А если вакцина не кондиционна? Все признаки туберкулеза в этом случае неизбежны!

По сведениям, поступившим из Первой детской городской инфекционной больницы, куда часть детей из Нахичеваньского района Баку были помещены, их положение резко обострилось! Их организмы, помимо перенесенных детских инфекций, полученной вакцины, были ослаблены еще и авитаминозом. Одно из двух: или это халатность врачей, или спешка, связанная с приказом Наркомздрава о подготовке к всеобщей кампании прививок, подхваченная в детской поликлинике Нахичеваньского района. Именно этот район был выбран, как место для отработки методики

организации массового мероприятия...

Ниязов отвечал за профилактику инфекций в республике. Месяц назад он разрешил начинать вакцинацию в соответствии с приказом Наркома здравоохранения республики. Убедил наркома Самедова провести в первую очередь в самом густонаселенном районе Баку, с большим количеством выброса сажи от нефтеперегонных заводов. Мотив был прост: надо провести противотуберкулезную вакцинацию прежде всего детям, растущим в загрязненной атмосфере, чтобы их организмы в будущем были готовы к возможному развитию этой болезни. В семьях вакцинированных детей, в прошлом были больны туберкулезом старшие братья и сестры, тети, да и сами родители. Вакцинация в одном районе поможет медперсоналу отработать навыки, провести наблюдение в период прививки. Именно так всё и предполагалось сделать, чтобы не пороть горячку и не «охватывать» сразу всю республику. Но предположить, что так всё осложнится никто не мог! В организации прививочной кампании ошибки наверняка были. Прививки сделали сразу большому количеству детей в Нахичеваньской районной детской поликлинике. Зачем? Ажиотаж, компанейщина привели к тому, что сработала привычка об «охвате». По инструкции категорически запрещено вакцинировать детей, недавно перенесших инфекционные заболевания. Наверняка об этом не подумали! Теперь эти дети попали в группу риска. Они откроют счет... умерших. Такое может случиться! А ведь достаточно было вакцинировать детей здоровых, человек по 10 в неделю. Ну, пусть 20... Чтобы убедиться в реакции организма на вакцину. Вот так всегда... Кампания объявлена... Борьба с туберкулезом... Политическая акция! Ниязов тяжело вздохнул, просматривая

сводки. Очень неохотно Самедов пошел на его предложение провести прививку сначала только в одном районе. Конечно... На него давят «там»...

Из лаборатории детской инфекционной больницы поступило вчера сообщение, что микробная концентрация вакцины оказалась завышенной. В крови, мокроте, слизи, взятой из гортани и носа поступивших в больницу детей из Нахичеваньского района, полно палочек Коха! Под руку попалась свежая сводка, датированная вчерашним числом. Сообщение из городской инфекционной больницы. «...Пятеро детей, от года до трёх лет, почти в безнадежном состоянии...» Если спасти детей не удастся, как объяснять родителям? Болезнь убила ребенка именно после прививки против туберкулеза? После большой разъяснительной работы убедили родителей в важности кампании прививок и, на тебе! Возьмет ли Москва на себя ответственность за случившееся здесь, в Баку? А что Москва? Попробуй до неё достучаться! Экспертизу вакцины в Баку проводили, но результаты послать в Москву можно только по разрешению Самедова. Прекращать прививки нельзя! Обвинят в формализме! Отбирать вакцину из поликлиник тем более недопустимо! Какие основания? Хорошо, хоть остальная партия хранится на спецскладе Наркомздрава! Вот если бы Народный Комиссар здравоохранения Азербайджана согласился создать комиссию... Ниязов отложил бумаги. Встал из-за стола, подошёл к морозному окну. Нет... Самедов скажет: «Не пори горячку...» Его можно понять! Случившееся может быть предано огласке! А этого никто не хочет... Если, получив итоги бакинской экспертизы вакцины, приедет комиссия из Москвы... Уж точно – полетят головы... Прежде всего здесь, в Баку. А уж моя в первую очередь! И за что? Получил

вакцину с сопроводительными инструкциями, сделали все в точности, как инструктировали... Строго следили за стерильностью инструментов... Разве думать будет кто-то «там» о невинности... Несправедливости... Надо что-то делать, беда-то у порога!

2.

*Кабинет Самедова Р. Т.
Народного Комиссара
здравоохранения Азербайджана.
12 февраля 1939 года*

Народный комиссар здравоохранения Азербайджана Самедов был хмур и не посмотрел на Ниязова, вошедшего в его кабинет точно в 12 часов пополудни. Буркнув:

— Садись, чего стоишь? — Самедов подошел к маленькому столу, рядом с его просторным, письменным столом с двумя тумбами. Налил себе «Боржомии». Подвинул Ниязову второй стакан. — Хочешь?

— Не откажусь, — ответил Ниязов. Самедов налил воду и ему. Сам выпил жадно и шумно. Молчание явно затягивалось. Усевшись на свое место, Самедов пристально посмотрел на Ниязова.

— Наверняка твоя докладная уже «там». — Он вытянул указательный палец и ткнул его к потолку. — А это значит — продолжил Народный Комиссар — что нам с тобой надо готовиться к их реакции. — Он сжал кулак и ударил распахнутой ладонью второй руки по окружку большого пальца.

В деловом общении Самедов никогда не говорил по-азербайджански. Не было принято. Ито, что сейчас, придвинувшись к Ниязову поближе, он заговорил на родном языке, почти шепотом, означало: его волнение

граничит с испугом. С Ниязовым они были земляками. Оба из Махачкалы. Ему доверял. Правда, держался дистанции. Скорее по начальственной привычке. Сейчас ощущение нависшей над ним неприятности разрушило служебные барьеры. Липкий страх мешал его обычной вальяжности, готовой овладеть телом, голосом и мимикой.

То, что Ниязов написал эту злополучную докладную на его имя, Самедова раздражало. Можно было прийти, все рассказать тихо, спокойно, с глазу на глаз... За свой кабинет он ручался. В техническом отделе НКВД работал шурин Самедова и обшарил здесь каждую пядь! Чисто... И зачем надо было писать эту бумагу?..

«Горячий документ», прежде чем попасть в руки Наркома здравоохранения, проходит регистрацию. С его содержанием знакомятся по крайней мере два человека – секретарша, которая записывает в журнале входящей корреспонденции краткое резюме Докладной записки. А еще зав. канцелярией, которая регистрирует корреспонденцию Наркомздрава, приходящую на имя Самедова. Стало быть, в памяти службистов наверняка что-то остается! То, что среди них могут оказаться люди из НКВД республики Нарком не сомневался. Так что рано или поздно жди вопросов: «Что?», «Как?» «Почему?»

Самедов говорил быстро, не успевая проглатывать набегавшую слюну.

— Ты что, не мог зайти ко мне и рассказать на словах? Зачем тебе надо было писать эту бумагу? Ты наверняка завел и на себя, и на меня дело! Понимаешь? Ай, яй, яй, Мамед Кадырович, какой ты все-таки ...

— Какой? — Ниязов исподлобья посмотрел на испуганного Самедова. — Какой? — Повторил он.

— Слишком уж ты бюрократический! — Выпалил

на азербайджанском Реваз Тофикович. Спыхватился... Инстинктивно закрыл рот ладонью и заговорил на русском.

— Нет, нет! Все, конечно, ты сделал правильно. Но, пойми, мы с тобой пока не знаем, как развернутся дела? Сколько детей определено... Умрут? То есть... Можешь сказать, сколько погибнут? Неужели так случилось именно от прививок? Может совпало по времени с какой-то инфекцией? Теперь зима... Кстати... У нас же инфекционные заболевания в основном осенью возникали. — Самедов скороговоркой сыпал вопросы и явно не следил за их целесообразностью. Разговор пока не клеился. Сосредоточиться Самедову мешали эмоции.

Ниязов деликатно помалкивал. В конце концов, хозяин кабинета сейчас сосредоточится и они начнут нормальную беседу. Так было уже не раз. И действительно, Реваз Тофикович начал успокаиваться. Заметив, что Ниязов молчит, посмотрел на него с лёгкой тенью растерянности и тоже умолк.

Мамед Кадырович решил, что на самый неприятный вопрос он отвечать не будет. Кто знает, сколько детей, находящихся сейчас в городской детской инфекционной больнице, рискуют умереть? Должно пройти еще день-два, три... Хотя, по мнению врачей Первой инфекционной больницы вероятность гибели детей высокая, но называть свои прогнозы – только «кипятить» кровь начальству. Судя по сосредоточенному взгляду Самедова, тот свой вопрос не повторит. Ему конкретные данные не потребуются. Может позже... Но он озабочен другим...

В нависшей тишине обоюдного молчания каждый думал о своём. Самедов о том, что надо срочно что-то придумать. Причём такое, чтобы «наверху» поняли:

никакой паники нет, все под контролем. Наркомздрав республики полностью владеет ситуацией. Низовые звенья активно работают, чтобы... Конечно же – не допустить гибели детей. Однако досада из западни вырвалась и разлилась обжигающей желчью.

— Эти сукины дети... Из районной поликлиники... Наворочали дел, а мне надо теперь ломать себе голову! — Многоопытный Самедов наконец-то втиснул своё раздражение в привычную начальственную манеру, произнеся всё то, о чём подумал.

Ниязов промолчал, деликатно опустив глаза. К делу реплика Наркома не относилась. Так... Выхлоп эмоций... Самедов мотнул седой, с красивой волнистой причёской головой, будто отряхивая неприятные мысли, как мокрая собака излишек воды. Пристально взглянул в лицо Ниязову. Тот заметил: в глазах Реваза Тофиковича появилась та решительная готовность к действиям, которая была хорошо знакома Мамеду Кадыровичу за годы совместной работы с ним еще в Махачкале. Там Реваз Тофикович два года назад возглавлял горздравотдел. И все-таки Ниязов ошибся, полагая, что цифры вероятной смертности детей Самедову говорить не станет.

— Можешь сказать хотя бы приблизительно количество детей, которые возможно умрут? — Схватив правой рукой свой подбородок, сжал его, как варёжку. Как бы нехотя, Ниязов промолвил.

— Трудно сказать...

— Ну, хотя бы приблизительно...— Самедов нетерпеливо заёрзал в своем кресле.

— Скорее всего умрут процентов двадцать пять...— Ниязов произнёс это обычным деловым тоном, автора Докладной записки, которая лежала в красной папке у Самедова. — Из той группы, которая сейчас

в Первой детской больнице. Она показывает самые тяжелые последствия прививок...

Самедов отмахнулся, произнеся с легким раздражением: — Ты не на трибуне... Сколько человек?

Ниязов на миг задумался. — Может быть 5 или 7. — Проговорил эту фразу осторожно. Решил добавить. — Слишком долго врачи районной поликлиники тянули время... Попытались лечить от простуды... Не считали, что имеют дело с симптомами начинающегося туберкулеза...— Ниязов хотел еще что-то добавить, но Самедов его перебил.

— Пять-семь? — Воскликнул Самедов. Он ошарашено смотрел на собеседника. — Что, так сразу?

— Нет, наверное! — Со вздохом ответил Ниязов — Врачи горбольницы будут делать все возможное. Ну, может быть... С интервалом в день-два, неделю. Лечение детей уже начато и препаратами, которые мы применяем для подавления палочки Коха. Однако пока малоэффективно. Время упущено! К тому же дети ослаблены авитаминозом. Холодная зима...— На секунду умолкнув, Ниязов мягко проговорил. — Снова напомню, Реваз Тофикович, прививки им делали на фоне недавно перенесенных детских инфекций. Кстати, это грубое нарушение наших инструкций...

— Ослы, ай – ослы! — Самедов вскочил. Стоя у стола, начал браниться! — Идьёты! — Он смачно произносил, звучащие комично ругательства, вкладывая в них подсознательный страх, с которым так и не справился, несмотря на обретение своей обычной, начальственной осанки.

Их разговор длился уже час. Самедов почти сразу согласился с предложением Ниязова создать комиссию из гигиенистов, педиатров, терапевтов,

приглашенных из других поликлиник города и направить в Нахичеваньский район для инспекции первых результатов вакцинации. Обещал позвонить в Комиссариат здравоохранения города Баку и очень строго, придирчиво внушить тамошнему начальству провести инспекцию в Нахичеванском районе.

— Думаешь в Горздраве еще ничего не знают? — спросил Самедов. Ниязов пожал плечами. Осторожно заметил:

— Пока нет смертей... Когда умрут, тогда начнется шум...

— Ладно, ладно, не пугай! Сам напуган — раздраженно ответил Самедов. Он взял телефонную трубку, но снова положил её на рычаг.

— Пусть комиссия будет твоей инициативой. Это по следам сведений, которые ты получил из городской детской больницы, — уточнил он. — Я поддерживаю тебя, раз уж ты в своей Докладной об этом просишь! Как-никак, а кампания прививок — под контролем республиканского ЦК партии! Далее, распорядись уже по своему ведомству, чтобы самым тщательным образом посмотрели у ...— Самедов стал быстро перелистывать справочник поликлиник города, видимо вспоминая фамилию главного врача Нахичеваньской районной поликлиники.

— Ахундов Джамал — подсказал Ниязов

— Да, да! — Подхватил Самедов и продолжил уже окрепшим баритоном. — Проверить порядок проведения прививок, сан-гигиену, в смысле чистоту... Ну, не мне тебя учить! Надо найти как можно больше объективных — Самедов поднял указательный палец, устремленный в потолок — объективных, понимаешь? — Он с прищуром посмотрел на Ниязова, отдельно чеканя слова на слоги —

обстоятельств, которые и стали основанием для...— Он хотел сказать слово «смерти», но быстро заменил его на другое. — Недомогания... детей. Ясно, да? Дальше...— Самедов снова взялся за телефон, но тут же рывком бросил трубку на рычаг. Нажал кнопку вызова секретаря.

Моложавая, в строгом костюме, с приветливым выражением лица, обрамленного черными, аккуратно подстриженными короткими волосами, женщина быстро переступила порог его кабинета. — Зульфия Ахундовна! Я попрошу вас срочно дать мне сводки по годам, начиная с позапрошлого, о детской смертности в Баку и городским районам. Та, молча кивнув, вышла.

Ниязов записывал в свой блокнот распоряжения Самедова. Теперь Нарком республиканского здравоохранения пришел в привычное деятельное состояние. Наконец, как бы окончательно решив: пора! Надо! — Самедов поднял трубку и позвонил главе городской санэпидстанции. Он знал определенно, что о его звонке будет знать Зав. Горздравотделом и таким образом он, косвенно, не возбуждая чиновников прямыми директивами, а, как бы личным контролем над... «заведет» и городское медицинское начальство.

Спокойно, деловито Самедов поинтересовался инфекционной обстановкой в городе. Услышав знакомую фразу: «У нас все в порядке!» неожиданно сорвался и уже резко прервал собеседника, строгим голосом выказывая свое недовольство.

— Все в порядке? А ты посмотри, что у вас в Нахичеваньском районе творится! Жители никак не хотят понять важность санитарной культуры. Районная санэпидстанция спит! Сколько говорить тебе? Пропаганда, пропаганда, пропаганда! Народ должен привыкать

к чистоте, тогда и детской смертности будет меньше! По моим сведениям, в этом районе смертность от желудочно-кишечной инфекции, несмотря на зимний сезон, увеличилась... Посмотри, проверь, заставь людей понять, что если они не будут жить культурно, то и детей своих не спасут от гибели! Советская власть столько денег тратит на культуру быта, а родители никак не поймут, что здоровье детей в их руках! Впрочем, мы с тебя будем требовать внедрение санитарной культуры в жизнь людей!

Не слушая лепет чиновника в трубке, Самедов аккуратно положил её на рычаг. Распекая главного санитарного врача Баку, он был доволен. Деятельная натура Реваза Тофиковича требовала немедленных указаний. Деловое возбуждение вытеснило страх. Не сдерживая благостного для него сейчас гнева, он заметил, как постепенно уходила досада, растерянность, вязкая тревога, подступившие после докладной Ниязова, неутешительного обсуждения с ним свалившейся на его голову проблемы.

Вошла секретарша. В руках она несла пачку бумаг.

— О! Уже готово? — обрадовался Самедов — давайте-ка их сюда. Мамед Кадырович, садись поближе. Оба перешли к длинному столу, за которым обычно заседает коллегия Наркомата здравоохранения. Секретарша вышла, тихо притворив за собой двери. Ниязов, с хозяином кабинета, углубились в сводки детской смертности по городу Баку.

Судя по таблицам, уровень смертности по Нахичеваньскому району Баку был самый высокий все последние три года. Чёрный город красноречиво свидетельствовал о промышленных выбросах нефтеперегонных заводов, которые год от года не снижались. Скученность жильцов, ветхость домов — не укрепляют

здоровье детей. В многодетных семьях рабочих, большинство из которых, покинув сельские районы, пытались обустроиться в столице, царила грязь и болезни. Как и до революции, детская смертность здесь фактически никогда заметно не снижалась. Самедов стал просматривать сводки за прошедшее полугодие.

— Вот посмотри, в Нахичеваньском районе есть, пусть небольшой, но скачок детской смертности за последние три года и за полугодие нынешнего.

— Рост невелик — согласился Ниязов, взглянув на лениво растущий столбик, выкрашенный в черный цвет на графике — но есть. Обратите внимание, Реваз Тофикович, заболевания, как причина смерти, в основном — скарлатина, дифтерит, дизентерия. А уж сезонный грипп и простуды охватывают всех без исключения детей от года до пяти лет.

— Детских садов очень мало — искренне вздохнул Самедов. — Мало, мало! Дети дома под присмотром бабушек и дедушек, мам... Их в семьях обычно по двое, трое, а то и больше... Один ребенок заболел, за ним следует второй, третий... Смертность детей почти в каждой семье... Как думаешь, Мамед Кадырович, всё это может влиять и на твою неприятную статистику вакцинированных? Она же объективно показывает положение вещей?

Ниязов понимал, что имеет в виду Самедов. «Неприятная статистика», значит те дети, которые не выдержат атаки противотуберкулёзной вакцины, потому, что на момент прививки были ослаблены после недавно перенесенной кори или скарлатины. К тому же, жили они в плохой гигиенической среде, страдали авитаминозом... Теперь дети в группе риска. Попали в Первую инфекционную... Они явно прибавят печальный список. Хозяин кабинета вопросительно

посмотрел на Ниязова. Тот спокойно выдержал взгляд шефа, добавил тихо.

— Думаю, что да. — Ниязов невольно был вовлечен Самедовым в «оформление» спасительных аргументов. — Если дети начнут умирать, надо будет объяснять причины... Летом – дизентерия... Это там часто бывает. Родители не моют руки перед едой... — Мамед Кадырович умолк. — В конце концов – думал он – так оно и есть! Что ж поделаешь? Добавил тихо: — осенью – дифтерит, скарлатина, корь, да и грипп...

Самедов на него не смотрел, изредка кивая. Он проглядывал сводки, машинально переворачивая страницы, скользя взглядом по колонкам цифр, графиков. Но неожиданно отложил бумаги, вздохнул. Помолчав, сказал каким-то странным, с легкой декламацией, голосом.

— Сколько лет пройдет, пока народ наш культурным станет! Когда победим эти страшные инфекционные болезни. Когда наши дети будут здоровыми... Уже сколько времени воюем за чистоту, гигиену, а ничего не получается...

Глядя куда-то в сторону от Ниязова, Самедов сказал уже совсем спокойно, но тоном, в котором чувствовалось убежденность и твердость.

— То, что произошло, о чем ты мне пишешь в своей докладной, случилось по трем причинам: первое – технические выбросы заводов, грязь и бескультурье в этом районе. Со всем этим бороться нелегко. Скученность, очень плохие жилищные условия. Сажа в атмосферном воздухе. Там всегда были высокие показатели туберкулеза и астмы.

Нарком здравоохранения, как бы изумляясь, хлопнул ладонями по коленкам.

— Больше двадцати лет прошло после революции,

а с грязью, с бескультурьем никак не можем справиться... Ну а грипп, скарлатина, дифтерит, корь, дизентерия во все времена косили детей. Хотя мы так много сделали для наших рабочих...

Он осёкся. Привычная манера партийного функционера – до того как возглавить горздрав Махачкалы, он там работал, почти пять лет, вторым секретарем райкома партии – частенько «брала свое». Вот и теперь его потянуло к трибуне. Он искоса глянул на Ниязова. Тот почтительно кивнул, пытаясь собраться с мыслями и заставить себя продвинуть Наркому здравоохранения главную свою идею о некондиционности присланной из Москвы вакцины, о первых итогах её экспертизы и своем решении просить приостановить вакцинацию детей. Ниязов уже догадался, куда клонит бывший шеф районного Агитпропа.

Самедов встал из-за стола. Быстро справившись со своим недавним конфузом, уже говорил лаконично, даже с едва заметной театральностью. Легкий махачкалинский акцент несколько не портил его русский язык. Напротив, придавал ему какую-то упругость речи.

— Второе! Конечно, это – недостаточная квалификация младшего медперсонала. На их обучение нет средств. Вот и результат! Понял? Ре-зуль-тат! — Самедов жестко посмотрел в глаза Ниязова, как бы ввинчивая ему в мозг свою идею, которая теперь, сейчас, казалась ему абсолютно точной.— При вакцинации – продолжил он, также разделяя слоги отдельных слов, в которых, на его взгляд, содержался наиболее важный для собеседника смысл – допускаются ошибки. И при подготовке инструмента и прививочного материала тоже. В медицине мелочей нет! Особенно в работе с детьми. А уж во время массовых вакцинаций, тем более! И третье! Руководство поликлиникой,

где делались прививки, плохо готовилось к их проведению. И от этого мы имеем результат! Ясно? Безответственный результат. — Самедову чем-то понравились эти слова. Он произнес их отдельно по слогам и очень внушительно. Интонация голоса стала даже угрожающей. — Надо, товарищ Ниязов, самым серьезным образом разобраться почему так всё случилось! Мы должны быть готовы ответить перед партией — Самедов поднял широкие и кустистые брови к потолку. — Да, ответить! Особенно, если дети начнут умирать! Ниязов послушно кивнул...

Самедов, похоже, уже забыл о недавних страхах, вернулся в привычную для себя роль республиканского ранга. Он знал, что «объективные причины», которые он сейчас сформулировал, совпадали и с причинами печальной статистики детской смертности по городу Баку, по республике, и пусть вялой, но «медленно встающей кривой» роста инфекционных заболеваний в районе, где возникло ЧП с вакциной. Самедов тайно себе признался, что мысль о совпадении убедительной «кривой» смертности от инфекционных болезней, с которыми никак не удастся справиться уже столько лет, с цифрами будущей смерти детей от тех глупостей, которые натворили там, эти дураки из Нахичеваньской детской поликлиники, выглядела хорошим аргументом. Он невольно вздохнул и осторожно взглянул на Ниязова.

— Еще и еще будем разбираться, но куда уйдешь от того, что запрос Наркомздрава к руководству республики по увеличению финансирования, необходимого для повышения квалификации младшего и среднего медперсонала районных поликлиник городов и сел Азербайджана, делался задолго до прививочной кампании! — Самедов на секунду запнулся.

Повернувшись к собеседнику, как бы ища у него поддержки, спросил.

— Разве не так? Вспомни! По времени наш запрос совпал с периодом разработки очередного пятилетнего плана страны. Заявки Наркомздрава Азербайджана были Союзным Госпланом отклонены, с обещанием увеличить финансирование в следующей пятилетке. Очень мало дали денег на кампанию прививки против туберкулеза! — Самедов совсем уж театрально вытянул указательный палец в сторону тихо сидевшего Ниязова. — Разве не так?

— И мы это докажем! На тот же Нахичеваньский район у нашего наркомздрава денег не хватило, чтобы провести и учебу, и полноценный инструктаж, а взять дополнительный персонал, чтобы обеспечить прививочную кампанию и вовсе не удалось...

Самедов твёрдо знал — денег на нужды здравоохранения в Азербайджане не хватает. Раз так, то... Среди причин болезней — вечная грязь и загазованность района нефтеперегонных заводов все там же, в Нахичеваньском районе, ни у кого сомнений не вызвала. Кстати, судя по докладной Ниязова, здесь располагались дома семей, в которых жили дети, заболевшие после злополучных прививок от туберкулёза. Самедов снова залпом выпил воду. Судя по всему, теперь он выстроил вероятные оправдания отчётливо и аргументировано. Не подкопаешься! Он подошёл к окну. На стёклах веточки изморози туманили городской пейзаж. Прислушался к голосу Ниязова, но теперь уже, сбросив с плеч озабоченность, явно отдыхал от груза недавних тревог. Посмотрел на часы. До совещания осталось полчаса. Но в тоне голоса Ниязова что-то заставило его настроиться.

— Может пока прекратить вакцинирование до окончательной экспертизы вакцины? Мне из лаборатории инфекционной больницы дали результат предварительной экспертизы. Есть подозрение на передозировку микробного материала! Неплохо было бы послать официальный запрос в Москву. Пусть там еще раз проверят, а?

Повернувшись, Самедов в упор посмотрел на Ниязова, не скрывая своего негодования. Минуту назад он ходил по кабинету, декламируя свои выводы и давая указания. Едва до него дошло, о чем просит Ниязов, он круто развернулся к столу и сел на стул. Молчание длилось только миг.

— Это как же? На коллегии наркомата здравоохранения республики приняли план вакцинации. Разрядку дали по всем районам города Баку и Азербайджана в целом. Поставки вакцин согласовали с Москвой. Они уже прислали для Баку всю партию. Проведены оперативные совещания по всех провинциальных райздравах и в горздравах, включая Бакинский. Проинструктирован медперсонал. Кампания прививок против врага народа – туберкулеза одобрена в ЦК Компартии Азербайджана. На Президиуме ЦК по этому поводу выступал сам товарищ Багиров. И вот теперь ты, начальник главка по профилактике инфекций Наркомздрава республики, предлагаешь прививки прекратить! Предлагаешь в Москву послать запрос о плохом качестве вакцины? Направить туда предварительные итоги экспертизы, сделанной в городской инфекционной больнице? — Самедов презрительно фыркнул. — Ты с ума сошел! На что ты меня толкаешь? Да и откуда ты знаешь, что материал некондиционный? Там в лаборатории больницы умнее, чем люди в Москве? Кто тебе это сказал?

Ты, что порядка не знаешь?

Всю эту тираду Самедов произносил сползая с фальцета до шепота, касаясь горячим дыханием лица Ниязова. Снова потеряв свою вальяжность, упершись грудью в край стола, он судорожно растянул пальцы ладоней на поверхности стола. Ниязов не отступал.

— Да, экспертизу провели в Первой инфекционной больнице. Ну и что? Методика расчета микробной массы одна. Сами видите, результаты прививок очень тревожны! Причиной может быть и то, что концентрация микробной массы вакцины выше нормы почти в два раза! Конечно, нужно провести еще несколько выборочных экспертиз из разных партий вакцин, но и первые результаты экспертизы нельзя игнорировать, Реваз Тофикович!

— Тебе кто дал разрешение на экспертизу? — Самедов смачно выругался на азербайджанском. Он крутил головой, плотно сжав губы. Ниязов слегка отступил от него, словно боясь получить оплеуху.

— Детей жалко! — Почти шепотом ответил Ниязов, не замечая, что явно старается не произносить слово: «смерть», «детская смертность», «гибель».

— Мне тоже жалко! Но это эмоции! Мы сейчас с тобой разобрались в причинах. Причем тут вакцина, товарищ Ниязов? Какие у тебя основания сомневаться в квалификации московских товарищей! — Самедов снял руки с поверхности стола и, видимо, устав от «перегрева», укоризненно смотрел на Ниязова. Быстро добавил:

— Запомни, я тебе разрешения или указания на экспертизу прививочного материала не давал! Я ничего об этом не знаю! Понял, а? Думай сам!

Он встал. Открыл средний ящик своего стола.

Достал папиросы. Стараясь не суетиться, открыл крышку коробки, на которой красовался черный всадник на фоне горного хребта. Вытащил папиросу. Привычно постучал картонным мундштуком о коробку. Положил её на место, в ящик стола, который тут же закрыл. Фигурно выгнул причудливый профиль мундштука папиросы. Воткнул конец в губы. Медленно полез в карман, вытащил коробок спичек. Чиркнув, прикурил. Было видно, что он намеренно всё делает медленно, снова пытаюсь успокоиться.

Реваз Тофикович в глубине души понимал, что Ниязов, решив проверить качество вакцины, поступил правильно. Но какой от этого толк? График прививок никто не отменял и вряд ли отменит в ближайшее время. Вакцину хоть сто раз проверяй в лабораториях больницы, в Москву не возвратишь. Да и официальный запрос о её качестве можно посылать только, если дети начнут умирать именно после прививки. Наверняка люди Ниязова уже наворочили достаточно ошибок при вакцинации. Да и то количество детей, которые заболели и даже умерли, слишком мизерно, чтобы требовать от Наркомздрава СССР экспертизы и срочных мер. Значит, надо Ниязова отговорить от резких телодвижений. Но как он себя поведет в дальнейшем?

Глава Наркомздрава республики просто не знал, как своими руками разрушить политическую плотину, именуемую «кампанией по борьбе с туберкулезом». Ему, конечно же, не хотелось быть смытым мощным потоком негодования, который пронесётся «сверху», если Ниязов не уgomонится.

Он молча курил, соображая, как убедить Мамеда Кадыровича, что пока всё придется оставить, как есть. Была единственная «зацепка». На коллегии Нарком-

здрава было принято решение провести противотуберкулезную вакцинацию только в одном Нахичеванском районе Баку, прежде чем вовлекать в прививочную кампанию остальные районы республики. Это давало шанс собрать первый опыт вакцинации. Конечно, всё что происходит сейчас обязательно всплывет. Вот к чему надо быть готовым! Да, строго накажут провинившийся персонал. Да, низовой! В том числе и за смерть детей. Но тогда уместно будет обратиться в ЦК компартии Азербайджана, послать запрос в Москву – сделать дополнительную экспертизу вакцины... Накапливать факты надо, но прерывать кампанию прививок никак нельзя! Молчание собеседников затягивалось. Ниязов понимал, что нынешнее молчание – золото для Реваза Тофиковича. Ещё минута и он что-то придумает, что может устроить обоим...

...Приходилось еще и считаться с особенностями психологии населения. Было известно, что к прививкам жители района относились очень боязливо. Агитаторы, которые ходили в семьи говорили, как их самих учили на всевозможных семинарах, проводимых Наркомздравом. А учили их по инструкциям: «Введут вашему малышу микроб болезни. Он слабый, вреда не причинит. Начнет там расти, а в это время организм быстренько будет с ним бороться. Бороться и убивать микробы болезни. Убивать и распознавать такие же, если те случайно попадут в детский, а потом даже в подростковый, взрослый организм!» Да и в московских инструкциях рекомендовалось наблюдать за действием вакцины в организмах детей, проживающих в самых неблагоприятных гигиенических условиях...

Идея создать комиссию верна! Раз уж так получилось, что недоглядели в районной детской поликлинике, пусть отвечает главный врач. А мы здесь свои

выводы сделаем...

Самедов курил и было видно, что былая начальственная вальяжность снова возвращается к нему. Прервав, наконец, свои раздумья, нарком здравоохранения, подойдя к понуро сидевшему Ниязову, почти тепло потрепал того по плечу.

— Еще раз тебе говорю, зря ты поспешил с докладной... Мы с тобой и без докладной разобрались бы и поняли, как действовать. Мы же договорились? — Голос Самедова звучал теперь почти просительно. — Впрочем, Мамед Кадырович, пока ничего не будем менять. Прививки будут продолжаться по графику в том же Нахичеваньском районе, а комиссия Горздрава пусть поработает. Её результаты доложишь мне лично. Ну ладно, дорогой! Иди! Теперь ты знаешь, что делать и если твоя докладная все-таки попала - он многозначительно поднял брови вверх - будем придерживаться того, о чем договорились... Все!

Самедов слегка подтолкнул к выходу Ниязова и, уже не слушая его: «До свидания...» подошел к столу, быстрым рывком поднял трубку громко задрезавшего телефона. Звонил адъютант Насибова. Убедившись, что трубку взял Самедов, адъютант соединил его с кабинетом начальника республиканского НКВД.

После обычных фраз приветствия, перемешивая фразы на русском, на азербайджанском, собеседники, как бы незаметно вползли в деловой тон. Самедов не спешил. Он понимал, что Насибов уже всё знает и сейчас предстоит понять из его разговора, что же будет дальше? А, главное, верно ли сам Самедов построил стратегию выхода из неприятной ситуации?

— Реваз Тофикович, — быстро уняв смех, вспыхнувший от рассказа Самедова о проделках его пятилетней

внучки, начал свою «партию» Насибов — Вы уже прочитали докладную Ниязова?

Оба, и Насибов, и Самедов прекрасно понимали, что дурака валять не стоит. НКВД имеет длинные руки во всех ведомствах республики, неважно какого они ранга и должностного веса. Самедов определенно знал, что глаза и уши НКВД есть и внутри аппарата его Наркомздрава.

Начиная свой разговор, глава НКВД был спокоен, уверен, что его осведомленность в делах Наркомата здравоохранения Самедова не удивит. Бессмысленно скрывать мало-мальски значительные для НКВД факты из деятельности ведомства. НКВД республики и сам Насибов вездесущи! Надо на эту осведомленность реагировать быстро, точно и убедительно. Вот и все!

— Да, прочитал — несколько не удивившись вопросу главы НКВД, бесстрастно ответил Самедов.

— Хорошо, — сказал Насибов слегка нараспев. — И что вы по этому поводу можете сказать?

Самедов сел за свой стол, не спеша и поудобнее пристроив на кресле свое грузное, но ладно скроенное тело. Вдохнул и, слегка поигрывая модуляциями своего красивого баритона, начал говорить.

— Всему тому, что написал товарищ Ниязов может быть несколько объективных причин. Буквально только что я провел у себя совещание и мы разобрались с товарищами досконально в предпосылках всего, что случилось в Нахичеваньском районе. — Насибов молчал. Он решил не мешать Самедову, делая краткие пометки в своем блокноте. В соседней комнате сидел его сотрудник, который, держа трубку параллельного телефона, быстро стенографировал их разговор, подчиняясь приказу главы НКВД.

Самедов излагал всё, как и полчаса назад в разговоре с Ниязовым. Его слова звучали убедительно и веско. Насибов не мог не заметить, что весь разговор Самедов держал в хорошем, деловом и напористом тоне. В то же время, чувствовалось, что его собеседник действительно и огорчен предстоящими печальными последствиями и, вместе с тем, вовсе не хочет прятаться от реальности.

— Да, да! Жизнь и быт людей, живущих в нашем бакинском Черном городе, в грязи, дыму и скученности, еще далека от идеала. Болезни детей и их смерть здесь — частые гости. Смертность детей (Самедов произнес эту фразу с модуляцией печали и озабоченности) гораздо, понимаете, товарищ Насибов, гораздо выше в Нахичеванском районе, чем в других местах города... К сожалению, средств на медицину мало. Младший и средний медперсонал часто с низкой квалификацией. Прививочная кампания очень масштабная, вы же знаете! Но финансирование этого хлопотного мероприятия осталось на прежнем уровне. В такой ситуации неизбежны проблемы. Сегодня уже создана комиссия Горздрава...

Наконец, Народный комиссар здравоохранения Азербайджана умолк, ожидая ответ Насибова. Однако в его реплике Самедов почувствовал какой-то подвох.

— Спасибо! Я всё понял, Реваз Тофикович. Будем считать, что выявленная проблема под вашим полным контролем. — Эти слова почему-то не понравились Самедову.

— Мы все, вместе... — начал он, соображая, как бы ослабить прозвучавшую жесткость последней реплики слов Насибова, но тот быстро перебил его...

— Я еще хочу вот что спросить, Реваз Тофикович. Только откровенно — Самедов насторожился, ожидая,

что же еще припас глава НКВД? — Только откровенно, — повторил Насибов.

— Да, да! Слушаю вас, Артур Мамедович!

— Не мог ли здесь поработать враг?

— То есть? — Вырвалось у Самедова. Он неудачно сглотнул слюну и поперхнулся. Прокашлявшись, он услышал мягко булькающий смешок Насибова.

— Чего это вы... Испугались? Мой вопрос — обычный вопрос большевика — большевику...

— Да нет... Это я так... — ругая себя за несдержанность выдал Самедов. Решился сразу уточнить — вы имеете в виду врага, окопавшегося в нашем наркомате?

— Не-е-е-т! Видимо еще продолжая улыбаться, успокоил его Насибов. Там... В Москве... В том ведомстве, которое готовит и рассылает прививочный материал по всему Союзу.

Самедов облегченно вздохнул. Тут же решил подыграть собеседнику, чувствуя, что волнение, подтолкнувшее было его горячую кровь к вискам, тут же улеглось.

— Ну, это уж не по моей части, Артур Мамедович... Не случайно же Иосиф Виссарионович постоянно призывает нас к бдительности, а Лаврентий Павлович...

— Понимаю, понимаю, товарищ Самедов. Не сомневаюсь, что никто из ваших специалистов бдительности не терял. Правильно, Москва своих врагов отлично знает и без нас. Согласен с вами полностью. И последний вопрос: как вы оцениваете все инициативы Ниязова в связи со сложившейся в Нахичеванском районе ситуацией?

Этого вопроса Самедов ждал с тревогой. Сглотнув, в этот раз очень аккуратно, снова предательски скользнувшую к гортани слюну, Реваз Тофикович на мгновение умолк. Это было вполне уместно

и понятно. Надо давать оценку действиям своему работнику, которого Самедов уважал и, как земляку, верил.

— Ниязов — очень аккуратный, ответственный и квалифицированный специалист. Думаю, что он поступил правильно и в том, что держит тесный контакт с инфекционной больницей и создав комиссию Горздрава, чтобы все проверить по горячим следам. И, конечно, он прав, что поставил меня в известность в самом начале появления тревожных фактов и подозрений о возможных причинах заболевания детей.

— Ладно...— Насибов уже явно тяготился разговором с Самедовым. — Спасибо. Мы еще вернёмся к этой теме. Его голос уже звучал сухо...

3.

*Кабинет Главного врача детской поликлиники
Нахичеваньского района Ахундова Д. Г.
г. Баку, 16 февраля 1939 г.*

Лысый полный мужчина глыбой возвышался над маленьким обшарпанным столом, заваленным бумагами и лечебными карточками. Часто дыша и вытирая пот со лба, он перелистывал какой-то документ, который, судя по всему, вызывал в нём приступы нервной одышки.

Ахундов Джамал Георгиевич — главный врач районной поликлиники Нахичеваньского района Баку, вспотевшими пальцами сжимал пухлую стопку бумаг, им самим наспех прошитых нитками в левом верхнем углу.

Два часа назад ушли члены городской комиссии по проверке организации кампании вакцинации против туберкулеза детей, проживающих в Нахичеваньском

районе. Они работали в районе три дня.

Посетили все семьи, где была замечена вспышка острых заболеваний детей, уже прошедших вакцинацию. Выводы комиссии были беспощадными. Организация вакцинации признана неудовлетворительной, навыки персонала не соответствуют норме, в помещении, где проводятся прививки — грязь и сквозняки. Состояние оборудования, хранение инструментария и противотуберкулезной вакцины не выдерживает никакой критики. Гигиеническая обработка амбулаторного инструментария, используемого при вакцинации детей, не соответствуют стандартам.

В итоге в Нахичеваньском районе, как отмечается в справке комиссии «...*Высокая годовая смертность детей, а со дня начала вакцинации против туберкулеза, наблюдается скачок заболевания детей, прошедших вакцинацию. Семь детей 4 февраля сего года отправлены в тяжелом состоянии в городскую инфекционную больницу. Еще 15 детей нуждаются в госпитализации по тяжести симптомов болезненного состояния на момент инспекции комиссии горздрава. Это — результат низкого качества амбулаторного наблюдения больных детей, постановка ошибочных диагнозов и низкий уровень профилактической медикаментозной поддержки.*»

Комиссия рекомендовала снять с работы Ахундова, как неквалифицированного врача-организатора, не справившегося с ответственным поручением партии и правительства республики, взявших курс на ликвидацию застарелой беды республики — туберкулеза, косившего народ с дореволюционных времен. Ахундова обвиняли в непонимании линии партии и считали целесообразным рассмотреть его персональное дело в райкоме партии.

В рекомендациях комиссии указывалось на необходимость активной пропагандисткой работы среди семей, имеющих детей, возраст которых подходил под срок различных прививок, в том числе и против туберкулеза. Указывалось на важность культурно-просветительской работы с молодыми матерями с целью воспитать у них навыки гигиены в быту и особенно при обращении с маленькими детьми. Врачами поликлиники игнорировалась непрерывность профилактики инфекционных заболеваний. Комиссия выразила сожаление, что уже за время её работы в 30 семьях находились дети с инфекционными заболеваниями непосредственно в контакте с практически здоровыми детьми. В 25 семьях находились по двое больных детей с начальными признаками кори, но уже «охваченные» противотуберкулезными прививками. Пять детей в начальной стадии скарлатины, с недельным сроком противотуберкулезной вакцинации. Эти дети нуждались в немедленной госпитализации в инфекционную больницу. Комиссия излагала свои выводы и о состоянии детей в 40 семьях, в которых оказались малыши от трёх до пяти лет с признаками воспаления легких средней тяжести и симптомами катара верхних дыхательных путей. Все они проживали в плохих бытовых условиях, прошли противотуберкулезную вакцинацию и находились на амбулаторном лечении.

Комиссия пришла к убеждению, что помимо грубого нарушения порядка вакцинирования, категорически запрещавшего проводить вакцинацию больных или ослабленных детей, есть еще и объективные основания для заболеваний легких и дыхательных путей: загазованность, концентрация сажных выбросов с нефтеперегонных заводов, расположенных в районе, плохое отопление в домах при суровой в нынешнее

время зиме, скученность в квартирах, антисанитария и крайне низкая гигиеническая культура населения.

...Ахундов дочитал заключение комиссии до конца, осторожно положил свою голову на сжатые кулаки, как на подпорки и задумался. Он работает главным врачом уже полтора года. Потрудившись фельдшером на станции «Скорая помощь», порядком устав от вечной беготни по вызовам то днем, то ночью, Джамал пришел как-то в гости к своему дяде Тагы, который работал в Народном Комиссариате здравоохранения республики начальником хозяйственного отдела.

...Тот встретил племянника, как обычно, тепло. Поговорили, кто, да как живет из обширной бакинской родни и, наконец, перешли к главному. Джамал, капризно сморщившись, стал жаловаться дяде на ужасную усталость и вообще несправедливость. Мол так и так, я столько лет ишачу на этой «Скорой». Мне уже 37 лет, пора и «расти»! Дядя поддакивал, понимающе поглядывал на племянника, но пока молчал. Ахундов часто вспоминал тот решительный миг разговора, который и стал ключевым в дальнейших стараниях его дяди. «А ты чему-нибудь научился на «Скорой»? – неожиданно спросил дядя Тагы. «О! Конечно! Радостно закивал Джамал – быстро все делаю, когда приеду на вызов. То перевязку, то укол, то рану обмою... Ты знаешь, дядя, для меня нет уже ничего незнакомого. Но сколько ж можно с этой кровью, уколами, клизмами...» Нет института? Мне и училища вполне хватает! Ара! Не я один без диплома доктора мог бы сидеть на руководящей работе, не так, а? Это было чистой правдой...

— Понимаю, понимаю...— согласно кивал дядя Тагы. Потом улыбнулся, обнажив золотой частокол челюсти, обнял племянника и тихо сказал:

— Иди работай, а через неделю тебя позовут в Горздрав, к начальнику отдела кадров. Все гавари, что он спросит. — Дядя по русски объяснялся неплохо, но как большинство азербайджанцев его возраста, а было ему уже 58 лет, говорил неправильно. Самого Тагы Ахмедовича это никогда не волновало. «Ара! Как магу, так гавару, да! Что такого? Главное не это. Главное — дело, да?»

А работать Тагы Ахмедович мог отменно. С его связями в городе и огромной родне в республике, он иногда был просто магом—волшебником...

— Поможет Аллах тебе, получишь что-нибудь стоящее, — заключил дядя Тагы, напоследок опять ослепительно улыбаясь своим золотым частоколом. Он без церемоний, уже зевая, показал Джамалу на дверь: — Все, дарагой! Иди, а? Мне уже отдыхать пора! Понимаешь, завтра совещание, очень—очень рано утром...

Дня через три Джамала вызвал к себе главврач станции «Скорая помощь»: — Мне звонили из Горздрава, когда ты на вызове был.

Главврач с любопытством изучал лицо Джамала, пытаясь, видимо, найти в его чертах и мимике реакцию на первые свои слова и ответ на свои немые вопросы: «Джамал — Горздрав? Почему?»

— Просили передать тебе, что тебя вызывает начальник отдела кадров.

Джамал машинально пожал плечами. Однако, скрывать радость было очень трудно. Губы дрогнули, а глаза быстро прищурились, как обычно, когда им сопутствовала улыбка его пухлых губ. Но он даже испугался своей несдержанности. Надо быть скромным! Его, фельдшера, вызывают в Горздрав! Он перевел дыхание и очень уместно покраснел. Слова главного врача станции «Скорая помощь» и радость

предстоящего разговора с начальником отдела кадров смешались и как газированная отрыжка ударили в голову. Пробормотал...

— Я не знаю, что там от меня хотят... Можно идти?

...Ахундов был назначен главврачем детской поликлиники и утвержден в райкоме партии Нахичеваньского района без проволочек. Дядя Тагы частенько ездил на морскую рыбалку и с начальником отдела кадров горздрава и с первым секретарем Нахичеваньского райкома партии. Тагы Ахмедович, дядя Джамала, умел делать «рыбаков» счастливыми...

На работу новый главврач вышел, надев недавно сшитый костюм. Правда, очень сожалел, что модную «тройку» мало кто мог оценить, потому, что поверх обязательно следовало носить белый халат. Полтора года работы в новой должности прошли без особых проблем. Персонал поликлиники оказался податливым, а сам Джамал был человеком без вредных привычек. С одним только наваждением не мог справиться новый главный врач: ужасно хотел, чтобы его слушались, а указания исполнялись сразу и в точности. Начитавшись всевозможных инструкций, пачками приходящих из Горздрава и республиканского Наркомата здравоохранения, главный врач поликлиники Ахундов тут же брался их немедленно внедрять. В коллективе тут же начиналась суматоха, появлялась путаница в работе и даже срывы обычного порядка деятельности поликлиники. Как ни странно, но именно это Джамалу и нравилось! Тогда он доброжелательно журил работников, те что-то послушно исправляли в своей работе. Иногда, для порядка, он их ругал, а на партийных или профсоюзных собраниях коллектива обращал внимание на недоработки, особенно те, что, по мнению главврача «искривляли линию партии

в деле народного здравоохранения.»

То, что именно в его поликлинике, первой в городе, доверили провести прививку против туберкулеза, для Джамала было сигналом, как звук трубы егеря для охотничьего пса. Сразу возникла мысль: «Доверяют! Надо ждать повышения! Но теперь, сейчас все следует сделать так, чтобы – быть лучше всех и впереди всех!»

В документах Горздрава указывалось на особый почет и важность кампании прививок. Джамал незамедлительно приступил к ответственному делу. Провел собрание коллектива. Указал на важность прививок. Привел цифры смертности от туберкулеза до революции. процитировал слова Сталина и Багирова о народном здравоохранении. Заклеймил империализм, словно монстр, пожирающий жизни обездоленных детей трудящихся, лишенных в недавнем прошлом, прививок от тяжелых болезней.

Потом начались инструкции персонала, специалистами горздравотдела. Провели учения для выработки точных навыков вакцинации. По времени это совпало с ежегодными учениями ОСОАВИАХИМа, к которым привлекались чуть ли не все медики города. Впрочем, на все ушла неделя. В середине декабря прошлого, 1938 года, начали проводить вакцинацию в первом десятке детей.

Однако, Джамал тянуть с прививками не стал. И хотя у него был график, решил провести вакцинацию в своем районе ударными темпами, чтобы отчитаться Горздраву, который так ему доверяет! Объявив в коллективе субботу и воскресенье рабочими днями, Джамал договорился с несколькими заводами об аренде у них транспортных средств. Стали его работники разъезжать по домам и разъяснять важность

прививок против туберкулёза. Народ робко кивал, опасливо соглашался...

В следующую субботу несколько бригад из персонала поликлиники стали приезжать уже в дома рабочих, где росли дети от года до трех лет и делать им прививки. За четыре выходных дня, с небольшим интервалом, успели сделать 200 прививок. Джамал довольно потирал руки. Наверняка Горздрав заметит его старательность и организаторскую активность. Не век же ему сидеть в кресле главного врача какой-то районной поликлиники Баку. Годик, другой, а там – шаг в тот же Горздрав... Его опыт, вещь полезная. Позовут! То, что нехватка медицинских кадров в городе Баку была, Джамал знал. Дядя рассказывал полушёпотом, как много людей похватили два года тому назад, арестовывая прямо на рабочих местах или приезжая домой по ночам. Так что главврач не сомневался, место для него найдётся! Главное, чтобы заметны были признаки его старания и результативность труда!

В родильном доме № 26, что в Нахичеваньском районе, врачи получили приказ из Горздрава проводить прививки младенцам и в случае необходимости консультироваться в детской поликлинике. Джамал тут же закрепил за родильным домом фельдшера, который проводил прививки новорожденным. Количество привитых в роддоме детей Джамал с легким сердцем приплюсовывал к общему списку своей поликлиники. Главный врач родильного дома, его старый приятель, был доволен.хлопот никаких. Поликлиника Нахичеваньского района сама следит за процедурой прививок. Им что? Главное – акушерские заботы! А уж с этим они прекрасно справляются! Спасибо Джамалу, что взял все заботы на себя по этим прививкам.

Первые признаки тревоги начались в десяти семьях

района. В них заболели дети, которым сделали прививки две недели назад. Педиатры, приходя к детям по вызову родителей, заметили некоторую затрудненность дыхания, повышенную температуру, потливость и вялость малышей.

Прививки делали в основном тем из них, кто был в возрасте от года до трех лет. Организмы заболевших детей почти не реагировали на обычные лечебные средства, применявшиеся врачами при простудных заболеваниях. Симптомы сглаживались, но не проходили. Температура, обычно 37.7–38.3 держалась достаточно длительное время. Со временем, некоторые дети стали тяжело кашлять, отхаркивать. Постарше жаловались на боли в груди и в коленях.

Джамал успокаивал коллег: «Вы что, не знаете послепрививочную картину? Читайте инструкцию! Это ж ослабленная палочка Коха! Дети показывают нормальную реакцию. Не спешите со своими лекарствами, дайте организму самому справиться с микробами!» Врачи послушно кивали. В самом-то деле! Прививка и есть прививка, чтобы вызывать облегченный вариант болезни. Организм и сам справится. Начнешь давать лекарства, спутаешь картину.

На местах тела, где делалась прививка, возникали гнойные бугры с обширным покраснением по окружности. «И это – нормально – успокаивал Джамал. – Смотрите инструкцию, там все так и написано!» Врачи соглашались и с этим. Так ведь и должно было быть, если заглянуть в присланные из Москвы инструкции.

Конечно, тревожила врачей стойкая и длительно державшаяся температура занемогших детей. Потливость, быстро наступающая вялость, потеря аппетита. Через две-три недели у некоторых детей стали возникать странные отеки в районе коленных суставов.

Хрипы в легких, кашель с мокротой становились чаще.

Однажды в поликлинику ворвалась азербайджанка и стала истерически кричать, требуя врача. К ней домой срочно был послан педиатр, а возвратившись, сразу направился в кабинет Джамала.

– Ребенок этой женщины очень тяжел. Надо класть его в больницу! – Без предисловий заявил он Джамалу. Тот сжался в кресле.

– Ты уверен? – стараясь быть строгим, спросил Джамал.

– Это явно результат прививки, – вдруг убежденно сказал врач. – Вакцину ввели сразу же после перенесенной кори. Ребенок еще не был здоров!

– Ты, что? С ума сошел! Куда смотрел? – Пошел в наступление Джамал. – Твой ребенок? Ты его ведешь?

– Я был тогда на бюллетене, вяло оправдывался доктор. – Это был молодой, белобрысый парень, приступивший к работе всего месяц или два назад. – У меня был грипп.

Джамал смягчился. В такой тревожной ситуации в его планы вовсе не входило ссориться с персоналом. Когда-нибудь ему потребуется характеристика профсоюзной и партийной организаций поликлиники...

– Что такое ты говоришь про вакцину? Она прислана из Москвы! Понимаешь ты, против чего выступаешь? Почему, а? Мы с тобой общее дело делаем! Лечи детей, смотри, проверяй. Зачем шум поднимаешь, а?

– Да нет, устало отмахнулся врач. Но все так странно... Спасти ребенка дома не удастся, надо его вести в больницу.

– Зачем сразу в больницу, дарагой?

– Если не я, мать сама вызовет «Скорую» и положит в больницу.

Парень явно не мог понять позиции главного врача. Но тот мгновенно сообразил, что «дал маху.» Пусть больница теперь разбирается... Доктор дело говорит.

— Вообще-то ты прав... Пусть мать вызовет «Скорую». — Врачи «Скорой» — не его персонал, детская больница — не его учреждение... Пусть сами разбираются. Подошел почти вплотную к доктору и мягко сказал.

— Дарагой! То, что тебе тяжело смотреть, как ребенок страдает, хорошо! Ты доктор, у тебя сердце доктора. Но почему ты так уверен, что этот ребенок заболел именно от прививки? Я это совсем не понимаю. Ну была у него корь, но он же поправился! Стал здоров! Ну хорошо, хорошо! — Джамал умолк, видя, что педиатр опять готов что-то доказывать свое, остановил его жестом. Джамал всегда избегал дискуссий с врачами. Было это делом опасным для его авторитета.

— Давай так сделаем. Пусть они везут его в больницу... Пусть родители, у кого дети в тяжелом состоянии вообще вызывают «Скорую» и в Первую детскую городскую инфекционную больницу везут их. Я же буду продолжать дело прививок, потому что это приказ Нарком и Горздрава. Его никто не отменял! Ты обязан это понять и помочь нам... Хочешь, сходи к той маме, у которой ребенок тяжелый, так? Вызови «Скорую», дай направление в больницу.

— И все-таки, вакцинация виновата в таком состоянии детей. Я уверен. — Снова заупрямился доктор.

— А, дарагой! — почти раздраженно ответил Джамал — ну ты, как маленький, честное слово!! «Вакцина, вакцина»! Доказать надо, а? А как докажешь? Что ты имеешь на руках?

— Пусть тогда её проверят инфекционисты, — настаивал педиатр. — Просите Горздрав временно

остановить прививки!

— Нет, дорогой, — уже с трудом держа себя в руках, ответил Джамал, — этого просить нельзя! Это дело политическое, как не понимаешь? Иди, работай и прививки не саботируй! Эти слова главный врач произнес уже почти угрожающе.

4.

Городская детская инфекционная больница.

г. Баку, 12 -15 февраля 1939 г.

12 детей с высокой температурой, мокрым кашлем, шумными хрипами в легких «Скорая», по вызову родителей или поликлинического врача-педиатра, привезла в Первую городскую детскую инфекционную больницу, что на улице Шаумяна. Врачи больницы, осмотрев в приемном покое детей, пришли к заключению, что скорее всего речь идет о какой-то инфекции, затронувшей легкие и дыхательные пути. Еще через день поступило двое детей с такими же признаками. Анализ крови поступивших детей показал в ней необычно высокое количество палочек Коха.

Но врачи уже знали, что к ним поступили вакцинированные дети и по документам, запрошенным из Нахичеваньской детской поликлиники, с удивлением обнаружили, что прививки этим детям были сделаны еще на стадии начала выздоровления от кори, скарлатины и других болезней, когда дети еще не оправались от перенесенной и достаточно тяжелой инфекции.

На третий день лечения организмы двоих привезённых в клинику детей, которым было — одному шесть месяцев, второму — год, обнаружили критическое состояние. Рентген легких показал картину очагового поражения обеих верхних долей.

Спустя три дня, 15 февраля из того же Нахичеваньского района поступило еще трое детей с такими же симптомами. И снова было обнаружено, что прививка этим детям была сделана после перенесённых дифтерита, скарлатины и тяжелого гриппа. У двоих обнаружены припухлости в районе коленного сустава, у одного затрудненность дыхания. Нависла угроза возможной смерти трех годовалых детей.

По репутации больницы это могло быть серьезным ударом, тем более, что интенсивная терапия не давала оптимистических надежд. Главный врач больницы решил немедленно поехать к начальнику Отдела по контролю за инфекционными заболеваниями при Наркомате здравоохранения Ниязову и обо всем ему рассказать.

Предварительно позвонив Мамеду Кадыровичу, чтобы договориться о визите, он услышал от него, что через час тот сам будет в больнице.

В руках главврача больницы уже было кое-что. Анализ крови показывал бурную картину туберкулезной инфекции. В лаборатории клиники, на свой страх и риск, без разрешения Наркомздрава республики – экспертизу делать не имели права, поскольку была она прислана из Москвы – обнаружили, что концентрация микробного компонента в вакцине завышена. При попадании в ослабленный организм детей, недавно перенесших инфекционные болезни, иммунная система не выдерживала и... К тому же педиатры районной поликлиники запаздывали с применением медикаментов, считая недомогание естественной картиной, возникавшей под влиянием прививки. И на острой стадии недуга врачи поликлиники Нахичеваньского района Баку все равно лечили детей, как от гриппа или простуды.

Выслушав главного врача Первой городской детской инфекционной больницы, проанализировав данные за последующие три дня, Ниязов согласился, что проблема – не надумана. Она – реальность. Со дня на день могут появиться факты смерти вакцинированных детей. Согласился он и с тем, что надо срочно перестраивать тактику лечения этих детей, начиная применение тех препаратов, которые обычно применялись при заболевании туберкулезом.

Ниязов не мог не отдавать себе отчета в том, что официально признав, что виновна противотуберкулезная вакцина, то есть официально рекомендуя врачам горбольницы и детской поликлиники Нахичеваньского района Баку лечить вакцинированных детей против туберкулеза, он ударит по кампании прививок от этой болезни. А это было чревато!

Вернувшись в свой кабинет в здании Наркомата здравоохранения, еще раз тщательно изучив все имевшиеся у него данные, Ниязов сел писать Докладную Народному Комиссару здравоохранения Азербайджана Самедову...

5.

*Кабинет главного редактора газеты
«Бакинский рабочий» Г. А. Алекперова
16 февраля 1939 года*

Георгий Александрович Алекперов был расстроен. До сих пор нет никакого материала о борьбе с инфекционными болезнями в Азербайджане. Вчера на совещании в ЦК компартии Азербайджана зав. отделом пропаганды, красноречиво глядя в сторону главного редактора газеты «Бакинский рабочий», сказал: «Мы понимаем, что кампания борьбы с туберкулезом

еще только началась в республике, но я думаю, что газетам уже пора рассказать народу кое-что об этом чрезвычайно важном деле, которое, благодаря советской власти, разворачивается в нашем городе...»

Кое что действительно в редакции уже готовилось. И Алекперов надеялся на первое перо газеты – своего друга и тезку Жору Гафурова. Но, к несчастью, он неожиданно свалился с инфарктом и попал в больницу. Дело – долгое, когда встанет на ноги точно неизвестно. Тянуть с темой нельзя... Пришлось поручить молодому журналисту Антону Корнееву, хорошо показавшему себя на очерках о рабочем классе Баку.

Получив на планерке указание Алекперова: *«...посмотри, насобирай материал, тема-то важная, сам понимаешь. Пиши пока небольшую статью на эту тему. Поезжай сегодня же и дай в завтрашний номер!»* Антон сразу же пошел в Горздрав в отдел статистики.

Журналиста «Бакинского рабочего» встретили с радостью. Накидали целый короб статистики о прививках, детских болезнях в городе, подсказали, что в Нахичеванском районе идет сейчас первая фаза кампании, что оттуда вся информация и очень подробная. Предложили – сходите к Ахундову, главному врачу детской поликлиники. Получите у него свежие данные. Антон снисходительно улыбнулся, ладно, сам с усам, будете еще вы меня учить... В тот же день он встретился с Джамалом Ахундовым. Разговор у них получился очень теплый. Один соседник выложил на стол цифры и факты, а другой всё это «проглотил» к обоюдному удовольствию.

На вечерней планерке Алекперов получил от Антона краткую, но очень динамично написанную статейку и тут же распорядился готовить в номер. Статейку

решили поместить в разделе: «Городская мозаика». Получалось неплохо! Георгий Александрович уже что-то мог предъявить своему начальству, торопившему его показать «вести с фронта борьбы с туберкулезом». Недельки через две-три вернется Гафуров и к тому времени кампания борьбы с «главным врагом Советской власти» развернется и мастер будет писать об этом, как положено «золотому перу» – с чувством и расстановкой...

Просматривая готовый свежий номер газеты в типографии, где сегодня вечером дежурил, Алекперов, перед тем, как дать «добро» на выпуск в свет, увидел очень удачно втиснутую статейку Антона. *«Еще совсем недавно перед инфекционными болезнями, их главным монстром – туберкулезом – медицина в республике была бессильна. Убитые горем матери, глядя, как медленно и неумолимо угасают их дети, пожираемые пламенем сокрушительного недуга, сотрясались в бессильных рыданиях. Но вот, благодаря стараниям рабоче-крестьянского правительства, ведомого твердой рукой пролетарской партии большевиков, борьба с болезнями и прежде всего с туберкулезом, стала главным делом нашего времени.»*

Пропуская этот необходимый пафос, Алекперов проскальзывал строчку за строчкой и наткнулся на информацию, полученную автором из Горздрави. *«В Нахичеванском районе города Баку, одном из самых крупных, но неблагополучных районов по числу инфекционных заболеваний среди детей, успешно развернулась кампания вакцинации против туберкулеза. Из пятисот детей в возрасте от года до пяти лет, живущих в районе, уже двумстам сделана прививка. Прекрасную организацию кампании показывает*

главный врач районной детской поликлиники товарищ Ахундов. Договорившись с профсоюзами нескольких нефтеперегонных заводов района, главный врач сумел убедить их дать на выходные дни автомобильный транспорт, чтобы возить бригады врачей и фельдшеров по домам рабочих и проводить вакцинацию прямо в квартирах, чтобы, не теряя времени, охватить прививками против туберкулеза как можно больше детей. Товарищ Ахундов сокрушается: «Мало, еще очень мало удастся охватить детей! Так хочется, чтобы эта борьба со страшным недугом, которому брошен вызов нашей родной Коммунистической партией и Правительством республики, проходила динамично, активно и успешно. Но мы только разворачиваемся...»

Удволетворенно махнув своей кудлатой головой и чувствуя, что поздний час уже дает о себе знать, Алекперов подписал номер в печать и поехал домой с чувством исполненного долга...

6.

*Кабинет главного врача детской
поликлиники Нахичеваньского района
Джамала Ахундова
г. Баку, 19 февраля 1939 г.*

Ахундов, грузно опершись о стол, встал. Он хорошо представил себе, что его ждёт на бюро райкома партии. Наверяд ли дядя Тагы теперь сможет что-то сделать. А тут еще вчера сообщили из детской городской больницы, что все пятеро поступивших из их района детей умрут наверняка.

Сведения были неофициальными. Там работал его приятель из Шуши, с которым Джамал вместе рос еще

в годы детства. Решение комиссии Горздрава камнем висело над головой главврача детской поликлиники. Однако приказа прекратить прививки к Ахундову не поступало! Комиссия хоть и составила грозный отчет, нигде не потребовала прекратить прививки! Наоборот, отдел статистики Горздрава потребовал сводки охвата прививками по его району. Выходит и завтра надо делать то, что приказано: продолжать вакцинацию по установленному в его районе графику! Его, Джамала, инициативу с полным охватом детей прививками, Горздрав одобрил еще три недели назад на совещании главных врачей детских поликлиник города Баку. Более того, городское медицинское начальство опыт Ахундова рекомендовало изучать! Недавно у него был корреспондент газеты «Бакинский рабочий», всё расспрашивал... Затем, статья была напечатана... Джамала там хвалили за инициативу! Нет, тут что-то не так... Конечно он эту газету понесёт в Нахичеваньский райком партии. Неужели там не заметили, как он старается! Но главное – приказа прекращать прививки не было! Он еще повоюет с бюрократами... Почему не дают приказ прекратить?! Значит чего-то боятся? Джамал задумался. В возникшей ситуации что-то не складывалось... Ошибки? Кто их не делает? Пусть докажут мне, что до моего прихода здесь был рай и дети не умирали от инфекционных заболеваний! Спасибо комиссии Горздрава... Завтра с утра начнем исправлять ошибки. Их рекомендация уволить Джамала – глупость! Посмотрим, кто кого...

Ахундов тяжело вздохнул, подошел к вешалке. Будто сомнамбула, надевал он свое большое, тяжелое пальто, нехотя, прикрыв веки, вползая в рукава, воротник, нащупывая непослушными пальцами пуговицы... Натянул дорогую каракулевую шапку. Вышел

из кабинета. У выхода привычно мотнул головой сто-
рожу и вышел в заснеженную ночь.

7.

*Баку, Красноармейский тупик 5.
Квартира супругов Юрьевых,
2 часа ночи, 26 февраля 1939 г.*

...Зина, беременная жена Бориса Юрьева, про-
снулась среди ночи со странным чувством, будто
она лежит в ванной с холодной водой. Такое может
привидеться лишь во сне, подумала она сквозь толь-
ко что прерванную дрему. Сроду в ванной-то не пле-
скалась. Да и где? Только в книжках про жизнь бур-
жуев или в кино можно было увидеть такое. Иногда
в Сабунчинских банях, где ванны были только в очень
дорогих номерах, куда она с мужем ходила пару раз.
Однако, едва она успела отбросить от себя нелепые
мысли, как моментально поняла, что лежит в настоя-
щей луже.

Борис хотел создать беременной на последних
сроках жене, покой и удобство – стелил себе постель
на раскладушке, которую ставил рядом с супружеской
кроватью. Его Зинушка действительно сладко спала,
просторно раскинув руки, будто желая взлететь.

– Борька!! – Крикнула Зина и стала шарить правой
рукой у края кровати, пытаюсь ткнуть, спрятавшегося
под одеяло мужа. – Слышь! У меня уже воды отошли!
Борис!

Муж безмолвствовал. Накануне, накорячившись
с установкой купленного по дешевке у соседа по квар-
тире большого шифоньера, который никак не желал
устраиваться в том углу, куда Зинушка хотела его
водрузить, муж сопел теперь в две дырочки где-то

под ватным одеялом. Он спал, как крот, спрятавшись
в глубину покрова и ничего не слышал.

Зина села, почувствовала тяжесть внизу живота
и нешуточно испугалась. «Борька!!» почти фальцетом
заорала она и тут уж муж вскочил, как ошпаренный.

– А? Ты чего??

– Уже воды отошли! Звони в «Скорую!»

– Какие воды, – не понимая ничего, потирая за-
спанные глаза, бурчал Борис. Но вдруг разом все по-
няв, вскочил, натягивая брюки, стал приговаривать:

– Зинушка, Зинушка! Я сейчас! Ты, это самое...
Ты, не бойся. Я сейчас, мигом.

– Ты не суетись, Боря – уже тише и успокаивая
его, жена инстинктивно придерживала живот. Подума-
ла с укоризной: «Вот напугала, а?!»

Борис выскочил, как был, в майке, на морозный
двор, бросился к соседской двери. Стучит. Там, в со-
седней квартире, жила семья главбуха Горторга Се-
мена Абрамовича Гинзбурга. У них имелся телефон
и ничего Борису не оставалось, кроме как будить со-
седей, чтобы позвонить в «Скорую»! За дверьми за-
возились.

– Это, кто там? – Борис узнал голос Сары Наумов-
ны, жены соседа.

– Сара Наумовна – громким шопотом заговорил
Борис – Зина рожает!

– Боже ж мой! Что ж ты молчишь, – вдруг запри-
читала Сара Наумовна. Впустив Бориса, она вклю-
чила лампу над столиком в прихожей, где стоял
телефон. Борис набрал «03». Там долго не отве-
чали. Сара Наумовна все порывалась спросить
у Бориса, мол как там Зина? Может надо ей чем-то
помочь? Тот смотрел как бы сквозь неё. Она нежи-
данно смутилась, запахнула халат, но продолжала

стоять у телефона.

В прихожую, где были Сара Наумовна с Борисом, медленно и величаво стал вливаться огромный Семен Абрамович. Сильно грассируя, он поинтересовался:

— Г'одила Зина уже, а?

— Сёма, — досадливо поморщилась жена — у неё только воды отошли, понимаешь!

— Какая вода? — С недоумением посмотрел на Сару Наумовну супруг.

— Ай, Сёма! Ты уже все забыл, хотя я родила тебе трех дочерей!

Наконец Боря услышал голос оператора из «Скорой» и стал торопливо им все объяснять. Дал свой адрес и убежал. У самого порога крикнул супругам Гинзбург: «Спасибо!»

Скорая с Зиной приехала в роддом Нахичеваньского района, потому что он был ближе всего от дома Зины Юрьевой. Борю в «Скорую» не посадили. — Нет места! Пробурчал фельдшер, усаживаясь рядом с его Зинушкой и захлопывая дверцу...

Зине было 28 лет. Замуж за Бориса она вышла года полтора назад и долго колебалась, поскольку была старше своего мужа на 4 года. Но однажды Боря хмуро сказал, что если она замуж не пойдет за него — то он уедет на север. Зина, уже привыкшая к нему за целый год их знакомства и его упорного ухаживания, сдалась. Ладно! Замуж так замуж...

Их расписала и пожелала счастья веселая разбитная чиновница из ЗАГСа и Боря привел молодую жену в свой дом, что стоял на улице Низами 28, где он жил с родителями. В углу их большого дома был ресторан «Ширван» и они распили там на пару бутылку шампанского, поели сочных шашлыков из баранины и, вернувшись в дом, насладились в отсутствии

борькиных родителей, своей первой брачной ночью.

Зинушкины родители давно умерли. Мать скончалась в муках, приняв лекарство, предназначенное для наружного пользования. Это ошибся пьяный провизор, перепутав наклейку на баночке.

Отец умер раньше матери на четыре года, промаявшись неделю.

У Бори это был уже второй брак. Первая жена, оказалось стервой — спустя месяц после того, как они расписались, сообщила она, что беременна. Борис оторопел. Ребенка не ждал. Вообще-то хотел пожить с молодой женой, без «детских» забот, годика три-четыре, но....

Узнав от сына про беременность невестки, Надежда Петровна, то ли по хорошей своей опытности в любовных делах, то ли по интуиции, заподозрила что-то неладное и пошла к гинекологу, благо врачиха была её хорошей приятельницей. Поговорили, посудачили. Потом, ни о чем не подозревающая докторша, услышав вопрос подруги, заглянула в карточку её невестки и сообщила: — Три месяца уже у Борькиной Лизы. Готовься бабушкой стать. Время-то летит! Оглянуться не успеешь...

Надежда Петровна ахнула про себя и заспешила домой. А назавтра собрал Борис пожитки своей супруги и без сомнений выставил за порог. Двери крепко запер и стал ждать на дворе её прихода с работы. Решил морду не бить, рассчитывал уговорить — «отвалить» без скандала. Как ни странно Лиза, так звали Борькину первую жену, не артачилась. Взяла чемодан, махнула рукой и пошла. Борис её догнал.

— Идем в ЗАГС... Мне ж от тебя отписаться надо! — Хорошо, что тогда все было просто. Пришел в ЗАГС сегодня — расписался в бумагах, а завтра,



Борис Юрганов
город Баку, 1938 год



Зинаида Юрьева
город Баку, 1939 год

если приспичило, из супругов выписался. И все дела! Вот и теперь, пришли с Лизой в ЗАГС выписались друг от друга и разошлись, как в небе облака под ветром.

Свою Зинушку Борис заметил на танцах в Доме культуры Бакинского телеграфа. Он работал там механиком. Как дурманом заворожила его красота белокурой, зеленоглазой девушки. Влюбился по самые уши. Рядом парней было невпроворот, но Борис, не мешкая, нашел приятеля, который Зину уже знал и уговорил познакомить его. Тот подвел его к девушке: «Зина – Боря» и все дела! Стали танцевать. Слово за слово. Познакомились.

Ухажеров Борис отшил сразу. С чемпионом Баку по боксу в наилегчайшем весе в 1937 году никто спорить не решался. Поначалу Зина не замечала, что парней чего-то рядом с ней поубавилось, и приглашать на танцы что-то её перестали. Потом поняла:

Борькины старания. Он-то её особо и не покорял. Так, все рядом крутится, говорит ладно, карими глазами сверкает.

Полез он как-то целоваться, тут же по физиономии треснула. Смутился, конечно, но ненадолго. «Смотри какая! Чего ж дерешься?» «А ты не спеши...» Сказала веско. Будто устанавливала порядок действий в их отношениях.

Шли однажды домой с танцев. Разболтались, хотя время было уже позднее. Тут к ним уже у самых дверей квартиры, где Зина жила с сестрой Татьяной, трое подходят. В кепочках, в клешах. Рукава на рубашках закатаны.

— Эй, парень, разговор есть! — Борис шепнул подруге: «Не трусь! Я сейчас разберусь...»

Рванулся он к тем парням, как к самым добрым приятелям. Только подошел к одному, одним ударом левой рукой в живот тут же и переломил его пополам. Тот рот распахнул и ни слова не может сказать. Чужак! Не знал про знаменитый левый хук у чемпиона Баку. Второй даже руки поднять не успел, схватился за челюсть с громким мычанием. Саданул Борька удачно и прочно. Третий, схватившись за пах от удара борискиного ботинка, завизжал от боли и стал кататься на асфальте.

То ли с испуга, а может и с радости Зина, минуточку спустя, как они к дому её подошли, Бориса поцеловала прямо в губы, но тут же юркнула в дом! Парень стоял минуты две или больше. Щупал губы пальцами. Блаженно улыбался. Потом с гиком побежал по ночной улице к своему дому. Бежать пришлось не очень долго, потому как жил он от Зины недалеко. Правда, под гору, напрямик, без поворотов, по широкому проспекту Кирова, до улицы Низами, где надо было

повернуть направо и, всего-то делов, добежать до арки с цифрой 28. От арки пара шагов вела к двери его квартиры, где белел квадратик с красивой, собственноручно написанной пятеркой. Теперь, надо всё делать тихо и аккуратно: ключ – в замок. Двери откроются сами. Шагнуть еще тише, чтоб на шкаф не наткнуться. Родители сопят с присвистом...

Притронувшись еще раз пальцами к своим губам, хранившим, как ему показалось, вкус зинкиного поцелуя, Борис мгновенно уснул. О драке он даже не вспомнил.

8.

*Роддом № 26 Нахичеваньского района г. Баку.
27 февраля 1939 г., 4 часа утра.*

Зинушка Юрьева лежала на больничной кровати и тихо постанывала. Волнами накатывали схватки, но пока все было терпимо. Рядом спали женщины, которые уже «отстрелялись». Снова и снова Зинушка, покусывая губы, чтобы удержать стоны, готовилась к худшему. Старшая сестра Шура рассказывала ей, как сама рожала и от этих её рассказов сейчас легче не становилось. Пришла доктор, пожилая, заспанная азербайджанка, осмотрела, дотронулась холодными пальцами низа живота, почему-то цокнула или прочмокала губами (Чего это она? Что-то не так? Зинушка почуяла: мурашки забегали по спине) и удалилась. Через полчаса схватки начались нешуточные, Зина закричала, разбудив женщин. Те сочувственно заохали и стали в тон ей кричать, звать акушерку. В палату вошли врач, уже знакомая Зине, а с ней женщина, которую все в палате почтительно звали Дарьей Михайловной. «Пошли, милая, – ласково пропела Дарья

Михайловна Зине – тут совсем рядом...» Зина с ужасом думала, что ребеночек сейчас вот-вот «высунется оттуда» и упадет на холодный пол, обеими руками придерживала низ живота, согнувшись, неуклюже раскачиваясь с ноги на ногу, пошла за акушеркой и врачом...»

Социальная и политическая атмосфера в республике, которую я попытался обрисовать в представленном фрагменте неоконченного романа, выглядит весьма красноречиво. Нет нужды в яркой фантазии, чтобы понять, что происходило в Азербайджане в 1939 году, в самый канун моего появления на свет. А теперь о самом главном.

...Я родился в 11 утра 27 февраля 1939 года... Шесть месяцев моей жизни прошли без ведома моего разума, который только впитывал сигналы окружающей меня реальности, ограниченной кроваткой, стоявшей в комнате по улице Низами 28, квартира 5, где жила моя бабушка Надя и её муж, мой дед, Александр Павлович Юрганов. Затем я «переместился» по другому адресу: Красноармейский тупик дом 5, где супруги – Зина и Борис Юргановы уже вместе со мной, а с 1947 года с моим младшим братом, прожили почти тринадцать лет...

Я родился, а в это время гигантский мир пространства моего земного обитания жил своей жизнью. «...Летом 1939 года в «Воениздате» выходит массовым тиражом «военно-фантастическая» повесть Николая Шпанова «Первый удар». Там описывается, как в августе неназванного года Германия вероломно нападает на СССР. Все начинает авиация. Но наши доблестные зенитчики и летчики в первые же часы сбивают немцев сотнями. И к вечеру первого дня бомбят военные заводы в Германии. Причем, немецкие рабочие, как истинные пролетарии, приветствуют это. А там уже и машины пошли, и пехота пошла, и помчались лихие

тачанки... Герой романа Симонова «Живые и мертвые» Синцов поминает недобрым словом эту книжицу. Фантастика Шпанова была в фаворе у властей недолго. 23 августа 1939-го Молотов и Риббентроп подписали знаменитый пакт и «Первый удар» изъяли из магазинов и библиотек. Наступила почти двухлетняя дружба Гитлера и Сталина. Началась Вторая Мировая. Усатые диктаторы благополучно проглотили Польшу. Англия и Франция объявили Германии странную войну. Западный фронт есть, до зубов вооруженные армии есть, но никто ни в кого не стреляет. И здесь, значит, фантастика. До тех пор, пока все не пошло по-настоящему.»¹

Это надёжная информация о времени моего пребывания в детской кроватке. Так было в период моего рождения, моего проживания в СССР и в мире, окружавшем огромную страну.

Об этих событиях родители мне ничего не рассказывали. Эту книгу Шпанова не читали ни мать, ни отец.

Тогда тревоги не переживались. Какие тревоги? Советское государство было мощным форпостом свободы. По радио передавались хоровые песни. Могучие мужские голоса вопрошали – «Если завтра – война, если завтра – в поход...» и категорически провозглашали: «Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут железные танки, и линкоры пойдут, и пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки.» Так миллионы пропагандистов убеждали каждого гражданина страны словами военного министра Климента Ворошилова, что империалисты, если они развяжут войну на наших границах, горько об этом пожалеют...

Отец безусловно любил молодую красивую женщину, родившую ему первенца-мальчика, которого назвали: «Олег». Супруги Юргановы поначалу жили в квартире моей матери, доставшейся ей от её матери Прасковьи Кузминичны,

поскольку вся многолюдная родня Юрьевых уже обрела свои семьи, перешла в свои дома. В квартире отца обитали его родители, а в доме матери уже не было никого, кроме неё самой. К тому же негласно главенствовала мысль, что ребенок в возрасте младенца должен быть с матерью и отцом, а не мешать жить родителям своих родителей.

Мой отец – Борис Александрович Юрганов, в 1939 году пребывал в возрасте двадцати четырёх лет и только что отслужил в Красной Армии. Мать была старше отца на четыре года и шёл ей – двадцать восьмой год. Родилась и жила она в Баку аж целых четыре года, пока родители моего отца искали друг друга, затем, найдя, вступили в брак, зачали сына, то есть моего будущего отца, назвав его Борисом...

У моего отца, к моменту встречи с моей матерью, брачный опыт уже был. Правда, неудачный и недолгий... Развёлся он без особых трудностей, поскольку его первая жена, Елена Севастьянова, накануне бракосочетания с Борисом, забеременела... от тайной связи с неведомым энкаведешником. Узнав, со слов мужа – Бориса, что его родители – бывшие чекисты, она сочла за благо сама с ним расстаться. Узнав причину, тот спорить не стал. Пошли в ЗАГС, заполнили разводное свидетельство и разошлись. Впрочем, об этом я уже рассказывал...

Когда Юрьева Зина и Юрганов Борис расписались в регистрационном журнале Бакинского ЗАГСА, на улице стоял холодный февраль 1938 года. Так в Баку возникла еще одна семья, в которой через год родился я...

Что происходило в мире, пока зрел плод любви? Очертания войны, которую назовут Второй мировой, а когда она перекинется на территорию СССР – Великой Отечественной, уже становились очевидными. Шла гражданская междоусобица в Китае и в Испании, а наши вдовы уже получали похоронки на мужей, уехавших в секретные командировки. Следствием глобальных стычек было то, что

1) Электронная библиотека: RoyalLib.com

в советских школах и детдомах во множестве появились испанские и китайские дети. Английские и французские политики-соглашатели *закрывали глаза* на ползучую агрессию Гитлера. Когда Германия *глотаёт* Австрийскую республику, его лозунг относительно объединения всех немцев им кажется уместным и даже невинным. Осенью 1938 года Даладьё и Чемберлен *признают* захват канцлером Германии Судетской области Чехословакии, проигнорировав мнение президента Чехословакии Эмиля Гаха. Полна драматизма сама история подписания президентом документа, по которому Богемия и Моравия официально включались в состав Германской империи, а национальная и государственная независимость страны полностью утрачивалась. Сразу после ввода гитлеровских войск в страну президент Э. Гаха, со своим министром иностранных дел, приехали к Гитлеру. На дипломатические переговоры это было похоже меньше всего. Гитлер поставил свою подпись на документе и вышел. Геринг, Кейтель и Риббентроп подвергли жестокому психологическому прессингу чехословацких чиновников. В случае отказа Риббентроп грозил сравнять Прагу с землей уже утром 15 марта. В 4 часа 30 минут утра Эмиль Гаха, обесиленный и сломленный, поставил свою подпись под документом, накануне подписанным А. Гитлером. Он гласил: *«Президент Чехословацкого государства вручает с полным доверием судьбу чешского народа и чешской страны в руки фюрера Германской империи».*

Наши советские люди *никого не боятся*. Внутренние враги – Бухарин и Рыков расстреляны. Правда, их каратель Ежов из НКВД вскоре уволен, якобы за превышение своих полномочий, а чуть позже, по требованию И. Сталина – казнён. Вместе с тем, советский народ живет *бедно, но... весело*: в кино идет смешная комедия «Волга-Волга». Хватает у народа и *гордости*, доказательство тому фильм «Александр Невский», повествующий об историческом событии:

разгроме немецких псов-рыцарей на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года. *«Все жили вровень – скромно так. Система коридорная: на тридцать восемь комнаток – всего одна уборная»* – писал Владимир Высоцкий, кстати родившийся в 1938 году...

...Мать и отец были *крещёнными православными христианами* и хотя оба выросли в *безбожном* обществе, сумели, тем не менее, прожить в мире и согласии почти пятьдесят лет. Когда я появился на свет, в родительской семье наверняка возникали какие-то проблемы, но о них я не мог даже догадываться. Ну что можно объяснить крохе? Да и надо ли? Мать работала тогда в Бакгорисполкоме канцеляристом, а отец сначала трудился в... Махачкале. Что его туда занесло? Правда, время его пребывания там, судя по трудовой книжке начинается с 1940 года, с марта месяца, но я родился в 1939! Не знаю, по каким обстоятельствам, мой отец уехал в 1939 году в Махачкалу, небольшой город в Азербайджане? Он находился там до апреля 1940 года, работая на телеграфе Махачкалы, пока через год не был переведен в Баку на Центральный телеграф, где освоил профессию механика телеграфных аппаратов...

Не знаю, был ли я в эти годы в Махачкале? Хорошо помню, как моя мать рассказывала мне, что фотография, на которой я был изображён в возрасте около полугода, была сделана уже в *нашей* квартире по Красноармейскому тупику дом 5. Время на снимке – июль или август 1939 года. Судя по блику солнца на моём лбе, погода стояла солнечная. Настроение у малыша – Алика Юрганова – было полным любопытства. Отец суетливо крутился напротив, пытаясь запечатлеть на фотоплёнке миг жизни сына, которому недавно исполнилось шесть месяцев, сидевшего на детском стульчике... Тогда я был еще здоров. Но с этого изображения начинается отсчёт моих бед, о которых речь впереди...

27 августа 1939 года, мне было семь месяцев и начали проявляться первые симптомы грозной болезни, которая полностью перекроила всю мою жизнь и судьбу. Судя по памятным впечатлениям, оставленным моей матерью: «...я не могла понять, что с тобой происходит? Ты, то плачешь часами, то сидишь спокойно и тихо играешь, потом неожиданно хватаешься руками за правое бедро и морщишься...» Это я уже подвергаюсь атакам подступающей жестокой болезни.

А что происходило тогда *внутри СССР*? Двадцать седьмой август 1939 года был значительным днём в жизни страны Советов. Газеты писали: «...Красная Армия начала наступление на Халхин-Голе...» Значение победы советских войск в финале этого наступления я осознал лишь спустя много лет. Мне было семьдесят, когда я написал статью в американской газете «КАСКАД» о маршале Жукове, командовавшем в то далёкое время войсками Красной Армии, противостоявшей японцам на озере Халхин-Гол. Гораздо раньше – в 1979 году, когда мне исполнилось 40 лет, для меня было несомненным фактом, что тогдашний разгром японских армий настолько *впечатлил* захватчиков, что в годы тяжёлого противостояния Красной Армии под Москвой гитлеровским войскам, в начале Отечественной войны, японцы так и не решились вступить в конфликт с войсками СССР на Дальнем Востоке. На этом настаивала Германия, как союзник Японии во Второй Мировой войне. К столице СССР с Дальнего Востока тогда были откомандированы свежие воинские части Красной Армии, что во многом решило исход тяжелейших сражений под Москвой. Об этом писали все советские газеты...

В момент произошедших событий *в мире*, я ещё был не в силах понять их суть. В годы моего младенчества, отягощенного подступавшей болезнью, *Европа* уже была *охвачена* жуткой, бесчеловечной войной! События в мире



Олег Юрганов
город Баку, 1939 год

1939-1940 года, заставляли моих современников осознавать не столько их смысл, сколько *суть государственных интересов* страны, управляемой тогдашними лидерами большевиков, нравственные истоки и политические аппетиты которых возбуждались официальной доктриной марксизма-ленинизма, философией, в которой главенствовал циничный *прагматизм*, осмысливаемый вождями, как диалектический и исторический материализм.

23 августа 1939 года был подписан Пакт Молотова-Риббентропа... То есть, когда его подписывали высшие чиновники Гитлеровского Вермахта и пролетарского государства СССР, мне исполнилось чуть больше полугода. Никто в стране об этом акте ничего не знал! Даже те, кто *считался её элитой*, был за труды и заслуги награждён высшими наградами Родины. Под пропагандистскими, политическими лозунгами граждан Советской страны мастера Агитпропа вовлекли в радостные переживания: случилось *воссоединение СССР с народами стран Прибалтики, с Западной Белоруссией и Западной Украиной*. Всё это представлялось, как ключевое политическое событие той эпохи. Когда я справил свой пятый десяток в конце восьмидесятых – начале девяностых годов, кстати, продолжая жаловаться на боли в тазобедренных суставах и нещадно хромать, из газет и телевидения я узнал о тайном стоворе И. Сталина с гитлеровским правительством, то есть подписанными Молотовым и Риббентропом секретными Протоколами, согласно которым *воссоединение* состоялось. Почти в то же время я узнал, благодаря *гласности и перестройке* М. Горбачёва, что в 1941 году, когда гитлеровские дивизии оказались в шаге от Москвы, возникла тайная и поспешная суета спецслужб СССР, искавших в Болгарии контакты с немецким Абвером, чтобы передать А. Гитлеру предложения И. Сталина о перемирии. Обещании им огромных *территорий СССР*, уже оккупированных Германией, *отказ* Красной Армии

от сопротивления, *взамен* на остановку сокрушающего наступления вглубь страны немецких армий. *Никто, кроме советских спецслужб об этом тогда не знал!*

В запасе у власти страны тогда был огромный опыт строительства идеологических *декораций* с помощью Агитпропа. Дескать, прервём войну, оказавшуюся слишком убийственной и изнурительной, через чур неравной, отступим за Урал, а там... В счёт не бралось малодушие пролетарского вождя, *предательство* им интересов своего народа, равно как и трагедия миллионов, которые за считанные месяцы оказались на оккупированных территориях...

Каждая эпоха имеет свою нравственную логику, понижающую смысл стратегического мышления государственных мужей, неважно питались они соками с ветвей аристократических или корней пролетарских. Гитлер строил государство *расистское*, Сталин – *пролетарское*. Объединяло обеих вождей стремление к глобальному превосходству их *идеологий*, иначе говоря, *алчное* отношение к судьбам народов мира. В свои двенадцать месяцев я не мог *учуять* в происходивших событиях, при активном участии СССР, что спустя годы их итоги *достанутся* мне, уже пятидесятилетнему мужчине. Но *достанутся* в форме жестокой и бесчеловечной *правды*, лишившей меня шанса *уважать* государство, в котором я родился, вырос и жил уже пятый десяток лет!

Так параллели истории страны и моего бытия, пересекаясь, обозначили *болевые точки* моего государства, *кончину* которого я успел *засвидетельствовать*, уже собираясь в дальнюю дорогу через два океана...

...Кто ребёнка родил, вскормил, помог ему сделать первые шаги – младенчество своего дитя хорошо помнит. Но помнить, значит рассказывать! Однако, моя мать очень редко, почти никогда, не повествовала мне о моём младенчестве. Думаю, в этом был свой резон. Скорее всего потому, что

этим периодом жизни я не шибко и сам интересовался: в годы детства мне было не до того. Моё младенчество для матери было временем полным *озабоченности и привыкания к обустройству* моей жизни. Особым спокойствием в младенчестве комочек плоти по имени Алик – моя мама так назвала меня почти сразу, хотя в свидетельстве о рождении я был обозначен Олегом – *не отличался*.

Я кричал, когда мне исполнился месяц – требовал маминной груди. Потом я орал, потому что мне нужно было сменить пеленки. Хныкал, когда еда *«запаздывала»*. Месяца в три я немного угомонился. Начал расти, как растут малыши моего возраста. Моя жизнь входила в некую колею. Теперь за мной приглядывала старшая сестра моей матери тётя Шура. Она брала малютку-племянника к себе, потому что *пришло время* матери возвращаться после родов на работу.

...Мне кажется, что я вижу лица, которые смотрят на меня сверху вниз. То есть, я лежу в кровати, а ко мне подходят повзрослевшие дети тётки Шуры, а иногда и она сама. Что-то мне говорят. Улыбаются. Иногда смеются. Что мог делать в такие минуты я? Конечно же, сначала я был запелённут. Потом лежал в каких-нибудь ползунках. Начал делать попытки сесть. Лица, глаза детей тётки Шуры теперь смотрят на меня почти так же, как и я на них...

Было так или нет, оспаривать бессмысленно, потому что ребёнок именно так и проходит этапы своей младенческой одиссеи! Неожиданно появлялась мама... Я взлетал на её руках, бережно и мягко опускаясь на тёплое материнское окружье груди. Накормив, она сначала пыталась меня укачать и её голос входил в меня, как звуки нежного участия и любви...

Мои фантазии о младенчестве и детстве не будут полными, если я не скажу о бабушке – матери моего отца. Разумеется, невозможно опираться на какие-то объективные признаки моего пребывания в её с дедом квартире.

Я могу только догадываться, опираясь на более поздние представления о том, что я видел вокруг себя уже *осознающими* глазами.

Меня клали на диван, стоявший в столовой-террасе и разглядывали все, кто в это время там был. Возможно, я спал или дремал, придерживая ручками бутылочку с соской, а может быть чмокая пустышкой. Отец восхищенно *прищипывал*, Александр Павлович – дед, поглядывал на меня в непосредственной близости. Возможно, с присутствующей здесь же роднёй или друзьями, отмечал на моём лице черты сходства или различия. Возможно с собой. Возможно с сыном, а может и бабушкой Надей, которой тогда было сорок четыре... Она, ко всяким *сюсюканьям* не будучи охочей, осторожно оглядывала мой лик, сразу замечая моё плотное сходство с чертами лица матери. Не находя в моих чертах видимого присутствия своего сына или... своего мужа – моего деда, хмурилась. Примерно так сохранились в моей фантазии следы первого созерцания меня в квартире родителей отца. Уже неважно, можно ли, надо ли это *доказывать* или не стоит...

В пространстве памяти возник провал... Затем появились новые представления обо мне, как внуке Юрганова. И складывалось это почти спустя десять лет, в году сорок девятом или пятидесятом. Тогда я сравнительно надолго поселился в большой и ухоженной квартире бабушки. Но об этом позже.

Не думаю, что меня-младенца часто созерцали мои родные тётки и дяди: Сергей, Михаил, Николай Юрьевы, тётя Шура, Мария, Татьяна – маминны братья и сёстры. Разумеется, родня вполне могла заглянуть в квартиру самой младшей сестры Зины Юргановой, чтобы поглазеть на племянника! Детей у дяди Миши не было. Потомства брата Сергея никто никогда не видел, потому что жил он в Новочеркасске. Наследников Шуры Ионовой и Мани Шевыревой видели все, поскольку жили они в Баку. Дядя Коля, после нежданного рождения дочери Аллы и бегства в неизвестность её матери,

сразу же передал её в руки сестры Шуры. У Тани Юрьевой детей тоже не было.

Память удержала в моей памяти лишь редкие моменты посещения мною дома тёти Мани и общения с её детьми, до мгновения, когда самому младшему её сыну Валерию исполнилось шестнадцать, а старшим детям – Славе и Альбине – было уже двадцать пять или тридцать.

Гибель на войне старшего сына тёти Шуры – Володи, моя память удержала, как и послевоенное, тихое прозябание её младшего сына Юрия и его смерть. Тяжкие припадочки, трудный строй речи, похожий на мычание эпилептика Валентина – последнего сына старшей сестры моей матери. И всё только потому, что мы встречались в Баку, из которого я навсегда уехал в самом конце пятидесятых. Теперь моя память едва удерживает слабые очертания лиц родни по *материнской* линии, которые давно ушли в небытие...

...Переход от младенчества к осязаемому детству проходил у меня, скорее всего, болезненно и нервно. Те состояния, через которые я прошёл, лишили меня покоя, как только стали обнаруживаться грозные признаки подступавшего *костного* туберкулёза. Об этом мне рассказывала мать, правда, крайне редко и конечно со слезами.

Тем не менее, *природа* брала своё! Я делал в кровати попытки встать, но у меня получалось плохо. Подступавшие боли мешали той живости, которая так характерна для малыша, переживающего первый год жизни.

Болезнь начинала развиваться с признаками обычной простуды – с температурой, недомоганием, капризами. То есть, с теми *«прелестями»*, которые сопровождают каждую семью, где рождается и заболевает ребёнок.

Меня удивляет *упорство* врачей города Баку, к которым моя мать обращалась за помощью. Они упрямо твердили, что *«грипп»* – единственная болезнь, которую следует лечить, чтобы вернуть мне – малышу – здоровье. И лечили!

Давали... стрептоцид. Микстуры от кашля. От соплей – капли в нос. Точного *«графика»* развития моего недомогания я не знал. Мне исполнилось что-то около года или полутора лет. Судя по немногочисленным воспоминаниям моей матери, именно *«грипп»* оказался на тот момент болезнью *официально* диагностированной у меня бакинскими *докторами*.

Не думаю, что этот диагноз вызвал у матери особую тревогу. Разумеется, беспокойство было, но *обыденное* наименование болезни не вызывало паническую реакцию родителей! Сравните: *«грипп»* и *«туберкулёз»*... Вторая болезнь может ввергнуть в шок, поскольку в родительской памяти жила беспомощность перед сокрушительным разрушением, на которую это недомогание было способно, судя по опыту моего отца, страдавшего *компенсированным* туберкулёзом лёгких.

Костный туберкулёз, точнее туберкулёз тазобедренных суставов, протекает не столь бурно и разрушительно для ребёнка, как если бы очаг начал возникать в лёгких. Именно по этой причине боль и разрушения в организме малыша протекают вяло, скрытно, обнаруживая внешние признаки обычной простуды – сопли, недомогание, температуру, кстати, не слишком высокую, где-то 37,0–37,7. Только опытный врач, плюс тщательный анализ крови позволили бы обнаружить истинную причину заболевания у ребёнка.

С шести месяцев до года продолжались безуспешные попытки моей матери добиться... *верного* диагноза. Я думаю, что причина беспомощности врачей была проста: их низкая квалификация. *«Прихожу, – рассказывает однажды мать – доктор, это была женщина-азербайджанка, стала слушать стетоскопом твои лёгкие. Потом увидела твой нос со следами соплей и как бы спохватившись, сказала, что ей всё ясно: грипп! Был, кажется, ноябрь или декабрь. Погода промозглая, неприятная. Ну что я могла сказать ей в ответ? Выписала она стрептоцид, сказала как пить, растворив протёртую таблетку в кипячённой воде. Вот и всё!»*

Позже, мать всё-таки добилась проведения анализа крови, в которой сразу же обнаружили палочку Коха. Однако, этот факт не слишком озаботил участкового врача. Узнав, что месяца четыре назад у меня была противотуберкулёзная прививка, доктор сказал, что само появление в крови возбудителя туберкулёза не гарантирует, что болезнь уже захватила мой организм. Тогда-то мать впервые услышала фразу: «...после гриппа такие осложнения случаются...» С той поры сочетание «осложнение после гриппа» упорно повторялись всеми Бакинскими врачами, к которым обращалась моя мать. В такой ситуации никому и в голову не приходила мысль сделать рентгеновский снимок правого бедра, куда постоянно двигалась моя ручка, с желанием *снять боль*. Мать постоянно об этом говорила каждому врачу, но этот факт в расчёт не принимался. Настал день, когда в районе правого тазобедренного сустава появилось покраснение. Даже лёгкое прикосновение к этому месту вызывало у меня плач, а через месяц-два там прорвался гнойный свищ. Анализ гноя показал, что у меня – полуторагодовалого малыша – начался туберкулёзный процесс в правом тазобедренном суставе. Я перестал вставать, потому что делать это было больно.

И тогда, согласившись с уже ставшим рутинной врачебным приговором: «...осложнение после гриппа в форме туберкулёзного коксита правого тазобедренного сустава...» бакинские врачи разводили руками, *беспомощно* бормоча, что сделать ничего не могут. Оказались среди них и те, кто сомневался, что анализ гноя из свища показывал палочки Коха. «...На туберкулёз это не похоже... Анализ или возможно, или определено, ошибочен. Скорее всего, так проходит какой-то воспалительный процесс, созрел некий абсцесс, природу которого определить не просто...» Так или почти так выражались доктора из городских поликлиник, куда обращалась за помощью моя, вконец растревоженная, мать.

Я не хочу здесь вдаваться в оценки здравоохранения

Азербайджана в тридцать девятом, сороковом, сорок первом годах. Я подробно писал об этом в первой книге этой трилогии – «Родня и Время» » и в отрывке неоконченного романа «В самом конце зимы». Для моего пробуждавшегося разума все обстоятельства развития моей болезни пока оставались *недоступными*. Болезнь я воспринимал, как реальность *подсознательно*. К моменту моего раннего детства – годам к двум-трём – она уже во всю *бушевала* в моём организме, захватывая уже второй – левый – тазобедренный сустав. Я не готов оценивать хоть кого-то из врачей, кто был ответственен за моё состояние. Да и кому нужны эти мои оценки? Факт был жесток и конкретен: к исходу второго года жизни прорвался уже второй свищ – на этот раз в левом тазобедренном суставе. Еще через полгода третий, чуть ниже самого первого свища, на правой ноге, с противоположной стороны бедра. Отчаяние моих родителей было *безграничным!*

Второй гнойный абсцесс – слева, врачей просто обескуражил! Получалось, что развитие болезни в левом бедре они просто *проморгали!* Теперь, совершенно безоговорочно было видно: поражены сразу два тазобедренных сустава и в организме возникла реальная угроза для жизни.

Мать работала в Бакгорисполкоме уже несколько лет. Своё начальство знала в лицо. Она стала добиваться, чтобы меня поместили в противотуберкулёзный санаторий в Бузовнах, поскольку диагноз – туберкулёз – теперь был *объявлен и записан* в истории болезни. Но попасть в санаторий в начале 1941 года было делом нелёгким. И всё же ей помогли... Я оказался в маленьком прибрежном городке Бузовны, располагавшемся неподалеку от берега Каспийского моря.

Угроза жизни младенца – печальная и увы(!) отнюдь не редкая реальность конца первой трети XX века в Азербайджанской ССР. Случилась она в семье неимущих трудящихся. В республике, как и во всём СССР, Советская власть,

во времена тоталитарного режима М. Багирова, опиралась только на этот социальный слой, считала его *авангардным*. По-видимому это как-то повлияло на решение чиновников откликнуться на слёзные просьбы моих родителей...

Стандарты реального здравоохранения в республике не были готовы к схватке с *двухсторонним* туберкулёзным тазобедренным кокситом. Не приходилось рассчитывать и на то, что костный туберкулёз будет лечиться профессионально. Во всяком случае, по тогдашним показателям качества медицинского обслуживания в Баку. То, что я попал в противотуберкулёзный санаторий было скорее *исключением* из правил, неким чудом, чем нормальной реакцией медицинских чиновников республиканского здравоохранения на факт тяжелейшего заболевания, случившегося в организме ребенка полутора-двух лет. Благоприятным обстоятельством для меня скорее всего оказалось то, что моя



САНАТОРИЙ ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХЪ ДЪТЕЙ ВЪ С. БУЗОВНЫ.

мать работала в руководящем органе столицы Советского Азербайджана – Бакгорисполкоме. Наконец, мне повезло – санаторий в Бuzовнах, после оккупации Азербайджана 11-й Армией, не был разрушен. Созданный русскими энтузиастами-врачами еще задолго до революции, именуемой «Октябрьской», он стал принимать больных туберкулёзом детей в конце XIX века. Шанс выжить дал мне второй или третий год существования санатория в годы Советской власти, адаптировавшей опыт врачей, которые вели там борьбу с этим тяжким недугом.

Как тогда лечили костный туберкулёз, не знаю. Наверняка, были какие-то специальные лекарства. Но то, что в 1939, 1941, вплоть до 1944 года не было пенициллина и стрептомицина, главных «борцов» с палочкой Коха – факт общеизвестный! Морской воздух, покой, питание давали возможность опираться на ресурсы организма, который атакам разрушительной болезни хоть как-то сопротивлялся. Какие-то методы лечения были, но что я мог знать о них в свои полтора или два года жизни? Разве что со слов матери, которая приезжала ко мне в санаторий два или три раза за пять лет моего там пребывания.

«Твоя палата была размером с нашу комнату в квартире. Метров 15-20 квадратных. Вдоль стен и окон стояло пять маленьких кроватей, между которыми размещались крохотные тумбочки и были очень узкие проходы. Твоя кровать стояла сначала у окна – мне сказали, что ты хотел смотреть в небо. Потом твою кровать поставили у выходной двери. Мне объяснили нянечки, что ты часто всхлипывал, глядя на небо и неожиданно попросил поставить твою кровать у двери, ведущей в санаторный коридор. Там проходили дети на костылях, врачи, медсёстры, нянечки и тебе было интересно смотреть на ту жизнь, за дверью. Ты перестал всхлипывать, отвлекаясь впечатлениями от увиденного. Лежал в кроватке с высокими спинками у изголовья



В санатории в с.Бузовны
1940 год

и ног, с низкими барьерами по бокам. На груди был лиф, от углов которого свисали ленты, которые привязывались к бортикам кровати. Поначалу тебя не гипсовали, потому что у тебя был активный процесс, из свищей, в районе обеих бёдер, шёл гной. Но потом надели гипс и ты был похож на белую глыбу, лежавшую в кровати...»

Я не смогу воспроизвести каждодневный быт больницы палаты, в которой лежали пять мальчиков, поражённых туберкулёзом. Обо всём этом я буду писать позже, когда, пробудившаяся память, впитав мою больничную повседневность более позднего возраста, запечатлит на всю жизнь моё пребывание в подобных больницах и санаториях. Не думаю, что впечатления сильно разнятся у ребёнка и сравнительно взрослого человека, пребывающего в таких учреждениях. Та же рутинная повседневность лежания. Те же неудобства привязного содержания. Такие же чувства надежды,

переполнявшие душу больного человека, ожидающего исхода развития болезни и, разумеется – полного своего выздоровления.

В той ситуации, в которой я оказался в Бузовнах, в мои семьдесят шесть лет, сейчас, я могу предположить *вероятность* моей гибели в годы, когда в июне 1941 года на СССР напала фашистская Германия, и Гитлером планировался захват Баку со всеми вытекающими последствиями.

Я писал в первой книге трилогии о тех обстоятельствах, которые возникли в Баку и в Азербайджане в период продвижения полчищ Вермахта к границам республики. Желание Гитлера, захватив Баку, использовать нефть для обеспечения германской армии горючим, было столь велико, что опасаясь неуправляемого размаха пожаров на нефтяных скважинах, он запретил бомбить столицу Азербайджана и его нефтеносные окраины. Это и спасло меня от *неминуемой гибели*, как и десятки больных детей, в эти годы лечившихся в Бузовнах.

Я уже писал в книге «Родня и Время» о рытье оборонительных рвов вокруг Баку, готовившегося к длительной обороне. То, что моя мать была призвана на эти работы, наряду с тысячами бакинцев, я не знал. Как и то, что она заболела малярией и слегла на месте земляных работ, пребывая в тяжёлом бреду. Мой отец фактически её спас, потому что сумел вывезти её оттуда в городскую квартиру в Красноармейском тупике дом 5, где она как-то оклемалась, едва шевелясь от слабости. «Я была настолько слаба и так измучена болезнью, что уже готовилась умереть от страданий, которые обрушились на мою голову...» Разумеется, лёжа в санатории, я даже не мог догадываться, что угроза потерять мать была реальностью! Столкнувшись с жуткими страданиями своего младенца, мать полтора года боролась, чтобы спасти меня от убийственной болезни, а теперь сама умирала от малярии, мечась в бреду с высокой температурой в своей холодной квартире, выкарабкиваясь из тисков недуга.

Моя потребность в матери определенно была выше тех чувств, которые питали брак Зины и Бориса Юргановых, потому что степень моей беспомощности была *абсолютной*. Дорогого стоит и то, что муж Борис Юрганов сумел вызволить свою жену Зину из дождя, слякоти, болотной жижи бесконечно длинных противотанковых рвов, которые копали тысячи бакинцев. Он привез мать в Баку на попечение её старших сестер Тани и Шуры, потому что сам, уже сутками напролёт, работал на Центральном Бакинском телеграфе.

...Однажды, скорее всего к исходу 1944 года, ко мне в палату пришла страшно худая, осунувшаяся женщина в платочке, потёртом пальто. Было начало весны. Я... *не узнал* мою мать. Она села на стул рядом с моей кроватью. Молча на меня смотрела. Потом начала всхлипывать, не в силах справиться с чувством сопричастности к моим страданиям. Они были очевидны, едва она взглянула в глубину моего больничного ложа, хранившего в белой массе гипса моё тщедушное тело! На плоской подушке покоилась выстриженная под «нуль» голова, тонкие руки лежали вдоль тела, а кончики пальцев ног торчали из-под простыни.

«...Ты спросил удивлённо: «Кто вы?» Я заплакала... «Я твоя мама...» сказала я робко. Тогда ты протянул ко мне руки...»

За четыре года моего пребывания в санатории болезнь приобрела вялотекущий вид. Это означало: головки берцовых бедренных костей окончательно сгнили. Свищи, выкинув на поверхность гной, нехотя и постепенно начали затягиваться. К весне пятого года моего пребывания в санатории, они затянулись. С меня сняли гипс, на котором у бёдер были вырезаны окошки, через которые раствором марганцовки мне каждый день промывали раны и накладывали салфетки...

Со слов матери, которая рассказывала мне историю о том, как я впервые в жизни поднялся на ноги, начинается

моя судьба «*ходячего человека*». Мне исполнилось пять с половиной или шесть лет...

...По *всплеску* памяти могу вообразить момент моего крещения в церкви. Затем всплывает встреча с отцом, которая случилась на квартире у бабушки. Эти мгновения я описал в книге «Родня и Время». События эти были в моей жизни значимыми, потому и запомнились ярко и однозначно. Конечно, было еще множество каких-то иных эпизодов в тот же период, но оказались они вне пределов моего восприятия и запечатлевания. Меня берегли родители, боясь перегрузки моих чувств, обычно до предела заполнявших детскую душу...

...В 1944 году умер мой дед – Александр Павлович Юрганов. Я не помню его физического облика, потому что пришла кончина на время моего пребывания в санатории. Возвратившись оттуда в квартиру матери на Красноармейском тупике 5, я целыми днями пребывал в доме. Мне дали костыли и я начал робко тренироваться ходить, пытаюсь сделать в день несколько шагов внутри комнаты, где стояла моя кровать. Было нелегко. Болели подмышки и, главное, мне не удавалось сохранять устойчивое равновесие. Откатываясь то влево, то вправо, я постоянно рисковал завалиться и упасть назад, или вперед. Чаще я проводил время в кровати, играя со своими незатейливыми игрушками.

Между мамой и её свекровью проходили какие-то переговоры обо мне, точнее о моём переходе в бабушкину квартиру на улице Низами 28 кв. 5. Я перебрался туда весной 1945 года. Отец, будучи военным служащим, находился в Крыму, в совхозе имени Чкалова, но неожиданно приехал в Баку. Был он в гимнастёрке, галифе, при погонах с тремя лычками. Он увёз нас с мамой к себе в Крым. Осенью мне исполнилось шесть лет и восемь месяцев. Меня отвели в школу и я начал учиться в первом классе.

...Когда, в начале лета 1945 года, мы приехали в Крым и стали жить в доме отца, который очень постарался, чтобы создать там уют и удобство, тамошний климат очень сильно меня, шестилетнего пацана, *возбудил*. Я принял благо здешнего тепла и ароматного воздуха, который буквально возрождал меня, моё тело от вялой депрессивности. Я научился гораздо уверенней двигаться на костылях и чувствовал, как с их помощью можно извлекать из мышц и костей медленно зревшие возможности, оживлявшие мой опорно-двигательный *аппарат*.

Я передвигался на тонких ногах по зеленым полянам, лесочкам и садам, в которых росли огромные антоновки, невероятно сладкие и вкусные, делая шаги с помощью двух костылей, упиравшихся в мои подмышки. Совхоз имени Чкалова специализировался на выращивании яблок и было их здесь великое множество!

К нам в гости приехала бабушка Надя. Я заметил, что она очень удивилась тем переменам, которые в тот момент являл собой её внук. С ней и с матерью мы ходили на речку, потом отправлялись в совхозный сад, собирать яблоки. Копались в огороде, который находился у самого дома и *наслаждались* все вместе состоянием покоя и *ровного* отношения друг к другу. Я и сам удивлялся этому, потому что в Баку, при встречах со свекровью, моя мать нередко довольно дерзко разговаривала с бабушкой, а та отвечала ей тем же. Эти стычки я помню до сей поры. Наверняка, причиной тому были характеры женщин, разность их воспитания, прожитая жизнь. Однако, иногда мне казалось, что вольно или невольно, расстройству нравов этих женщин способствовал я, а точнее, моё пребывание в бабушкиной квартире.

Слишком часто мне приходилось находиться в болезненно мрачном состоянии, которое скрыть от обеих женщин было невозможно. Хотя и мать, и бабушка не спешили реагировать на мои болезненные капризы, но оставаться

равнодушными к их проявлениям им было трудно, потому что они *впитывались* в их психику и настроение. Хотя я и не был ребёнком вредным, удержать болезненные эмоции мне было очень непросто. Так же трудно было и взрослым игнорировать тяготы больного ребёнка. Словно табачный дым, мои едва слышимые стоны, гримасы, накапливаясь, отравляли дыхание и чувства женщин, заставляя их раздражаться по пустякам, срываясь друг на друге. Вести себя иначе, как-то сдержаннее, я ещё не научился...

...В Крыму всё было по-другому. В сельской местности, среди буйства зелени и аромата цветов, послевоенная разруха и нищета не были видны. Во всяком случае мне. Разве что обилие изуродованных детей, потерявших руки, ноги, глаза от взрывов, выстрелов, сделанных из найденного на земле оружия, которое во множестве валялось в лесах, на полях и было доступно местным пацанам, избавленным от строгого надзора взрослых, занятых на совхозных полях и фермах с утра до вечера...



Надежда Георгиевна
Юрганова
1945 год



Зинаида Юрганова
1945 год



Олег Юрганов
1945 год

...Вокруг меня царил хмельная, ароматная гармония природы и первородная ясность человеческих отношений – меня, бабушки, матери и отца. Я так увлёкся свободой, что почти не чувствовал боли в бедрах, скакал на костылях, как молодой бычок, радовался неведомым ощущениям жизни, не думая о том, что все эти минуты счастья – временны.

С приближением осени бабушка из Крыма уехала. Отец еще не знал, что очень скоро предстоит всеобщая демобилизация. Начался сырой, дождливый осенний сезон, а с ним пришли стойкие, затяжные боли в бедрах и долгая болезненная лень, справиться с которой не было никаких сил. Я часами сидел или лежал в постели у окна, глядя на стекавшие по стёклам капли дождя, прислушиваясь к мерному шуму осенней непогоды или играя на трофейной немецкой губной гармошке, которую подарил мне отец.

Школа меня не привлекала. Я не чувствовал никакого

желания учиться и очень обрадовался, когда наступил-таки день увольнения отца из армии. Тогда я не знал, что у него был *компенсированный* туберкулёз лёгких и в Крым его направили из Рыбинска, где в тамошнем климате он стал медленно угасать. Приехав сюда, он обрёл здоровье, исполняя приказ своего фронтового командования оборудовать в совхозе имени Чкалова радиоузел и отремонтировать разрушенное здание клуба. Спустя почти полгода пребывания в этом благодатном крае, он, после демобилизации, должен был вернуться в Баку, к месту, где постоянно жил до войны. Отъезду я был очень рад. Осенний Крым перестал мне нравиться, а необходимость ходить в совхозную школу сильно меня угнетала...

...Еще перед поездкой в Крым, мать тревожилась, смогу ли я, после возвращения в Баку, хоть как-то передвигаться? Но её тревоги продолжались недолго, а отец, по-моему, об этом даже не думал! Он видел, что я не хочу отставать от своих сверстников. Как у меня получится двигаться с костылями, отец предоставил решать мне самому.

В первые дни пребывания в Крыму выходить на улицу, встречаться со своими сверстниками мне не хотелось. Стеснялся... Хотя играть с ними я очень хотел. Не знал, как это я могу делать? Растерянность, смущение преследовали меня, когда осторожно, неумело, иногда падая на траву, я передвигался на костылях по маленькому двору нашего дома в Крыму. Лишь изредка я забывал о своём состоянии, сидя на траве и глядя на шумные потасовки моих сверстников, не решаясь подойти к ним.

Как ни странно, меня не удивляло множество покалеченных ребят. Они были жертвами случайных взрывов гранат и лимонок, раскиданных в полях и садах. Натыкаясь на них, мальчишки с ними баловались, подрываясь и калеча себя. Со временем всё заживало. Оторванные конечности становились культями. Я поражался, видя, как ловко прыгали

пацаны на своих изуродованных ногах, ловко манипулируя культиями рук, остатками пальцев, да так, что им можно было даже... позавидовать. То было время созерцания следов уже забытых страданий сверстников, привыкших к своему положению инвалидов.

Многих из них я видел на речке. Плавали они так же ловко, как и бегали на земле, пребывая то ли без руки или без ноги, с покалеченным лицом, демонстрируя страшные шрамы на теле. Ступить в воду я долго не решался. И всё же то, что я видел в Крыму, было для меня настоящей школой жизни. Однако, был я еще слишком мал, чтобы пытаться повторить всё то, на что были способны мои искалеченные *военными игрушками* крымские сверстники. Тем не менее, в Крыму я научился хоть как-то *скакать* на костылях. Даже лазил по деревьям. Особенно ловко и быстро мне удавалось ползать по траве. Как ящерице...

Всё, что удавалось мне делать в Крыму куда-то исчезло, когда мы вернулись в Баку! Мои ноги снова одеревятели, а тело утратило гибкость. Учёбу следовало продолжить, но пока мама узнавала, как учиться дома больному ребёнку, налаживала контакты с ГОРОНО, всё это время я бездельничал, сидя дома, не рискуя выходить во двор. К тому же погода стояла слякотная. Потом резко наступили заморозки и выпал снег.

Наконец, меня определили в домашнюю школу. Получилось, что учиться в первом классе я продолжил зимой, когда мне уже *«стукнуло»* семь с половиной лет. Ко мне начала приходить учительница Мария Сергеевна Кочарова. Мои учебные будни в Баку продолжились...

...Восьмой день рождения мне справили в квартире мамы. Помню, погода наладилась, даже солнце выглянуло и быстро стаял снег. Я вышел на порог нашей квартиры. Родители легонько придерживали меня под локотки. Отец распахнул входные двери и я осторожно вышел из дверного



Олег и Зинаида
Юргановы
Крым 1946 год

прямоугольника на крохотный пяточок внутреннего дворика, огороженного низким палисадником...

...В Баку я узнал множество детских болезней самого экзотического свойства, мучивших моё тело. Обыденные действия рук и ног – решительно не подчинялись простейшим нормам гармонии. Лишь к пятнадцати-шестнадцати годам я начал понимать, что следы, которые оставили детские болезни на моём теле, всё-таки не были самыми драматическими, тем более, что со временем они сгладились и почти исчезли. Всё познаётся в сравнении! Когда, опять же, спустя годы, я увидел удручающее уродство тел, поражённых детским параличом, называемым *полиомиелитом*, который искалечил тело моего саратовского друга Михаила Чернышёва, у меня были все основания радоваться, что моё тело, поражённое туберкулёзом, не столь беспомощно...

...Когда я встал на костыли, мне казалось, что двигаясь среди здоровых людей, мне никогда не удастся обрести хотя бы жалкое подобие нормы! Я избегал видеть своё

отражение в зеркале. Жалостливые взгляды окружающих людей вызывали у меня страшное смущение. К тому же, при движении я испытывал мучительные боли в бедрах. Упираясь дрожавшими от напряжения ладонями в ручки костылей, я изредка двигался внутри комнаты родительской квартиры, пока хоть как-то не окрепли мои мускулы...

Созерцая мою ходьбу в детстве и в Крыму, и в Баку, наиболее чувствительной и скорой к слезам была мать. Она постоянно пыталась мне помочь. Все время меня подбадривала. В Крыму она вовлекала меня в ходьбу, как в игру, которую я должен был освоить и радовалась, видя, как я скачу по траве. В Баку всё было иначе. Она работала, оставляя меня на восемь часов в квартире, невольно предоставляя мне самому привыкать к собственной беспомощности. К тому же, постоянно побуждать в ребёнке преодоление непрерывной боли – невозможно. Точно так же, как нельзя ждать от здорового человека *беспрерывного* сочувствия, тревоги и утешения. Позже, находясь в больницах и санаториях, я видел, как обслуживающий персонал привычно надевал на лицо дежурную маску сочувствия, глядя на изуродованные болезнью тела пациентов. Врачи, медсёстры, нянечки и санитары ко всему просто привыкали. Иначе невозможно! Настал момент, когда и моя мать *привыкла* к моему жалкому облику. Живя в Баку, я катастрофически терял навыки, обретенные в Крыму, потому что я больше лежал и сидел, чем ходил по квартире. Наконец, она научилась не реагировать на моё худое, скорее даже костлявое тело, пытающееся сделать несколько шагов с помощью костылей. В детском возрасте я очень скоро *врос* в уродливую форму моего тела и не нуждался в сочувствии, которое меня даже тяготило, доводя до злых слёз.

Когда в детском возрасте моё тело становилось объектом *созерцания* на улицах Баку, сочувствие отражалось в естественных людских эмоциях. Инстинкты здоровых

невозможно было заглушить, когда перед ними появлялось существо, едва передвигающееся по поверхности асфальта. Представьте большеголового мальчика с русыми, коротко стриженными волосами, с большими глазами и напряжёнными чертами лица. Губами, сведенными в тонкую, кривую линию – след постоянной боли, которую приходилось преодолевать при каждом шаге. Плечи приподымались под давлением перекладины костылей в подмышках, а пальцы сжимали перепонки ручек. Ноги были неестественно тонкими, с почти усохшими икрами, сжатыми пальцами стоп, торчавшими в щелях сандалий. Как и все дети я ходил летом в шортах или брюках. Если я надевал шорты, впечатление обострялось! Чтобы сделать следующий шаг, требовалось напрягать свой позвоночник и когда я это делал, то инстинктивно, перегибал его назад, грозя опрокинуться и упасть на спину, или на грудь, что изредка случалось. Координация при движении у меня была настолько неумелой, что я падал, сильно ударяясь об асфальт затылком или грудью. Чтобы встать мне требовалось прилагать массу усилий и, если это происходило среди людей, у некоторых возникало инстинктивное желание *подхватить* этот *живой скелет*, оторвать его от асфальта и поставить на ноги, подперев поднятыми костылями. В свои восемь лет я *забыл*, как *скакал*, будучи шестилетним в Крыму, хотя и там падал на траву, предпочитая ползать, как ящерица или лазать по деревьям, как белка.

В моём семи-восьмилетнем возрасте мне тот опыт уже не помнился, в память просачивались иные явления. Человеком я был упрямым. Заметив подходивших ко мне прохожих, с протянутыми руками, желавших мне помочь, я отказывался, ворча какие-то слова. При этом выражение моего лица было настолько сердитым, что люди робко отходили, предоставив мне самому выпутываться из нелепостей, в которые я попадал, упав на асфальт. Забыть это *невозможно*, потому я и описываю столь подробно коллизии,

случившиеся в моём давнем прошлом.

После возвращения из Бузовнинского санатория, а потом из Крыма мать, привыкнув ко мне в Баку, стала воспринимать мои бытовые передвижения уже без избыточного внимания. То есть, в отношениях с матерью, при жизни в квартире по Красноармейскому тупику дом 5, стала оформляться та *о б ы д е н н о с т ь*, которая постепенно становилась естественной для меня и родителей. Инстинктивные резервы характеров постепенно истощались. Отец – мужчина, ко всему привыкал быстро и безболезненно. Расчитывать на чувства женщины-матери, в которых постоянно, на фоне передвижения по квартире больного ортопедическим недомоганием ребёнка, преобладали бы только *тёплые* эмоции, нежности, сочувствия, было *невозможно*.

Малолетний ребёнок, изуродованный болезнью, не обладает навыками бытового уравновешенного поведения, в котором всегда *главенствует норма*. Этой нормы просто *не было!* Вот почему в детстве я мог ходить и задеть локтем или неловким движением тела чашку, которая упав на пол – разбивалась вдребезги. Это могла быть дорогая для памяти отца или матери вещь, утрата которой вызывала у кого-то из них произвольную реакцию недовольства или досады.

Так случилось, когда однажды я разбил чайную фарфоровую чашку. Накануне я помыл её, вытер полотенцем и поставил на стол. Я стоял, опираясь подмышками на перекладины костылей. Происходило это на кухне в квартире матери. Я почувствовал, что теряю равновесие и, чтобы не упасть, поставил чашку на край стола. Быстро схватился рукой за столешницу, другой рукой держась за ручку второго костыля. От толчка моего тела об стол чашка дрогнула, опрокинулась на бок, соскользнула и, упав на пол, разбилась на мелкие осколки. Подхватить её я не успел...

Пришёл с работы отец. Увидел случившееся. Очень возбужденно отреагировал. В разговоре с матерью он стал

с горечью вспоминать, как подарил ей эту чашку к какой-то годовщине. Кажется, то был момент их знакомства или какой-то другой памятный день...

Утрату чашки мать восприняла спокойно, но отец никак не мог утомниться. Обхватив коленки, сгорбившись, опустив голову, я сидел на своём сундуке, который стоял в коридоре. Не знал, как реагировать на громкие *эпатажи* отца. Наконец, я не выдержал и расплакался. Уж точно не из-за разбитой чашки! Её я воспринимал, как досадную *«жертву»* моей болезненной неловкости, справиться с которой было очень непросто. Мои мускулы были настолько слабы, что координацией движения тела управлять не удавалось. По-видимому, эта *досада* отца как-то накапливалась во мне и лопнула, вылившись горькими слезами обиды. Уж и не знаю на кого? На отца ли, на самого себя, на... чашку, обломки которой лежали на столе. Тогда мне очень хотелось – это я помню очень хорошо – чтобы мать подошла ко мне и *пожалела* бы меня. Или заставила отца перестать *стенать* по поводу этой злополучной чашки. Но возникла иная реакция, которая постепенно и стала *привычной* для моих родителей – матушка шутливо проговорила что-то вроде: *«Ну хватит, Боря...»*. Отец отрешённо умолк, махнул рукой и вышел из комнаты...

Разумеется, никаких выводов для себя я не сделал. Для выводов я был еще слишком мал и немощен, да и в себе эту свою неловкость хранил недолго. От случившегося вовсе не страдал, молча не клялся себе: *вот вырасту, куплю такую же чашку, подарю отцу или матери...* В своём вынужденном *уродстве* и *неловкости* я не был романтиком, потому что еще не смотрел на себя со стороны и не в силах был заменить реальность – *фантазией*. Я ступил на тропу многолетней борьбы за право быть равным в социальной среде, в пространстве, в котором я уже *делал* свои первые, робкие и неумелые шаги. Среда была *переполнена* взрослыми

и, как правило, *здоровыми* людьми. Они сочувствовали мне, а мне это... не нравилось. Постепенно сочувствие угасало, к вящей моей радости, но... это был самообман!

Начиная свою жизнь существа, *движущегося* в окружающем пространстве, я *понимал*, что моя душа мучительно впитывает *реальность* моих ограниченных физических возможностей. Другого у меня не было: стоять я мог не более минуты – начинали ныть бёдра; сидел тоже не долго – болел крестец, ягодицы, спина; делая шаг-другой без костылей, я вскоре ощущал *неудержимое* желание опереться на что-то твёрдое, чтобы не упасть. Стена не спасала, потому что опираться на неё было бессмысленно! Схватить костыль, оказавшийся в стороне от меня, не всегда удавалось. Он находился в шаговой доступности для здорового человека, а для меня и *это* движение было *невозможным*. Если я был дома один, то вытягивал руки вперед и падал на них, опускаясь грудью-животом на пол, подползая к костылю, к которому не мог подойти на дрожавших от напряжения ногах.

... Мне следовало привыкать к порядку и правилам в месте обитания взрослых здоровых людей. Поначалу в доме матери или у бабушки было очень непросто: класть вещи на место, находить что-то нужное, брать миску из шкафчика, в котором она лежала. В квартире матери было трудно вымыть грязную тарелку: свисаешь на костылях, держа тыльной стороной руки *язычок* рукомойника, направляя струю воды на тарелку, проводя тряпкой по выемке и балансируя на костылях. В жилище бабушки упираешься грудью о край раковины, моя холодной водой из-под крана чашки ложки, блюдца, опираясь подмышками на костыли. Потом, как это делали и мама, и бабушка, надо было насухо вытереть посуду полотенцем, поставить на место, а полотенце повесить на перекладину или *крючок* у рукомойника, рядом с раковиной. До них надо было дотянуться, а подмышками уже *бегают мурашки*, ноги становятся *деревянными*.

С этими обязанностями здоровый ребёнок в свои шесть или семь лет справляется отнюдь не безошибочно. Для меня *эти упражнения* были чертовски болезненными, потому что, стоя на стопах ног, ощущая тяжесть моего тела, висевшего на перекладинах костылей, я чувствовал нестерпимую боль в зоне, где были бёдра. Концы бедренных костей, оставшихся без головок, с ослабленными мышцами, постоянно двигались из стороны в сторону, как на шарнирах, причиняя мне страдания. Мне кажется, что скудность желаний двигаться и произрастающая от этих причин лень формировались именно в этот период жизни, когда я мучительно обретал стереотипы движений, потребных для здорового ребенка каждый день и недоступных мне, искалеченному болезнью.

Сколько было разбито чашек, тарелок – не счесть, пока моя мать интуитивно догадалась заменить *для меня* фаянсовую посуду на алюминиевую. Это было замечательным решением! Я хорошо помню, как радовался, созерцая упавшую на пол алюминиевую миску или кружку, которые оставались в прежнем состоянии, без следов повреждений...

...При уровне жизни в Баку в 1946 году, когда всё распределялось по карточкам, обеспечивать моё питание было очень непросто. Мне кажется, что моей матери, как могли, помогали её сёстры, но это было нелегко, потому что у тёти Мани и тёти Шуры были семьи и дети. Конечно, такого ребёнка, как я – больного и слабого – не было ни у кого. Старшая дочь тёти Мани – Альбина была уже почти взрослой, сын Слава только начал учиться в мореходке и хотя муж тёти – Пётр Шевырев – получал неплохую зарплату, жене с трудом удавалось сводить концы с концами, как и тёте Шуре, хотя демобилизовавшись после войны Юра Ионов, средний сын, живший в её квартире, сразу же начал работать...

...Мой отец, как я узнал, когда подрос, получал в день 700 граммов хлеба. Как его сын-иждивенец, я имел тоже

что-то около этого. Карточки на хлеб мать получала в Баксовете. Но для выживания мне необходимо было молоко, сливочное масло, мёд, мясо, потому что организм был *изъеден* туберкулёзом обеих тазобедренных суставов!

Пришлось матери всё необходимое для улучшения моего питания покупать на базаре, который располагался неподалеку от нашего дома. Но цены там были заоблачными! В 1947 году в семье нас было три человека: отец, мать и я. Хлеба хватало, но в остальном моей матушке пришлось установить железный порядок: каждое утро я выпивал стакан молока, с растворённым в нём мёдом. В обед – мясной бульон с кусочком говядины. Вечером, на ужин, съедал кусок белого хлеба, густо намазанного сливочным маслом и сверху политого мёдом. Ничего подобного родители позволить себе не могли...

...Я не знал, что тогда царил голод в целом ряде районов СССР в послевоенный период восстановления народного хозяйства. На Украине, в Бурятии, в республиках Северного Кавказа, в Новгородской и Ульяновской областях, так же, как и в Архангельской, Кировской, Свердловской, Костромской *нечего было есть*. Об этом я узнал лишь много позже. Я видел, какие тяжкие чувства переживали мои родители, пытаюсь свести концы с концами.

Работая над этой книгой, я впервые реально представил масштаб бедствия, обрушившегося на огромную страну. Ничуть не лучше было в Азербайджане и косвенно об этом периоде, то есть послевоенном 1946 году, я рассказал в первой книге – «Родня и Время». Мне остаётся только добавить, что по официальным сведениям ЦСУ СССР, уровень душевого потребления хлеба колхозниками в типичной для Центральной России Пензенской области, где родился мой прадед Павел Петрович Юрганов, составлял в послевоенные годы не более 5 пудов, то есть 80 килограммов. При этой, с позволения сказать, *норме* потребления, в *хлеб*

входило зерно, не только полученное по трудодням (69 кг.), но и купленное за счёт сторонних приработков колхозника. Плюс «...иные незаконные поступления, например: сбор колосьев, перевеивание мякины, вплоть до случаев прямого хищения колхозной пшеницы в период уборки».¹

Кстати, по данным русской земской статистики конца XIX века нормой *душевого* потребления на одного работника в Царской России было 25 пудов хлеба, то есть 400 килограммов...

...Меня уже определили в первый класс домашней школы и я получил шанс вспомнить всё, чему научился в первом классе в Крыму, освежить навыки чтения и чистописания. Читал я довольно вяло. Мария Сергеевна – моя учительница в домашней школе – чтение поощряла. Она приносила книжки, которые были в её домашней библиотечке – детскую классику – рассказы для малышей Л. Толстого, стихи Н. Некрасова, басни И. Крылова, С. Михалкова, Б. Житкова, С. Маршака, а также книжки В. Бианки, М. Пришвина, А. Гайдара, В. Осеевой. Тогда я прочитал множество интересных и полезных книжек, «*поглощать*» которые научился довольно быстро. Из школьных забот неприятным и тяжким для меня *действом* было чистописание. Ежедневные упражнения, которые задавала мне Мария Сергеевна, я переписывал по несколько раз.

Этим учебным *страданиям* я был обязан матери, которая требовала от меня аккуратности, да так упорно, что в конце концов, чистописание у меня стало получаться вполне прилично. Затем меня *настигала* арифметика. Сильно дожимали задачки про воду, которая втекала в одну трубу, а вытекала в другую. Следовало узнать сколько воды всего

1) В.Попов «Крестьянство и государство» (1945 -1953)
Исследования новейшей русской истории. Париж, 1992 год.
№ 9 стр. 137-138.

за единицу времени втекало или сколько вытекало. Вся эта арифметическая *дребедень* не давала мне скучать.

К этому времени я познакомился с Вовкой Рыжим, о котором я уже рассказывал в первой книге. Он мне сильно помог, поскольку с арифметикой у Вовки всё было в полном порядке. Чтобы нам осталось время поиграть, он решал за меня задачки, а я переписывал готовые решения в свою тетрадь. Если Вовка оставался у меня до прихода с работы моей матери, то, увидя её, он бойко «доклаживал», что я со всеми задачами справился. И... тут же убегал. Ясное дело! Мать проверяла, насколько я справлялся с задачками, то есть просила меня повторить, записывая на бумажке все арифметические процедуры.

Я должен был устно объяснять все действия, которые, как сообщал Вовка, были мною сделаны.

Разумеется, я нередко сбивался, «плавал» в объяснениях и это у матери вызывало подозрения, недовольство. Снова и снова она заставляла меня решать задачку, а если я не справлялся, мне *попадало*. Матери очень хотелось, чтобы я отлично учился, но – бесполезно! Я не горел желанием учиться...

Единственное, что мне нравилось, так это читать книги. Я действительно ими зачитывался. Помня о *своих* детских пристрастиях, папа, на мой восьмой день рождения, подарил мне книгу Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Бабушка – «Сын полка» В. Катаева, а мама – красивую толстую книгу русских народных сказок с иллюстрациями В. Васнецова. Моя библиотека, аккуратными рядами книг стояла на обшарпанной этажерке. Она потихоньку росла, демонстрируя мне, что я стал не только *грамотным*, но обладал замечательными книжками, которые не грех перечитать ещё и еще раз, если выдавалось время. Поиграть на улице удавалось не часто. Ходил я плохо и постоянно спотыкался на своих костылях, сбивая в кровь коленки. Зимой и осенью я обычно сидел дома, как правило, в одиночестве...

...Вовка Рыжий помогал своему отцу делать копилки, которые его мать продавала на базаре. Когда я перешел в четвёртый класс домашней школы, отец у Вовки умер. Теперь ему, в его-то возрасте – одиннадцать или двенадцать лет, приходилось самому делать котлов-копилок, чтобы его мать могла сводить концы с концами. За помощь мне в учёбе моя мать ему денег не платила, а только кормила, что для него было благом, потому что Вовка вечно ходил голодным.

Однажды он набрался нахальства и попросил у моей матери платить ему один рубль за каждую пятёрку, полученную мной. Я *похолодел*, услышав от него о таком «*прейскуранте*». Мать рассмеялась, а я с ужасом подумал, что это Вовка говорит? Я учился очень скромно и мои *мучительные* предметы – арифметика и чистописание – никак не могли перевалить через частокол троек-четвёрок. О моей голубой мечте – пятёрке я даже не заикался. Мне кажется – в домашней школе я так ни разу эту «голубую мечту» не осуществил. Моя мать Вовке в платеже отказала. Он обиделся и больше в наш дом не приходил. Однако, мы с ним постоянно общались, и когда я повзрослел, обзавёлся новыми друзьями, первое, что я делал – знакомил их прежде всего с ним. Потом, мне, жившему уже в Саратове, друзья сообщили о его безвременной кончине. Честно говоря, я с большой *нежностью* вспоминаю Вовку Рыжего. При всей нелепости своей жизни он всё же обладал чутким сердцем и светлыми *мозгами*. Вовка очень любил свою сестру, мать и старался её не огорчать, особенно, когда умер отец и вся тяжесть забот о семье легла на его плечи.

Завершив седьмой класс, Вовка поступил в техникум. Освоил профессию электрика магистральных линий электропередач. Видимо, на этой работе, выезжая в любую погоду по аварийным вызовам, он тяжело простудился, слёг и умер...

...Занятия в *домашней школе* были не каждый день, а через два. Я не помню, с чем это было связано. Скорее всего, с моим

состоянием здоровья. В дни, свободные от занятий в домашней школе, матери ничего не оставалось, как брать меня к себе на работу. Таскать меня на себе она не могла и мне приходилось расстояние от дома до трамвайной остановки преодолевать на костылях. Надо было выходить за полтора часа до начала её рабочего дня. Тогда, ведомый мамой, не спеша, я мог дойти на своих костыликах до трамвая, доехать до улицы, на которой стояло здание Бакгорисполкома, где она трудилась заведующей архивом. Пройдя неширокий главный вход в здание, нам приходилось идти ещё по длинным коридорам, чтобы достичь помещения архива.

Мне помнится, как старательно мать меня одевала. Заставляла собирать маленький портфельчик, куда я укладывал тетради, ручку, запасные перья к ней. Чернильницу она купила заранее и отвезла в архив, чтобы, не дай Бог, я не пролил и не перепачкал свои тетрадки. Я клал в портфельчик книжки, которые читал, учебник арифметики, тщательно заворачивал бутерброд с колбасой или намазанный маслом хлеб. Этот портфельчик я вешал себе на шею. Его вес я чувствовал, но деваться некуда, приходилось терпеть.

Идя по улице от дома до трамвайной остановки, я неожиданно заметил, что верный ритм шагов помогает экономить силы. Я начал считать шаги, делая примерно одинаковые их размеры и к приходу на остановку трамвая успевал преодолевать примерно полтысячи шагов от ворот моего тупика. Вначале я сильно уставал, добираясь до остановки трамвая, вспотевший и обессиленный. Постепенно приспособился и доходил уже без изнурительной усталости. Думаю, что связано это было с тем, что мне удавалось наладить верное, ритмическое дыхание. В свои восемь или девять лет, я опытным путём научился шагать с соблюдением движения и ритма дыхания. Это помогло мне позже, когда приходилось преодолевать довольно большие расстояния.

...К девяти часам мы приходили на мамину работу. Она отводила меня сначала в общую комнату, где работали её сотрудницы. Это были три женщины среднего возраста, очень приветливые. Они подходили ко мне, что-то спрашивали, помогали усесться за стол, беспрестанно поглаживая меня по вихрам. Мать кивала мне, что означало – пора браться за урок чистописания – «любимое» моё занятие. Я открывал портфельчик, вынимал оттуда тетрадь и книжку, из которой мне следовало чисто, аккуратно и без ошибок переписать несколько строк. Сотрудницы матери уже перестали «щебетать» вокруг и я погружался в свои занятия.

Самым трудным в чистописании были ошибки, которые очень меня «любили» и отказаться от них было *выше* моих сил. Первые две строчки я писал обычно чисто и аккуратно. Роковая – третья или четвёртая – уже наверняка была «беременная» ошибкой. Как легкомысленный любовник, я ничего не замечал, продолжая писать следующую строчку. Завершив вторую строку, я останавливался. Наконец, заметив в предшествовавшей неправильно написанную букву, погружался в долгие раздумья.

Вопрос, «что делать?», конечно же, был связан с проклятым: «кто виноват?», но обычно, я не был готов отвечать на эти вопросы честно! Пытался, поначалу «виртуально» вставить или пропущенную букву, или неверно написанную. Наконец, решившись, приступал к исправлению ошибки. Было это очень непросто, потому что её следовало исправить *незаметно*. Это претендовало на владение искусством каллиграфии, которым я не обладал.

А что мать? Она была увлечена работой, разговаривала с сотрудницами, что-то писала. Чтобы найти выход из щекотливого положения, я имел примерно час-полтора.

Я пытался (такое случалось) *представить*, что ошибку не заметил и продолжал свои старания. Но... делал новые. У меня уже складывалась своя *статистика* ошибок. На две

строки – одна, на четыре – три и так далее. Преодолеть её мне не удавалось, а если в количестве ошибок или помарок что-то и менялось, то в сторону увеличения, но никак не наоборот!

Наконец, наступал момент проверки моей работы, который я ждал с сердечным трепетом. Мать придирчиво брала мою тетрадь и, не говоря ни слова, проглядывала написанное. Именно в этот момент я, со слабой надеждой на успех, задавал ей какой-нибудь *каверзный вопрос*, желая отвлечь её внимание от злополучных строк чистописания. Например, я спрашивал *сколько дней в году* или *какова длина экватора Земли*. Обычно мать относилась к моим вопросам со вниманием, потому что считала, что эрудированный человек должен знать много информации и мою любознательность поощряла. Однажды я даже наткнулся на справочник, лежавший у неё на рабочем столе. Услышав мой вопрос, она изучающе на меня посмотрела и сердито произнесла: «Алик! Ты меня отвлекаешь!» Это было плохим сигналом. Я покорно замолкал, ожидая худшего. Обычно *худшее* воплощалось в простом действии: ловким движением, в котором чувствовалось не только раздражение, но и навык, поскольку, вырывая листы с моими ошибками, мать *руку набила*, она тихо произносила: «Совсем не стараешься, паршивец!» Затем, категорически произносила: «Всё – переписать!»

Готов признаться – *я очень старался*, но ошибки были упрямыми агентами зла и я ничего не мог с ними поделать. Вырывание листов не могло продолжаться бесконечно и тетрадь катастрофически *худела*. Мать придумала способ возвращения её «оптимального» размера, вынув из чистой тетради парные страницы и воткнув в скобы недостающие. Сначала она делала эту процедуру сама, при мне, а позже стала требовать от меня такого же, почти *монастырского*, послушания. Высунув язык, я старательно исполнял эти *восстановительные* работы и тетрадь обрела первоначальный размер, разумеется, чтобы очень

скоро снова *«похудеть»*...

У каждой женщины, с рождением чада и началом его движения к среднему образованию, формируются свои навыки борьбы с *бессмертными* ошибками, сделанными её ребёнком. Моя мать была убеждена, что только многократным повторением урока можно добиться искомого результата. Но у неё, скорее всего, был *«лимит»* терпения или, размер количества ошибок, на которые она смотрела, не как на естественные издержки учения, а как на следствие моего *нерадивого* отношения к важному делу. Наступал момент, когда одна ошибка, складываясь в её подсознании со всеми остальными, о которых я уже давно забыл, а она – нет, вызывала у матери взрыв гнева и я получал... *полновесную затрещину*. Ей казалось, что теперь-то я уж точно мобилизуюсь и у меня всё получится. Так случалось, но далеко не всегда и я опять получал новую порцию *мобилизационного стимула*, без особой надежды на прощение моих грехов в чистописании. Иной раз, не знаю почему, я всё делал быстро и без ошибок, неслезанно радуя мать. Однако, удерживать долго эту планку успехов на должной высоте мне не удавалось!..

Я думаю, что мои природные способности сильно зависели от массы факторов, которые требовали постоянного самоконтроля, к которому я не был готов. Я вёл малоподвижный образ жизни, часто был дома один, особенно осенью, в непогоду и не желал просиживать за тетрадями, решать задачки *«просто так»*, для выработки навыков. Да мало ли причин случается у больного ребёнка, чтобы лениться и не очень старательно исполнять множество нужных дел? Сакральная суть слова: *«надо!»*, по-разному понималась мной и матерью. Я редко догадывался, *что это такое*, а мать упорно стояла на своём, беспрерывно повторяя: «*Надо, значит, надо!*» Лишь к девятнадцати годам я, кажется, понял реальный смысл этого магического словосочетания...

...Наконец, мои учебные занятия на работе у матери

завершались, но меня ждали иные «*послушания*», которые она во множестве придумывала, чтобы внушить мне идею – *полезности* труда. Случалось, подметал помещение, иной раз перемещаясь на костылях из конца в конец, вытянув руку с веником, заматывая мусор... под архивные полки. Было это уже ближе к концу рабочего дня и я даже не догадывался, что через час придёт какая-нибудь тётя Ханум – уборщица, которая повторит мой путь «*трудового воспитания*», удивляясь странной чистоте служебного пространства или ворча на азербайджанском языке, недоумевая, откуда мусор оказался под архивными полками. Теперь ей приходилось чуть ли не ложиться на пол, чтобы заметённые мной бумажки выгрести из тёмных щелей. Работы ей хватало...

По натуре мать была женщиной старательной, трудолюбивой, аккуратной и очень чистоплотной. Пространство, в котором она обитала, неважно, квартира это или её рабочее место – блестяло. Она была убеждена, что я *обязан* усвоить такие же навыки. Благодаря её *настырности* я, в конце-концов, научился массе полезных привычек, которые пригодились мне в жизни, хотя они отбирали у меня множество сил и времени.

Я стираю, глажу, умело готовлю и даже неплохо пеку в плите и на сковородке, владею множеством кулинарных рецептов. Однако, откровенно говоря, готовить *не люблю*, потому что в момент приготовления пищи я стоял без костылей, испытывая болезненные ощущения в бёдрах, точнее там, где когда-то эти бёдра были, *съеденные* туберкулёзом. Я знаю, что, оставшись в одиночестве, не пропаду, потому что всё умею делать, но от этого мне не легче. И не в том дело, хорошо ли, плохо ли, что мать приставала ко мне со своими требованиями, главное, она это делала, будучи *уверенной*, что рано или поздно начнётся моя *самостоятельная жизнь*, когда не на кого будет положиться, кроме как на самого себя. Она никогда не объясняла мне насколько важно уметь делать *всё*,

просто *заставляла*, упорно требуя аккуратности и чистоты.

Ничего кроме *благодарности* за это её упорство я к ней не испытываю, но в момент моих прошлых почти монастырских «*послушаний*» по дому, я был готов исчезнуть бесследно перед вынужденной необходимостью что-то делать своими руками. Мне приходили мысли о её *жестокосердности*, слепой *придирчивости*. Я готов был видеть на месте моей матери – другую женщину, которая бы не заставляла меня мыть полы, стирать, гладить. Которая жалела бы меня, избавляя от этих бесконечных нужд, исполняя которые человек, как я полагал, теряет силы и не может терпеть бесконечные боли в бёдрах... Это ужасно! Но это было и из песни слово не выкинешь...

...Наконец, в моём пребывании у матери на работе, наступал момент *царственного* отдыха. Мне подбиралось в архиве помещение, в котором стояла прохлада и абсолютная тишина. Обычно это было хранилище документов, с окнами, расположенными на глубине примерно на пол-метра ниже уровня тротура. На самую нижнюю полку укладывалось одеяло и я ложился, устраиваясь рядом с массой папок, в которых хранились какие-то документы. Я смеживал веки, успокаивался, а мать уходила, тихо прикрыв двери. Заснуть сразу же не удавалось и некоторое время я *предавался мечтам*.

Архивное помещение очень специфическое: длинные полки, на которых стоят десятки папок с документами. Мне нередко приходилось перелистывать эти папки, потому что мать заставляла меня нумеровать каждую страницу. Дело это канительное, потому что страницы были разного размера, случалось я пропускал, совершенно случайно, те, которые надо было пронумеровать. Заметив ошибку, мне приходилось снова возвращаться к началу папки, стирая резинкой неверно поставленные номера. Эта работа отбивала охоту быть аккуратным, особенно в написании цифр.

Мать изредка проверяла, как я пишу номера, нет ли ошибок и, случалось, мне попадало за плохую работу.

Прежде чем отправлять меня немного поспать, мать приносила в помещение, где я устраивался на полуденный отдых, стопку пронумерованных папок. Просила поставить *цифирки* в угловой части страниц, а уж потом попытаться заснуть. Было это не часто и пользуясь тем, что она уходила, я быстренько ставил в углах страниц кривые, косые, свёрнутые, перевёрнутые цифры. Быстро справившись с этим заданием, отодвинув папки в сторону, я ложился на пустую полку, укрывался одеяльцем и отдавался мечтам, глядя в ту половинку окна, которая выступала над тротуаром.

Мечтал я всегда очень красочно. Не то, чтобы у меня возникали яркие *галлюцинации*. Нет! Я представлял себя совершенно здоровым человеком, которому были доступны обыденные детские желания. Я мечтал о здоровых ногах, в которых нет ни боли, ни слабости. Мечтал о том, как я играю в футбол и *забиваю гол!* Мечтал о беге наперегонки с дворовыми ребятами и всегда *побеждаю*. Грезил о санках, в которых я спускаюсь с вершины огромной горы, делая *невероятные* повороты и кульбиты. Постепенно, размечтавшись, я засыпал на полчаса или час.

Часа в три приходила мать, кормила меня подогретым супом или жареными миногами. Я быстро всё поедал и она снова отправлялась со мной в рабочий кабинет, не забыв дать мне или новую папку, чтобы я пронумеровал страницы, или новую задачку, которую следовало решить, или книгу, которую я должен был читать вслух, а она слушала. Однако, слушать она не была готова. Беспреданно звонил телефон, заходили сотрудники архива или её звали на какое-то совещание и я оставался один. Пребывая в одиночестве, я чаще всего, читал свои книжки. Ходить я не мог. Было просто негде. К тому же, чтобы выйти во двор

Баксовета, следовало преодолеть ступеньки, на которые я просто не мог взобраться без риска крахнуться или носом, или затылком. Такой опыт у меня уже был и мать строго-на-строго запрещала мне такую *самодеятельность*.

Читал я много, но за моим чтением мать следила вяло. Да и ни к чему были эти строгости. Скорее всего в руки ко мне попадала программная литература, которую мать брала из библиотеки по спискам, что приносила Мария Сергеевна, моя учительница, делая это в начале каждого нового учебного года.

В начальной школе я с увлечением читал детскую литературу, которую можно было найти в библиотеках. Чтение было единственным моим занятием, которому я мог предаваться без ограничений. И не потому, что я был таким природным «*книгоцеем*». Скорее всего от обилия свободного времени, которое просто некуда было девать! Если уж попадалась увлекательная книга, например, Свифт «Гулливер в стране лилипутов», или сочинения Жюль Верна, или Аркадия Гайдара, я не замечал, как проносится день. Благо меня никто не трогал, когда я оставался дома в одиночестве. Такое стало случаться чаще, когда наступили летние каникулы, а я благополучно перешёл в третий или четвёртый класс домашней школы.

Точно не помню, но кажется мать получила от своего начальства замечание по поводу моего пребывания в архивном помещении, наткнувшись на меня, спящего на деревянной полке. Возникли расспросы, «*что, да как*», но всё закончилось вежливой просьбой не приводить «*...больного ребёнка в помещение архива...*» Теперь матери пришлось оставлять меня дома и просить тётю Шуру – старшую сестру – хотя бы раз навещать меня, помочь разогреть пищу на керосинке.

Именно в тот период, когда я перешёл в третий или четвёртый класс, я летом оставался дома почти на целый день,

читая книжки. В моей голове была полная мешанина! Я мог читать сказку П. Ершова «Конёк Горбунок», а потом рассказы Джека Лондона, адаптированные для детского чтения. Следующей книгой могла стать повесть А. Рыбакова «Кортик», а потом «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона или же «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Очень меня увлекали книги Жюль Верна, заражая приключенческими «бактериями». Они настолько овладевали моим воображением, что я начинал видеть увлекательные сны, в которых нередко происходили события, очень похожие на сюжеты из книг этого французского фантаста.

Не могу сказать, что мои родители увлекались чтением. У них было такое количество забот и проблем, связанных с нуждами выживания, что на чтение не хватало ни сил, ни времени...

...Иногда, правда, очень редко, мне приходилось видеть, как мои родители предавались обыденному отдыху. Изредка мать предлагала мужу сыграть с ней партию в шашки. Играла она лучше, чем отец и в самом предложении сразиться с ней, уже таилась вполне возможная вероятность его проигрыша, потому что в игре он был невнимателен и часто «продувал» в шашки, «промаргивая» проход противника в «дамки». Мать играла спокойно и весьма *настырно*. Очень редко, но такое случалось, она специально проигрывала, чтобы придать отцу *настроение*. Тот, не замечая подвоха, выиграв партию, и в самом деле воодушевлялся и начинал вести себя, как «игровой гений». То отпускал какие-то сомнительные шуточки в адрес матери, то порывался, выиграв партию, уйти, чтобы закрепить за собой приоритет *выигравшего*. Но, в конце концов, мать перехватывала инициативу и завершала партию в шашки, которую можно было назвать «разгромной». Отец тут же требовал отыграться и получал согласие матери, которой только это и нужно было. Он начинал нервничать, допускал ошибки и проигрывал с не менее

разгромным итогом игры, чем накануне.

Наблюдая за поединком родителей, нервничать начинал уже я, потому что знал, вот-вот разразится скандал. Мать ловко продолжала играть, наконец, создавала для отца в шашках ситуацию, которая называлась «*сортиром*»: шашки моего отца, неведомым для него образом, оказывались заблокированы в безнадежном тупике. Ничего подобного отцу, в игре с матерью, сделать не удавалось. Сдаётся мне, что он просто не умел это делать. Матушка в превратностях игры была гораздо удачливей и отец страшно досадовал, когда попадался в ловушки, ловко расставленные ею.

Сделав последний ход, мать спокойно спрашивала: «А не попить ли нам чаю, Боря?» Муж от этих слов почему-то взрывался, ударял ладонью снизу вверх по игровой доске. Шашки разлетались и он, едва владея собой, удалялся на двор.

Мать, как ни в чём не бывало, собирала в коробку шашки, ставила передо мной чай, налив его в алюминиевую кружку, и спрашивала с горькой иронией: «И чего папа злится? Ты не знаешь?» Поворачивалась в сторону дверей, где на пороге сидел муж и громко звала: «*Боря! Иди с нами чай пить!*» Отец был человеком обидчивым, но отходчивым. Возвращался к нормальному настроению быстро.

...Однажды мать согласилась сыграть с отцом в карты. Должен признаться, что обращаться с картами мать умела даже с определенным искусством. Она *гадала* на картах. Откуда у неё возникло это умение, не знаю, но я часто видел её за картами с причудливыми рисунками, уже потёртыми от частого употребления. Колоду этих карт я помню еще со времени своего раннего детства, когда она, что-то приговаривая себе под нос, сосредоточенно и медленно раскладывала пасьянс. Это была процедура «гадания». В её позе и движениях была некая таинственность и... горделивость. Если мать гадала человеку, который сидел напротив неё,

а в комнате больше никого не было, она могла предсказать ожидаемое им событие, предвидеть ситуации, героем которых оказывался этот человек или кто-то из его близких. Иногда она гадала на меня и крайне редко – на отца. Эта её способность сильно меня занимала, но свои секреты мать никогда мне не выкладывала...

Как мать играет в карты, я почти никогда не видел, а тут мне повезло! Я лежал в кровати. Был уже осенний вечер, темный и дождливый. Мы хорошо поужинали и отец с сожалением сказал.

— Жаль, что твоя колода карт не игральная... Хотелось бы в «дурака» сыграть с тобой.

Мать оживилась:

— Представь! Вчера нашла на улице, прямо на тротуаре, запечатанную колоду. Кто-то обронил...

Карты оказались игральные... Отец обрадовался и попросил принести. Проглядев колоду, уже распакованную матерью, он, лукаво улыбаясь, стал раскладывать. Отложив остаток неподалеку от себя, сделал первый ход. Мать, составив «веер» из карт, держа его в руках, стала играть, спокойно выкладывая на стол нужную масть. Отец, наоборот, играл азартно. Он шлёпал глянцевым телом карты по столу, с придыханием выражая свои эмоции. Наконец, ему удалось выиграть, чему он был несказанно рад. Предложил партию продолжить. Мать согласилась. Минут через десять отец проиграл. Неосмотрительно тут же предложил продолжить игру и очень быстро, аж три раза (!) оказался в «дураках». Его злость была настолько искренней, что мать даже стала его успокаивать, мол что ты кипятишься? Это ж игра! Однако, решила подшутить над ним, положив «погоны» на его плечи. Тут уж мой отец рассердился окончательно. Проведя по столу рукой, рассыпав карты на пол, он, как обычно, выскочил за порог на улицу. Его не было часа полтора. Пришёл уже без каких-либо

признаков недавнего конфликта. Матери дома не было, кажется, ушла в магазин. Отец сел на мою кровать, пристально глянув на меня. Положил руку на плечо, притянул к себе и тихо сказал: «Никогда не играй в карты, сынок! Видишь, что происходит у нас с твоей мамой?» Я молчал. Что я мог сказать в своём восьмилетнем возрасте? Он вздохнул и неожиданно сказал фразу, которая запомнилась мне на всю жизнь: «В семье отец не может быть дураком даже таким «игровым», как в карты... Не может... И не должен!» Убежденно завершил он фразу. Я никогда его больше не видел игравшим в карты. Сам же я играть в карты так и не научился. Не умею... Даже в «очко»!

...Когда, еще до запрета начальства, мать приводила меня в архив Бакгорисполкома, я мог видеть в окно ноги прохожих, которые шаптали по тротуару. С любопытством смотрел на туфли, сандалии, тапочки, в которые были обуты прохожие, иногда пытался определить возраст проходящих. Я же не видел их лиц. Потом я стал считать количество ног. Получалось, как я помню, что за час моего дневного отдыха проходило примерно человек семьдесят или около ста. Но чаще всего я быстро засыпал. Запах сырости и бумаг архивной документации, повидимому, обладал усыпляющим свойством...

Перед уходом домой, мать забирала меня в свой кабинет, в котором сидела её заместитель, фамилию я помню до сих пор – Брагина. Это была пожилая, с умным, точёным лицом женщина, которая относилась ко мне сочувственно и даже нежно. Она ставила передо мной чашку чая, заваренного ароматными травами и я почти всегда выпивал её полностью и с удовольствием. Мать давала мне бутерброд, намазанный сливочным маслом и следила, чтобы я съедал его до последней крошки.

Когда я ел, женщины разговаривали друг с другом. Нередко это были очень любопытные рассуждения.

Мне было восемь лет, но я выглядел сущим ребёнком. Наверное, этим можно объяснить, что женщины без утайки говорили при мне о своём вобщем-то безрадостном житье-бытье в Азербайджане.

Родственники Брагиной приехали в Баку в прошлом веке, не помню, из какого населенного пункта России. Как и моя мать, она закончила Рабфак, такое же отделение, что и мать – делопроизводство – только двумя или тремя годами позже. Брагина прожила тяжкую жизнь жены *врага народа*, но в годы Хрущёва её мужа реабилитировали и сравнительно недавно она начала работать в архивном отделе Баксовета. Очень хотела из Азербайджана уехать, но не решалась, потому что боялась в своём возрасте не найти на родине такую же работу, как в Баку. Женщины сердечно относились друг к другу. Уже вернувшись из Баку в Краснодар, в самом конце пятидесятых годов, мне приходилось слышать от матери добрые слова о Брагиной...

...Домой мы возвращались с мамой часов в шесть. Надо было дойти до остановки трамвая. Было уже минут десять или двадцать шестого и народу на улицах заметно прибавлялось. Прохожие старались осторожно огибать меня, но, наверное, «*глаза на затылке*» я всё-таки имел – чувствуя пристальные взгляды зевак.

В вечернем полумраке, только что спустившемся на город, я выглядел жалким. Стоять на ногах мне было очень тяжело и я наваливался на костылики всем своим тщедушным телом. Моя голова всегда была острижена под «нуль» и я вертел ею влево-вправо только когда стоял. Во время ходьбы я, обычно, опускал голову вниз, к ногам, потому что боялся упасть, наткнувшись или на стекло, или еще на какое-то препятствие. Этот навык возник после несчастного случая, когда я неосторожно «наступил» костыликом на кусочек стекла и не смог удержаться. Костыль двинулся вперед, а я, потеряв равновесие, грохнулся

на грудь, ударившись подбородком об асфальт, прикусив часть верхней губы. Дыхание нарушилось и, лёжа на асфальте, я стал конвульсивно трястись. Мать подумала, что у меня случился обморок, испугалась. Пытаясь мне помочь, она беспомощно суетилась вокруг, не зная, что делать? Хорошо я быстро *оклемался*. Опираясь на костыли, поднялся, пошатываясь из стороны в сторону. Очень хотелось плакать, но, кажется, я удержался. Слышу голос матери. Наверное, от испуга она стала меня укорять за неосторожность. Подбежала какая-то женщина. Почему-то поспешно стала меня отряхивать, участливо расспрашивая: «*И что это у тебя такое? Болезнь что-ли какая?*» Так было не раз. Уже привычно я пробормотал: «*Осложнение после гриппа...*» Она была изумлена. Не выдержав, продолжила расспросы, не обращая внимания на предупредительный взгляд матери, которая тянула меня к приближавшемуся трамваю: «*Мальчик – спрашивала женщина – а что именно после гриппа?*» «*Туберкулёзный коксит двух тазобедренных суставов...*» заученно пробормотал я полужёпотом, под искреннее аханье женщины и неуклюже двинулся вслед за матерью.

Избегнуть таких сочувственных сцен и вопросов было невероятно трудно. Особенно, когда я неловко падал и расшибался в кровь. Мать старалась увести меня от навязчивого сочувствия прохожих, но это не всегда удавалось. Позже, мне было, наверное, лет девять или десять, когда я уже ездил на трамвае один, в подобных обстоятельствах *отвертеться* от сочувствующих было невозможно. Я придумал приговорку: «*Туберкулёзный коксит обеих тазобедренных суставов...*» Или: «*Осложнение после гриппа...*» Любопытные настаивали: «*Осложнение? А какое? Почему ты так хромаешь!*» Услышав про туберкулёз, люди замирали, подавленные непонятным для них словосочетанием: «*...коксит обеих тазобедренных суставов...*». Пытаясь понять, что же

это такое, мгновенно умолкали. А я, получив возможность улизнуть, неловко двигался прочь...

...Придя домой, мама начинала готовить ужин, а я получал возможность или немного почитать, или пойти на двор, чтобы поболтать с соседскими мальчишками. Но стоял я недолго. День, проведенный в архиве матери, меня сильно утомлял и я возвращался домой. Иногда приходила соседская девочка – дочка Бутузовых, они жили наискосок от нашей двери. Мы играли с ней в шашки, но не так, как мать с отцом, а в «чапаева», выстраивая вдоль клеток круглые шашки и стреляя по ним, внешней стороной указательного пальца, свёрнутого упругим кольцом во внутрь большого, направляя шашку в линию таких же «кругляшек», стараясь аккуратно выбить с линии противника, как можно большее их число. Делать это надо было так, чтобы не терять свою «биту» – такую же шашку, только другого цвета... Милка, так звали дочку Бутузовых, играла ловко. При каждом удачном «выстреле» она громко вскрикивала, но отцу это не нравилось. Когда он приходил с работы, наша игра сразу заканчивалась и Милка быстро уходила.

С приходом отца с работы, мама накрывала стол и мы садились ужинать. Между родителями начинался обычный семейный разговор, в котором они обменивались впечатлениями прошедшего дня. Отец рассказывал, как ему несладко приходится с азербайджанцами, которые рвутся на его место – начальника мастерских. В свою очередь мать делилась своими догадками о возможных заменах азербайджанскими работниками русских архивных сотрудников. Сетовала, что они хоть и пооканчивали техникумы, но толку в работе не знают. Примерно так она рассуждала. Правда, пока её разговоры заканчивались на оптимистической ноте. По мнению родителей получалось, что «...опытных работников всё равно заменить не так-то просто, а то, что местные хотят получить работу русских, ничем хорошим

для дела не закончится...» День завершался. С планами пойти завтра, в субботу, в баню, мама укладывала меня в мою постель в спальне, где я и родители, спустя время, тихо засыпали.

...В семь-восемь лет мать брала меня с собой в баню, а летом, когда было жарко, в Бакинские купальни. Общие залы в бане были просторными и тонули в густых клубах пара. Я не испытывал ни застенчивости, ни чувства стыда, глядя на обилие голых женщин и собственную мать в костюме Евы. Она деловито намыливала меня куском мыла, затем ополаскивала, выливая на меня таз с теплой водой. Потом мылась сама, пока я окунал в таз мочалку, глядя, как она медленно всплывает. Рядом суетились голые женщины разного возраста и, разумеется, в свои семь или восемь лет я не чувствовал никаких переживаний. Это была рутинная. Даже заметив наличие у меня крохотного «пистолетика» между тонкими ногами, женщины равнодушно проходили мимо...

Нередко в банях родители брали индивидуальный номер. Мы заходили туда, закрывали двери и деловито, неспешно начинали мыться. Обозревая их обнажённые тела, я вряд ли был способен как-то их оценить. В 1946 или 1947 году матери было 36 лет, а отцу 32. В номере – зеркало в рост человека. При всей моей брезгливости к созерцанию собственного голого тела в зеркале банного номера, на моё отражение там наткаться невольно приходилось. Увидев себя, большеголового, с тонкими ногами, торчавшими из узких бёдер, я неожиданно... расплакался. Едва добрался до ванны и окунулся с головой в воду, почему-то оказавшейся холодной. Мать перепугалась и, бросившись ко мне, стала приставать с расспросами. Опрокинув на себя таз с водой, смыв мыло, к нам подошёл отец. Искося поглядывая на их крепкие, ладно скроенные тела, я разрыдался в голос. Рассказать им о своём состоянии я был не в силах,

потому что и сам не очень понимал, отчего меня душат рыдания. Я молчал и трудно всхлипывал. Родители не на шутку растерялись. Стали меня успокаивать. Наконец, решили, что я просто хочу домой. Быстро помыв меня, ополоснувшись сами, мы отправились домой.

До конца дня мать была предупредительна и добра. Родители перешёптывались друг с другом, а я, осторожно оглядывая их, удивлялся точности их движений, гибкости наклонов и поз. То был первый и последний раз, когда я ужасно расстроился, глядя на себя в зеркало голым и одновременно... на обнажённые тела родителей.

К вечеру у меня поднялась температура и я потерял сознание. Очнулся в городской больнице. По разговорам я понял, что у меня дифтерит. Дня три я находился в кризисном состоянии. Всё время мне снились ладно скроенные голые тела моих родителей, одновременно с моим – голым и уродливым, отражавшимся в зеркале.

Наверное, я сильно родителей тогда напугал. Когда я вернулся из больницы, они постоянно подходили к моей постели в нашей квартире и спрашивали, как я себя чувствую. Я молчал. Наверняка родители предполагали, что дело только в болезни, из которой я только что выбрался. Назавтра они, наконец-то, отстали от меня...

Повторяю, ничего подобного с мной больше не происходило. По-видимому, при созерцании своего изуродованного тела у ребенка всё-таки возникает тяжёлый шок, усугубляемый подсознательным ощущением очевидной гармонии голых тел молодых и здоровых родителей. Не готов настаивать на своей догадке. Причины такого острого переживания могли быть и другие. Допустим, мозг, уже зная о приближении подступавшего опасного заболевания – дифтерии – обострил некие телесные мотивы, заставив эмоции откликнуться на жестокость сравнения моего уродливого облика с гармоничным обликом моих родителей. Может быть,

рано или поздно, мне надо было *на себя посмотреть*, как это случилось в номере бани. Осознать степень разрушений, которые я в себе носил возможно только, если ты предстаёшь в зеркале в полный рост. Так оно и случилось. Ужаснувшись от запечатлённого уродства в семь или восемь лет, я расплакался, но шло время и в шестнадцать я над своим телом начал *работать*. Хотя я обрёл лишь мифическую надежду исправить своё тело, к своему уродству, став взрослым, относился *гораздо* терпимей!..

...Кажется в июле или в августе, мать взяла меня в Бакинские купальни. Они располагались на исходе большого бульвара. Там купались женщины, юные нимфетки и девчонки-малышня в широких квадратах, заполненных морской водой, между большими заборами-щитами, защищавшими их от чужих глаз. К *прелестницам* я оставался равнодушен, но уже стал запоминать их свежие, упругие, смуглые тела и формы. Я был полон пресного любопытства, оглядывая голых нимфеток, прогуливавшихся вокруг меня. Ростом я был мал. Худ. Представлялся окружавшим меня людям скорее всего куклой, бестелесной и бесполой. Исподволь, замечая мой крохотный «*пистолетик*», некоторые из них прыскали в кулак, но происходило это так непосредственно и отстранённо, что я этого не замечал. Мне даже в голову не приходило, что я вторгся на чужую территорию и созерцаю то, на что мне не следовало смотреть.

Тут же лежала моя мать, совершенно голая, загорала, положив мокрое полотенце на чуть прихваченные солнцем плечи. Иногда она брала меня за руки и окунала с головой в морскую воду купальни. Я радостно визжал, своими воплями обращая на себя внимание купавшихся рядом девочек-подростков. Никому и в голову не приходило, что мне восемь лет и что моё пребывание здесь по крайней мере *противоестественно*. Но туберкулёз, «съевший» едва ли не треть моего тела, делал меня в руках матери *неким*

бесполом существом, наслаждавшимся солнцем и морской водой. Удовольствие было искренним, никак не связанным со *странностью* пребывания мальчика в женской купальне...

...В доме, где я жил и учился в домашней школе, что-то происходило. Говорю об этом так неопределённо, потому что не могу судить наверняка. Но в памяти моей некие впечатления остались, прочертив след от событий.

Мать дружила с женщинами, которых я изредка встречал у нас дома. Или встречи происходили у них в квартирах, куда мы с матерью заходили в гости. Я хорошо помню подруг матери. Элю, её мужа – Александра Столярова, Паню и Олю Гусеву с её мужем Геннадием. Эля была потомком немецких колонистов. Ещё в царские времена они прибыли из Германии и стали осваивать отведённые для них земли в глубине Азербайджана. Их деятельность оказалась на руку новой власти и их не тронули. У тёти Эли жива была мать – Ада. Женщина очень пожилая, лет восьмидесяти, с худым, почти с костлявым телом и лицом, напоминавшим маску, обтянутую желтоватой кожей. По-русски она не говорила и, приходя к ним в гости, я часто видел её с книжкой на немецком языке. Александр Столяров – муж Эли, был человеком крупным, очень умным и добродушным.

С его именем было связано моё неожиданное и на первый взгляд странное желание посадить у порога нашей квартиры... виноград. Узнав об этом моём желании? Александр Столяров, а был он агрономом, показал крохотный квадратный участок, который, по его мнению, следовало хорошенько удобрить и посадить именно там черенок винограда. Едва я задумался, чем его удобрять, Столяров меня успокоил.

— У тебя есть бытовые *фекалии*? — простодушно спросил он, уверенный, что мне знакомо это иностранное слово. Я покачал головой, растерянно глянув на него. — Ну на горшок ты ходишь? — Я кивнул. — Так вот, это и есть

удобрение, — почти обрадовался Столяров.

Разговор проходил на пороге нашей квартиры, после того, как он отодвинул неширокую гранитную плиту, примыкавшую к стене нашего дома, под которой ему понравился кусок жирной земли со множеством червей, разбуженных ярким светом солнца.

— Думаю для винограда земля подойдет! — сказал он. — Детским совком, оказавшись у меня в игрушках, он тщательно перекопал землю, безжалостно пронзая жирные тела червей, и показал, как размещать в земле фекалии за несколько недель до посадки черенка. Глядя на агронома оторопело, я слушал, не в силах поверить, что он говорит совершенно серьёзно.

— Кстати, ты можешь удобрить и грядки матери, где она выращивает помидоры и огурцы, — сказал он. — Плоды будут крупнее, да и выглядеть аппетитно! — Завершив свою консультацию, Столяров пошёл мыть руки в коридор, где подруги матери – Паня, Эля и Оля о чем-то весело разговаривали.

Жена Столярова – тётя Эля – была яркой, красивой женщиной. Всегда одевалась нарядно и выглядела элегантной дамой. У них со Столяровым было двое детей – Светлана и Ирина. Света была старше меня года на три или пять, а Ира – моя ровесница. Иногда они приходили к нам, играли со мной, соблюдая ту самую осторожность, на которую способны девочки при общении с болезненным ребёнком. Света превосходно училась, а Ирина была смешливой, симпатичной девчонкой, которая за лёгкий нрав мне очень нравилась. Закончив школу, Света уехала поступать в Днепропетровский машиностроительный институт, после его окончания там же вышла замуж и работала на каком-то местном заводе. Ира выросла в тонкую, высокую, элегантную даму, с таким же взбалмошным, смешливым характером, какой был у неё в детстве и отрочестве. Она познакомилась с юношей-евреем, за которого вышла замуж

и в самом начале восьмидесятых уехала в Израиль. Но, как говорится, нам всем предстояло до этого еще дожить...

...Однажды я увидел, как мой отец привёл в дом солидного вида мужчину с женой и дочерью – взрослой девушкой – и они долго о чём-то вели разговор. Я сидел в дальнем углу комнаты на кровати и молча играл со своими игрушками. Было мне что-то около семи или восьми лет, но, судя по моей фигуре и худому лицу, я выглядел пятилетним ребёнком. На меня никто не обращал внимания, но разговор шёл оживлённый и многие фразы я слышал. Они осели в памяти. Мне показалось, что отец с этим мужчиной обсуждают, при участии женщин и взрослой девушки, дочери гостя, вариант отъезда из Баку.

Разговоры об этом между моими родителями проходили часто. Наверняка, мой отец испытывал на работе какие-то трудности в общении с азербайджанцами. Тогда он был начальником республиканских мастерских по капитальному ремонту телеграфной и телефонной техники. Стимулировали размышления отца об отъезде из республики сложности его отношений с азербайджанцами. Уступив кому-то из них своё место начальника мастерских, он перешёл на должность рядового работника этих же мастерских. Тогда идеи уехать из Баку в Россию уже витали в воздухе и появившийся мужчина, как я понял, предлагал вариант переезда в какой-то российский город, куда, как мне показалось, он сам и собирался.

У матери проблемы давления местных кадров на русских были, но не столь острыми и она к планам отца относилась сдержанно, но возражать не решалась. Просто слушала, о чем шёл разговор. Иногда высказывала своё мнение. Конечно, работая в Баксовете, она тоже испытывала нечто подобное, что и отец. На её должность заведующей архивом претендовали две азербайджанки. Начальство матери пока осторожно намекало, не пора ли подумать о смене

работы? Выдвиженцы с рабфаковским образованием были уже не в чести. Появились местные кадры, с соответствующим образованием. Большой практический опыт матери, её умелая и грамотная работа уже не убеждали начальство! Но куда уходить?

Неожиданно её непосредственного начальника уволили за какую-то провинность, а новый пока оставил мать в покое. Возникшую передышку она расценила по-своему, увидев в ней некую для себя перспективу. Мать понимала, мужу непросто, но сама, не чувствуя давления, считала положение на работе гораздо прочнее, чем у отца. Как показало время, это было далеко не так. В Азербайджане сменилось руководство, пришли новые люди, возникли идеи смены кадров, да и перестала быть либеральной языковая политика новых властей. Правда, эти перемены зрели постепенно, поскольку в Центре, пришедший к власти Н. Хрущёв, пытался удержать национальные кадры на местах от поспешных и не всегда взвешенных решений...

...Разговоры длились, наверное, недели две или три. Приятель отца, видя нерешительность моей матери и уже поняв её роль в семье, неожиданно предложил съездить в тот город, о котором он так горячо рассказывал. Побродить по живописным местам, отдохнуть, порыбачить среди замечательной русской природы. В то время у отца и матери как раз наступило время отпуска. Родители согласились. Мать, глядя на меня, подумала и о моём отдыхе, спасаясь от жуткой Бакинской жары. Вскоре они договорились, что этот мужчина – имени его я не помню – купит билеты, а родители буквально на завтра будут готовы к отъезду. Я, разумеется, очень обрадовался предстоящим переменам в моей жизни. Мне помнилась жизнь в Крыму: тепло, зелень, фруктовые сады совхоза имени Чкалова, куда мы два года тому назад с мамой приехали к отцу. Вернувшись из Крыма, мы никуда из Баку не выезжали.

Назавтра никто за нами не приехал. Родители были в полной растерянности. Тогда под рукой телефонов не было, как сегодня – у каждого человека в кармане. Сиди и жди! Или гадай, что случилось? Или ругайся. Без толку посидели, подождали. Потом родители стали друг с другом ругаться. Получалось это у них *пока* забавно. Потом отец куда-то уехал, а мать стала готовить обед. Я не решался спрашивать о сути случившегося, чувствуя, что мой вопрос вызовет только раздражение матери. Через час отец пришёл и растерянно сказал матери.

— Ты знаешь... Они уехали. Мне соседка сказала: «*Сели в такси с чемоданами и уехали...*» — Таким растерянным я отца никогда не видел. Мать тяжело вздохнула и продолжила возиться с обедом. В случившееся меня никто не посвящал. Предполагать же, что в самом деле произошло и почему эти люди так странно с нами обошлись, я мог лишь косвенно, глядя на растерянные лица родителей. Но ночью, лёжа в кровати и не в силах заснуть после переживаний, я услышал шёпот матери, когда она выговаривала отцу, как нашкодившему школьнику. Отец слабо оправдывался. Потом в сердцах сказал: «*Ну хватит, Зина! Вечно у тебя получается, что во всём виноват только я один...*» В ответ возникла долгая тишина...

Эта история при мне никогда больше не всплывала. Как мне кажется, случилось банальное мошенничество, на которое были горазды людишки того послевоенного времени. Отец стал жертвой респектабельно выглядевшего мошенника, который узнав о его проблемах, сблизился с ним и, войдя в семью, стал «разжигать» идею смены места жительства. Нашу квартиру предполагалось продать. О реальных мотивах случившегося я не имел ни малейшего представления! Мужчина взял у отца деньги, предложив моим родителям дружескую услугу – они с женой и дочкой купят билеты и будут ждать нас на вокзале. Деньги были потеряны.

Для родителей, наверное, это было неприятно. Одним словом – странная история...

...Наша жизнь в Баку протекала для меня скучно. Друзья моей матери тётя Паня и тётя Оля, Александр Столяров, тётя Эля и её дочери Ира и Света, довольно часто приходили в нашу квартиру по Краснорамейскому тупику дом 5, невольно и в мою жизнь вносили некое разнообразие.

В 1948 году я учился в последнем классе начальной домашней школы. Приближался май месяц и в Баку установилась тёплая весенняя погода. Всё так же к нам в дом приходила учительница – Мария Сергеевна Кочарова, а я всё также безрезультатно пытался писать её диктанты без ошибок и верно решать арифметические задачи.

Когда наступило лето, я окреп и теперь довольно быстро двигался на костылях, пытаюсь даже играть во дворе с мальчишками-сверстниками в футбол. Местные пацаны приглашали меня поиграть, потому что у меня было аж «четыре» ноги: костыли и две мои собственные. Управлялся я с ними теперь гораздо бойчее, чем раньше и случалось так, что именно я забивал голы под радостные крики болельщиков. Нередко именно мой удар костылём по мячу оказывался решающим. Игроки противоположной команды не решались отбирать у меня мяч, потому что нередко получали по пальцам или по костяшкам тыльной стороны стоп, когда я *прорывался* к воротам противника. Только мастерство вратаря всё решало, но, как правило, было оно не слишком высокое.

Поначалу меня никто не трогал. Привыкнув к моим прорывам к воротам, игроки потирали ушибы, но через неделю или две пацаны сообразили, что пускать меня на игровое поле несправедливо: у всех две ноги, а у меня четыре! Решено было предложить мне постоять в воротах с моими *четырьмя ногами*. Возражать я не стал. Первая же игра показала, что я могу отбивать от ворот любые мячи то рукой, то родной ногой, то костылями. Некоторым пацанам,

опять же с противоположной команды, я показался многоруким Шивой, ловко орудующим своими *конечностями* на защите ворот. Они снова запротестовали. Теперь меня уговаривали уйти из команды, но мне ужасно хотелось играть! Стоять без костылей на воротах я не мог, а отбиваться от нападающих игроков костылями правила не разрешали и тогда, разобидевшись на всех мальчишек, я сам ушёл с игровой площадки.

Придя с работы мать, застала меня плачущим. Она попыталась меня успокоить, но не знала, как это сделать? В этот вечер к нам пришла тётя Эля с дочкой Ириной. Мы стали с ней играть и я забылся. Потом я привёл Ирину к крохотному участку, где уже рос черенок винограда, который подарил и помог мне посадить сосед-азербайджанец по имени Али.

То было место, которое посоветовал отец Ирины – Александр Столяров. Черенок выглядел бодрим коричневым отростком с широкими зелёными брызгами ростков по бокам. Ирка равнодушно на него поглядела, спокойно выслушала мой рассказ, как я получил отросток от нашего соседа сверху, как её папа Александр Столяров советовал мне ухаживать за черенком. Об *удобрении* я смолчал, а у Иры был хронический гайморит и запаха она не учуяла...

Наступил вечер. Мы уселись за домашний стол и стали пить чай. Женщины говорили о чём-то своём, а Ирина безумолку болтала, рассказывая мне о школе, в которой училась. Засиделись допоздна. Отца не было. Он уехал в командировку, как и муж тёти Эли. Она решила переночевать с дочкой у нас. Меня с Ирой положили *валетом* в моей кровати, а взрослые легли на большую супружескую кровать моих родителей и, погасив свет, долго шептались.

После своих неудач на футбольном поле, после обид и обычной усталости я сразу заснул. Ирка некоторое время возилась в тесноте, но выбирать не приходилось и наконец-то она тоже угомонила.

Снится мне сон... Я хожу по лесу без костылей. Наверняка, то был крымский лес, так мне запомнившийся по случаю, когда я хотел, валявшейся в лесу противотанковой гранатой, разбить найденный орех. Но в этот раз мне приснилось, что я орех разбивать не стал, а засунул его в рот и старательно попытался раскусить. Это оказалось делом непростым. Размер ореха был слишком велик. Старательно открыв рот, я снова попытался засунуть орех и раскусить его. У меня никак не получалось! Наконец, устроив орех удобно между своими коренными зубами, я сильно сжал челюсти. Раздался жуткий крик! Не обращая внимания на крик, я жал челюсть и... проснулся. Надо мной стояла тётя Эля, пытаюсь пальцами пролезть между моими челюстями, чтобы спасти от моих зубов большой палец Иркиной ноги. Та благим матом орала на всю квартиру. Горел верхний свет, слышался залиvistый хохот моей матери, которая смеялась, стоя рядом с моей кроватью. Я почувствовал неприятный привкус в зубах и мгновенно разжал челюсти. Эля обрадованно схватила ногу дочери и машинально стала поглаживать её пострадавший палец.

Этот случай долго еще пребывал в памяти и молодых, и пожилых, сопровождая Ирину и меня до совершеннолетия. Нас прозвали *«жених и невеста»* и наши родители, со своими друзьями всерьёз полагали, что наш брак вполне возможен. Однако, случилось всё совсем по-другому, и у каждого из нас сложилась своя судьба...

...Я завершил четвёртый класс домашней школы и бабушка Надя решила сделать мне «гостинец» – взять меня с собой в Саратов, куда она направилась, чтобы навестить бывшую коллегу по работе в Саратовской ЧК – Валентину Семеновну Баландину. К тому времени я хоть и выглядел не по возрасту худым, но немного окреп и передвигался на костылях уже более или менее устойчиво. Как она решилась на это путешествие со мной, не знаю! Честно говоря, бабушку я побаивался.

Узнав, что мы поплывём на пароходе, очень обрадовался и был готов исполнять все её желания. Хотя, какие там желания? Надо есть всё, что бабушка мне давала, ложиться спать, когда она мне говорила, не забывая и о дневном сне, который она считала очень полезным. Не перечить её мнению, перед едой мыть руки с мылом. Чистить зубы перед сном... Я и в самом деле очень старался.

Родители проводили нас на пароход, стоявший в Бакинском порту и, гуднув пару раз, он лениво отчалил от берега. Двигаясь к морским просторам, пароход неспешно набирал скорость. Слегка заштормило. Бабушка позвала меня с палубы. Осторожно передвигая концы костылей, я направился в каюту. Меня немного подташнивало и очень скоро я забылся на нижней полке.

Поскольку Волга впадает в Каспийское море, эту истину я уже знал из уроков географии в четвёртом классе, я хотел дожидаться, когда наш пароход из Каспийского моря войдёт в реку Волгу. Но раз уж бабушка позвала меня в каюту, я решил, что волнующий момент мне придётся пропустить. Было жалко потерять этот шанс, хотя я не знал, когда это произойдёт. Борясь с тошнотой и уже засыпая, я думал лишь о том, что расстояние на карте между морем и извиистой рекой будет таким же коротким, как было нарисовано в атласе...

Я всё на свете проспал! Пробудившись и выглянув в круглое окно каюты, я заметил, что плывём мы посередине широкой реки, разделяющей две, едва видимые, береговые линии – слева и справа – хотя еще вчера, уже через час после отплытия, за бортом не было видно никаких берегов. Сердце ёкнуло! Я понял, что из Каспия мы вошли в Волгу и теперь движемся по широкой речной глади. Мы приплыли в Астрахань. Наступил светлый вечер. Бабушка принесла небольшой арбуз и мы с удовольствием испробовали огромную вкусную ягоду, которой славился этот город.

Через час или чуть больше, пароход загудел и мы начали медленно отходить от причала, на котором никого или почти никого не было. Берега постепенно стали расходиться и вскоре ширина реки была столь впечатляюща, что соседние полосы обеих берегов я замечал, как крохотные амплитуды электронных волн, отражавших некие подёмы и падения кривизны. Нам сказали, что в Саратов мы прибудем ночью. Бабушка забеспокоилась, встретят ли нас? Всё обошлось.

...Подруги – Валентина Баландина и Надежда Георгиевна – смачно расцеловавшись, возбуждённо болтали, когда мы ехали с вокзала по Саратову на трамвае. Слушая их разговоры, я тихо задремал, сидя на скамье трамвая. Однако, мы быстро приехали. Поскольку время было позднее, меня сразу же уложили в удобную кровать и я забылся.

Назавтра я проснулся от того, что на меня кто-то смотрит. Открыв глаза, я увидел черноволосую девочку моего возраста, а может быть и младше, которая сказала.

— А я знаю, ты - Алик!

— Ну и что? — Ответил я хриплым после сна голосом.

— Меня зовут Настя и я внучка бабушки Вали, — сказала девочка.

— Ну ты иди, мне надо... — Я смущенно затих, не зная, как прилично сказать: «Я хочу *писать*». Тут я смутился во второй раз, не зная, как вежливо спросить: «Где у вас *уборная*?» Настя оказалась девочкой понятливой, сразу же сообразив, что хочется человеку, который только что проснулся и очень меня выручила.

— Если тебе надо *писать*, идём покажу! — Она сказала это деловито и спокойно, вышла из комнаты, махнув мне рукой. Я взял костыль и в трусах, которые были размером с хорошие шорты, осторожно отправился за ней. В коридорах коммунальной квартиры нам никто не попался и я беспрепятственно прошёл в уборную, а Настя осталась стоять

у прикрытой двери.

Это была большая комната, с чисто вымытыми кафельными полами, но со стойким запахом мочи. В нескольких шагах от двери располагались *два места* с двумя рифлёнными наשלёпками каждое, между которыми были скошенные во внутрь белые дыры. От дыр, почти к потолку тянулись трубы и по ним, иногда с громким шумом, сливалась вода из двух квадратных чанов, закрепленных почти под потолком. Слева свисали металлические плетёнки с белыми ручками. Скорее всего это были приспособления для слива. На наשלёпки с рифлёнными крест-на-крест выпуклостями, следовало встать, присесть лицом к входным дверям и сделать *свои большие дела*. В сандалиях, которые я успел надеть еще в комнате, я встал на рифлённые наשלёпки спиной к дверям и отодвинул край *трусов*, желая сделать *дела маленькие*. Однако, я не заметил, что в уборную, нисколько меня не смущаясь, вошла Настя. Деловито устроившись в соседнем *очке*, она присела по своей *нужде*. Такой бесцеремонностью, честно говоря, я был ошарашен. Наверное, у детей моего тогдашнего возраста *пол* – понятие номинальное. Сначала возникает некое удивление разнородным строением половых органов, а если с шести до восьми лет не было никакого ознакомления с особенностями различия девочек и мальчиков, происходит, как бы само собой, *выяснение*, нередко в ситуации, близкой к той, которая случилась сейчас со мной. Обалдев, я сдавленно пробормотал.

— А ты чё? — Настя меня не поняла. Всё так же, сидя на корточках, без трусов, которых под её длинной рубашкой, теперь закатанной над попкой, не оказалось, она удивлённо подняла брови.

— Я? Писею... — Она равнодушно показала пальцем между ногами, где заметна была струйка, бегущая в дырку. Так же тихо, но назидательно, проговорила, как бы подводя

итог тому, что увидела у себя и у меня между ног, — *пистолеты* бывают только у мальчиков, как у тебя, а у девочек, как у меня – *письки*.

Я был полным *профаном* в этих вопросах в свои почти восемь или девять лет, с пятилетним затворничеством в Бузовнах, долгим одиночеством дома, несмотря на то, что не раз был с мамой в Бакинских банях, купальнях, созерцая множество голых женщин и девочек. Моё равнодушие к половым органам женщин было *абсолютным*, а неведение об их предназначении было *дремучим*. Надо же было оказаться в Саратове, проснуться утром в кровати, отправиться в домашнюю уборную, увидеть девочку семи лет, без признаков смущения и стеснительности, чтобы *ничто*, принадлежащее ей, названное ею сейчас *письюкой*, меня ввергло в непреодолимый приступ любопытства! Она выпрямилась, держа край рубашки двумя руками. Сойдя с рифлёных ступенек, спросила.

— Хочешь посмотреть? — Неожиданно для себя я быстро кивнул. Почему я это сделал, не узнает ни одна душа! Даже я сам... Но это случилось. С трудом присев перед Настей, я, наклонив голову, созерцал её *срамное* место, которое она обнажила передо мной без всякого стеснения. Не удержавшись, я осторожно протянул руку к её *гениталиям*, прикоснулся и раздвинул пальцами обе выпуклые розоватые половинки. Увидев внутренность *вагины*, со следами влаги, я вздрогнул. Тайна, темнеющая в глубине, едва заметно пульсировала.

В это время двери отворились и в уборную вошла Баландина. Она замерла при виде более чем странной картины моего почти *клинического* созерцания гениталиев её внучки. Опустив рубашку, Настя быстро вышла из уборной, а я так и сидел на корточках, не зная, что делать?

По странности всё обошлось. То ли пожилая женщина всё поняла и не стала заострять внимание подруги, моей

бабушки, на странностях поведения её внука. То ли Настя поделилась с ней: какой поразительно неграмотный и хромой мальчик их посетил. Не знаю! Мы провели в Саратове всего день и отправились назад в Баку.

Могу сказать определённо, этот эпизод я, наверное, должен считать самым впечатляющим в моём первом путешествии за пределы Баку. Этот акт, греховный, срощийся невидимыми нитями с темными инстинктами, спящими во мне, во всяком случае с позиций взрослого человека, заключался в том, что я дотронулся *невинными* пальцами, с *невинными* целями до *невинной* вагины девочки! Было ли это явление свидетельством свойств, которые следует отнести к *сумрачным* сторонам моего детского характера, я не знаю. Но впервые я обозревал крохотную долину, в которой через какие-то девять-десять лет у Насти наверняка пробудилась *неведомая* и уже *зрелая* страсть...

...Я приехал в Баку с чувством, что у меня никогда не появится собеседник, которому я осмелюсь поведать о случившемся. Так оно и произошло. Этот факт настолько плотно закупорил моё открытие, ну совсем как джина в бутылке, что десятилетиями я никому об этом не рассказывал...

...Рождение через два года моего младшего брата было для меня полной неожиданностью! Разумеется, я не имел ни малейшего представления, откуда он появился? Не было и... вдруг! Беременность матери протекала до странности скрытно. Периодически отправляясь в больницы и возвращаясь домой, я никаких перемен в облике матери не замечал. Спрашивать её о месте тайного пребывания *внезапно родившегося* мальчика я не решался. Поскольку смутные догадки сильно меня смущали, а родители нисколько о моих переживаниях не заботились, им и в голову не приходило, что в свои десять лет я мучительно буду *соображать*, откуда этот крохотный младенец появился 25 апреля 1949 года...

...Жизнь шла своим чередом. В том же 1949 году, спустя полгода после рождения брата Саши, то есть 25 августа СССР провёл успешное испытание атомной бомбы, нанеся сокрушительный удар по уверенности США в их военном превосходстве и неуязвимости. Что представляет из себя десятилетний мальчик, который почти пять лет пролежал в санатории в Бузовнах Азербайджанской ССР? Наверняка, этот человек абсолютно не представлял, что наступила в мире новая и весьма грозная для существования жизни на Земле эпоха. Не ведал, что конкуренция двух держав СССР и США после окончания Второй Мировой войны и разгрома гитлеровской Германии приобрела острый характер. Превосходство США в наличии атомного оружия, продолжившееся с августа 1945 года, когда на Хиросиму и Нагаски были сброшены две сверхмощные бомбы, породила жуткий, смертоносный соблазн диктовать свои интересы ненавистному режиму Советов.

Как бы ни звучал этот тезис, реальностью оставалась жизнь людей и *тут и там*, с той лишь разницей, что жизнь *тут* была невероятно тяжкой, по сравнению с жизнью *там*, потому что тысячи городов и посёлков страны Советов всё ещё лежали в руинах, а гибель миллионов граждан СССР ещё следовало осмыслить, как навсегда ушедший в небытие *человеческий* капитал – шесть с половиной миллионов на фронтах страшной войны и двадцать шесть с половиной миллионов – демографические потери огромной страны. А тут взрывы атомных бомб, однозначно утвердивших колоссальные разрушительные последствия этого нового оружия. В Хиросиме, в момент взрыва атомной бомбы, погибло около 166 тысяч человек, а в Нагасаки – около 80 тысяч. К тому же у этого оружия оказался *продолгованный* показатель гибели людей, равный на август 2013 года 450 тысячам человек. Это плюс к тем, кто погиб мгновенно в августе

1945 года. (Данные из Википедии – Интернет)

Теперь, живя в США, получив возможность ознакомиться с документами о происходивших здесь политических баталиях: «*применять – не применять*» атомное оружие против СССР, мысленно переносясь в период моей жизни от августа 1949 года – время бомбардировок японских городов – до 10 октября 1963 года, когда вступил в силу Московский Договор о запрещении испытаний атомного оружия на земле, в атмосфере и в космосе, положивший конец ядерному шантажу, я спрашиваю себя, была ли вероятна *моя гибель* в пожаре атомной войны, как и миллионов моих соотечественников, если бы она разразилась в этот отрезок времени?

Оливер Стоун, Питер Кузник в своей книге «Нерассказанная история США» (Oliver Stone and Peter Kusnick «The Untold History of the United States» Gallery Books and Simon Shuster Inc. 2013) убедили меня в том, что такая *вероятность существовала*. К тому же – много раз! Опубликованные ими документы и факты поражают воображение, ни на минуту не оставляя сомнения в реальности атомных бомбардировок, в огне которых я мог бы погибнуть вместе с моими родителями и родившимся братом-малюткой...

«В 1948 году генерал-лейтенант Кертис Лемей, вдохновитель атомной бомбардировки Японии... возглавил САК (Стратегическое Авиационное Командование) и стал превращать его в мощную боевую силу, готовую почти мгновенно вступить в активную фазу военных действий против СССР. «Мы находимся в состоянии войны!» – объявил он. Если бы война действительно началась, он намеревался просто сокрушить советскую оборону, сбросив на 70 городов 133 атомные бомбы и уничтожив таким образом 40 процентов советской промышленности и 2,7 миллиона человек населения. САК призывал к применению всего запаса

бомб «одним массированным ударом.»¹

С каждым годом моей жизни я буду возвращаться к реальной вероятности моей неминуемой гибели, равно как и всех близких мне людей, в зависимости от проектов и планов ядерного противостояния двух главных противников на Земле – СССР и США. Теперь, после масштабного рассекречивания документов, можно вполне определенно ссылаться на вероятность такого *сумасшествия* в те далёкие годы...

...С появлением малыша-брата, я неожиданно обнаружил, что у меня увеличилось время, не *отягощённое* уроками, решением задач и тренировками по чистописанию. Приближалось окончание домашней школы. Я понял, что отец засобирался в Краснодар. Как мне показалось, в моей предстоящей жизни вскоре грядут большие перемены. Отъезд отца пришёлся на позднюю осень сорок девятого года. После долгих разговоров, проходивших без моего участия, но в зоне слышимости моего левого уха, потому что правое *оглохло* после *гнойного отита*, мои родители решили, что для матери ехать со мной – дело рискованное, как и с недавно родившимся мальчиком, которого назвали Александром, в честь покойного деда. Работа в Краснодаре отцом была получена, но жилья там не было. Матери с двумя детьми будет ох как нелегко! Пришлось отцу согласиться на компромисс: сначала уехать самому, как бы в *разведку*, затем снять в Краснодаре квартиру и вызвать семью. В это время мать должна была попытаться продать наше бакинское жильё, перейдя жить к свекрови и ждать вызова от мужа. На это требовалось время и немалое!

Завершался 1949 год и нам пришлось как-то устраиваться сначала в квартире у матери, но потом перейти жить к матери отца – бабушке Наде. Очень много времени ушло

1) Оливер Стоун, Питер Кузник. «Нерассказанная история США» (перев. с английского) изд. Колибри, стр.32

на продажу квартиры по Красноармейскому тупику дом пять. Мать работала, брат – малютка был под приглядом иногда тёти Шуры, иногда бабушки Нади, а я – сам по себе, готовясь перейти осенью 1950 года уже в общеобразовательную школу. ...После четырёх лет учёбы в домашней школе, в пятый класс бакинской 171-й средней школы мне предстояло отправиться осенью. Школа располагалась неподалеку от дома, где мы жили с матерью и мне казалось, что добираться до неё не составит труда. Но после лета и моих бесконечных, бесконтрольных забав на улице, что-то стало происходить с моими тазовыми суставами. Точнее с теми костями, которые еще не сгнили полностью от туберкулёза.

Я почувствовал, что на внутренней стороне правого бедра начинает зреть абсцесс. Хотя чувствовал я себя неплохо, но изредка ощущал покалывание с внутренней стороны бедренной зоны. Мать испугалась. Ей пришлось принимать решения самой, потому что отца не было. Второй месяц он жил в Краснодаре, работал там, терпеливо ожидая, когда мать продаст свою квартиру в Баку и приедет к нему в Краснодар. Узнав по её письмам, что со мной случилось, отец просил её положить меня в тубдиспансер, рассчитывая, что там предотвратят прорыв свища. Спасительный *пенициллин*, который в пятидесятом году уже был в клиниках, появился и в туберкулёзных диспансерах. За август и сентябрь 1950 года, после непрерывных уколов пеницилина в бакинском туберкулёзном диспансере, налаженном питании и клиническом уходе, удалось, зревший у меня абсцесс, как-то *затормозить*. Пока я лежал в тубдиспансере, у матери появилось время заняться своими делами, но продажа квартиры никак не *налаживалась*. Почти в середине сентября я вернулся домой и почти сразу же отправился в пятый класс Бакинской 171-й средней школы.

А тут наступили трудные дни у матери на работе.

Однажды в её кабинет пришло начальство и без предисловий представило смуглолицую женщину – азербайджанку, в одночасье ставшую её замом. «*Местный кадр*» закончила Азербайджанский университет и начальство попросило мою маму ввести её в курс архивных дел. Стало ясно, азербайджанка теперь будет «*дышать в затылок*» заведующей архивом с многолетним практическим опытом, со всеми вытекающими последствиями. А тут ещё сын – малютка. Муж в Краснодаре. К тому же никак не удавались попытки продать квартиру на Красноармейском тупике дом 5, что сильно оттягивало время отъезда в Краснодар, к мужу. Бросить всё не хотелось! Надежды были на то, что хоть какие-то деньги удастся выручить и купить на них хотя бы *халуну* в этом южном городе...

...Пребывание в 171-й бакинской школе далось непросто и мне! Одно дело, когда ты дома целый день и к тебе приходит учитель, другое – пять часов на ногах, да еще сидишь на твёрдой деревянной перекладине парты, встаёшь на вызов учителя, хромаешь, двигаясь к доске, чего-то на ней пишешь, скрипя зубами от жестокой боли в местах, где когда-то были изъеденные туберкулёзом бедренные суставы. Строишь хоть какие-то отношения со своими сверстниками, далеко не всегда готовыми сочувствовать твоим ограниченными возможностям и ходить, и сидеть, и стоять. Время было *спартанское*. Граждане страны и стар, и млад, в том числе и мои родители, несли на своих плечах тяготы сурового послевоенного бытия. В школу мне надо было идти, потому что выбора не было. Неважно, что ты попадаешь в плотный улей, заселенный пацанами, переполненными энергией и вовсе не думающими о пребывании в их рядах сверстника – хромого, осторожнодвигающегося по школьному коридору...

В свои подступающие одиннадцать лет, я внешне был похож скорее на девятилетнего пацана. Ходил только

на костылях, причём концы их обычно держал немного в *раскорячку*, что невольно провоцировало мальчишек, появляющихся рядом со мной, задевать их носками своей обуви. Внутри школы всё выглядело бедно, хотя за чистотой строго следили, что для меня было сущим наказанием. Дело в том, что поверхность пола была устлана досками, выкрашенными коричневой краской. Когда полы мыли – поверхность становилась сырой и мои костыли, с резинками на концах, *«ползли»*. Надо было всегда быть настороже. Поначалу я зорко следил, чтобы между мной и бегущим рядом было расстояние. Хотя бы на ширину шага. Иначе, если столкновение происходило, я падал. Правда, падать я научился очень ловко. Отбросив костыли, я приземлялся на растопыренные пальцы рук, вытянутых вперед. Так мне удавалось не ударяться грудью и не расшибать лицо. Спасал мой вес. Я был лёгким и при падении опускался на ладони, оберегая от ухаба лицо и грудь. Затем, подымал один костыль, потом второй и, подставив их подмышки, шёл дальше...

Устраивая меня в 171-ю школу, мать пришла со мной к директору – пожилому азербайджанцу. Он, с любопытством на меня посмотрев, спросил её.

— А как ваш сын подымается по лестнице? — Вопрос был далеко не праздным. Здание бакинской школы было двухэтажным. На втором этаже наш класс оказался у самого конца коридора. Поскольку я пришёл в середине сентября, все места в классе уже были заняты, кроме первой парты в левом ряду. Здесь я и устроился...

Попасть в класс, где мне предстояло учиться, можно было, только поднявшись по лестнице. На первом этаже были начальные классы, а на втором – с пятого по седьмой. Опыта движения *вверх-вниз* по лестничным ступеням у меня не было. Нетрудно представить моё положение! Приходилось сначала ставить костыли на ступеньку выше, затем перетаскивать на неё ноги. Риск возрастал, когда я достигал

середины пути или оказывался на самой верхней площадке. Кто-то из пацанов, не видя меня, в горячке бега или стычки с одноклассником на лестнице, мог столкнуться со мной и я кубарем скатывался вниз!

Спускаться на первый этаж после уроков, мне предстояло крайне осторожно. Если учесть, что я так и не приобрёл устойчивой координации, приходилось сильно рисковать, *спускаясь* вниз по лестнице. Но как-то надо приспособляться! Сначала я опускал на нижнюю ступеньку концы костылей, потом свои ноги, дрожавшие от напряжения. Кто-то нечаянно задевал нижний конец костыля и я летел вниз. Ушибы возникали в зависимости от того, где это случалось – в начале, в конце или в середине лестничного марша. Мне везло. Прежде чем падать, я успевал, бросив костыли, схватиться за поручни, и, держась обеими руками, стоял, пока кто-то из мальчишек не приносил мне мои *«орудия передвижения»*. Хорошо хоть пролёты лестниц были короткими...

При школе – широкий двор с асфальтированной площадкой. На её поверхности было множество трещин и выбоин. *«...В школе меня быстро нарекли «хромым», и для моего самолюбия это был удар ниже пояса. В Крыму, среди своих товарищей по несчастью, «хромым» я не звался и в Баку к этому не был готов... В школе я быстро понял: защищаться придётся собственными кулаками. Вызывает меня учитель к доске. Обнаруживаю, что костылей нет! Обычно я клал их на пол, справа у самой кромки парты. Смеха ради, мои одноклассники, сидящие сзади меня, тайно украли их и спрятали, едва я уселся за парту. Сказать учителю, что я не могу пройти к доске на его вызов – не позволяет самолюбие. Рассчитывать на догадливость педагога – рано. Он еще толком меня не знает. Учитель ждёт, а я в растерянности сижу, класс замер, но готов взорваться смехом от «комической ситуации».* Я уже научился ходить без костылей, но пройти только мог от силы три-четыре шага. Стою

не более двух-трёх минут. Паника в душе ужасная! Рискнул. Сильно хромая, переваливаясь слева направо, вышел к доске. Учитель – молодой азербайджанец – поначалу озабоченно на меня посмотрел, но тут же одобрительно закивал. В классе – ни звука... Стою у доски из последних сил, пишу предложение. Раскраснелся от напряжения и боли, а учитель скорее всего посчитал, что мальчик очень старается. Неожиданно заметил: мои костыли лежат под партой, третьей от моей. Там сидел довольно рослый пацан. Продолжая писать на доске, чувствуя, что через минуту рухну на пол, я впервые в жизни почувствовал тяжкую ненависть к тому мальчишке-сверстнику, который украл и спрятал мои костыли. На какой-то момент даже про боль забыл. Кое-как доковылял до своей парты...»¹. После этого случилась моя первая драка в школе. Я был в такой ярости, что если бы меня не разняли с моим одноклассником, наверняка, я бы его покалечил, потому что уже, схватив костыль, замахнулся над его головой. Отрезвил звонок на урок и мы быстро уселись за парты...

Сто семьдесят первая, Бакинская, была школой мужской. То было время, когда отдельно существовали мужские и женские школы. Наверное, это обстоятельство вносило некую однородность в поведение ребят: на переменах часто слышался громкий мат, мальчишки не церемонились, порядка не придерживались. Часто попадало и мне, а жаловаться было бессмысленно, да и опасно для репутации...

Я был крайне возбуждён, когда возвращался домой из школы и долго не мог успокоиться. Единственным моим утешением был крохотный брат, который лежал в кровати и с аппетитом пил из бутылочки молочко. Его появление нисколько не меняло моего положения в доме.

1) Татьяна Юрганова «Автопортрет любви без ретуши»
Минск. Издательство «Четыре четверти» 2006 г. Стр.18-19.

Всё в нашей семье, жившей без отца, уехавшего в Краснодар, оставалось по-прежнему. Мать суетилась на кухне, братик иногда капризничал, хныкал, просыпался ночью, но нрав у него был спокойным и высыпаться он нам с матерью всё-таки давал...

Конечно, я был подавлен нравами, с которыми столкнулся в своей мужской школе. Но после нескольких недель учёбы, от меня отстали, а выходить к доске я стал на костылях. Делал это гораздо увереннее, когда уже приспособился передвигаться по коридорам, хотя спускался и подымался по лестнице с величайшей осторожностью и то, дождавшись, когда основная масса учеников схлынет с нашего этажа.

Осторожно ступая со ступени на ступень, я опускался на первый этаж, пересекал коридор и оказывался на школьном дворе. Теперь надо было дойти до ворот и направиться на улицу, чтобы минут через двадцать или тридцать достичь порога своей квартиры в Красноармейском тупике номер пять. К исходу осени я настолько привык к сложностям своей жизни, что все мои столкновения уже утратили первоначальную значительность. К тому же трогать меня было опасно, можно было получить костылём такой удар, после которого надо было идти в школьную санчасть. Мне нравилось, что я, «хромая шмакадявка», не давал себя в обиду, но мне хотелось защищать и других: я влезал во все драки, возникавшие в школьных коридорах, раздавая тумаки направо и налево, не задумываясь, верно ли я адресую удары в защиту слабых или просто по инерции? Меня стали бояться. Это мне нравилось. Тот, первый мой обидчик, с которым мы «схлестнулись» в классе, теперь старался быть от меня подальше. Но он явно затаил на меня злобу...

Помню еще один случай. Урок рисования для пацанов, в те школьные годы, был чем-то вроде «отдыха». Мне учительница рисования, молодая, симпатичная девушка-армянка очень понравилась. Не особо расстраиваясь, что её

урок игнорирует половина класса, она работала с небольшой группой мальчишек, отзывавшихся на её внимание. Среди них был и я. Бездельники не дремали. Сначала они бросались в нас, да и в неё тоже, скомканными бумажками. Потом обломками карандашей. Дело кончилось тем, что один такой обломок попал учительнице в щёку. Класс замер. Она обиженно покраснелась. Хотя я и не был уверен, что обломок бросил тот самый пацан, с которым мы схлестнулись еще в первые недели моей учёбы в этой школе, я встал и держась за парты, захромал к нему. Подошёл вплотную и открытой ладонью сильно ударил по щеке. Звук удара был так громок, что класс от неожиданности ахнул. Схватившись за щеку, мальчишка остолбенел. Почему-то стал ощупывать свой портфель, который лежал на парте, что-то в нём ища. Я повернулся и также держась за парты, стоявшие вдоль класса, отправился к своему месту. Сел, устало переведя дыхание. Учительница растерянно потирала щеку, куда попал острый конец сломанного карандаша. Затем вернулась к столу, взяла папку и с прозвеневшим звонком почти выбежала из класса. Схватив свой костыль, я замахнулся на парня, ожидая от него нападения. Пытаясь защититься, он поднял обе руки. Драки не случилось, потому что обидчик неожиданно... расплакался. В этой школе я проучился два или три месяца.

Наконец-то мать продала квартиру в Красноармейском тупике и стала собираться в Краснодар. Отец написал в Баку, что ждёт нас и мы в ноябре отправились к нему...

...О своём виноградном дереве я никогда не забывал. Когда я заканчивал домашнюю школу, укутывал в тряпьё его ствол на зиму. Постоянно удобрял своими *фекалиями*, а когда получалось – конским навозом. Старался делать это осторожно и умеренно, чтобы запахами не отпугивать соседей. Ствол лозы сильно окреп и подрос. В момент, когда квартиру, в которой мы жили, мать продала, виноград был уже выше

меня, а его боковые черенки вытянулись, огрубели, начали *карабкаться* по кирпичной стенке, устремляясь вверх и влево. Но первый *урожай* с моего виноградника я попробовать не успел. Он был ещё *мал* и требовалось год или два, когда на его ветвях появятся первые полноценные гроздья.

Честно говоря, я даже и не мечтал увидеть *свой* виноградник повзрослевшим, плодоносящим, тем более, посмотреть и попробовать его ягод. Когда мать продала нашу квартиру новым хозяевам, я жил тогда у бабушки Нади и, собираясь в Краснодар, в свою сто семьдесят первую школу уже не ходил. До школы от бабушкиной квартиры надо было добираться долго и тяжело. К тому же ехать на трамвае, что было для меня почти непосильно. Наступил конец октября – начало ноября. Лили дожди и в этой сырости снова начал потихоньку зреть мой затаившийся абсцесс.

Да и день отъезда в Краснодар приближался. Было не до учёбы.

Наконец, приехали мы с мамой и братиком Сашей в Краснодар. Так получилось, что прожили мы там три или четыре года и волею судеб снова вернулись в Баку. Свой виноградник я *всё-таки* увидел и даже попробовал его нежные, удивительно красивые по форме ягоды без косточек. Поскольку посадил я его, будучи еще ребёнком, завершу рассказ о своём детстве историей этого *памятного* для меня растения...

...В 1953 году, в конце лета, мне шёл четырнадцатый год. Детство моё уже кончилось, так и не состоявшись. Начались годы отрочества, помеченные новыми целями, проблемами и *некими* задачами, которые легли на мои плечи. Случилось так, что оказался я на дворе нашего бывшего дома на Красноармейском тупике дом 5. Переступив перекладину ворот с огромной цифрой 5, оказался я на узком дворовом проходе между уборными и стоявшими напротив них слева домами, в которых жили мои бывшие соседи.

Вот квартира дяди Яши и его жены хромой Лизы. Затем шла квартира, в которой жил сгоревший в 1945 году Николай Жуков. Там теперь жил какой-то одорукий мужчина с ребёнком, сидевшим сейчас у него на коленке. А вот порог следующей квартиры. Как и всегда, сидела там, на плоской подушке, безногая тётя Дуня. С такими же, как и всегда, конопушками на щеках. Только постаревшая ровно настолько, сколько не было меня в Баку. Она узнаёт меня. Молча машет мне рукой. Смотрит вслед тихо и равнодушно. Иду дальше, мимо квартиры Бутузовых. Тётя Шура стоит на пороге с малышом на руках. Узнаёт меня почти сразу. Открывает рот, что-то хочет сказать, но на её изумленный взгляд я почти не реагирую. Моё *потрясение* слишком велико – я увидел «свой виноградник»! И вовсе не думал я о том, что с момента моего рождения до этой самой минуты прошёл *целый кусок* моей жизни! Я просто обо всём забыл и, подойдя к заборчику, смотрел на *взрослое*, крепко стоявшее в земле растение, которое двинуло свои темно-коричневые ветви вдоль стены, касаясь широкими листьями деревянного настила балкона, где когда-то обитал уже умерший Али, давший мне черенок лозы размером с мою руку.

Виноград оказался элитного сорта с длинными, как ухоженные женские ногти ягодами, крупными, заполненными нежной мякотью и соком. Я с изумлением смотрел на *мой* виноград, поражаясь многочисленными гроздьями, плотными, длинными, наполненными соками земли, свисавшими, то тут – то там, по боковым ветвям, отползающим от толстого ствола влево, к порогу уже чужого дома, неведомых мне соседей.

Вокруг стали собираться соседи, знавшие меня с раннего детства. И первое, что они говорили, так это про виноград и какой я замечательный мальчик, оставивший им после себя такую прекрасную память. Этот был самый светлый, счастливый день моей жизни! Я многое бы отдал, чтобы

записать точное число и месяц случившегося *ослепительного* события. Однако я могу только с уверенностью сказать, что посадил я виноград в девятилетнем возрасте. Скорее всего в марте или апреле 1948 года, а появился здесь, на этом дворе, летом 1953, впервые получив возможность (раз и навсегда!) попробовать на вкус *плоды рук своих*...

Даже в свои семьдесят шесть я переживаю этот миг, с ощущением тихой радости, которая согревает мне душу и... тяжкого горя, от утраты моего виноградника в годы, когда этот зрелый красавец, с десятками висящих крупных гроздьев, погиб, будучи уничтожен, при строительстве новых многоэтажек, заменивших Красноармейский тупик, бесследно исчезнувший из ландшафта города Баку в восьмидесятых годах прошлого века...

...В Америке я написал биографический роман «*Однофамильцы*». В нём рассказ о днях, событиях, пережитых моим литературным героем Сергеем Ордынцевым. Его я попытался срисовать с себя. Здесь ощущения, пережитые в годы, когда моё детство незаметно переходило рубикон отрочества и, как мне казалось, заслуживало художественного отображения. Вот почему я решился включить фрагмент из этого так и незавершенного романа, чтобы, окунуться в нежные и горькие глубины волнений...

«Однофамильцы»

...На верхнем ярусе дома, с длинным деревянным балконом, сливавшимся с периметром здания, жили семьи азербайджанцев. У них было много детей. Они часто играли на дворе, с любопытством поглядывая на Сережку, сидевшего на широком подоконнике. К каждой входной двери своих квартир азербайджанцы пристроили лестницы, ведущие на плоскую крышу дома. Там – просторные площадки. Весной, и летом

– удобно. Можно подняться, расстелить цветастые покрывала, сесть и поужинать всей семьей. Вечером или ночью, после дневной жары, здесь хорошо спать. Прохладно...

В квартирах, расположенных на нижнем ярусе дома, проживали – русские, армяне, евреи. Так вот... Через стенку квартиры Ордынцевых жила Сара Самуиловна – жена полковника милиции, мать двух девочек: пятнадцатилетней Женьки и девятнадцатилетней Ларисы. Обе – разные. Женька – толстая, краснощечая. Лариса – худая со светлыми, мечтательными глазами. Они приходили к Сережке поболтать. Тётя Сара мальчика жалела. Как могла, приглядывала за ним, когда родители уходили на работу. Часто приносила ему чего-нибудь вкусенького. Сережке это ужасно нравилось! Однажды, проголодавшись, он не захотел вставать с кровати, чтобы налить себе суп из кастрюли, которую мама оставила в коридоре, на втором подоконнике. Знал - сделает шаг-другой, ноги начинают ужасно болеть. Постучал в стенку соседке. Прибежала Женька.

– Ты чего?

– Я не тебя звал, а тётю Сару!

– Ладно...Сейчас скажу маме. – Женька громким голосом закричала.

– Мама! Сережка тебя зовет! – И ушла. Тётя Сара появилась очень быстро.

– Здравствуй, Серёженька, чего звал?

– Здравствуй...У меня есть суп. Мама оставила. Но я не хочу его. Может у тебя есть пирожки? Ты пекла сегодня?

Почему-то тётя Сара весело засмеялась. – Ну Сережка, ты, как в ресторане! – Остановив смех, растерянно проговорила.

– Нет... Сегодня я ничего не пекла. – Оглядевшись, увидела на подоконнике кастрюлю, накрытую подушкой. – А давай-ка я тебе подогрею мамино супа?

– Давай... – Сережка снисходительно соглашается. Удобнее устраивается на своей тахте. Кладет на колени фанерку, подставку для тарелки. Тётя Сара ставит кастрюлю на керосинку. Заговорщицки подмигивает. Шёпотом говорит.

– Минуточку... Я сейчас вернусь. – Уходит к себе домой. Быстро возвращается. В руках у неё маленькое блюдце. Подходит к керосинке, открывает крышку стоявшей на огне кастрюли, что-то кладет в неё из блюда. Помешивает половником. Сережка ждёт, когда тётя Сара даст ему суп. Конечно, он доволен: не надо вставать, идти на дрожащих ногах. Ставить кастрюлю на керосинку. Но ему всё же стыдно. Совсем чуть-чуть...

...Сережка всё может делать сам. Не какая-то лень, а боль в ногах заставляет его надолго откладывать миг утоления аппетита. Вот почему он идет иногда на хитрость – стучит в стенку к тётю Саре. Конечно, нехорошо, когда сам не делает, что должен! Но тётя Сара добрая. Только позови и она тут же придёт, сама подогреет суп, оставленный мамой в кастрюле, даст Сережке. Иной раз принесёт и молча положит в алюминиевую миску куриную ножку или жареную картошку. Соседка даёт Серёжке кусок черного хлеба, оставленного мамой на крышке поверх миски. Он начинает кушать. Тётя Сара стоит минутку-другую у его тахты. Вдруг спохватывается. Подымает указательный палец. Подмигивает Сережке и тихо говорит.

– Ну конечно! Я же забыла! Ешь, ешь! Я, сейчас... – Возвращается. В её руках фаянсовая чашка.

Подходит ко второму подоконнику, тому, что ближе к тахте, на которой сидит Сережка. Берет стоявшую там алюминиевую кружку и наливает в неё содержимое из своей. Подходит к мальчику. Тот с удивлением смотрит.

— А там что? — С супом он уже справился. Даже нашел там кусочки вареной курятины. Мама потом сильно удивится, когда сын вспомнит вечером об этом.

— Это компот, — говорит тётя Сара. Напоминает, что косточки от вареных слив надо аккуратно сложить на край фанерной дощечки, лежавшей на его коленках. Сережка очень скоро чувствует, как мягки и вкусны вареные сливы и кусочки яблок в компоте. Погладив Серёжку по русым волосам, тётя Сара уходит домой...

Болезнь сильно замедлила его рост. Хотя ему уже было восемь лет, со стороны Серёжка выглядел не старше шести или семи. За собой ухаживать научился в Крыму. Конечно, он соглашался с мамой, когда та говорила: «Сынок, привыкай делать всё сам! Здесь не больница и не санаторий. Нянечек нет!» Понимал — мама права. За ним убирать некому. Вечером, когда с работы приходили родители, у них были усталые лица. Заботы о больном сыне заставляли их волноваться. Иногда они ссорились друг с другом. Как мог, он старался не докучать им своей беспомощностью. Каждое утро, перед уходом на работу, мама давала сыну поручения. Надо вытереть в комнате пыль, согреть на керосинке еду, а кушать не на тахте, а за столом. Делать, как просила мама, Сережка хотел, но... От боли его иногда охватывала злость. От неё и своего бессилия он всё бросал на пол с кровати. Долго лежал, не прибирая вокруг себя.

То ли так он накапливал силы, то ли просто уходил

куда-то, в свой неведомый никому мир. В такие минуты короткий сон избавлял его от боли. А когда пробуждался от временной спасительной дрёмы, то боялся даже пошевелиться. С каждым движением боль пробуждалась, как чуткий зверь...

И всё же, к приходу родителей с работы, Сережке удавалось сделать над собой усилие. Он наводил вокруг себя порядок. Иначе нельзя! Мама сердилась, если видела, что разбросаны вещи, а на полу — остатки пищи или валяется грязная тарелка. Случалось, и отец строго грозил сыну указательным пальцем. Палец у него кривой. Был изуродован на войне.

— Руку поднял из окопа — рассказывал отец — а тут снаряд взорвался. Немецкий. Осколок попал в палец. Вот так...

...Была у Сережки еще одна сложность. Раз в день, а то и чаще, ему приходилось добираться до уборной. На костылях. Надо было осторожно устроиться над «очком», на каменных «подошвах», между отверстием, куда непрерывно, со свирепым рыком и змеиным шипением лилась вода сверху из квадратного железного бачка. Чтобы не упасть, приходилось держаться за стенки. Потужиться. Сделать «по-большому». Сережка «по-маленькому» обычно делал дома. В ведро. Оно стояло под столом у второго окна. Ведро накрывалось старым круглым половиком. Мать или отец, придя с работы, выливали его «добро» в уборную.

Тужится Сережка над «очком» и читает, что на стенах написано. Писали дворовые пацаны. Иногда надписи были очень смешными. Однажды, вернувшись из уборной, Сережка тихонько повторил отцу стишки, которые прочитал там: «Хоть уборная — не аптека — облегчает человека, кто насерит пуд — тому

премию дадут!» Отец громко рассмеялся. Мама – она все-таки услышала – поморщилась. Покачала головой... Тогда и отец нахмурился. Легонько ткнул Сережку в бок и сказал.

– Ну ты, в самом деле... Нашел, что учить наизусть... Лучше Пушкина почитай...

Когда наступала ночь, Сережка долго вертелся на своей тахте. Она была жесткая. Так было полезно для его больных костей. Хоть и полезно, но больно. Найти такое положение, чтобы ноги не ныли, очень трудно. Окончательно устав от боли, Сережка засыпал. Иногда он не выдерживал. Плакал. Правда, очень тихо. Накрывшись с головой простынёй или одеялом. Боялся, что услышит мать или отец. Было стыдно – большой же!

...В больнице, в палате ночью плакали многие ребята. Даже постарше не выдерживали. Но подростки не плакали, чаще они ругались. Вполголоса. Как потом узнал Сережка, эти слова нянечки называли «*матерными*». Однажды он и сам попробовал эти слова сказать. Ночью, когда начали ныть ноги. Но боль не прошла. Его услышал сосед по кровати. Он уже не помнит, как его звали. То ли Гарик, то ли Марик. Но помнит, что сказал он зло и шёпотом.

– Эй, сопляк, ты что спать мешаешь! Тоже мне, «сапожник»... – Почему сосед назвал его «сапожником», Сережка так и не понял. Дошло до него лишь то, что, как ни ругайся, боль от бранных слов не проходит. Это уж точно! А вот если немного поплакать, можно незаметно уснуть... Главное, чтобы тебя не «застукали» всхлипывающим. Если услышат пацаны – засмеют. Когда медсестра дежурная услышит его всхлипывания – начинает выпрашивать: что случилось? Узнает, что у него ноги болят, махнет рукой. Уйдет

по своим делам. Им уколов от боли не делали. И таблеток не давали... Так что, плачь – не плачь, не поможет! Значит, надо привыкать ...

...Однажды днём, почти к обеденному времени, тётя Сара пришла к Сережке с большой белой тарелкой в руках. Там горкой лежали румяные пирожки. Они напоминали ему пароходики с плоским дном, пухлым верхом и острыми концами с обеих сторон.

– Кушай, Серёжка, – говорила она, ставя тарелку на подоконник у его тахты. Посмотрела вокруг, проворчала – И чего это у тебя всё тут валяется? – Откусывая пирожок, он согласно кивнул. Что верно, то верно! Вон валяется на полу рубашка... Стало жарко, он снял и хотел добросить до стула, но промахнулся. Тарелка упала с фанерки. Он утром кушал манную кашу. Отложил тарелку в сторону, когда хотел подтянуть к себе покрывало, она соскользнула на пол. Хорошо, не разбилась. Только глухо ударилась дном о пол. Тогда же с колен упала и отложенная книга. Сказал тихо.

– Тётя Сара я пирожки съем и всё уберу...

– Конечно, уберёшь... А я тебе помогу... Хорошо?

Тётя Сара произносила букву «р» не как все люди. Он помнил, как отец сказал: «Сара Самуиловна говорит, как Ленин.» Сережка не понял почему. Ленина он видел на картинке и в кино. Фильм показывали, когда Сережка был в больнице. Их свозили в большой и широкий коридор на кроватях с колёсами. Это были самые веселые минуты. Пока киномеханики готовили свой аппарат, мальчишки и девчонки, кто в гипсе, кто в гипсовых ванночках, переговаривались друг с другом. Смеялись, баловались, как могли. Когда Сережка вернулся в Баку из Крыма, в кино он очень давно не был. Отец обещал на руках принести его в кинотеатр, но нести тяжело. Сережка понимает и не просит...

Аппетитно жуя пирожок, он смотрит, как тётя Сара, краснея от напряжения, нагнулась, подняла с пола его рубашку. Выпрямилась, аккуратно её сложила и положила на широкий подоконник. Потом подняла с пола книгу: Валентин Катаев «Сын полка». Подарок бабушки ко дню рождения Серёжки. Тётя Сара вытерла концом своего фартука яркую обложку. Машинально полистала странички и тоже положила на подоконник, рядом с его рубашкой. Дошла очередь до тарелки с остатками манной каши. Подняв её, тётя Сара подошла к большому тазу, над которым висел рукомойник. Это рядом со вторым окном. Осторожно поставила туда тарелку. Потом вернулась к Серёжке. Он ел уже третий пирожок. Сказала, поглаживая его по русой голове.

— Вещи надо беречь! Кто тебе книжку купил?

— Бабушка...— Серёжка отвлекся от пирожка.

— А рубашку тоже бабушка подарила или мама?

— Не знаю... Наверное тётя Маня... Мамина сестра. — Серёжка куснул конец нового «парохода». Как и все пирожки он был с мясом, яичками и зелёным луком.

— Запомни Серёженька, — сказала тётя Сара, — будешь бережливым, будешь и богатым.

Оторопевший от неожиданно строго прозвучавшего голоса соседки, Серёжка поспешно кивнул.

— Свою тарелку я у тебя возьму — сказала тётя Сара. — Остальные пирожки давай положим сюда...— Оглядевшись, она заметила на соседнем подоконнике белое блюдце с широкой красной полосой. Положила туда оставшиеся два пирожка и принесла ему. Вышла, еще раз погладив мальчишку теплой, мягкой ладонью, пахнувшей печёным тестом.

Пережевывая вкусную начинку пирожков, Серёжка

даже не замечал, что слова тётя Сары крутились в уме, будто сухие листики на асфальте от ветерка. С чего это соседка так строго сказала ему эти слова, он не очень понял, хотя о бережливости все время твердила и мама тоже. Отец требовал от него аккуратности, чтобы всё было на своих местах. Но про богатство родители никогда и ничего не говорили и то, что бережливость делает человека богатым — Серёжка слышал только сейчас, от тётя Сары.

Справившись с последним пирожком, он выпил остатки компота и погладил заметно приподнявшийся сытый живот. Вспомнил, что не сказал тётя Саре «Спасибо!» Стучать в стенку, чтобы позвать соседку, не стал. Закрыл глаза. «Если придет — скажу...» Опять вспомнил её слова про бережливость и богатство. Почему тётя Сара так строго сказала? Думалось сейчас спокойно и лениво. Даже ноги перестали ныть...

...Богатство Серёжке представлялось, как «много», а бережливость, наоборот, как «мало». Наверное, мама не была бережливой, раз в доме было мало еды и денег. Он часто видел, как мама очищает от камешков и кусочков стекла грязный рис, который в мешке принесла ей её сестра — тётя Маня. Она нашла его в порту, когда провожала в плавание своего сына Славу. Он работал боцманом на торговом судне. Его по долгу не бывает дома. «Мне везет — со смехом говорила тётя Маня — полгода его кормит государство. Опять же, для меня экономия!» Мешок с грязным замусоренным рисом она нашла под старым баркасом. Не долго думая, взяла. Принесла сестре, отсыпала половину.

Слова: «Денег — мало!» Серёжка слышал от мамы часто. Она это говорила Серёжкиному отцу. Тот соглашался и как бы самого себя спрашивал: «Где ж их взять? Пока мы бедны, как и все в стране...»

А вот сосед Али, азербайджанец, который жил на втором этаже дома, прямо над квартирой Ордынцевых, говорил другое: «Я – богатый: у меня детей много!» Это Сережке уж совсем не было понятно. Причём тут дети и богатство?

Утомившись от раздумий, Серёжка с неожиданным испугом заметил: все пирожки он съел! Выходит с мамой и папой не поделился! Он сокрушенно вздохнул. Подумал: если бы пирожков было много, он бы и сам наелся и маме с папой оставил бы. Нет, он – не богатый...

...На дворе уложили асфальт. Жильцы радовались. Раньше, после осенних дождей или стаявшего к марту снега, посередине двора в лужах скапливалась вода. Загнивала. Зацветала. Покрывалась зеленой пленкой. Мучили мухи. Не давали покоя комары. Вода воняла до тех пор, пока летом лужа не высыхала.

Сережка сидел у окна. Увидел: пришли рабочие. Сначала они весь двор размолотили. Потом засыпали песком, галькой. Наконец лопатами насыпали тяжёлый, черный, жирный, асфальт. Прокатали его широким тяжелым валиком на длинной ручке. На дворе стало чисто.

Теперь безногие инвалиды легко въезжали сюда, на асфальтированный двор и пели тоскливые песни про войну, о своей загубленной жизни, прося милостыню. Споет несколько песен, заберет скудную награду жильцов, обопрётся об асфальт руками, в которых держит деревянные колодки, резко повернется к воротам и по легкому наклону едет к ним. А раньше им было двигаться тяжело: двор был устлан булыжниками. Каждый метр давался калекам с трудом...

Теперь и Сережке стало легче добираться до уборных – костыли не задевали за выступавшие из земли

крутые бока булыжников. Зимой и весной они бывали очень скользкими. Боялся упасть...

Через год, после того как двор заасфальтировали, Сережка заметил – на поверхности появились трещины. Сквозь них просачиваются зеленые ростки. В одном месте, пробившись сквозь плотный серый наст асфальта, зеленый росток выбросил из трещины лист. Будто смертельно раненый боец, который лежит в окопе, держит за древко, на вытянутой руке, развевающийся на ветру флаг...

Когда ковылял на костылях в уборную, это чудо Сережка заметил издалека. Шаркал по асфальту непослушными ступнями, обутыми в сандалии. Чтобы получше разглядеть этот зеленый флажок из щели, он хотел немного наклониться. Конец правого костыля задел за бугорок асфальта, вздувшегося от упрямого ростка. Он споткнулся и упал. Чтобы не удариться головой, отбросил костыли, вытянул руки. Они – то его и подвели, подогнувшись в локтях. Он ткнулся лбом в асфальт и набил шишку.

Тут же, у самых глаз, увидел зелёный листик, который только-только распустился и торчал над серым асфальтом, как крохотный флажок. Сережка смотрел на него, лежа на животе и поглаживая саднившую царапину на лбу. Неожиданно почувствовал – он взлетает куда-то вверх. Чьи-то руки осторожно ставят его на ноги. Над головой послышался голос дяди Али, соседа с верхнего яруса дома.

– Пачэму лэжишь, дарагой? Загорать лучше у меня на крыше. Хочешь, падыму? Пайдешь на маю крышу, дарагой?

– Дядя Али... Я упал...

– Нада сразу меня звать, дарагой! Я всегда там сижусь... Прямо над тобой! – Али – старик, лет

семидесяти. Худой, длинный. Дочерна загорелый. Густая щеточка седых волос под крупным носом. Бритая голова. Маленькие карие глаза под лохматыми бровями. Он и в самом деле целыми днями сидел на широком балконе, опоясывающем верхний ярус дома, в комнатах которого жила его многолюдная родня.

— Я смотрю это...— Сережка пальцем показал на листик, прорвавшийся сквозь асфальт.

— Это? — Али, придерживая Сережку за спину, присел. Большим заскорузлым пальцем, с огромным блестящим ногтем он дотронулся до зеленого листика. Проворчал.

— Вот шайтан...— Потом сказал какое-то слово на азербайджанском. Сережка не понял. Азербайджанского языка он не знал. Но по тону его голоса понял — Али почему-то сердится на растение, которое Сережку восхитило своим жутким упорством. Али поднял его костыли. Помог установить подмышками. Спросил.

— Так ты пришёл этого врага асфальта сматреть?

— Нет...Мне туда надо...— Сережка показал на дверь уборной.

— Ну давай... Дэлай свои дэла, а я сэчас прыду. Принэсу тэбе что-то. Харашо?

— Ага, — вяло ответил Сережка. Ему надо было спешить «по-большому».

Когда Сережка возвращался из уборной, постукивая по асфальту концами костылей, дядя Али уже сидел на топчане у самого порога Сережкиной квартиры. Проходя мимо вспученного растением бугорка, он снова посмотрел на листик, но останавливаться не стал. Осторожно, чтобы опять не наткнуться на бугорок, подвинул конец костыля влево и направился домой.

Был апрельский полдень. Тень от огромного вяза, росшего в самом центре двора, шевелилась,

как большой широкий веник, мерно поглаживая небо верхушкой, а боковыми ветками — стены, двери, окна дома и асфальт. Неподалеку от его толстого ствола, на пороге своей квартиры, сидела тётя Дуня. Ей было лет сорок пять. Она лузгала семечки и что-то напевала себе под нос.

Года четыре назад тётя Дуня попала под трамвай и ей отрезало ногу. Подлечившись, она ходила только на костылях, но уже год или два, каждое утро садилась на порог своей квартиры и целыми днями там просиживала. Зимой она садилась у окна, которое смотрело в сторону уборных. Ничего интересного тётя Дуня оттуда не видела. Сережка это знал. Когда он ходил «по своим делам» и возвращался домой, то всегда останавливался и махал ей рукой. Раньше она отвечала, теперь — перестала. Наверное, надоело. А может глаза стали плохо видеть... Сейчас он прошел мимо неё. Она сидела на пороге, медленно к нему повернулась и сказала почти весело.

— Привет, инвалиду от инвалида! — У неё грудной, певучий голос. Простое, круглое русское лицо. Голубые глаза. Пухлые, белые руки.

Потом Сережка проходил мимо порога квартиры тётя Шуры Бутусовой. Она невысокая, шустрая, с веселыми глазами и длинными выгоревшими ресницами. У тётя Шуры — три дочери: Соня, Люда и Тамара. Тамара недавно вышла замуж. Соня была самой старшей. Тётя Шура рассказала Сережкиной маме, что муж от Сони ушел. Куда ушел Серёжка не понял. У Сони — сын. Внук тётя Шуры — Колька. Ему — пять лет. Тётя Шура с ним возилась, пока Соня была на работе. Люда — самая младшая. Ей — шестнадцать. Сережке она нравилась: хорошо пела, рассказывала ему веселые истории, которые с ней случались в школе.

Никогда не забывала его навестить и поиграть с ним в лото или «чапаева». А вчера заскочила в его коридор, неожиданно обняла за шею, поцеловала в щёку и сказала тихо.

— Ты такой красивый пацанчик получаешься, Сережка... Уезжаю я. Далеко. Пока!

Проходя мимо порога тёти Шуры Бутусовой, Сережка увидел: Колька сидит на руках у бабушки. Она играет с ним в «ладушки».

— А это Сереженька...— Тётя Шура показала рукой в его сторону и подмигнув, спросила:

— Ну что, Сережка, все *свои дела* сделал? — Он смутился и поспешно кивнул.

Подойдя к своей квартире, Сережка увидел дядю Али. Он, как огромный грач, сидел на топчане, поджав под себя длинные худые ноги.

— Дядя Али, а чего ты рассердился на этот кустик, который сквозь асфальт вырос? — Сросил Сергей.

— Рассердился? — Али вынул из-за большого уха папиросу, а из кармана брюк спички. Закурил.

— Это же вредитэль, дарагой! Смотри, как асфальт разрушает! Год или два и что от нашего двара будет? Все потрэскаеца! — Сережка не унимался, направив руку в сторону уборных.

— Посмотри, какой это маленький кустик и какой он сильный!

— Ара! — Дядя Али сокрушенно махнул рукой. Укоризненно посмотрел на Сережку. — Дурак тоже сильный бывает! Упрямый, да? Ему гаварят: нэ надо дэлать, а он все равно дэлает! Ему руки-ноги вяжут, чтобы не врэдил лудям, а он врэдит! Панимаэш? Развэ это харашо?

Сережка не знал, что в тот день у Али в семье была сильная ссора с зятем, мужем его старшей дочери

Зульфийи. Она жила с ним там же, на втором ярусе этого дома. У них было пятеро детей — мал мала меньше. Зять Али воровал. Об этом однажды отец Сережки говорил с мамой. Он случайно услышал. Зять Али попадался милиции, но его отпускали. Почему так получалось, никто не знал. Вот и Сережкин отец тоже этому удивлялся. Дядя Али уговаривал мужа дочери бросить дурное и опасное дело, пока в тюрьму не посадили, но...

Однажды ночью его арестовали и увели. Зульфийа громко плакала на балконе. Её окружили дети и тоже плакали. Весь двор собрался. Одни жалели Зульфийу, другие говорили: «Так ему и надо!» Сережке было её жалко. Мама, слушая, как плачет Зульфийа и дети, прошептала: «Господи, как же они теперь жить без отца будут?» Папа промолчал. Ушел на работу в ночную смену.

В тот день, когда арестовали мужа Зульфийи, дядя Али сидел на табурете и опершись локтями о поручни балкона, курил. Оттуда он и увидел, как Сережка споткнулся и упал...

— Я тэбэ ,Сэргэй, вот что принос. — Дядя Али показал мальчику веточку. Невзрачная, с тремя-четырьмя точками-пупырышками по бокам. Пупырышки похожи на маленькие бородавки, которые были у Сережки на среднем пальце правой руки.

— Что это за палочка? — Он с недоумением смотрел на веточку, ничего не понимая.

— Ты что, дарагой! Это — нэ палочка... Это — винаград, «дамские палчики» называется.

Выставив ноги вперед, дядя Али встал с топчана. Сделал шаг и присел на корточки рядом с крохотным кусочком земли справа от порога квартиры, где Сережка жил с родителями. Чуть ниже, на узкой полоске земли, его мама посадила какие-то кустики. Они уже

распустились, выбросив частые мелкие листики, между которыми расцвели маленькие жёлтые цветочки.

Упираясь боком в стенку дома, справа лежал толстый гранитный камень с гладким верхом. Как он здесь оказался, Сережка не знал. Он любил устраивать на нём «пальбу», ударяя молотком по серным головкам спичек. Иногда крохотные кусочки раскаленной от удара серы впивались ему в руку, но Сережке страшно нравился звук, вырывавшийся из-под головки молотка.

Али осмотрел камень. Пошарил широкой загорелой ладонью по его граненым сторонам. Заглянул под низ и удовлетворенно кивнул. Прихватив камень за край двумя руками, он без усилий отодвинул его в сторону. Сережка увидел темную полоску сырой земли. На поверхности копошились то ли черви, то ли мокрицы. Старик ткнул пальцем в землю. Она слегка расступилась под его ногтем.

— Вот здесь будет хорошо! Земля...— Али придвинул камень на место. Встал. Потер ладони друг о друга.

— Давай так, дарагой. Я буду разговаривать с твоим отцом. Этот камэн надо убрать. И ты посадишь виноград... А тот кустык... он повернулся к уборным, показав рукой — гавно! Забуд! Его нада стэрэт, чтобы асфальт нэ ломал. — Перешагнув за порог и войдя в прихожую квартиры, Али положил на подоконник виноградную веточку, с мокрой бумажкой на нижнем конце. — Пуст тут палэжыт. Я вэчэром прыду.

Вечером старик пришел к Ордынцевым и позвал отца Сережки. Они вышли во двор. О чем говорили — Сережка не слышал. Он рано заснул. На завтра — в воскресенье — он сел на топчан и смотрел, как Али с отцом взяли камень и медленно двигаясь к уборным, отнесли его туда. Опустили в углубление,

оказавшееся рядом с решеткой, на которую выливали помои. Камень уместился в ямке, будто был там всегда.

Аккуратно разгребая короткой, толстой палкой небольшую полоску земли с вдавленными углами от только что унесенного тяжёлого камня, что-то бормоча себе под нос, Али вытаскивал из грунта мелкие стекляшки, кусочки кирпича, ржавые, почти сгнившие гнутые гвозди. Мусор клал в ведро, потом выбросил в мусорный ящик, стоявший с тыльной стороны уборных. Вернулся и той же палкой хорошенько разрыхлил землю.

— Ну что, Серёжка, угостишь виноградом, когда вырастет? — Это мать спросила, весело улыбаясь своими белыми, ровными зубами. Отец, стоявший рядом, насмешливо распушил волосы сыну на макушке, ушел в дом. Серёжка молча смотрел на возню Али.

— Я прыду... Ты можэшь этой палкой зэмлю здесь еще...— Он не договорил, дав Сережке палку. Тот всё понял. Опустился на коленки и на четвереньках придвинулся к квадратику земли. Он не заметил, как вернувшийся Али, глянув на него сверху, сокрушенно покачал головой. В руках Али была кошелка, сшитая из голенища старого сапога. Он присел у полоски земли и высыпал поверх содержимое кошёлки. Стал палкой всё перемешивать. Резко запахло чем-то прогорклым. Сережка никак не мог понять, что такое вонючее принес старик? Вышла на порог мать. Лицо её было встревоженным. Сидя на корточках, Али повернулся к Сережкиной матери.

— Анна, эта конский навоз. Панимаэшь? Надо нэмого падкармить лазу.

— Хорошо-хорошо...— Пробормотала мать и вернулась в прихожую.

— Сэргэй! — Али посмотрел на мальчика. — Ты сможешь суда встать? — Он показал на край разрыленной полосы земли. — Надо тебе своими руками посадить виноград. — Али держал в руках веточку. Она была уже без бумажки на нижнем конце.

Серёжка поспешно кивнул. Опираясь на ручки костылей, он, опустившись на колени, осторожно поставил их к стенке. Придвинувшись поближе к Али, который тоже встал на колени, протянул к нему руку. Старик сделал толстой палкой углубление в земле, дал мальчику лозу. Серёжка аккуратно поставил в ямку её нижний конец, успев заметить там крохотные белесые узелки корней. Опершись о колено соседа, чтобы не упасть и чувствуя боль в бедрах, Серёжка второй рукой присыпал землёй углубление. Лоза стояла. Глядя на неё, Али, коснувшись лбом земли, что-то сказал на азербайджанском. Разогнувшись, быстро посмотрел вверх, на небо, подняв ладони рук, и снова наклонился к лозе. Провел ладонями по щекам и подбородку, говоря что-то на родном языке. Похоже молился... Двумя руками он подхватил Серёжку подмышки и встав, посадил мальчика на топчан. Сел рядом. Показал на лозу и сказал почти торжественно.

— Вот ты и посадил виноград, дарагой! Поздравляю тэбя...

Назавтра, утром двор огласился громкими женскими воплями. Отец, выбежав, вскоре вернулся с растерянным лицом.

— Нюра, Али умер...

— Да ты что? — Мать схватила ладонями щёки. — Ужас-то какой! Они ж теперь... Там — она показала на потолок — все изревется...

Плач, стоны, вопли на втором ярусе, где жила родня Али слышались дня три. Из окна Серёжка видел

только большую толпу на дворе и какую-то суету. Заметил, что на дворе двое мужчин поставили кирпичи под каждую ножку широкого тагана, а поверх водрузили — огромный котёл. В нём делали плов. Дразнили вкусные запахи, смешанные с дымом от древесных углей.

Серёжке пришлось выйти во двор по «своим делам». Дочь Али — Зульфия суетилась у котла, под днищем которого тлели багровые угли. Рядом сидела на табурете жена Али — сгорбленная старуха вся в черном, с свалившимся глазами.

— Серёжа. — Голос у Зульфии негромкий, сиплый от плача и горестного крика, а речь правильная почти без акцента. — Возьми, малыш! Вспомни моего отца. Хороший был человек... — Она подала ему небольшую глиняную миску с пловом. Серёжка кивнул, крепко держа миску пальцами, опираясь на костыли, неуверенно направился к дому.

— Давай помогу... — Зульфия взяла из его рук миску. Быстро прошла вперед. Зашла в прихожую его квартиры. Вернулась. — Я тебе на подоконник поставила. — Он кивнул. Лицо Зульфии было плотно укутано черным платком, оттеняя бледность щек, сливаясь с большими черными глазами, в которых — тоска и растерянность. — Иди... Поешь, дорогой...

...Весной следующего года по бокам лозы появились зеленые брызги.

Потом зеленые капли стали медленно увеличиваться. Осторожно, будто крохотные свитки, в складках которых пряталась некая тайна, начали разворачиваться листики, став сначала неширокими, потом все увеличиваясь в размере.

Муж тёти Поли, давней подруги матери — дядя Саша, агроном по профессии, помогал Серёжке года два правильно ухаживать за виноградным кустиком.

Однако, Сережка снова попал в больницу. Вернулся через полгода. Заметил, что виноград сильно подрос. Окреп. С помощью отца Сережка установил вдоль стены, справа от двери широкую и длинную лесенку, сделанную из плоских дранок. Виноград с помощью усиков стал взбираться по лесенке вверх и влево. Чтобы лесенка не свалилась, папа прибил её гвоздями к стенке.

Настырный туберкулёз не сдавался. Еще через год – Серёжке уже было двенадцать – он уехал в Россию, попал там в санаторий. Сделали ему операцию.

Вернулся он только через год. Виноград хорошо разросся. Отец сделал над дверью клетчатую площадку и уложил на них виноградные ветки. Цепляясь усиками за края квадратных окошек, лоза двигалась в левую сторону, к квартире соседей и тянулась вверх, к балкону, где жила семья покойного Али.

...После возвращения Серёжки из санатория, родители квартиру продали. Решили ехать на Кубань. Там обосновался генерал в отставке, у которого всю войну служил отец. Он звал его к себе. Ордынцевы, поколебавшись, в Краснодар все-таки переехали.

Сергею было четырнадцать, когда мать крепко рассорившись с отцом, решила вернуться в Баку. Она взяла с собой младшего брата Серёжки и его самого. То ли в «разведку» мама отправилась в город, в котором родилась и жила всю свою жизнь, где жили её сёстры и братья, то ли «куда глаза глядят». Сережка об этом не задумывался, радуясь переменам в своей скучной жизни. К тому же, в Баку у Сергея был друг – Вовка-рыжий и ему с ним очень хотелось повидаться...

Ехали они в поезде и мать рассказывала сыну о годах своей молодости, когда маленький брат спал,

сопя в «две дырочки». Иногда она почему-то всхлипывала, быстро уходила из купе в коридор. Он в себя всё впитывал. Избегал ей что-то говорить. Ему трудно было понять, что случилось между родителями и почему мать решила вернуться в Баку. По большей части времени пребывал Серега – в больницах, вдали от родителей...

Тогда же от матери Сергей узнал, почему случилось так, что он жутко заболел. Все свое детство пролежал в постели. Мотался по клиникам. Года без боли и страха не прожил. С ужасом ждал: не сегодня – завтра, напухнут поверх его бедер синевато-красные желваки. А потом прорвутся болезненные свищи, и белесый туберкулезный гной опять покажет: бедренные его кости продолжают разрушаться...

...В четырнадцать лет он входил на костылях в знакомый с детства двор. Живы были и Сара Самуиловна, и тётя Шура Бутузова, и даже одноногая тётя Дуня, которая так и сидела на пороге своей квартиры.

...Они смотрели на Сережку, как на привидение. Нет, не со страхом, а с восторженным, немим восхищением! Он был одет в выглаженные со стрелочками светлые брюки, голубую рубашку с короткими рукавами. Русые волосы, зачесаны назад. Серые большие глаза. Широкая белозубая улыбка.

Соседи будто ждали его. Все стояли в летний день у своих квартир. Неспешно о чем-то разговаривали. Заметив, ковылявшего по асфальту Сергея, онемели от неожиданности. Людка Бутусова, услышав громкий оклик матери, выскочила из дома с малышом на руках. Обалдевшими глазами впилась она в лицо Сережки. Вдруг подскочила к нему, свободной рукой крепко обняла. Почему-то, неожиданно всхлипнула. Отошла и встала за спину матери, суя соску своему

малышу, расплакавшемуся от её резких движений.

— Какой же ты у нас красивый, Серёжка! — Это сказала тётя Шура Бутусова, всплеснув руками. Сара Самуиловна спустилась с трех ступенек своего порога. Подошла к Сергею. Осторожно его обняла. Поцеловав в щеку, отошла к своему порогу. Не отводя от него глаз, позвала тихо, но настойчиво.

— Женечка... Серёжа приехал! Добавила с явным сожалением — Лариса вышла замуж и живет в Шуше. Жаль, что тебя не увидит... — На пороге появилась полная молодая женщина в ярко-желтом халате. Она поздоровалась и застыла рядом с матерью. Сара Самуиловна, не отрываясь смотрела на Сергея.

Он был ошарашен и смущен. Стоял посреди двора неподвижно, чувствуя, как что-то сильно защемило под горлом. Потом почуял знакомый запах уборных. Под ногами стали ощущаться острые складки растрескавшегося асфальта. Взгляд медленно вбирал некогда привычные детали дома. Порог, дверь квартиры, где он жил несколько лет назад.

Виноград он оглядел, уже чувствуя, как мучительно заныли ноги. Перед порогом его бывшей квартиры стоял невысокий заборчик, который поставили новые хозяева. Подойдя к нему, он схватился за штaketник, чтобы дать передохнуть хотя бы одной ноге. Сергей оторопело смотрел, как широко разросся его виноград. Могучими ветвями он расползся над верхней частью периметра дома, упираясь в серые доски балкона. Чьи-то заботливые руки пристраивали площадки, на которые он укладывался своими возмужавшими ветками, опуская вниз на толстых шнурах плотные, густые гроздья желтовато-белого винограда, с отточенными, продолговатыми ягодами, полными упругого сока. Серёжка оторопело оглядывал роскошные

гроздья, не веря, что когда-то сам он посадил это чудо!

— Ну да! Конечно! Ох, я дура... — Тётя Шура Бутусова вдруг засуетилась. Отодвинув дочь с малышом, юркнула в дом. Выскочила с ножницами и тарелкой. Сара Самуиловна тоже засуетилась, принесла табурет. Поставила его перед Сереежкой. Сказала поспешно.

— Присядь, Серееженька! Отдохни... — Он молча кивнул. Сел. Мгновенно заныли спина и ноги. Преодолевая боль, он посмотрел вверх. На балконе второго этажа дома стояли смуглолицые мальчишки и девчонки. С любопытством они смотрели вниз, на двор, переговариваясь друг с другом на азербайджанском. Подумал — «Внуки дяди Али, наверное...» Сара Самуиловна что-то сказала Серееже. Он повернулся к ней.

— Женя давно замужем... У меня уже внук. Он сейчас спит. — Соседку перебила тётя Шура Бутусова.

— Вот, поешь! Поешь своего винограда! — Тётя Шура Бутусова дала Серееже тарелку, в которой покорно лежали две большие кисти ягод с капельками воды. Она же накинула на его колени белое вафельное полотенце, которое он машинально прихватил, чтобы не упало.

— Да, да! — Поешь, пробормотала Сара Самуиловна. — Это ж ты посадил виноград... Мы его едим и тебя вспоминаем. — Она снова поднялась на порог своего дома. Женя уже ушла в дом.

Ягоды винограда были прохладными и сладкими. Он с удивлением не обнаружил в них косточек и чуть надкусывая, пускал сок на язык, проглатывая мякоть. Бросал в рот всё новые и новые ягоды.

Он заметил в глубине палисадника своей бывшей квартиры толстый ствол винограда, выходящий из маленькой полоски почвы, в которую он шесть лет

назад осторожно опустил тонкую лозу, взяв её из рук дяди Али. И еще он запомнил просторно разросшиеся ветви, которые держали многочисленные гроздья, висевшие над тремя или четырьмя порогами квартир, стоявших друг за другом. В них уже жили люди, совсем ему незнакомые...

Рассказывая матери о встрече на дворе Красноармейского тупика, он услышал от неё.

— Ты знаешь, а я ведь не верила, что из той веточки, которую ты с Али воткнул туда... У нашего порога... Что-то путное вырастет! Гляди ж ты... Получилось...— Она задумалась на миг. Потом её отвлекла какая-то мысль. Об этом они больше не говорили...

...Тогда же, в тот свой приезд в Баку, Сергей пришел повидаться с Савелием Ефимовичем и со Светланой Савельевной Ширман. Она была его учительницей в 45-й бакинской школе. Очень любила его сочинения и часто читала классу. Привела его к себе домой. Познакомила с родителями... Теперь отец и дочь жили уже без Марии Иосифовны, матери Светланы Савельевны. Год назад она умерла.

Пили чай. Слушали Сережкин рассказ о встрече на дворе его детства. О разросшемся его винограде. Савелий Ефимович молча слушал. Был он бледен и худ, но всё так же энергичен, как при первой встрече. Потом положил Сережке руку на плечо и сказал, выстраивая, как всегда, отточенные фразы знаменитого бакинского адвоката.

— Не хочу утверждать, что это еврейская мудрость, однако отрицать не буду, если окажется, что принадлежит она евреям. Милый Серёжа! Если ты посадил сад, вырастил ребенка... Кажется, еще надо написать книгу... Да... Тогда жизнь твоя будет прожита не зря.

— Папа, ему только четырнадцать...— Светлана

Савельевна насмешливо посмотрела на отца. Тот решительно мотнул сильно поредевшей гривой седых волос.

— Представляешь, дочка? Наш Сережка на правильном пути! Виноградник, это ж почти сад! Что еще осталось в твоей предстоящей жизни, а, Сергей? — Он хитро ухмыльнулся. — Сущяя безделица: дети и книга!

Глава 2

Переходный возраст...

...Я был стыдлив от природы,
но стыдливость моя еще увеличивалась
убеждением в моей уродливости.
А я убежден, что ничто не имеет такого
разительного влияния на направление
человека, как наружность его,
и не столько самая наружность,
сколько убеждение в привлекательности
или непривлекательности её...

Лев Толстой
Детство, Отрочество, Юность.

Мне было одиннадцать с небольшим, когда осенью мы с мамой и младшим братом приехали в город, который разительно отличался от Баку. Лишь центр, начиная с вокзала, выглядел более или менее цивилизованно. Остальные дома представляли собой настоящие избышки с палисадниками, за которыми прятались фруктовые деревья и небольшие участки земли под огороды. Деревья в городе уже сбросили листву, а трава у калиток и палисадников пожухла.

Мы поселились на частной квартире, которую снял отец. Жили в большой комнате, между дверью маленькой конурки, увешанной иконами, в которой обитала хозяйка и выходом в широкие сенцы. Хозяйку дома звали – Екатерина Даниловна. Была она женщиной пожилой, богомольной и тихой. Незаметно и неслышно она проходила ко двору через нашу комнату. Сундук, на котором я спал, тот самый, что стоял в нашей бакинской квартире, был пристроен рядом со стеной, отделявшей нашу комнату от комнаты хозяйки дома. Напротив – печь, которую надо было растопить, чтобы приготовить еду и вскипятить воду. Быт – почти деревенский. За водой надо идти к колодцу. С конца лета или ранней осенью требовалось рубить дрова и сложить их в длинную поленницу, укладывая её у стены сарая, в котором обитали куры, корова и несколько свиней. За живностью Екатерина Даниловна ухаживала сама. Было видно, что хозяйство давалось ей нелегко. К нашему приезду отец дрова нарубил, но по хозяйству Екатерине Даниловне не помогал. То есть в обязанности квартирантов эта забота не входила.

Постепенно и молча, Екатерина Даниловна с хозяйством рассталась. Распродала всю живность. Поняла – предстоящую зиму с коровой и поросятами, двумя десятками кур ей не справиться. В тёплом и теперь уже пустом сарае был у неё вырыт *подпол*, в котором хранились продуктовые припасы.

Жила Екатерина Даниловна затворницей. В её доме не было радио, поскольку по своей религиозности она считала это «*бесовской затеей*». Мои родители относились к этому спокойно, ну а я просто не слышал обычные «*упражнения*» Агитпропа. В моём возрасте и в тот момент интересовали меня не столько события в мире и в СССР, сколько то, что происходило на дворе и на ближайшей улице. К тому же всё, что я увидел вокруг себя в краснодарском доме, где мы поселились, тоже было необычно и по своему интересно. Хозяйка жила в дальней, крохотной комнате, изредка появляясь в нашей, чтобы поставить на конфорку печи маленькую кастрюльку с борщом, который она себе варила или картошку. Иногда ставила чайник. Если она заходила в нашу комнату, когда мы кушали, мать с отцом приветливо приглашали хозяйку к своему столу. Та благодарила, но обычно отказывалась.

К её сдержанности мы привыкли. Даже не замечали, когда она тихо возилась у печки, разжигая её, или готовя себе еду. Мать часто была занята с Сашей. Было ему год-полтора и толком он еще не ходил. Его кроватка была в шагах двух или трёх от печки и он стоял, держась за её спинку, что-то лопотал, глядя на мать, которая возилась у плиты.

Отец много работал и с приближением зимы, когда наступили короткие световые дни, возвращался домой затемно. Накануне вечером, перед сном или рано утром, перед уходом на работу, он быстро укладывал у печки порцию ароматно пахнувших дров, которых хватало на весь день.

К новому быту мать быстро привыкла. Научилась делать всё необходимое по хозяйству, а точнее – быстро вспомнила тот опыт, который сложился у неё, когда почти четыре года она жила в Туровке, на родине своих родителей. Конечно, почти двадцать лет прошло с момента её возвращения из деревни в Баку, но приехав в Краснодар, окунувшись из городской суеты в размеренный *деревенский* быт,

она быстро стала к нему приспособливаться.

Отец покупал продукты впрок. Молоко, яйца, мясо – у соседей. Или на базаре. Холодильника не было. Екатерина Даниловна разрешила ему хранить продукты в своём подвале, предоставив там просторную полку. Он неплохо готовил. В воскресные дни варил суп или борщ, а на второе – курицу, или мясные котлеты. Получалось, что мы дня три или четыре, то есть до среды или четверга, обедали тем, что в воскресенье приготавливал отец. Хлеб, подсолнечное масло покупали в магазине. Там же брали муку и крупы, макароны и вермишель. Особых разносолов не было, но, как мне показалось, в Краснодаре мы питались гораздо лучше, чем в Баку...

...Приехав в Краснодар, мне пришлось *столкнуться* с местными пацанами – моими сверстниками. Ребяшня, жившая в округе, мало чем отличалась от деревенского населения. Через четыре месяца мне должно было исполниться двенадцать, но выглядел я, особенно по росту, лет на десять. После приезда я, дня два или три, выходил только на двор дома Екатерины Даниловны. Наконец, расхрабрившись, вышел на костылях на улицу и соседские пацаны меня сразу заметили. Подошли. Стали расспрашивать, что у меня с ногами, откуда я приехал, в какую школу пойду учиться. Сразу обратили внимание на мою речь. Молчать не стали и даже между нами произошла небольшая стычка, которую я назвал бы *лингвистической* из-за моего произношения.

Признаюсь – от природы у меня была хорошая дикция. Я произносил слова отчётливо, с лёгким, почти неуловимым *бакинским* акцентом. В стихии русской *краснодарской* речи он оказался довольно заметным. Во всяком случае буквы «р» и «г» я произносил очень твёрдо и, как мне самому казалось, после них красиво оттенял гласные. Мои новые *собеседники*, кубанские мальчишки, произносили эти буквы глухо, особенно букву «г». Эта особенность



Саша и Олег
1952 год

местного разговора была для них чуть ли не «визитной карточкой» и, неделю спустя, мальчишки стали меня *поправлять*. Потом *потребовали* говорить, как они. Разумеется, я отказался, поскольку считал их произносительный навык неверным и даже «грязным». Еще через неделю я на этой почве столкнулся с одним из пацанов, который решил меня «проучить». Началась драка. Мне досталось, но, взяв в руки костыль, по имеющейся у меня привычке, выработанной в 171-й школе в Баку, я сильно его «перетянул» вдоль спины.

Пацаны в испуге разбежались, оставив меня в покое. Не надолго... Через полчаса они собрали со всей округи компанию подростков, человек десять, «приводить меня в порядок». Обиженные моей несговорчивостью, они в разговоре с *подмогой* представили меня, как некоего монстра. Ребята, увидев маленького, хромого пацана, еле стоявшего на ногах, рассмеялись и... разошлись. На том всё и закончилось. Какое-то время дворовые мальчишки в школу меня не сопровождали, считая *задавакой* или *забиякой*, который чуть-что размахивает костылями, чтобы доказать свою правоту...

...В Краснодаре я продолжил *курс* пятого класса, прерванный в 171-й бакинской. По местным масштабам,

школа находилась почти рядом с домом, но по моим возможностям – далеко. Из сохранившегося портфеля моего деда, отец соорудил что-то похожее на рюкзак. Ходил я на костылях, надев за спину портфель-рюкзак и почти не чувствовал веса книг с тетрадями. Первое время меня в школу сопровождали местные пацаны. Особенно, когда я только приехал. Однако, после *лингвистической* стычки, добираться до школы пришлось уже в одиночестве.

...В школу я пришёл в начале ноября. С администрацией школы отец заранее договорился, и я без помех был определен в пятый класс. Здесь было двадцать человек. Я сидел в среднем ряду, на второй парте. Сначала одноклассники меня бесцеремонно разглядывали, потом *присмотрелись* и интерес ко мне понемногу угас.

По возрасту я был сверстником моим одноклассникам, но туберкулёз сильно притормозил мой рост и, будучи очень худым и низкорослым, я внешне выглядел младше.

Первым уроком была физика. Учительница – молодая женщина, что-то объясняла, показывая на доске формулы, которые я пытался переписать в свою тетрадь. Потом – арифметика, но сидеть становилось всё труднее. Это вечная моя проблема! Бедренные кости немилосердно ныли, упираясь в твёрдую деревянную поверхность парты. Ещё в Баку мне показалось, что с правой стороны бедра появилась краснота. Верить в это не хотелось, потому что два месяца пребывания в бакинском тубдиспанснере и пенициллиновая блокада дали результат. И всё же в Краснодаре, спустя три месяца после приезда, нарастало ощущение неудобства.

В школу я ходил на костылях, преодолевая расстояние примерно с километр. Старался не упасть на просёлочной дороге со множеством рытвин, выбоин и камней. По сути это была длинная улица, справа и слева от которой стояли однотипные деревенские дома с палисадниками. В них были видны голые деревья, убранные огороды.

Пешком приходилось идти примерно полчаса или чуть больше. Обычно мать меня не провожала – не с кем было оставить маленького Сашу. Добирался сам. К концу пути подмышками, от костылей, нестерпимо ныло. Вскоре завиделось здание школы. Было оно двухэтажным, но мой класс был на первом этаже. Хорошо хоть так! Не надо подниматься по лестнице...

... Итак, третий урок – русская литература. Через несколько минут урока, произошло нечто для меня неожиданное. Сижу, перелистываю хрестоматию по русской литературе для пятого класса. Сосед по парте, черноволосый, кареглазый, похожий на цыгана, мальчик сказал мне, что на прошлом уроке им задали пересказ отрывка из романа Л. Толстого «Война и мир». Он показал его в учебнике. Добавил, что надо ответить на вопросы, записанные со слов учителя на прошлом уроке. Дал мне посмотреть свои записи. Проглядев их, я быстро сообразил, что если меня вызовут к доске, я смогу ответить на каждый из вопросов, потому что еще в Баку роман прочитал. Не могу сказать, что читал внимательно, но несколько эпизодов с Петей Ростовым помнил...

Учитель появился в классе сразу же после звонка. Как это и принято, встретили мы его вставанием, хотя для меня эта процедура всегда была сложной. Наконец, уселись и я стал осторожно рассматривать лицо учителя.

Ему лет сорок, сорок пять. Лицо моложавое. Внимательный, умный взгляд. В классе его, наверное, уважали, потому что все ребята сидели очень тихо. Чувствовалось даже некоторое напряжение. Одноклассники поглядывали, кто в учебник, кто в тетрадку. Я не знал ни имени-отчества учителя, ни его манер, ни привычек. Взяв в руки журнал, он раскрыл его и стал просматривать список учеников. Мягким голосом с отчетливым выражением речи, как я заметил, отличавшейся от местного говора, он сказал,

что видит в журнале нового ученика. Класс оживился. Мальчик, который сидел впереди меня, тихо сказал, показав в мою сторону большим пальцем.

— Его фамилия Юрганов. Олег...

— Вижу – сказал учитель, оторвав взгляд от журнала. Посмотрел на меня с улыбкой. — Ну что, Олег Юрганов, давай-ка мы с тобой познакомимся. Выходи к доске. Тему знаешь? Тебе ребята, наверное, уже сказали?

Я неуклюже встал. Предстояло взять костыли, подняться и, уложив своё тело на жёсткие перекладки подмышками, осторожно выдвинуться влево, чтобы выйти из-за парты и пройти к доске. Пока я это проделывал, учитель рассматривал меня с лёгким смущением на лице. Обычная реакция здорового человека на действия больного, побеспокоив которого, невольно приводишь в движение его покалеченное болезнью тело. Я направился к учительскому столу. Педагог медленно поднялся, показав рукой на свой стул, предложил мне сесть. Теперь настала пора смутиться мне. В сто семьдесят первой школе такого никогда не было! Я поспешно отказался, встал перед стулом, держась за его спинку, лицом к классу, опираясь на костыли.

Узнав, что я читал роман Льва Толстого «Война и мир», учитель удивился и предложил рассказать свои впечатления о Пете Ростове. Тут же заметил классу, что годами он не очень обогнал сидевших в классе ребят. Снова повернулся ко мне. Спросил, что бы я хотел рассказать...

Я начал говорить о судьбе мальчика, по сути подростка, который погиб на войне столь рано и так нелепо, что не оставляло сомнений в противоестественности такой смерти. Я видел детей, таких же как Петя Ростов, покалеченных в Крыму от разбросанного в поле и в лесах оружия, еще не собранного после жестокой и совсем недавно завершившейся войны. Разумеется, ничего подобного я тогда не рассказывал, но хорошо понимал, как нелепа гибель

детей, то ли в моменты реальных сражений, то ли после них, когда чуть ли не сами собой в детских руках рвутся гранаты и лимонки, стреляют пистолеты и автоматы, еще совсем недавно лежавшие на поле боя, калеча молодые тела, убивая только что начавшуюся жизнь...

...Как бы само собой, мысль о Пете Ростове, его ребячьем характере, эмоциях и готовности уйти на войну с Наполеоном, оформлялась в мои отчётливые фразы, с помощью которых я пересказывал, описанные Л. Толстым события. В ходе моих размышлений, два или три вопроса, которые я успел посмотреть в тетради своего одноклассника, оказались кстати. Я говорил, отправляя в класс выразительно звучащие слова и предложения, произнося их непривычно для всех ребят, которые замерев, внимательно слушали, глядя на меня, как на инопланетянина. Несомненно, это был мой *звёздный час!*

Завершив рассуждения, согретье в моей душе, я умолк. И хотя, как мне показалось, ничего особенного я не сказал, впечатление произвело именно качество моей речи, выпестованной после десятков прочитанных книг.

Я заметил, как учитель медленно приближается ко мне с выражением восхищения на лице. Он полуобнял меня за плечи и глядя в класс, сказал своим мягким, вкрадчивым голосом.

— Меня больше всего удивляет речь Олега. Вы должны заметить, как грамотно он строит фразы, как отчётливо произносит слова. Я не говорю о мыслях, которые абсолютно верны! Прошу тебя, сказал он, садись, а я с удовольствием поставлю тебе «пяť».

...Я был счастлив, хотя понял, что ужасно устал и едва держусь на ногах...

После этого случая у меня снова оказались добровольные «попутчики», которые сопровождали меня в школу и из школы. Никто уже не передразнивал меня, когда слышал

мою речь, не пытался «исправить» произношение *роковых* букв, по которым можно было отличить меня от местных пацанов.

Мать, как мне показалось, не очень поняла, что со мной произошло в классе. Наверное, надо было как-то пережить момент, в котором, зревшие в моей памяти речевые возможности, неожиданно продемонстрировали для большинства моих сверстников разительные отличия их обыденной речи от речи литературной, которой я рано овладел, потому что болезнь *заставляла* меня много читать. Матери я ничего не мог объяснить, хотя и она не раз наталкивалась на базаре и в магазинах на местную речь и ей приходилось слышать странные упрёки в *неправильности* тех слов, которые она произносила. Жизнь брала своё и она вскоре перестала обращать внимание на эти нелепые замечания. Между тем, мгновения, пережитые мною в классе, на уроке литературы, навсегда остались в моей памяти и чувствах...

...Особых успехов в моей учёбе не наблюдалось. Кроме литературы была математика, физика, химия, зоология... Да мало ли?. Уже через месяц или три я полностью адаптировался к той роли, в которой мне предстояло осваиваться, как мальчишке, который не слишком-то стремился к учебным успехам, то есть я становился *среднячком*...

Наступивший ноябрь оказался очень холодным и суровым. Выпал снег, пришли неожиданные для этого времени морозы. Мне приходилось натягивать на себя и пальто, и двое штанов, что сильно замедляло мои шаги. Движение в школу превращалось в трудное, даже тягостное путешествие. Моим спутникам было скучно идти со мной. Детский эгоизм – *бесмертен*, понятен и естественен, мальчишки снова перестали меня сопровождать, заставляя приходиться к школе в одиночестве...

Опухоль в правой стороне бедра стала заметнее и я понял, что дела мои плохи. Мне и матери казалось,

что противотуберкулёзный санаторий был бы спасением от ожидавших меня бед. Но как туда попасть?

Обычно, когда у меня наступали такие болезненные периоды, я терял интерес к учёбе и, наверное, к жизни вообще. Я читал, лежа на сундуке, потирая ноющую ногу. В школу ходить не хотелось, потому что добираться до неё было уж очень нелегко. Честно говоря, учиться мне не хотелось! Первую четверть я откровенно заваливал. Был растерян. Ожидал родительских экзекуций. Однако, мать с отцом тихо мне сочувствовали, понимая всю тяжесть моего положения.

Я лишь надеялся, что на многочисленные наши письма в Министерство Здравоохранения с просьбой о помощи, в наш адрес придут хоть какие-то утешительные ответы. Долгое молчание угнетало и я готовился к худшему. Из городского тубдиспансера приходила медсестра, делая мне уколы пенициллина. Лишь изредка я прогуливался на костылях по заснеженному двору, у дома Екатерины Даниловны, чтобы глотнуть свежего, морозного воздуха.

Неожиданно мне повезло! Пришла путёвка в Прочноокопский санаторий, что недалеко от Армавира. Её прислали из газеты «Пионерская правда», куда я тоже написал. Об этой истории я рассказывал в своей книге «Родня и Время»...

...До санатория предстояло долго добираться. Станция «Прочноокопская» – место историческое. В январе 1778 года на высоком правом берегу Кубани Александр Суворов построил крепость. Она контролировала броды и переправы с Закубанья и до владений России в предкавказских степях. Крепость просуществовала несколько десятков лет, оставив глубокий след в истории противостояния турецко-татарским набегам. Прошло немало времени, и первый Кавказский генерал-губернатор П. С. Потёмкин её восстановил, назвав – Прочный Окопск. Но своенравная Кубань,

во время весенних паводков, часто заливала дома крепости и поселение пришлось переносить вниз по реке, на четыре километра, расположив на правом возвышенном берегу Кубани. Спустя много лет, неподалеку от этой крепости, образовалось множество станиц...

...Отец отпраился с работы и мы с ним отправились в санаторий. Сначала мы сели в поезд и приехали в Армавир. Почему-то в Армавири автобусов не было и мы от вокзала добирались на попутке до берега Кубани. На противоположном берегу располагался санаторий, но мост был далеко и как до него добираться мы не знали. Река уже была прочно спаяна и нам пришлось переходить по льду, правда, лишь в тех местах, где течение было медленным. Местные жители показали нам место перехода, предупредив, что на льду возможны нелепые неожиданности. И в самом деле, лёд оказался то застывшим и каменным, то неожиданно рыхлым с широкими тальми проплешинками. Но деваться некуда! Попутка привезла нас именно к тому участку берега, где не только мы, но и десятки людей переходили на противоположную сторону. Отец тревожился, не провалимся ли мы? Просил меня, еле-еле ковылявшего за ним на костылях, идти осторожно. Глядя, как концы костылей под тяжестью тела иной раз погружаются в глубь рыхлого льда, я старался, как можно быстрее, сделать следующий шаг и видел, как отпечатывается след и от моих ботинок, и от концов костылей. Было, конечно, страшновато. Наконец, с приближением вечера, благополучно преодолев реку, мы, снова пешком, добрались до санатория, который оказался в километре от берега.

Все строения Прочноокопского санатория располагались на территории совхоза с таким же названием и были выстроены в тридцатых годах. В том числе – санаторное здание, занимавшее большую площадь, в котором располагались больничные палаты, примерно одного размера, включая приёмное отделение. Совхоз «Прочноокопск» снабжал

санаторий продуктами питания и техническим персоналом: санитарками, уборщиками, мойщиками посуды, поварами. Медицинские кадры набирались по принципу: «с бору по сосенке». Годы были послевоенные. Голодные. После страшной войны прошло чуть больше пяти лет...

Здание выглядело чистым, но по архитектуре было примитивным и неуклюжим. Оно напоминало конюшню, растянувшись краями по периметру метров на сто-сто пятьдесят. На широком пространстве земли здание было сложено одноэтажным прямоугольником, стороны которого были со множеством квадратных окон. Единственная двустворчатая дверь была врезана с внешней стороны периметра, проходя в самой середине, сквозь здание, во внутреннюю его сторону. Мы с отцом вошли в просторное помещение, в центре которого была установлена обычная перегородка с бортиками, внутри пределов которой, сидели две пожилые женщины. Мы поздоровались, представили мои медицинские документы и путёвку, полученную по почте неделю назад.

Молча просмотрев все бумаги, одна из женщин – в платочке, очках, с милым, добрым лицом – попросила отца показать паспорт, а меня, усталого и сторбленного, обвисшего на перекладинах костылей, пригласила сесть у стены на стул. Женщина долго что-то переписывала в журнал из путёвки и отцовского паспорта, потом кому-то позвонила и, наконец, сказала нам.

— Теперь вы можете проститься друг с другом.

Отец обнял меня, что-то прошептал в моё неслышащее ухо и отвернувшись, медленно направился к дверям.

— Погодите... — Его позвала вторая женщина, сидевшая за стойкой перегородки. Отец остановился, вопросительно глянул на женщину, лицо которой выражало чувство радости. — Наша машина через полчаса поедет на Новокубанский вокзал! Там вы сможете сесть на поезд до Армавира! Потом оттуда уже и в Краснодар. Вам же туда надо? — Отец

растерянно кивнул. Провожая меня взглядом, он подошёл к тому же стулу, где минуту назад сидел я. Остановился... В этот момент я уже уходил с женщиной в замусоленном халате, который, выйдя из какой-то комнаты, подошёл ко мне, помог встать, что-то буркнул, крутанул рукой, показывая, мол иди за мной. Глянув на стоявшего отца, я поднял ладонь – «Пока!» И молча подчинился санитару, державшему меня под локоть. Так с отцом мы расстались. Надолго. Вместе с матерью и младшим братом Сашей они навестили меня только через пол-года...

Санитар, едва мы вошли в пахнущее сыростью помещение, предложил мне раздеться, а сам, пока я медленно снимал с себя одежду, деловито настраивал воду, крутя краны, дотрагиваясь пальцами до струи душевой. Заметив, что я сижу на стуле уже голый, он, так же молча, показал рукой в душевой бокс с занавесками, сделанными из клеёнки. Поживаясь от холода и уже чувствуя ноющую боль в бёдрах, я осторожно встал под остро бьющие по спине струи горячей воды, протирая себя намыленной мочалкой. Держась за выступы в стене и за узкую трубу, завершающуюся лейкой, из которой на меня неслись струи воды, я старался побыстрее помыться, потому что очень устал. Минут через десять, облачившись в санаторную пижаму, которая оказалась для меня на размер или два больше, я лёг на каталку, стоявшую неподалёку от душевых боксов и накрылся одеялом. Тот же мужчина в неряшливом халате, который уже положил мои вещи в шкаф, стоявший в соседней комнате, вернулся и, схватившись за обе ручки, двинул каталку со мной по длинному и довольно широкому коридору здания санатория. Двигались мы минут пять-семь и нам никто не встретился. Мелькали закрытые двери с маленькими цифрами на крохотных ромбиках, привинченных к дверям шурупами. Наверное, это были палаты... Широкие окна с двойными рамами, подоконники, на которых стояли

горшки с зелеными растениями, иногда с какими-то цветами... Вскоре санитар привёз меня в довольно просторную комнату. Она была наполнена шумом голосов ребят, лежавших в кроватях с широкими колёсами. Санитар подвез каталку к пустой кровати, стоявшей в углу комнаты, рядом с окном, мотнул мне подбородком, мол перебирайся, и я послушно в неё улёгся. Он укрыл меня тем же одеялом, под которым я лежал на каталке и, развернув её, быстро из палаты удалился.

Судя по обилию снега за окном, зима была в самом разгаре, но в палате было тепло. После душа я быстро акклиматизировался. Мне стало даже жарковато. Откинул одеяло. Наверное, сделал я это поспешно и небрежно, случайно открыв часть своего голого бедра.

— Засветился, пацан! — Услышал я негромкую реплику мальчишки лет семнадцати, лежавшем в гипсовой ванночке, в которой обычно пребывают люди с больным позвоночником. Повернувшись к нему, я вопросительно посмотрел в рысьи глаза соседа.

— Меня зовут Таперо Николай, — сказал он, чуть повернув ко мне голову. — Ты подтяни одеяло! А то все скоро ослепнут... Он вытянул руку и показал указательным пальцем, с аккуратно подстриженным ногтем, на часть моего открытого бедра, выглядывавшего из-под больничных штанов. Я сообразил, что укрыться надо поаккуратней, в чём и был смысл его слов: «засветился». Подтягивая на себя одеяло, я ответил.

— Меня – Олег Юрганов...

Честно говоря, после тяжелой дороги, я сильно устал. К тому же, накануне ночью, плохо спал в поезде. Едва устроившись в кровати, мне неудержимо захотелось спать, но дрему отгоняла резкая новизна обстановки. В комнате – три окна. Все кровати – на больших прорезиненных колёсах с белыми металлическими нашлапками по бокам. Колёса, будучи вставленными внутрь каждой ножки, крутились вокруг оси, с никелированными, круглыми воротничками,

под которыми прятались подшипники. Кровати легко катились, поворачиваясь в любую сторону. Почти каждый, кто лежал в кровати, имел при себе длинные медные крючки, которыми было удобно цепляться за кровать соседа, чтобы приблизиться к нему, поговорить или что-то взять. Когда меня везли на каталке по коридору, я заметил на боках подоконников круглые штыри, ввинченные по самое горлышко. Поначалу я не знал, с какой целью их туда завинтили? Позже, знатоки мне объяснили, что сделано это для того, чтобы человек мог сам передвигаться вдоль длинного коридора, цепляясь крючком за эти штыри и дёргая кровать в направлении движения.

Кровати стояли по периметру комнаты, перпендикулярно подоконникам и стенам. Головная часть моей кровати упиралась в стену, а боковая прикасалась к широкому подоконнику. Едва я лёг в кровать, как увидел за окном заснеженную мощную ветку яблоневого дерева. Листвы, конечно, не было, но переплетения мелких веточек складывались в густую сетку, которая от ветерка двигалась, прикасаясь к стеклам окна. Отличить яблоню от любого другого дерева я уже мог, научившись этому в Крыму.

На меня никто не обращал внимания и я мог осторожно разглядывать обитателей палаты. Я с удивлением заметил, что большинство больных ребят были в возрасте значительно превышающем мой. Как я уже говорил, моему первому знакомцу, лежавшему справа – Таперо Николаю – было лет шестнадцать-семнадцать. Рядом с ним лежал крупный парень, лет девятнадцати, тоже с больным позвоночником и, как позже я узнал, звали его Виктор Козлов. Он читал книгу, держа её обеими руками над лицом, полусогнув в локтях, которые покоились на двух подушках, лежавших по обе стороны его тела. Я тогда не знал, что только так можно было читать тем, у кого из-за туберкулёза шейных позвонков не было иной возможности обозреть страницы книги.

Целыми днями такие больные неподвижно лежали в гипсовых ванночках, не меняя позы, даже при исполнении обыденных процедур: еды, *опорожнения* мочевого пузыря или кишечника. При туберкулёзе шейного отдела позвоночника, больным не разрешалось поднимать голову, для их же блага. Гипсовая ванночка имела углубление и голова укладывалась в эту затылочную выемку. Продолжаясь вдоль спины, ванночка заканчивалась у края поясницы. От неподвижного лежания, человек сильно ослабевал. Чтобы мышцы не превращались в *тряпочки* – выручали массажисты. Каждый день они приходили в палату, переворачивали больного на живот рядом с ванночкой и массировали мышцы спины, икры ног... Гипсовая ванночка лепилась *индивидуально*, с тела каждого больного, с учётом зоны поражения его позвоночника. Если была поражена средняя часть или нижний отдел поясницы, запреты смягчались. Можно поднять голову или часть тела. Только спустя время я заметил эти подробности. Сейчас же Виктор Козлов неподвижно лежал и читал книгу. Я мог видеть только его нос, руки, державшие книгу, да пальцы ног, высунувшиеся из-под одеяла. Если он хотел с кем-то поговорить, приставлял ко лбу зеркало, находил лицо собеседника и начинал разговор.

Справа от меня, в кровати, сидел мальчишка с пухлым, женственным лицом и большими глазами – Женя Глазьев. Его правая нога была в гипсе и, как я узнал чуть позже, туберкулёз *добрался* до его колена. Невольно задержав на его лице взгляд, я получил в ответ широкую приветливую улыбку. Женя постоянно раскачивался влево-вправо. Эти его непрерывные покачивания, наверное, остальным казались странными. Вскоре я заметил, как нетерпеливые или чем-то раздражённые пацаны зло шутили над *маятниковой манерой* Глазьева. Тот смущенно улыбался, ни на кого не обижался, продолжая свои колебания. Остряки, в конце концов, умолкали. Женя, как обычно, продолжал сидеть, всё

так же раскачиваясь из стороны в сторону, перелистывая тетрадь или книгу с какими-то рисунками или чертежами. Иногда, всё так же продолжая раскачиваться, он закрывал свои большие серые глаза. Его лицо становилось безучастным, вытянутым. Черты обострялись и мне казалось, что он... засыпает, пребывая в своём *маятниковом* состоянии.

Рядом с кроватью Жени стояла новая, белая кровать на колёсах, в которой лежал парень лет двадцати или двадцати двух – Саша Левик. У него был гипс на правом бедре. На тумбочке – стопка книг. Лежал он неподвижно, долго глядя на потолок. Поздно вечером, перед отбоем, Саша брал в руки балалайку, играя какие-то мотивы. Потом откладывал инструмент на пол, осторожно приставив его к тумбочке...

Спустя время я уже знал всех по именам. Даже мог уверенно судить о характерах моих новых товарищей по несчастью. В первый день пребывания в санатории я и предположить не мог, что почти с каждым, из лежавших в палате ребят, мне придётся строить *какие-то* отношения. Сейчас я из подлобья поглядывая на каждого из них, откладывал в памяти имена, которыми они называли друг друга.

Рядом с Сашей Левиком лежал в такой же новой и белой кровати с большими колёсами парнишка, лет семнадцати, тоже Саша, но Дьяконов. Правая нога по колено была за гипсована. Болезнь развилась из-за травмы, полученной им после падения с лошади. Он ударился коленной чашечкой о крупный булыжник, воткнутой в землю. Сильно её повредил и много лет не мог получить квалифицированной помощи. Сын колхозника из какой-то кубанской станицы, Саша показывал мне свои фотографии до несчастного случая. За три или четыре года мытарств и надежд на путёвку, этот рослый, крепкий мальчишка превратился в худенького пацанчика, встретившего своё семнадцатилетие в этом прочноокопском санатории. Ему предстояла хирургическая операция. Сустав очистят от обломков, спилят оба

конца суставных костей, закрепят эти концы и со временем они срастутся. Получится *коленный анкилоз*. В итоге, кость между стопой и бедром, утратив сустав, станет прямой, как палка. Сгибаться будет только в бедре и в стопе. Когда Саша начнёт ходить, придётся *двигать* ногой *прямо*. Сесть можно, лишь вытянув ногу вперед. При вставании её надо резко подтянуть, чтобы, оперевшись на стопу, поднять своё тело...

Разумеется, таким *грамотным* я стал не сразу, как и каждый из парней, которые лежали в нашей палате. О возможностях своего тела, искалеченного болезнью костей скелета, каждый мальчишка узнавал из собственной жизненной практики. Как я, когда встал с больничной койки, после активной стадии костного туберкулёза...

В глубине палаты, третьей или четвертой от стены, у которой лежал я, стояла старая кровать Виталия Архипова. У него был повреждён позвоночник и он, как и Витя Козлов, лежал в гипсовой ванночке. Сейчас он спал. На коленях лежала гитара. Он был укрыт серым байковым одеялом. Когда я узнал Виталия получше, понял, что был он в нашей палате чем-то вроде морального авторитета. По возрасту – старше всех, ему лет тридцать пять или тридцать шесть, лежал второй год и сдвиг к лучшему у него не предвиделось. При своей физической немощи, он обладал удивительной способностью влиять на ребят, которые нередко *«выходили из берегов»*. Чтобы уговорить расшумевшегося, Архипову достаточно было сделать предупреждение своим слабым голосом. При этом, он общался с окружающими с помощью зеркала, которое прикладывал ко лбу, направляя в сторону нарушителя спокойствия. Виталий превосходно пел. У него был нежный тенор и очень чёткая дикция. Любил он лирические песни и сам сочинял мелодии на стихи Сергея Есенина, за что ему, как я узнал гораздо позже, *попадало* от администрации санатория...

Идеологического начальства у нас не было, но был *надзор* за соблюдением существовавших в советской стране правил и порядков. Тогда стихи Сергея Есенина были у власти под запретом. Едва Виталий запевал новую песню на слова опального поэта, множество стихов которого он знал наизусть, его вольность становилась известной директору санатория. Наверняка, кто-то из больных или санаторного персонала *стучал*.

Раз в месяц директор санатория – бывший военный хирург, облачённый в военную гимнастерку, крупнотелый, перетянутый португеей – Сергей Макарович Качин обходил больных. Заглядывал он и в нашу палату, вроде бы посмотреть, поспрашивать, как у больных дела. Подойдя к кровати Виталия, он обычно неодобрительно спрашивал: «Сочиняешь?» Тот спокойно отвечал: «Да, Сергей Макарович, сочиняю...» и длинно вздыхал. Вроде бы на этом всё и заканчивалось. Потом Виталия куда-то увозили на осмотр, а когда привозили, он насмешливо говорил: «Опять сокрушались, что ничего для меня сделать не могут...» Виталия давно уже собирались перевезти в тубдиспансер Армавира, но тамошнее медицинское руководство, якобы упрямылось, не желая брать под свою ответственность тяжёлого больного. Санаторное начальство побаивалось, как бы *«чего не вышло»*, если песни Виталия *«улизнут»* на свободу. Вроде бы *чушь собачья*, но время было *поганое*, наступил 1951 год, который мы встретили обыкновенно и буднично. Санитары поставили в середину палаты пушистую ёлку и осыпали её мелкими кусочками ваты. Парни где-то раздобыли вина, тихо пели, долго разговаривали, пока к трем часам все не утомились. Ёлка простояла день или два. Затем её убрали, чтобы не мешала больным выезжать на кроватях из палаты.

Всяческих запретов и ограничений в санатории было полно! Радио в палатах не было. Газет и журналов не приносили. Письма администрацией распечатывались. Посылки

вскрывались. Считалось, что сведения в письмах могут больных травмировать, а в посылки, приславшие их родственники, нередко закладывали грелки, наполненные самогоном...

...Больных в нашей палате обслуживал врач Зиновий Давидович Штильман. Невысокого роста, черноволосый, с кудрявой шевелюрой, лет тридцати пяти, сорока. Он приходил в палату на осмотр раза два или три в неделю, иногда – чаще. Свой визит начинал с кроватей, стоявших с правой стороны от двери палаты. Получалось, что Витя Козлов оказывался первым, кого Зиновий Давидович начинал обычно осматривать. Сопровождали доктора две медсестры – Люба и Тая. Первая – маленькая блондинка в аккуратно выглаженном халате с кокетливой шапочкой на волнистых волосах. Вторая – высокая, рыжая, с пухлыми чувственными губами, физически сильная, очень умелая и осторожная. Они подхватывали Виктора Козлова, осторожно переворачивали его на живот, отодвигали ванночку в сторону и Зиновий Давидович внимательно осматривал шейную часть его позвоночника. Иногда доктор поворачивался к окну и долго разглядывал рентгеновский снимок больного участка...

Зиновий Давидович был очень элегантным мужчиной. Медицинская шапочка держалась в его волосах, как влитая. Белоснежный, тщательно прокрахмаленный халат, облегал его крепкую, спортивную фигуру. На правом нагрудном кармане красовался факсимильный вензель. Был он вышит синими нитками из трёх букв его имени, отчества и фамилии, кокетливо сплетенных друг с другом. Когда замечаешь под его халатом белую рубашку и полосатый галстук, а у края халата – чёрные брюки с острыми стрелками и тщательно вычищенные туфли, убеждаешься в строгой завершенности внешнего облика нашего палатного врача. За время моего пребывания в санатории, я ни разу не видел, чтобы Зиновий Давидович был неряшлив. Хотя бы в мелочах.

При всей убогости тогдашнего послевоенного времени, так элегантно выглядел только наш палатный врач.

Был он вежлив и немногословен. Всегда говорил спокойно. Прежде чем делать какие-то назначения, обычно спрашивал о чём-то медсестёр, не забывая задать два-три вопроса самому больному, уточняя его настроение или возможные тревоги. Сейчас, с помощью медсестёр, вернув Витю Козлова в гипсовую ванночку, Зиновий Давидович направился к следующему больному по своему обычному маршруту.

Завершался мой одиннадцатый год жизни и, как оказалось, я был самым младшим в палате. Поскольку я был мал и худ, мой сосед Николай Таперо окрестил меня – *малой*. Не скажу, что мне это понравилось, но «*однопалатчане*» не слишком злоупотребляли этим прозвищем. Когда дошла очередь до меня, Зиновий Давидович со своими помощницами остановился у моей кровати. Приветливо поздоровался со мной. Видимо, желая узнать моё имя и фамилию, спросил: «А кто это у нас?» и вопросительно посмотрел на русоволосую медсестру. Она стала перелистывать страницы журнала. Таперо опередил её.

— Это наш *малой*!

— Такая фамилия? — Не оборачиваясь на голос Николая, доктор глянул теперь на Таю. Та улыбнулась пухлыми губами.

— Его зовут Олег Юрганов... — Сказала она слегка грубоватым голосом и добавила. — Поступил вчера с туберкулёзным кокситом обеих тазобедренных суставов...

— Вот как? — Мне показалось, что вопрос доктора прозвучал *оторопело*. По выражению глаз я понял, что Зиновий Давидович этим диагнозом был немного озадачен. Скорее всего, в момент моего приезда, в санатории его не было. А может быть, готовясь к осмотру своих обычных больных в двенадцатой палате – у нас на дверях красовалась

эта цифра – доктор просто не успел ознакомиться с моей историей болезни.

Осматривал меня он очень тщательно. Его руки, с тёплыми и мягкими пальцами, осторожно притрагивались к моему телу и он, как я заметил, осматривая меня, стал утрачивать обычное, спокойное выражение лица.

— И как же это тебя угораздило? — Пробормотал Зиновий Давидович и тут же умолк. Держа руку на моем левом бедре сказал: «Будем делать гипсовую повязку...» Глянув в сторону медсестёр, добавил: — но с окошечками здесь и здесь. Он показал на обе стороны бедра. Справа, с внешней стороны бедра, была заметна небольшая розоватая припухлость, которая обещала воспаление. Хотя, кто знает, где абсцесс прорвётся – с внешней или с внутренней стороны? Медсёстры что-то записывали в свои журналы. Немного приподняв мои ноги, поочерёдно – сначала левую, затем правую – доктор заметил мою болезненную гримасу. Добавил — ну и пенициллин, конечно... — Сестры опять сделали запись в журналах, а доктор, поправив на мне простыню и одеяло, направился к другой кровати. В ней лежал в своей гипсовой ванночке Николай Таперо...

...Я быстро привык к санаторному режиму, но гораздо дольше пришлось приспособливаться к сложному и противоречивому общению с лежавшими в нашей палате парнями. Они были разными по возрасту и по характерам, по степени развития болезни, образованности, но все были объединены одним несчастьем – костным туберкулёзом, который отключил их от активной жизни и заставил страдать!

Хотя я родился и вырос в Баку, а приехал в Прочноокопск из Краснодара, прожив там всего-то ничего, в моей памяти хранились впечатления и привычки, сложившиеся в приморском городе, который, кстати, толком я так и не узнал, потому что обитал пять лет в санатории в Бузовнах, остальное время – в четырёх стенах родительского дома.

Тот же Таперо прибыл из Украины, кажется из Николаева или Херсона. Но родился он не там, а в Сибири. В годовалом возрасте, упав с балкона, со второго этажа, ударившись спиной о землю он тяжело заболел. Его родители переехали после войны к теплу в Николаев (или Херсон?). Но после несчастного случая, развитие болезни оказалось столь стремительным, что пришлось родителям определять сына в диспансер, затем в больницу. Кое-как парень выкарабкался. Через пять или шесть лет случилось новое обострение болезни, теперь уже на годы, и он оказался в Прочноокопском санатории.

Все, кто находился со мной в палате, как и большинство из трехсот пациентов санатория, получили болезнь вследствие травм или запущенных заболеваний, спровоцировавших туберкулёз. Почти у всех болезнь начиналась с детского или подросткового возраста. Протекала на фоне тяжких издержек жизни, плохого питания, недостаточного ухода и очень слабого медицинского обеспечения в стране, разорённой войной...

Попав в санаторий, мы могли рассчитывать на некую стабильность в уходе, питании, медицинском обслуживании. Процесс лечения строился на традициях, пришедших из недавнего прошлого, в основе которых был *консервативный* подход. Больного укладывали в гипс или делали операцию, чтобы вскрыть очаг заболевания, вычистить внутренние кости от множества *секвестров*, наростов, образующихся на поверхности кости – то ли бедренной, то ли коленной, то ли позвонков и реже стопы. Изобретение пенициллина и стрептомицина сильно продвинуло методику лечения, но количество инъекций этих препаратов зависело от остроты заболевания, поскольку эти препараты косвенно влияли на организм, ослабляя функции слуха, зрения, почек...

...Через два или три дня, после осмотра Зиновием

Давидовичем, меня увезли в процедурную. Я лежал в кровати и два пожилых санитара, один держась за спинку кровати со стороны моих ног, второй у изголовья, везли меня по длинющему коридору вдоль стен с прямоугольниками дверей и квадратами окон. Я тогда обратил внимание, что полы были деревянными, выкрашенными коричневой краской. Под широкими подоконниками стояли батареи парового отопления.

Минут через десять меня привезли в довольно тесное помещение, где находились Зиновий Давидович и еще какая-то молодая женщина, которую я никогда не видел. Она деловито что-то записывала в тетрадь, а доктор завязывал за своей спиной тесёмки большого клеёнчатого фартука.

Честно говоря, я ожидал гипсования, как и сказал Зиновий Давидович на осмотре в палате несколько дней назад и был спокоен. Приветливо со мной поздоровавшись, врач помог мне перелезть с кровати на стол и попросил снять штаны. Санитары ушли. Вокруг не было никаких признаков предстоявшего, как я ожидал, гипсования. Напряженно соображая, что же задумали делать с моим телом эти два человека, я лежал на столе, начиная нервничать и поёживаясь от прохлады в комнате. Зиновий Давидович встал рядом со столом и сказал, как обычно тщательно выговаривая слова своим приятным баритоном. Его помощница, её звали Таня, согласно кивала на каждое его слово.

— Олег... Прежде чем ставить гипс на левом суставе, я должен на правом сделать тебе скелетное вытяжение. Еще надо будет проверить смогут ли подавить инъекцией антибиотиков начинающееся воспаление в левом суставе...

Для меня это было новостью. Я-то считал, что абсцесс зреет только справа, а он оказывается начался уже и в левом бедре... Дня два или три тому назад мне был сделан рентгеновский снимок левого бедра и Зиновий Давидович рассмотрел там начатки воспалительного процесса. Справа

– я об этом уже знал – абсцесс был очевиден. Я молчал, *переваривая* услышанную новость. Доктор продолжал.

— Скрывать не буду, вытяжение – процесс болезненный. Придётся потерпеть...

Тогда я еще не знал, что скелетное вытяжение обычно делают перед предстоящей хирургической операцией, главная задача которой осуществить чистку трущихся костей и убрать из бедренной зоны костную пыль, провоцирующую развитие абсцесса. Никаких деталей мне врачи не раскрывали. Ну зачем подростку знать скрытые подробности, происходившие в недрах его бёдер? Доктору требовалось время, чтобы, как минимум, утомонить туберкулёз слева, готовя меня к неприятной и весьма болезненной процедуре мышечного вытяжения справа. Левую бедренную зону он будет *накачивать* пенициллином или стрептомицином, чтобы подавить развитие абсцесса, справа – мышцы бывшего сустава следует растянуть между его фрагментами. Не берусь судить, верное это было решение или нет, но то, что мне сейчас предстоит я начал уже догадываться, осмотрев лежавшие на соседнем металлическом столике инструменты: дрель с вставленным длинным сверлом, бутылочку с йодом, пакет марли, ваты, какие-то тонкие спицы и никелированные скобы.

Я ждался. Испытывать *болезненные* процедуры мне пока не приходилось. Поэтому я не знал, к чему мне готовиться? Хотя саму боль, обычно длительную, ноющую, иной раз нестерпимую и страшно утомлявшую меня, я испытывал практически всю свою *сознательную* жизнь. Она вошла в меня с момента, когда я реально ощутил, возникший в бедренных зонах *дискомфорт*, сопровождавший меня всегда, который можно было называть словом «*боль*». Как бы я ни привык к ней, моё состояние зависело от остроты туберкулёзного процесса в моих бедренных зонах. Случались, конечно, невольные, неосторожные движения ног,

приводившие к резким ощущениям боли при ходьбе на улице, в момент просмотра фильма в кинотеатре, при чтении книги, во время игры в футбол, когда я стоял на воротах, опираясь на костыли. Иначе говоря, когда я двигал ногой (чаще произвольно) в бедренной зоне мгновенно возникали *конфликты* мышц, нервов, связок, откликавшиеся *болью*. Потом она ослабевала. Так было все годы моей жизни, от полугода, когда болезнь только начиналась, до нынешних двенадцати лет. Сейчас Зиновий Давидович просверлит правую ногу и повесит на неё гири, чтобы постепенно *оттянуть* в бедренной зоне фрагменты костей, поражённых туберкулёзом. Во время операции, хирург будет их «санировать», то есть очищать от множества болезненных наростов. Боль длится, пока тянет скелетно-мышечное вытяжение! Что же делать, если это необходимо для *моего* же *блага*? Но рационально рассуждать в тот момент, я не мог. Просто покрывался мелким потом, молча ждал, что буду чувствовать, глядя во все глаза на этот набор железа, острых спиц и свёрл.

...Зиновий Давидович надел резиновые перчатки и кивнул Тане. Та взяла длинную палочку с намотанным на конце ватным тампоном и окунула её в баночку с черной жидкостью. Скорее всего это был йод. Так оно и оказалось. Таня стала протирать тампоном по обеим сторонам моей правой ноги выше колена. Делала она это быстро и умело, а Зиновий Давидович возился с дрелью. Обработал спиртом блестящее тонкое сверло и нажал на курок дрели. Раздался свистящий звук мотора и сверло стало невидимо вращаться...

...Моя болезнь и всё, что с ней было связано: неудобства, частая усталость, падения, уродство моего облика, реальная боль, годами сопровождавшая меня, заставляли вырабатывать черты характера, которые основывались на внутренних ресурсах. Всегда было больно, но страшно – никогда!

Теперь, другое дело... В ожидании незнакомой мне боли, которая, как мне казалось, должна быть просто нестерпимой, я напрягся и сильно сжал челюсти. Возможно даже побледнел. Зиновий Давидович внимательно на меня посмотрел.

— Олег, Олег...Ты же знаешь, что с твоей болезнью ты должен набраться терпения! — Его голос звучал чуть приглушённо сквозь маску на лице. — А как же иначе? Обезболить-то я не могу... Сверло кость пройдёт мгновенно! Ты мне сильно поможешь, если потерпишь. Обещай, что будешь вести себя спокойно... Хорошо? — *Затравленно* глядя на него, я вяло кивнул, схватившись обеими руками за края стола. Несмотря на то, что в комнате было прохладно, я покрылся плёнкой пота.

Зиновий Давидович сосредоточено глядя на конец со свистом вращавшегося сверла, приблизил его к внешней стороне правой ноги и быстро вонзил в мышцу, сантиметрах в пяти или шести от коленной чашечки. Острая боль мгновенно пронзила меня. Сверло легко прошло сквозь кость и так же быстро, с короткой острой болью, вышло на противоположной, внутренней стороне ноги. Проведя два-три раза сверлом по высверленному ложу, Зиновий Давидович вытащил его. Выключил дрель и положил её на столик. Таня быстро и ловко смазала йодом отверстия в коже ноги и так же ловко подала доктору ванночку, в которой на марлях лежали длинные металлические, никелированные спицы с острыми концами. Зиновий Давидович просунул их в только что просверленные отверстия. Таня помазала кожу вокруг отверстий клеем, остро пахнувшим эфиром и приложила к ним квадратные марлевые салфеточки, проткнув ими острые концы спиц. Квадратики медленно стали краснеть от моей крови. Пережив первые ощущения, удивившись вполне терпимой боли, я услышал голос Зиновия Давидовича.

— Кажется, всё обошлось... Да? Никаких сосудов не задела? — Таня кивнула.

— Теперь просверлим вторую пару дырочек — почти доброжелательно проговорил Зиновий Давидович. — Олег, ты спокоен? — Он внимательно на меня посмотрел и, повидимому, остался доволен моим состоянием, хотя выглядел я жалко, обливаясь потом от тяжкого внутреннего напряжения. Взяв дрель, Зиновий Давидович кивнул своей помощнице. Та окунула палочку с ватой в йод, провела слева и справа по ноге, уже ниже колена, сделав кожу коричневой. Доктор включил дрель. Быстро *прицелившись*, он просверлил мою ногу насквозь, удовлетворённо мне подмигнул и выключил дрель, отложив её на соседний столик.

Честно говоря, устал я смертельно! Невольно расслабившись, я уже не стал наблюдать за действиями врача и медсестры, только чувствовал, как они молча и довольно долго возились с моей ногой. Просунув блестящие спицы в просверленные отверстия в кости, доктор, войдя их концами в разрезы скобы, стал закреплять их гайками. Потом то же самое сделал со второй спицей в следующей скобе, которая была ниже колена. Возясь со скобами, не глядя на меня, Зиновий Давидович тихо сказал.

— Сюда мы подвесим груз и начнем тянуть мышцу в зоне бедренных костей... — Неожиданно он умолк, внимательно разглядывая, как быстро краснеют марлевые квадратики, приклеенные Таней с внешней и внутренней сторон правой ноги, только что насквозь просверленной. Но, по-видимому, оснований для тревог не оказалось, он открыл двери и позвал санитаров. Они осторожно положили меня на кровать, укрыли простынёй, одеялом и повезли в палату.

...На моё исчезновение из палаты мало кто обратил внимание. Вернувшись на своё место, я отвернулся к окну. Только теперь я ощутил неудержимое желание... плакать. Пережив манипуляции с моей ногой, я никак не мог

стереть из памяти звук дрели и свистящее вращение сверла, пронзившего мою ногу. Я закрыл глаза, накинул на голову простыню и почти сразу же куда-то провалился.

Но *остыть* от переживаний мне не дали. Пришли те же два санитары, которые только что привезли меня в палату. Они начали деловито устанавливать растяжки на спинке кровати у моих пяток. Хотя для моих *однопалатчан* всё то, что проделали со мной, не было в диковинку, они с любопытством смотрели на санитаров, обмениваясь друг с другом редкими репликами. Санитары быстро наложили на никелированные дуги, закреплённые на обеих спицах в моей ноге, плетёную проволоку, уложили её на колёсико, установленное в вертикальных стойках кровати у моих стоп, попросили меня подтянуться к изголовью кровати. Я подчинился. К концам плетёной проволоки, свисавшей с колёсика, санитары пристегнули две гирьки и ушли. Минут через пять-шесть я почувствовал, что в правом бедре противно заныло...

Понять логику лечебных процедур, когда тебе только двенадцать лет, практически невозможно! За время моего пребывания в Прочноокопском санатории, я был дважды загипсован, один раз прооперирован и, наконец, отправлен домой, где, тем не менее, снова подвергся атакам болезни, которая, казалось бы, решительно была прервана хирургическим вмешательством! Иначе говоря, абсцесс в районе правого бедра начал развиваться уже через полгода после операции, когда я вернулся в школу и жил дома...

...После ужина всем раздали «судна» и «утки». В палате медленно разливался тяжёлый запах *уборной*, но ненадолго. Затем, с семи часов до девяти, каждый занимался, чем хотел. Младшие по возрасту, в том числе и я, обычно делали уроки, готовясь к завтрашним занятиям в санаторной школе.

Старшие ребята разъезжались кто-куда. В основном — к девчонкам. Их палаты были по обе стороны от нашей.

Там находились девушки двадцати пяти, девятнадцати и семнадцати лет. Возрастной состав девочек, как и мальчиков, был такой же смешанный: взрослые девушки лежали вперемешку с девчонками одиннадцати, тринадцати лет. Большинство из них были «позвоночниками», лежали в гипсовых ванночках, приложив зеркала ко лбу, чтобы общаться друг с другом.

Парни из нашей палаты, впрочем, как и все питомцы санатория, двигаясь в кроватях по палате или по широким коридорам здания, обычно пользовались крючками. Однако «променад» могли позволить себе только те, у кого были поражены колени, голень, тазобедренные суставы. В особом положении оказывались больные *ходячие*. Мальчишки или девчонки, у кого завершалось лечение позвоночника, ходили в *корсетах*. Те, кто приспособивался к хождению после операций на бедре или в коленном суставе, двигались сначала на костылях. Им изготавливались *туторы*, для временной фиксации прооперированных суставов. Затем, чтобы приучить суставы к нагрузкам, *ходячие* от костылей отказывались или опирались только на один костыль. Они долго в санатории не задерживались. Недельку-три, максимум месяц и... домой!

У *позвоночников с корсетами* была канитель. Чтобы встать и пройти, его надо было надеть и зашнуровать, причём так, чтобы не сползал. С *тутором* – хлопот не было. Внешне он напоминал короткие шорты с одной *штаниной*. Применяли его только для *бедренников*, то есть с больным бедренным суставом – левым или правым. Надевали его без застёжек, через несколько недель после операции и надолго – месяцев на пять или шесть. Ходить с *тутором* можно было даже с одним костылём, поскольку *свободная нога* была опорной. Сустав, зафиксированный в *штанине тутора*, был подвергнут хирургической операции. От нагрузки тела, при шаге, спасал костыль, на который опирался

«ходячий». Но сидеть можно было только на «свободной» ягодице. Не случайно девяносто процентов *ходячих*, приехав домой, распиливали тутор и выбрасывали его...

Лежачие «позвоночники» редко позволяли себе прогулки по соседним палатам. Дело для них неудобное. В гости, в какие-то соседние палаты, их обычно отвозили *ходячие* больные. Сами отправлялись в *путешествие* только те, у кого были поражены нижние зоны позвоночника. Они могли немного приподыматься, чтобы двигаться, прихватывая крючками то ли чьи-нибудь кровати, то ли штыри на подоконниках в коридоре. Заезжали в соседние палаты поболтать, обменяться скудными новостями или просто покататься по длинным коридорам санатория «*ортопедики*», «*коленники*». «*Коленники*», «*стопники*» могли в кровати сидеть, манипулируя крючками и двигаясь в любом направлении...

...Когда мне нацепили железяку с грузом, я и мечтать не мог отправиться в «путешествие». Все мои силы уходили на терпение боли, которая «*мёртвой хваткой*» вцепилась в моё правое бедро.

Помню первые ночи привыкания к скелетному вытяжению. В суматохе вечера, готовясь ко сну, я незаметно опускался ниже и укладывал гири на пол. Боль прекращалась и я отдыхал. Днём ничего подобного делать нельзя! В любую минуту мог зайти дежурный или палатный врач и молча отправить меня вверх, привязывая к спинке кровати специальной повязкой. Она напоминала мне лиф в детском противоуберкулёзном санатории в Бузовнах, который надевался на грудь, как рубашка, с той лишь разницей, что к её плечам пришивались крепкие ленты, которые и привязывались к перекладинам спинки кровати.

Каждый раз, за нарушение режима вытяжения, к общему сроку этой процедуры, прибавлялись сутки. Пометку в специальном журнале делал дежурный врач, обнаруживший моё «*мошенничество*». Да и среди «*ходячих*» были ребята,

которые «стучали» доктору, если видели нарушение больничного режима. Иногда, смеха ради, они ввали, но им верили и провинившихся наказывали, как если бы сами медработники были свидетелями таких нарушений.

Откровенно говоря, боли я не выдерживал... Если удавалось вечерами или ночью хоть на час или чуть больше развязать тесёмки и «смошенничать», уложив гири на пол, я делал это. Тогда же, мгновенно засыпал, едва боль переставала меня мучить. В то время никаких обезболивающих уколов не делали, по-видимому боясь привыкания...

В поисках выхода из «болевыx клещей» я даже научился спать *по приказу*, внушённому самому себе. До сих пор я могу приказать себе спать десять минут или полчаса и тут же засыпать, просыпаясь точно к концу отведенного самому себе времени отдыха. Хорошая привычка. Она меня сильно выручала, когда я учился в университете, во время подготовки к экзаменационной сессии.

Сидишь в библиотеке, читаешь конспекты или учебники. Устал. Для удобства положишь голову на руки или на книги, прикажешь себе: «Спать десять минут!» и тут же засыпаешь. Через десять минут просыпаешься... Свеж, бодр и снова за работу!

Но, когда тебе двенадцать лет, привыкнуть к «дозированному» сну не так-то просто! Несколько раз я попадался. Наверняка, по собственной вине «перебирал» срок отдыха. Время скелетно-мышечного вытяжения я продлил, наверняка, на месяц-полтора. Испытание это серьезное, когда ты подросток, а лежишь в палате с парнями, которым девятнадцать, двадцать пять и даже тридцать лет. То, что ты самый младший в среде взрослых людей еще ладно! Но взрослые озабочены своим искалеченным телом. Они задумываются о тайных процессах, протекающих в нём, хотя и мало что знают об этом. В палате приходится слышать разговоры, особенно после отбоя, когда ты остаёшься один-на-один

с сверлящей болью в бедре. Или, разбуженный скелетным вытяжением, тихонько хнычешь под простынёй, тупо считая до тысячи и больше, чтобы хоть как-то её заглушить, а себя отвлечь...

Конечно, далеко не всегда мне было понятно о чём говорят взрослые парни. Бранные выражения, банальный мат, споры, раздоры сопровождали мой слух обычным аккомпанементом, звучащим с разных сторон в полумраке палаты, пока, наконец, не наступала сонная тишина. Зачастую ребята сами решали с кем им удобнее лежать, манипулируя местами, постоянно их меняя, предварительно договорившись друг с другом, устраиваясь рядом с теми, с кем им было интереснее делить ту часть ночи, которую хотелось заполнить до сна неспешными разговорами о том – о сём...

В санатории радио не было. То есть не было даже *чёрных тарелок* на стенах, поскольку наши *покровители-администраторы* считали, что избыточная информация только мешает излечиванию тяжёлых туберкулёзных больных. Не имея ни малейшего представления о том, что происходит в стране, мы жили местными новостями, сплетнями, досужим вымыслом и просто *трёном*, возникавшем на пустом месте.

Иногда, правда, крайне редко, нам попадался старый номер «Комсомольской правды». Чаще – «Правды», но «*ажитаж*» по этому поводу никогда не было! Газета переходила из рук в руки, её просматривали, изредка даже читали какие-то статьи.

Из санаторной библиотеки к нам в палату раз в две недели привозили книги, забирали прочитанные, но журналов не было. Очень редки были учебники. Вся учебная информация умещалась в тетрадных листах, куда её заносили более или менее старательные ученики из тех, кто не утратил желания учиться в санаторной школе.

Я быстро понял – хоть каким-то образом, надо постараться удержать те крохи знаний, которые мне предстояло

усвоить на уроках, которые начинались с десяти утра и продолжались до двух часов дня. Поскольку класс был у нас в палате «*сборный*», я схватывал всё, что мог. Зоология, география, русская литература и русский язык, физика, математика, геометрия более или менее уложились в моей голове и то, благодаря стараниям Виктора Гребенченко, который прибыл в санаторий через месяц после моего приезда в Прочноокопск. Своё место я поменял, точнее меня просто переместили, когда белили стены палаты и затем мыли полы, убрав всех ребят в коридор. Потом завезли, расставив кровати впопыхах, каждую, где придёт и я оказался уже в другой стороне палаты, головой к окну. Слева поставили кровать с Николаем Таперо, а справа с Виктором Гребенченко.

Это был парень лет девятнадцати-двадцати, который неведомо почему с удовольствием общался со мной и мы с ним стали закадычными друзьями. Он окончил школу в каком-то маленьком городке Краснодарского края, хорошо знал математику и стал меня потихоньку *подтягивать*. Виктор решал примеры, задачки, очень толково объяснял дроби, а главное, хранил в памяти бесчисленное множество арифметических примеров, которые записывал в мою тетрадь, чтобы я решал их для *тренировки*.

Витя был крупен, мускулист, говорил, что готовился стать спортсменом-гимнастом, но во время тренировки упал на перекладину брусьев и сломал нижний сегмент позвоночника. Травму как-то залечили и подвижность ног он не потерял. Но болезнь была сильно запущена и тогда там... образовался туберкулёз. После долгих ожиданий, ему удалось получить путёвку в санаторий и здесь мы с ним встретились...

Память у него была просто феноменальной! Он превосходно учился в средней школе и практически помнил всё, что усвоил от своих учителей в том маленьком городке, где родился и жил. Я многое почерпнул у этого парня и считаю,

мне сильно повезло, что я его встретил.

Один эпизод, случившийся в Прочноокопском санатории уже после того, как мне сделали хирургическую операцию и надели гипс на обе ноги, я приведу из романа моей покойной жены Тани Юргановой: «Автопортрет любви без ретуши». Она вставила эпизод в книгу, взяв его из моих устных рассказов о жизни. То была тяжкая для меня, двенадцатилетнего пацана ситуация, разыгравшаяся в нашей палате. Витя Гребенченко тогда очень меня выручил...

«...Гнет безысходности отравлял разум многих. Накапливалась агрессия и, как правило, раз в месяц, как бы для «разрядки», в палате устраивались настоящие побоища, причем поводом к тому могла быть любая мелочь...

...Устав от однообразия жизни, от боли, трудных и неприятных мыслей, которые лезут в голову, наконец, накопив раздражение, ребята начинали задираться. Бросали друг в друга все, что под руку попадётся, обзывались, посмеивались... и неминуемо происходил взрыв.

Самые крепкие хватали крючки, цеплялись ими за выступы кроватей «противников», дергали их к себе. Предварительно смочив водой вафельные полотенца, прихватив за углы, яростно накручивали, превращая в упругую плётку. Удар концом такой плётки оставлял след, как от удара кнутом. Было больно, но в разгар схватки мало кто это замечал. Чтобы потасовку не застал дежурный врач, особо не шумели. Возня, легкий стон, хлесткие удары, сопение – вот и все. Так продолжалось минут пятнадцать. «Сторож», выставленный у двери, из числа ходячих больных, сообщал о приближении врача или медсестры, и мгновенно устанавливался порядок. Кровати откатывались на места, раздавался смех, даже какие-то вполне дружелюбные реплики.

...Крючка у меня не было, да и колеса моей кровати были плохо смазаны. А так как я лежал далеко от центра палаты, куда в основном съезжались «бойцы», то своей порции

ударов вафельной плеткой я до поры не получал, а сам в драку не вступал. Однако, кнут из полотенца делать научился и вскоре этот навык мне пригодился.

Однажды меня переложили на другую кровать. Её бывшего хозяина выписали и он уехал домой. Колёса кровати были хорошо смазаны, но оставленный им большой, блестящий крючок «прихватил» один из старших ребят. Иметь два крючка я считал верхом несправедливости, но не решился попросить отдать его мне, чтобы передвигаться по коридору и приезжать в гости к соседям... То ли постеснялся, то ли боялся получить отказ.

Однажды, когда ночью владелиц этого сокровища спал, а его кровать случайно оказалась рядом с моей, я умыкнул крючок и спрятал под своё одеяло. Наутро пропажа не обнаружилась, а у меня появился другой сосед.

Когда после завтрака все разъехались, кто на репетицию санаторного хора или струнного оркестра, кто к девочкам, я решил, что пробил и мой час насладиться свободой передвижения...

Это был день моих новых впечатлений, радостных и неожиданных открытий. Я ездил по коридорам, цепляясь крючком за ушки штырей, привинченных к деревянным подоконникам в коридоре. Зацепишься, дернешь, и кровать едет в нужном направлении. Заехал в палату к девочкам, поболтал с ними, потом в палату, где лежали маленькие ребята. Коридор был довольно длинным – метров пятьдесят. С одной стороны – большие квадраты окон, с другой – двери палат.

Все подробности жизни коридора и соседей я узнал именно в тот день, когда путешествовал с помощью добытого крючка. Такая свобода стала возможна еще и потому, что были весенние каникулы, уроков не было, а наше санаторное начальство в те дни следило за нами не очень строго. Однако, наученные горьким опытом «нарушителей», которые в свое время были наказаны, вплоть до лишения права

продолжать курс лечения, мы должны были обязательно вернуться в свои палаты к ужину – в семь часов.

В тот вечер я поставил свою кровать в коридоре у окна, напротив нашей палаты. Нам иногда позволяли это делать, если кровать стояла неподалеку от палаты, где ты был «прописан».

Именно в это время хозяин крючка хватился пропажи. Есть такое выражение в воровском лексиконе: «делать шмон», то есть всё перелопатить в поисках пропавшей вещи. Так вот, в палате шмон ничего не дал. Проводили его ходячие больные по требованию того самого парня, у кого я крючок стащил. Быстро вспомнили, что я, до этой поры всегда лежавший смирно в своей кровати и никуда не ездивший, вдруг целый день (ходячие «настучали») катался по коридору.

Меня привезли в палату, поставили кровать в самой середине и обшарив постель, нашли крючок, вернув его владельцу. Парень решил устроить «суд» и, разумеется, наказать меня. За кражу крючка меня осудили все. Даже наш авторитет Архипов промолчал. Было решено, что в наказание каждый имеет право ударить меня скрученным в жгут мокрым вафельным полотенцем. Правда, мне было разрешено отбиваться от противника. Я понимал, что виноват, не роптал, но единодушия ребят, признаюсь, испугался. Если учесть, что мне было всего двенадцать лет и «скроен» я был, в общем-то, мелко, причины для тревог у меня были. Могли запросто выбить глаз, оставить кучу синих полос. Вообще, в любом случае, меня ожидала болезненная расправа.

Деваться некуда. Я с надеждой посмотрел на Гребенченко и заметил, что к готовящейся экзекуции он был безучастен. Похоже, он тоже осуждал мой поступок, хотя и смолчал. А может просто не хотел раньше времени показывать свое отношение к случившемуся?

Закрыли двери. Выставили «атас». Мне разрешили

хорошенько проверить мой кнут, то есть свернутое вафельное полотенце, чтобы не подвел меня. Кстати, важная деталь: если «кнут» свернуть небрежно, то во время «сражения» он раскручивался, и тогда сопротивление бессмысленно – ты оказывался безоружным и сдавался на милость победителя.

Все терпеливо ждали, когда я еще раз проверю жгут. Дали воды, чтобы для тяжести смочить тугое, напоминавшее змею, полотенце. Неожиданно подъехал Гребенченко. Его готовили к выписке и в кровати он был в корсете – мог встать, садился и понемногу начинал ходить. Витя взял у меня кнут, тщательно его проверил, шепнул: «Не трусь... Сопровствляйся!» И вернулся на свое место.

Первым, совершенно неожиданно, ко мне подкатил Козлов. Он уже приподымался в своей ванночке, поскольку через месяц-два его обещали выписать. Он «храбрился», как впрочем и все, кому это объявляли. Изготовившись, он слегка приподнялся, размахнулся, но его полотенце в воздухе тут же развернулось и лишь «погладило» моё плечо. Я же, изловчившись, сумел перетянуть его, как говорится, вдоль спины, да так, что кончик моего кнута пришёлся по его позвоночнику. Парень вскрикнул. Раздался дружный хохот! Обозлившись, он хотел быстро свернуть полотенце и ударить меня второй раз, но ему не дали. «Не положено». Ходячие быстро откатали его кровать.

Второй «палач» – шустрый Николай Таперо – был большим мастером крутить из полотенца жгуты, бил точно и очень больно. Первый боевой рубец украсил мою спину, его же я ударить не сумел. Промахнулся. Тут же подкатился третий, но наши кнуты встретились в воздухе, и его удар, не причинивший мне вреда, был засчитан.

Я быстро устал. Отвечал на удары вяло, и уже вся моя грудь, спина, шея и щеки были покрыты розоватыми рубцами. Мне пришлось бы плохо, если бы не Гребенченко.

Он подъехал к моей кровати и чуть приподнявшись, стал молотить не только тех, кто уже готов был меня стегать, но и тех, кто, скручивая жгуты, подъезжал к середине палаты, ожидая своей очереди.

«Судья» сначала оторопел, а затем быстро прекратил экзекуцию. Однако потребовал, чтобы ходячие вывезли мою кровать в коридор. Он явно не был удовлетворен расправой, но остальные ребята, быстро смекнув, что он задумал, перечесть не стали.

Мою кровать вывезли в коридор и поставили у окна. Один из ходячих, кому было приказано вывезти мою кровать, получил указание «судьи» содрать с меня простыню. Обычно по коридору проходят то санитарки, то медицинские сестры или кто-то из врачей санатория. Был, кажется, воскресный день...

Лежа на спине весь исполосованный, с открытыми «мужскими достоинствами», не имея права даже всхлипнуть, потому что, наверняка, привлек бы к себе внимание, я представлял собой жалкое зрелище. В коридоре долго никого не было. Потом появился какой-то пацан на костылях. Увидев меня, он засмеялся и тут же позвал кого-то из своих сверстников. Вскоре появились еще двое пацанов и стали надо мной потешаться.

Мне повезло, из нашей палаты приехал Саша Дьяконов. У него был гипс на правом колене, и он мог сидеть на кровати, а иногда даже ходить на костылях. Он молча дал мне рубашку, накинув простыню, разогнал мелюзгу, безмолвно удалившись в палату. Наверняка, его приход на выручку мне возник по инициативе Вити Гребенченко, поскольку Сашка Дьяконов лежал рядом с ним уже давно и парни очень дружелюбно были настроены друг к другу...¹

1) Татьяна Юрганова. «Автопортрет любви без ретуши»
Минск, Издательство «Четыре четверти», 2006 год, стр. 22.

...Наш признанный тенор Виталий Архипов уехал в Армавирский тубдиспансер. В связи с его судьбой вспоминается забавный случай. Мы просили его писать нам о жизни, которая предстояла ему на новом месте. Понимали – парню придется туго. Перед отъездом Виталий сокрушался: «Ну, как же я буду вам писать, если здесь администрация распечатывает конверты?» Кто-то из нас в это время читал книгу о Ленине, в которой рассказывалось, как вождь писал из тюрьмы конспиративный текст молоком, между строк обычного письма или какой-нибудь книги легального содержания. Решили проверить. Написали несколько строк молоком на тетрадном листе, дали им просохнуть и потом подержали над огнём свечи. Ожидания полностью оправдались! Под крики «Ура!» способ переписки с опальным Виталием был одобрен.

Спустя месяц после отъезда Виталия, получаем от него первое письмо. Конверт, конечно, уже распечатан... Читаем обычную скучную писанину про погоду, про суп, который он съел перед тем как написать нам. А в самом конце приписка: «Молоко оказалось вкусным! Надеюсь и у вас такое же. Так что пробуйте!» Мы, конечно, «попробовали». Между строчками его письма, под огнем свечи, постепенно стал проступать текст, написанный «молочными чернилами».

Запретные строки рассказали нам о неожиданных переменах в жизни Виталия. Он писал, что начал курить, что в его больнице это не запрещается, что к нему приезжала девушка из деревни, откуда он был родом, с которой у него «...кое-что было». Здесь же – строки о том, что на выздоровление совсем не надеется, но «жить можно», потому, что «... брат работает в Армавире и приносит мне водку, и тогда дурацкие мысли уходят прочь...»

Место в письме, где он писал о девушке, с которой у него «кое-что было», породило массу комментариев. Ничего странного! Вполне зрелые парни мечтали о девушках и любви.

Я помню фрагменты этого письма, потому что оно было первым и единственным от Виталия. Переходило из рук в руки, и я сам его тоже читал, не переставая восхищаться простым способом избежать зоркого ока административной цензуры...

Умер Виталий через два месяца. Об этом мы узнали от учительницы русского языка и литературы, Светланы Николаевны. Она была женой Зиновия Давидовича, а у того были контакты с тубдиспансером Армавира, в котором лежал Виталий...

...Мы были оторваны от нормальной жизни, но знали: по соседству находятся двадцать молодых девушек в таких же, как и у парней, гипсовых повязках или ванночках. Поэтому любовь, даже страсти, разгорались и у нас в палате... Гребенченко рассказывал мне о девушке, которая лежала в соседней палате. Был у неё коксит тазобедренного сустава и после недавней операции у неё вроде бы наметилось выздоровление. Виктор приезжал к ней в палату. Оказалось, что Маша, так её звали, жила в городке откуда родом Гребенченко и это обстоятельство очень его обрадовало. Встретив «землячку», он мог поговорить с ней о знакомых, которые у обоих оказались в школе, даже в домах по улице, на которой оба жили. Потом, став «ходячей», Маша пришла в нашу палату и Витя познакомил меня с ней. Милая девушка лет восемнадцати, с карими живыми глазами и красивыми, длинными ресницами. У неё был мягкий говор и нежный голос...

...Однажды ребята решили установить с соседками более тесный контакт. Придумали игру, которая не вызвала у администрации никаких нареканий: кому-то пришла в голову гениальная мысль выучить азбуку Морзе и убедить девочек сделать то же самое. Нашлись энтузиасты и в нашей палате, и у девчонок. Конечно, с большей готовностью откликнулись те, кто друг на друга уже «положил глаз». Азбуку

учили упорно, отстукивая точки и тире по железному краю кровати. Наконец, пары *любителей* азбуки Морзе достигли известного мастерства и «переписка», а точнее, перестук продолжался днем и ночью...

...Письма и посылки от родственников приходили на почтовое отделение, работавшее при санатории. Там администрацией всё распечатывалось и *потрошилось*. Если приходили продукты для младших по возрасту больных, считалось хорошим тоном тут же угощать вкусностями старших ребят и неважно, что самому получателю продукты достанутся в абсолютном минимуме...

Все письма прочитывались и отдавались адресату в распечатанных конвертах. Мы все были под надзором, но внутренняя почта – переписка с девчонками – проходила тайно и оживлённо. Нередко помогали ходячие больные, став исправными *почтальонами*. Кстати, взаимоотношения ходячих больных, их общение с девчонками, тоже передвигавшимися на костылях, обозревались на всём пространстве санаторного здания. Спрятаться в укромные уголки было невозможно, потому что их просто не было!

...В санатории работал персонал педагогов, которые приносили нам книги, тетради, помогали делать уроки тем, кто учился в определенном по возрасту классе. Приходя в палату и объединив кровати с больными по степени сходства учебных программ, учителя проводили урок. Присоединялись и те, кого следовало бы назвать *переростками*. Со мной, по программе пятого, шестого, седьмого класса учились по личному желанию и шестнадцатилетний Таперо и Саша Дьяконов, которому было уже восемнадцать, хотя оба имели большой перерыв в учёбе. Учительница математики, худенькая пожилая женщина Анна Михайловна терпеливо объясняла нам какие-то правила геометрии, алгебры, арифметики, решала с нами задачи. Делала это мягко, по доброму и терпеливо.

Минут через пятнадцать-двадцать после начала занятий Николай Таперо обычно засыпал. Саша Дьяконов, наоборот, упорно черкал карандашом в большой тетради и всё время спрашивал учительницу, верно ли он сделал? Присоединялись к нам Женя Глазьев и Виктор Гребенченко. Они были ровесниками и к нам присоединялись от скуки. У обоих были хорошие способности и они быстро справлялись со всеми заданиями, объясняя премудрости математики, лежавшим рядом ребятам помладше, как я.

Учительница, которая проводила с нами уроки математики, принесла Глазьеву и Гребенченко толстую книгу с текстами задач и примеров. Каждую свободную минуту наши *математики* решали задачки, сравнивая полученные результаты с теми, которые располагались в конце пособия, в разделе готовых ответов.

Приобщить меня к математике хотел и Виктор Гребенченко. Постоянно приставал ко мне с объяснениями. Но на дворе было уже тепло и я, как мог, отлынивал. Наконец, Виктор отстал от меня и они с Женей Глазьевым *решили* все примеры и задачи из пособия Анны Михайловны...

...У меня появился новый сосед справа – Олег Корнилов. В палате он оказался два или три месяца спустя после моего прибытия. Был он фанатом шахмат и стал меня вовлекать в эту игру. Случилось это во времена моего скелетно-мышечного вытяжения, которое сильно *«портило мне кровь»* и я, как мог, отнекивался. Сам мой тёзка – у него был повреждён крестец – нередко ныл в полголоса, особенно жалуюсь во время уроков, мол ничего у него с математикой не получается, потому что – болит! Когда проходили занятия, он жалостливо морщился, мол трудно ему сосредоточиться и Анна Михайловна, подходя к его кровати, с осторожной укоризной замечала, что рано или поздно ему придётся сдавать экзамены, потребуется показать хоть какие-то знания. Говорила она тихо, но убедительно. Олег умолкал.

Что-то начинал черкать в своей тетради, с гримасой страдания на вытянутом и очень худом лице...

К концу занятий просыпался Таперо. Он смотрел на меня с хитрецей и шёпотом просил объяснить, что было на уроке и что он пропустил. Ссылаясь на то, что не успел ухватить суть урока, я *отправлял* его к Гребенченко, который теперь лежал по левую сторону от его кровати. Николай вяло махал рукой и снова впадал в дрёму.

После урока математики к нам приходила Светлана Николаевна, которая преподавала русский язык и литературу. Всех желающих она свозила в группу, размещавшуюся в самой середине палаты и начинала урок русского языка. Она писала на доске примеры, объясняя какие-то правила, прося записывать их в тетрадях. Кто как умел, делали это, а через полчаса, час, начинался урок литературы, который она же и проводила.

Легче было тем, у кого был тубекулёз бедренных костей. Нам подкладывали подушки под спину и мы могли смотреть на учителя, слушая всё, что она говорила. Те же, у кого был поражён позвоночник, были лишены этих возможностей, потому что им нельзя было двигаться. Так и лежали, приложив зеркало ко лбу, направив его в сторону Светланы Николаевны. Было неудобно, но ко всему привыкаешь...

На уроках особыми привилегиями пользовались выздоравливающие – *ходячие*. Нам – *лежащим* – они передавали тетрадки, книжки от учителя, который обычно сидел в самой середине нашей *кроватьной коллегии*...

...Употребление спиртных напитков из-под надзора администрации *вырывалось* достаточно часто. Санитары, уборщики, те кто раздавал пищу, собирали посуду после еды, *зарабатывали* и на услугах по добыче спиртного. Кто-то из них приносил в палату маленькую бутылку деревенского самогона, которым *приторговывали* деревенские мужики и бабы, жившие в округе и во множестве трудившиеся

в санатории, исполняя тяжёлую работу по обеспечению здания теплом, водой, ремонтируя оборудование на кухне, в котельной, в душевых, ваннных комнатах, прачечных. Они купали больных, тянули по коридорам кровати с больными по процедурным, мыли полы, окна, нижнюю часть стен, окрашенных масляной краской, таскали *судна, уточки*, раздавали еду, убирали привезённую из палат грязную посуду, кормили тяжёлых больных.

Конечно, возня со спиртным была делом рискованным. Случайно увидевший или прознавший об этом свой же собрат-санитар, нередко выдавал *«конкурента»* доктору или медсестре. Того тут же увольняли! Моментально! В тот же день, без разговоров!

От больных санитар за свои услуги получал копейки, хотя это и был *плюс* к тем выгодам, которые они имели, работая в санатории, снабжая лечебное учреждение выращенными овощами, молоком, мясом, яйцами. В то время, тяжкое и голодное, санитары могли рассчитывать на бесплатное питание на кухне. Во всяком случае, когда была их смена. Сама работа – непосильной вовсе не была. За неё держались. Её берегли. Но... Не пренебрегали любой возможностью *заработать* копейку, полученную с рук больных.

Если режим нарушали сами *ходячие больные*, из числа взрослых ребят, тогда добывать спиртное санитары только помогали. Так было безопаснее, потому что происходило это за пределами санаторного здания. Если *ходячий* попадался, ничего страшного не просиходило! Так или иначе его быстро отправляли домой.

Ходячие пользовались правом выхода на внутренний двор, замкнутый периметром здания санатория. Это просторная, покрытая асфальтом площадка, которая летом накрывалась широким тентом и туда вывозились кровати с больными, поскольку больничный режим требовал *дышать свежим воздухом*. Зимой приказывали всем накрыться



Олег Юрганов
май 1951 года

до подбородка и открывали широкие форточки на пятнадцать минут, а летом распахивали окна, закрыв оконный квадрат сетками.

Двигаясь между кроватями, ходячие подходили к тем, кого они *обслуживали*, незаметно укладывая бутылочку с самогоном или водкой под одеяло. Проще всего это удавалось делать летом. Потребление *горилки* обычно происходило в темноте, когда наступал *отбой*...

...Примерно через месяц после моего прибытия в санаторий, в палату вошёл высокий, худощавый мужчина. Мои *однопалатчане* приветствовали его громкими возгласами. Было видно, что с вошедшим почти все были в превосходных отношениях. В их жизни, а это было заметно, он что-то значил.

Аркадий Моисеевич, так звали его ребята, руководил художественной самодеятельностью всего санатория. Был он человеком компанейским и виртуозно играл на аккордеоне. С наступлением тепла концерты проходили обычно на заасфальтированном внутреннем дворе периметра санаторного здания. Примерно раз в неделю, Аркадий Моисеевич Клугер приходил в палаты и репетировал с теми ребятами, которые позже выступали на санаторных концертах.

Не часто удавалось собирать больных на сводные репетиции. Дело это было хлопотным. В огромный коридор из всех палат свозили больных, раздавали инструменты: мандолины, балалайки, гитары, кларнеты. Аркадий Моисеевич становился на широкую площадку, которая представляла из себя сооружение высотой в метр – полтора с колёсами

и ступенями, по которым он взбирался наверх с аккордеоном и его хорошо было видно больным, даже *позвоночным*. Такие сборы происходили хоть и не часто, но перед концертом обязательно. Так Аркадий Моисеевич помогал ребятам «*держать форму*».

Репетировал под управлением Аркадия Моисеевича и сводный хор санатория, при участии, кстати, санитаров, медсестёр, поваров и уборщиков. Пели народные казачьи песни. Получалось очень даже здорово! Если в палате было много больных, Аркадий Моисеевич организовывал хор и там. Разучивал две или три песни. Если тоска *брала за горло* – такое случалось нередко – в некоторых палатах, вечерами, ребята или девчонки начинали петь. Получалось очень здорово!

О судьбе Аркадия Моисеевича я мало что знал. Но по разговорам взрослых ребят понял, что наш музыкант был осуждён. За что? Почему? Не знаю. В Краснодарском крае была тюрьма, в которой он и сидел. Когда его выпускали, директор санатория Василий Макарович Качин приехал туда, встретился с ним и уговорил Аркадия Моисеевича работать у него музыкальным руководителем. Здесь он обитал уже пятый год.

Работать с больными было непросто, но Аркадий Моисеевич сформировал оркестр из тех инструментов, на которых можно было играть больным костным туберкулёзом, лёжа в постели. Я видел, как играли «*позвоночники*», «*тубики-ортопеды*» – имею в виду больных с туберкулёзом тазобедренных и коленных суставов. Первым играть на балалайке, мандолине или домбре было очень непросто! Они не видели струн и только после долгих тренировок, репетиций приспособлялись верно играть в оркестре. А тут еще приходилось наблюдать за выражением лица Аркадия Моисеевича, который, возвышаясь на своём *подиуме* с огромным аккордеоном в руках, *дирижировал* только глазами,

мимикой, головой. Играл он классно! Иногда, чтобы его подопечные немного отдохнули, он исполнял сольные номера. Вот тогда был *полный восторг!* Такого мастера в округе просто не было! Чтобы послушать концерт санаторного струнного оркестра и хора, съезжался народ из ближних сёл. Все знали, что будет выступать и сам Аркадий Моисеевич, что и происходило обычно после нескольких номеров, исполняемых больными.

Начав заниматься с инструментом, будь то гитара, мандолина, кларнет, балалайка, больные девушки или юноши, которые довольно долго находились на лечении в санатории, в среднем – год, полтора, неплохо его осваивали. Мне дали мандолину, оставшуюся после выписки одного из *«однопалатчан»* и я начал учиться играть. Аркадий Моисеевич не требовал, чтобы я изучал ноты. Придя в первый раз на репетицию со мной, он наиграл на аккордеоне мелодию, а потом, взяв в руки мандолину, быстро показал на ней. Нарисовал в моей тетради станочек со струнами, пронумеровал поперечные перекладки и на их перекрестьи, с линиями струн, поставил точки, нажимая на которые я быстро усвоил мелодию и начал отрабатывать её безошибочное исполнение.

После нескольких дней тренировок у меня распухли пальцы, я стал капризничать. А еще надо было *считаться* со скелетным вытяжением, которое мучило меня непрерывающимися болями в бедре. Наконец, я начал уже играть ту мелодию, которую оркестр выучил и кажется я готов был слиться с ним. Но не тут то было! Требовалось время, терпение и старание. Болезнь измотала меня, да и по характеру я был еще жидковат. Часто капризничал, с трудом осваивая свою мандолину. Никогда не унывающий Аркадий Моисеевич придумал выход. Он предложил мне подвесить несколько бутылок на специальную стойку и по его команде, во время оркестрового исполнения, я стал отбивать красивые бутылочные *«пиццикато»*. Иногда я слишком увлекался

и стучал громче, чем надо. Аркадий Моисеевич, строго на меня глянув, возвращал в *нужное русло мои бутылочные импровизации...*

...С появлением в палате примитивных детекторных радиоприёмников совершенно неожиданно для меня возрос мой *рейтинг*. Дело в том, что потребовались провода, чтобы наши *палатные* умельцы могли исправить или усовершенствовать радиоприёмник. Достать их в такой глуши, как Прочноокопск было невозможно. Однажды, слушая грустные разговоры старших ребят об этой нужде, я простодушно проговорил: «...А я могу достать провода сколько хотите...» Тишина возникла почти мгновенно. Я услышал вопрос: «А ты не врёшь?» Я пожал плечами: «Отец пришлёт. Он работает на телеграфе...»

Пока я писал письмо домой, пока отец отправлял мне посылку, и, наконец, прислал большой моток разных проводов, я наслаждался особой ролью человека *приятного для однопалатчан* во всех отношениях. У меня появился личный крюк, из-за кражи которого я в своё время сильно пострадал. Его мне вручил тот самый *судья*, который месяц назад учинил надо мной расправу за его кражу. С помощью крюка я уже успел вполне легально в своей кровати поката́ться по коридору. Единственный в палате радиоприёмник я получал теперь без задержек. Правда, экземпляр был паршивеньким. Слушать передачи можно было только ночью, короткое время, потому что батарейки быстро «садились».

Наконец, пришла посылка от отца. Как водится, была она распечатана санаторной *«цензурой»*, но провода и письмо мне принесли. Провода я сразу отдал умельцам, к их вящему восторгу, а письмо с фотографией двухлетнего брата Саши, досталось мне.

В палате начался *«конструкторский ажиотаж»*. Используя *мои* провода, наши умельцы изготовили паяльник. Множество остатков олова, на концах тех же проводов, они этим

паяльником выплавили и стали соединять концы, при монтаже микросхем, уже пайкой. Одним словом, из двадцати пяти моих «однопалатчан» двое, уж точно, оказались такими мастерами, что через месяц изготовили два или даже три детекторных приёмника, да такой изысканной внешности, что хоть иди и продавай в универмаге! Тот, который достался всецело мне, так и остался маломощным, но слушать радиопередачи я мог и это было главным его достоинством...

...Мы в палате встретили Новый 1952 год. В этот раз обошлись без ёлки, тихо и спокойно. Свет нам потушили, как положено, в девять часов. Мы долго не спали и лишь единицы сумели дотерпеть до 12 часов. Старшие ребята немного выпили спиртного из тщательно спрятанной заначки. Едва Николай Таперо дал мне выпить глоток вина «за Новый год», я тут же заснул. На следующий день снова наступили будни однообразные и скучные...

...Начало года оказалось для меня полным событиями, оставшимися в моей памяти на всю жизнь! Однажды ночью, слушая последние известия, причём уже при «издыхающих» батарейках, я узнал примерно следующее. Московское радио сообщило, что раскрыта группа врачей-вредителей, которые своим некачественным лечением нанесли вред здоровью выдающимся советским военным, писателям, политическим деятелям. Напряжённо вслушиваясь в голос диктора, я многое так и не разобрав, понял, как мне показалось, главное – враг оказался *в самом сердце руководства страной*. Передача оборвалась на фамилии: Юдин – главный хирург института Склифосовского. Надеюсь, что завтра у меня окажется новая батарея, я рассчитывал дослушать сообщение, которое меня потрясло! Фамилия Юдин *колом* застряла в моей памяти...

...Когда мы возвратились с отцом из Краснодара в Баку в апреле 1953 года, живя в квартире бабушки Нади, я наткнулся на журнал «Огонёк». Нашёл я его в шкафу,

где хранились книги деда Александра Павловича Юрганова и машинально стал его перелистывать. Неожиданно я обнаружил там превосходный портрет Сергея Сергеевича Юдина, кисти художника М. В. Нестерова. Мне было то ли тринадцать, то ли четырнадцать лет и казалось бы фамилию «Юдин» я должен был уже забыть! Не тут-то было. Кровь ударила в голову. Все смешалось... Я вспомнил! Его обвиняли в шпионаже в пользу английской разведки. С 1948 года он был в тюрьме, потом сослан в Бердск, где работал хирургом. Его обвиняли в сотрудничестве с «кремлевскими врачами» – вредителями, профессорами М. С. Вовси, А. И. Фельдманом, Я. Г. Этингером, А. М. Гринштейном и другими. За реабилитацией осуждённых и обвиненных врачей я не следил. Не знал об их судьбах, но след от прослушанной весной 1952 года в Прочноокопске радиопередачи, с помощью детекторного приёмника, глубокой бороздой остался в памяти.

К моим чувствам (страхам, переживаниям, недоумению) прибавились впечатления, когда, вернувшись домой после санатория и, слушая радио, я наткнулся на эти фамилии. Но имя хирурга Юдина среди них уже не звучало, хотя в уголках моей памяти оно сохранилось.

Когда я увидел портрет этого человека в журнале «Огонёк», мне запомнилось худощавое лицо знаменитого врача, с рукой хирурга, изящно выписанной художником М. В. Нестеровым. С. Юдин был изображён в профиль в академической шапочке или черном берете. Сейчас уже и не вспомню...

Клевета, ложь, которую Агитпроп, советская власть приписывали С. Юдину и его знаменитым коллегам, врачам-евреям, *отравило мою память*, подсознательно начиная вызывать во мне тайное *недоверие* к *лечившим* меня докторам.

Прошло время, завершились реабилитационные дела по «делу врачей», но я долго хранил «Правду от 13 января 1953 года, где в разделе хроники появилось сообщение

ТАСС о том, что «...Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путём вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Хроника утверждала, что большинство участников террористической группы были связаны с «...международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой...»

Кому верить? Меня гложил досада: почему после полутора лет лечения в санатории, где я пережил хирургическую операцию на правом бедре, через некоторое время, уже дома, я снова ощущаю боль и болезненную припухлость с внутренней стороны правого бедра? Кто виноват в том, что с левой ноги у меня просто сняли гипс и отправили домой из Прочноокопска, как оказалось без каких-либо попыток хоть что-нибудь сделать!? Я терялся в догадках. Мысль о «врагах», с подачи «Агитпропа», рождала самые нелепые версии. Так было какое-то время. Но пока...

...О новостях, услышанных по радио, так меня напугавших, я молчал. Все мои «информационные выхлопы», начни я о них рассказывать однопалатчанам, попадут в почву, унавоженную пренебрежением и насмешками ко мне, малому. Потому и приходилось надолго умолкать, чтобы не испытывать невольных унижений. Никто не слышал передачи по радио, потому что далеко не все могли это сделать, а те, кто даже слышал, пропустили «мимо ушей». Как говорится, каждому своё! Мои тревоги и страхи так и остались со мной. Очень скоро меня вернули на своё место, но мне хотелось вернуть свой авторитет добытчика проводов. Я написал отцу новое письмо, с той же просьбой. Отец решил меня «повоспитывать». Отказав в проводах, он целую страницу излагал, как важно быть «бережливым» и «разумно распорядиться» тем, что он прислал накануне. И опять

– каждому – своё! Отказ отца лишил меня шанса повысить рейтинг и, быть может, получить более качественный радиоприёмник, чтобы продолжить слушать новости.

Услышанная мной радиопередача о врачах-вредителях, и отказ отца прислать мне провода сошлись воедино. Мне ничего не оставалось, только надеяться на душевную доброту кого-нибудь из ребят, кто мог бы дать мне приёмник с надёжным приёмом радиосигнала, рассчитывая дожидаться ночи и послушать новости. Но свежие батарейки мне так и не достались, а усовершенствованные умельцами приёмники мне тоже никто и не дал...

А тут к началу лета 1952 года из санатория исчез наш палатный врач Зиновий Давидович. К тому времени радиопередачу о «врачах-вредителях» я уже прослушал и сообразил, что Зиновий Давидович Штильман был евреем. В двенадцать лет не слишком готов точно знать «кто-есть-кто». И вот, услышав по радио информацию, обрывки разговоров персонала я лихорадочно стал соображать. Не давало покоя, почему врачи ничего не собираются делать с моей левой ногой, оставив всё, как есть. Надо же кого-то считать виноватым в моих постоянных недоумениях! А тут неожиданно исчезнувший палатный врач-еврей был лучшей фигурой для этого моего недоразумения.

Мальчишка-подросток, я был истощён физическими страданиями, а при своей неразумности и отсутствии возможности хоть как-то высказать свои «подозрения», питаемые прослушанными фрагментами радио-передачи о «деле врачей-врагов народа», вконец был измучен сомнениями. К тому же задолго до исчезновения Штильмана случилось событие, полностью запутавшую логику восприятия информации, которую я прослушал по радио о деле «врачей-вредителей».

...В начале марта 1952 года случился у меня приступ аппендицита. Это был самый тяжкий момент моего

пребывания в санатории. Всю ночь меня ужасно рвало. Я не мог спать, подвергаясь непрерывными «позывами» к рвоте, которые кончались жестокими конвульсиями и периодической потерей сознания.

На ночь жизнь санатория замирала. Дежурные врачи, весь персонал разбредались по каким-то углам, где можно было хотя бы несколько часов поспать. А тут в двенадцатой палате *оказался* Олег Юрганов, который почти непрерывно борется с рвотными конвульсиями. Кто-то из ходячих *однопалатчан* много раз зазывал сестру, но та, растерянно глядя на меня, не знала, что делать? Наконец, она позвонила Зиновию Давидовичу домой. Он жил неподалеку. Была ночь. Пришёл. Стал меня осматривать. Ничего подозрительного не нашёл. К тому же, видимо смертельно устав от рвоты и бессонницы, я, за полчаса до его прихода, неожиданно заснул и врач ушёл домой...

Утром я проснулся от нового «сеанса рвоты». Меня дёргало так, что обесилев, я опять потерял сознание. И снова рядом оказался Зиновий Давидович. Тогда он сказал медсестре Тае, и я это слышал, что у меня аппендицит и надо срочно меня оперировать.

Я находился в лечебно-восстановительном учреждении, в котором, по моим нынешним представлениям, весь персонал, имея навыки и образование, связанное с уходом и лечением костного туберкулёза, не мог брать на себя задачи, несвойственные их квалификации и опыту, так что делать операцию аппендикита они не имели права.

Мою кровать вывезли в коридор, потому что измученные моими конвульсиями *однопалатчане* стали ворчать. Я их понимал и не роптал. Шутка ли, не спать всю ночь по моей милости! Слышу разговор Зиновия Давидовича с его коллегой. Они стояли в коридоре, неподалеку от моей кровати. Из разговора я понял, что Зиновий Давидович готов меня прооперировать. Его предостерегал коллега:

«... А если последствия окажутся...» Он употребил неизвестное мне слово... «Тогда — завершил он —...тебя ждёт тюрьма!» Он перешёл на шёпот и я не мог ничего слышать, кроме слов — «...Ты не имеешь право оперировать!»

Я ничего не понял. Особенно то, почему Зиновия Давидовича ждёт... тюрьма! По-видимому моё положение с каждым часом ухудшалось. Ко мне непрерывно подходил Зиновий Давидович и с тревогой на меня поглядывал. Я теперь думаю, что по всем правилам, в тот момент меня надо было везти в райцентр, в котором была больница и квалифицированный хирург. Но, до этой мысли санаторные врачи были еще далеки, а мой *аппендикс* за ночь серьезно созрел и готов был лопнуть в любую минуту!

Наконец меня положили на каталку и куда-то повезли. Я был полон жуткой усталости и равнодушия. Рядом шагала медсестра, прелестная девушка Настя, которая работала в санатории уже третий месяц. Часто приходила в нашу палату делать уколы, лечебные процедуры и всем нашим парням сильно нравилась. Думаю, все мальчики были в неё влюблены, потому что была она удивительно красива и необыкновенно добра. Она заходила в нашу палату, одаривая всех нас грудным тембром своего голоса, светом карих глаз и улыбкой, которая никогда не сходила с её пухлых, ярких губ.

Настя поглаживала меня ладонью по лбу, говорила что-то нежное и утешительное. Привезли меня в операционную санатория. Положили на хирургический стол. Вокруг хлопотали медсестры. У стола, уже в резиновых перчатках и в халате, стоял Зиновий Давидович. Настя шептала мне, что сейчас мне сделают операцию и всё пройдет.

Неожиданно в операционную вошёл полный мужчина, в котором краем глаз я узнал директора санатория Сергея Макаровича Качина. Довольно резко он сказал, осуждающе глянув в сторону Штильмана.

— Ну я уже здесь! И потом, Зиновий Давидович... А, если перитонит?... Вы сумели бы справиться? Не угробили бы больного?

— Вас же не нашли! — Голос Зиновия Давидовича дрожал.

— Плохо искали... — Проворчал толстяк, добавив в приказном тоне — Ладно... Нет времени... Идите...

Я был уже закрыт специальной занавеской, отделившей меня от присутствующих у стола. После того, как вышел Зиновий Давидович, я услышал, как двери операционной захлопнулись. Вокруг меня началась обычная деловая суета. У изголовья всё так же стояла Настя, осторожно поглаживая меня по лбу и вискам мокрой салфеткой...

...На неделе я начал читать роман Веры Кетлинской «Мужество». Увлекательно написанная книга очень меня захватила и ничего лучшего придумать я не мог, как попросить Настю: «... Ты не могла бы принести мне книгу? Она лежит на тумбочке. «Мужество» называется!» Она укоризненно улыбнулась и покачала головой. Меня извиняло лишь то, что я провёл ужасную ночь и был на волосок от гибели...

Только через месяц после этой незапланированной операции, я случайно узнал, что в тот день единственным человеком, кто имел право удалять мой воспалившийся аппендикс был директор санатория. Он был военврач-хирург, правда, уже без длительной практики, поскольку занят был административными заботами — командовал противотуберкулёзным санаторием. В ситуации, когда никто из палатных докторов санатория не имел права делать такую операцию, этот толстяк оказался единственным, кто мог меня спасти. Но с утра он сел в машину и собирался уехать по каким-то делам. Водитель автомобиля директора санатория забыл заправить машину и она долго не заводилась. Был он человеком пожилым и пока понял свою оплошность, начал заливать в машину бензин, директор санатория, раздосадованный задержкой, ругал его на чём свет стоит! Тут к нему

подбежала заместитель и с испугом стала рассказывать о возникшей со мной ситуации...

...Между тем, в операционной возникла наряжённая обстановка. Сделав разрез хирург негромко выругался. Я услышал его слова:

— Ну вот... Смотри какой большой! Погоди! Дай я кишку приподыму... Отсекай! Та-а-ак... Ах ты ж... — Снова раздался голос директора санатория, произнёсшего ругательство, хорошо уже мне известное, поскольку в палате парни этим словом часто баловались...

...Шрам на месте операции у меня оказался огромным. Не чета сегодняшним, едва заметным следам хирургического вмешательства на эту тему...

Конечно, всё хорошо, что хорошо кончается! Но вскоре Зиновий Давидович из санатория исчез! Прослушав фрагмент последних известий, рассказывавших о «кремлёвских врачах-вредителях», я невольно начал связывать услышанное с теми драматическими событиями в моей жизни, которые случились в санатории, весной...

Не буду домысливать всё произошедшее и особенно исчезновение Зиновия Давидовича Штильмана, но вполне допускаю, что его могли «попросить» уволиться по собственному желанию, чтобы не возникало нужды у санаторного начальства избавиться от него, когда *дело врачей* стало в стране активно *раскручиваться*. Какими бы домыслами я ни руководствовался в сложившейся ситуации, любые самые нелепые версии были возможны, потому что государственный антисемитизм в СССР в конце сороковых и вплоть до 1991 года оформлялся в *матёрю* политику *пролетарского государства*...

...Женой Зиновия Давидовича была учительница русского языка и литературы в нашем санатории Светлана Николаевна. Милая, добрая женщина, внешне очень привлекательная. Я быстро с ней подружился. Она садилась на уроках

рядом со мной и часто показывала пальцем на мои ошибки, которые я допускал в тексте изложения или диктанта. Я потихоньку исправлял, будучи ей признателен, а она, виновато улыбаясь, отходила от моей кровати в середину палаты.

Сочинительские инстинкты пробудились во мне именно в санатории. Те противоречия, которые словно пути охватили меня в то время, пробуждали во мне стремление *размышлять*. Я старался найти ответы на мучительные вопросы, которые преследовали меня, без возможности хоть как-то и с кем-то поделиться ими. Я попытался вести дневник, но Таперо его *прихватил* и громко начал читать его моим *однопалатчанам*. Хорошо хоть я успел написать только невинные раздумья и совсем чуть-чуть! Но тогдашняя моя неграмотность сильно позабавила моих взрослых товарищей по несчастью. От их насмешек мне пришлось ночью даже всплакнуть. Теперь ничего не оставалось, кроме как *перебирать мысли*, словно монисты на тонкой верёвочке, да и то только *про себя*.

Именно тогда у меня возник сюжет для небольшого рассказа о Вите Гребенченко. Он недавно был выписан из санатория. Уехал к себе в крохотный городок Славянск-на-Кубани и прислал мне письмо. Витя представлялся мне примером стойкости и мужества. Ужасно хотелось написать о нём рассказ. Тщательно пряча своё сочинение, я успел рассказ завершить и попросил учительницу словесности почитать его и высказать своё мнение. Разговор с ней я ждал с нетерпением. Поскольку мне сделали операцию, наша беседа всё время откладывалась. Светлана Николаевна поспешно со мной попрощалась, войдя в послеоперационную палату, где я лежал. Смущенно признавшись, что мой рассказ так и не прочитала, она твёрдо обещала написать мне письмо и мы обменялись адресами...

Вернувшись домой и настолько окрепнув, что готов был

ходить на костылях и ездить на общественном транспорте, я решился с ней встретиться. Жила она в Краснодаре. На улице стояла мягкая Кубанская осень, полная прозрачности и нежных красок увядающих пожелтевших деревьев. Хоть был я неуклюж и медлителен, но без особых усилий нашёл нужную улицу, дом. Постучал. Мне повезло, Светлана Николаевна была дома. Я оказался для неё гостем неожиданным, но, как мне показалось, приятным. Она радостно меня обняла, расцеловала и пригласила в дом. Где-то в таинственных закоулках моего мозга пряталась мысль о возможной встрече и с её мужем Зиновием Давидовичем.

При всей моей робости и подростковых комплексах я был готов к разговору о моём первом *литературном опыте*. Не знаю почему, но именно так я был *настроен*. Всё разрешилось и просто, и в то же время – грустно.

Светлана Николаевна призналась, что рукопись моего рассказа потеряла. Извинилась. Сообщила, что работая в санатории с мужем, они жили в Армавире, куда ездили каждое воскресенье. До города добирались час на автобусе, что было не так далеко, как могло показаться на первый взгляд. В Прочноокопске жили на квартире, неподалёку от санатория. Конечно, теперь она живёт у родителей в Краснодаре...

Едва я заикнулся, что же случилось с Зиновием Давидовичем, она закрыла лицо руками и жалобно попросила: «Не спрашивайте о нём, Олег. Прошу вас!» Постепенно понимая насколько некстати я оказался в этом доме и неожиданно услышав плач ребенка в соседней комнате, я поднялся.

— Это Катя... Наша дочь... Я родила её год назад... — Светлана Николаевна прошептала эти слова, поднимаясь вместе со мной, чтобы проводить к дверям. Больше я её никогда не видел, как и Зиновия Давидовича...

Я не был готов осознавать все перипетии жизни взрослых людей, тем более политические противоречия, в которые И. Сталин втянул, неведомо почему, евреев страны

Советов. Лишь много позже я понял, почему мой палатный врач Зиновий Давидович Штильман, был готов рискнуть своей репутацией и свободой, чтобы спасти меня от неминуемой гибели! Но что случилось с семьёй Светланы Николаевны? Куда делся её муж? Почему она просила меня не спрашивать о нём? Эти вопросы так и остались без ответа...

...Снова вернусь в санаторий. Операция по удалению аппендицита оттянула на три месяца запланированную хирургическую операцию на правой стороне бедра, где сустав давно уже сгнил. Мне трудно судить о целесообразности всего того, что делали врачи с моими бедренными костями и как они пытались меня лечить. За годы моей жизни головки суставов исчезли. Вытекли гноем из свищей, начиная с года сорокового или сорок первого, до момента моего появления в Прочноокопском санатории.

Прооперирован я был приехавшим из Краснодарского тубдиспансера хирургом Борисом Александровичем Варсавой, который, как я помню, был в ранге профессора.

О целесообразности этой операции судить не могу, поскольку разговора на эту тему между мной и хирургом, не было. Скорее всего по малости моих лет. Я уже знал, что после операции, меня через некоторое время отправят домой, в Краснодар. Разумеется, это меня радовало. О последствиях же предстоявшей операции я просто не думал. Я оставался просто *больным мальчиком*, которого хирург-профессор приехал оперировать, как и еще нескольких пацанов...

... Меня положили на каталку и повезли в операционную, которая находилась в дальнем крыле здания. Проезжая мимо палат и окон, я с любопытством разглядывал новые детали здания и новые лица пациентов, которые изредка проходили мимо меня. Везли меня два пожилых санитаря, обмениваясь короткими репликами.

Однопалатчане тепло меня проводили. Они делали это

с каждым, кого отправляли на операционный стол. Я знал, что не скоро вернусь в палату, потому что прооперированных обычно отправляли в изолятор – отдельную палату, где они потихоньку приходили в себя.

Санитары привезли меня в операционную, осторожно положили на хирургический стол и уехали. Это была совсем не та операционная, где мне вырезали аппендицит. Помещение было светлым и просторным. Надо мной висела большая лампа. По бокам стола стояли две незнакомые мне медсестры и Тая, которая обслуживала нашу палату. К изголовью подошёл Борис Александрович Варсава – мужчина лет пятидесяти, с приветливым лицом и мягким голосом. Он сказал мне, что всё будет хорошо, просил меня не волноваться. Неожиданно он задал мне вопрос:

«Летит стая гусей. Навстречу им гусак: «Здравствуйте, сто гусей!» А гуси в ответ: «Нас не сто, вот если бы нас было в два раза больше, да ещё восемнадцать, да ещё девять, да ещё и ты, то нас было бы сто.» Вопрос: сколько гусей было в стае?» Услышав его «загадку-головоломку», я вспомнил Гребенченко, который очень любил «заковыристые» математические сюжеты...

В операционной я сразу начал *впадать в мандраж* и улыбочивого хирурга слушал не очень внимательно. Но он от меня не отставал, внимательно наблюдая, как анестезиолог налаживает над моим лицом маску. Мне сделали укол в вену и вскоре я почувствовал лёгкий шум в голове. Из-за маски я уже не видел профессора, но слышал его приятный голос. Варсава задавал мне вопросы, подводя к верному ответу на свою головоломку. Однако его голос постепенно удалялся от меня, растворяясь в лёгком тумане, возникшем перед моими глазами. Потом он попросил меня посчитать до двадцати и я начал. Мне закапали на марлю то ли хлороформ, то ли эфир, который быстро испаряясь, проникал в моё дыхание.

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три... — Я считал всё медленнее, пока, наконец, не провалился в некую тёмную бездну...

Я пришёл в себя в маленькой палате. Здесь стояли две кровати, на которых лежали недавно прооперированный мой *однопалатчанин* Саша Левик, у которого был туберкулёзный коксит правого бедра и еще один парень, которого я не знал. Наверное, он был из другой палаты...

...Развитие моего тела, атакованного туберкулёзом, шло замедленно и потому я не чувствовал особых тревог, начинающих в пубертатном возрасте, в который я очень неспешно вступал. Первое, что я почувствовал, особенно спустя две-три недели после операции, припухлость моих грудных сосков.

Когда ты пребываешь в возрасте двенадцати-тринадцати лет, происходящее с твоим телом, да еще и в таком *нейтральном* месте, как *соски*, вовсе не кажется как-то связано с половым развитием. Однако, находясь с двумя взрослыми ребятами, попавшими в одну крохотную палату после операции, невольно переносишь на них свои телесные переживания, которые кажутся странной неожиданностью и заражают пугающей непредсказуемостью.

В палате было жарко натоплено. Саша Левик, девятнадцатилетний красавец с курчавой головой, правильными чертами лица и мускулистыми руками, почти всё время читал. Он любил сбросить с себя рубашку, играя мускулами, ни на кого не обращая внимания. Будучи озабоченным своими *сосками*, которые стали потихоньку ныть, я присматривался к *его* и заметил, что они у него крупные, с тёмными ободками и несколькими волосами, росшими на ободках.

Пришла медсестра Настя. Ей было поручено ухаживать за нами, чему я был рад, потому что мне нравились её глаза, голос и я часто вспоминал её присутствие во время операции, когда мне вырезали аппендицит. Настя подходила

к Саше, давала ему лекарство и немного с ним *кокетничала*. Мне это не нравилось. Почему? Не знаю... Не нравилось и всё! Настя делала ему укол. Подставляя руку, Левик опускал с груди простыню. По-видимому Настя питала к Саше симпатию, так же как и он к ней. Они начинали веселый разговор. Настя много смеялась. Саша – тоже. Я почему-то злился. *Неожиданно* я заметил, что у Саши, он лежал ко мне правым бедром, закованным в гипс, в прогалине, у левой ноги, на которую была накинута простыня, возникал крохотный бугорок. Делая вид, что изучаю картину на противоположной стене, я осторожно на *него* поглядывал. В присутствии Насти бугорок едва шевелился, *донимая* меня непонятными микроскопичными движениями.

В моём положении, очень постепенно, начинаешь осознавать «*что есть что*» в человеческом теле, а само тело, точнее, его *провокативная* часть, даёт о себе знать все настойчивей.

Боль после операции у меня стала иной. Я наслаждался отсутствием тех болевых ощущений, которые почти полгода мучили меня, когда я лежал под скелетно-мышечным вытяжением. Недели через две угасли послеоперационные боли и для моего тела неожиданно настала пора ощущать такие тайны, которые были мне неведомы в те шесть месяцев, когда я лежал под вытяжением. Боль в сосках хоть и была непрерывной, но казалась мне иногда приятной, однако, тревога по поводу припухлости в моих сосках не проходила. Хотелось спросить, хоть кого-нибудь, что же у меня здесь происходит? Однако, я не смел! Да и кого спрашивать? Пришлось довольствоваться реальностью моего телесного бытия. Ждать и... тревожиться.

Однако, мои ожидания *наткнулись* на непонятные мне *реальности* вовсе не у меня, а у... Саши Левика. Поскольку я вольно или невольно симпатизировал медсестре Насте, то интуитивно начал *связывать*, замеченную у Левика

подвижность между ног, с приходами в нашу палату, по служебным надобностям милой медсестры. Её веселые разговоры с Сашей, смех, произвольные прикосновения рук. Вскоре я понял – *связь* есть! Но каковы её причины я не знал... Моё сексуальное развитие в подступающем возрасте пубертата было абсолютно нулевым. Я никак не мог сообразить, что Сашка – взрослый *самец*, а появление рядом с его кроватью прелестной *самочки* что-то с ним *делает*!

Совершенно неожиданно для себя я стал Сашу Левика «*задирать*». То скажу ему что-то развязное, то снисходительно скривлю гримасу в его адрес, то ляпну какую-нибудь реплику в разговоре с Романом, соседом Левика, но так, чтобы было понятно, что я имею в виду именно Сашу.

Надо отдать ему должное, он терпеливо сносил мои выходы, однако, так продолжаться долго не могло. Однажды Саша подъехал ближе к моей кровати и, схватив за руку, сильно её сжал. Было больно, но я терпел. Он жал сильнее и у меня надулись жилы. Наконец, я закричал на него.

— Отстань! Мне больно!

Левик рывком: — Перестань делать мне гадости, ясно? — Он отпустил мою руку, оставив розовый след своих пальцев. Я понял – вот человек, которого я... *ненавижу*!

На другой день меня увезли в нашу палату, но в памяти застряла фраза Левика: «...*делать гадости*...» Дня через три до меня *дошло*, что я и в самом деле делал гадости взрослому парню, который не был передо мной виноват. Начатки моей ревности приобретали форму издевательства над человеком, чьё поведение меня никак не касалось. Он не заслуживал такого, по меньшей мере, странного поведения, которое я демонстрировал, видя Настю и тот бугорок, который периодически *дышал* в тайной ложбинке между ног Левика. Ничего не понимая, я подсознательно *срывался* и в конце концов нарвался на *рычание* взрослого соперника...

Пока я размышлял над неведомыми мне *проблемами*, мои

набухшие соски снова дали о себе знать. Я и представить не мог, что в моём мозгу начинаются таинственные процессы, как-то связанные с этим фактом, а так же с моим *аппаратом мышления* – сознанием, которое начало делать некие странные *рывки* в своём развитии. В моём случае и с моей половой безграмотностью иного ждать не следовало и в один из дней, неожиданно для себя, я *предположил*, что в моих сосках назревают некие опухоли, которые, по видимому, имеют туберкулёзную *природу*. Ничего удивительного! Я постоянно питался информацией, которую слышал от взрослых и, наверное, опытных врачей, которые заявляли, например, что у меня не *отит*, а *туберкулёз уха*! У меня возникла припухлость желез подмышками, опирающимися на перекладины моих костылей, и снова я услышал об их *туберкулёзной* природе. В такие моменты жизни мозг тринадцатилетнего подростка... Ну почти тринадцатилетнего, *прогибается* под тяжестью предположений, *услужливо* представленных врачами.

Не удивительно и то, что я стеснялся спросить лечебный персонал санатория о своих *страшных* подозрениях! Но главное, оказавшись один на один с новыми бедами, которые якобы меня ждали, я очень боялся услышать подтверждение туберкулёзной природы моих распухших сосков. Пацан-подросток так же уязвим мнительностью, как и взрослый человек, предпочитая лучше ничего не знать о чём-то его тревожащем, нежели получить *жестокую истину*...

...Меня возвратили в мою палату и стали готовить к выписке. Процедура эта длится обычно месяц. Сняли гипс с обеих ног. Сделали все необходимые измерения для изготовления тьютора и пока его изготавливали, оставили меня в покое.

Я ощущал необыкновенную лёгкость в теле и целыми днями лежал, наслаждаясь покоем и почти полным отсутствием

боли. Однако, мои набухшие соски продолжали ныть!

Однажды Николай Таперо, которого тоже готовили к выписке, увидев меня в майке, которая обтягивала мои плечи и грудь, насмешливо спросил.

— Ты смотри, как у тебя *сиськи* растут!

Не поняв его реплики, я испуганно переспросил:

— Какие сиськи?

Он громко расхохотался и показал на мою грудь.

— Твои, конечно! — И снова рассмеялся. Опустив взгляд себе на грудь, я увидел под майкой заметные припухлости. Моя растерянность заставила Таперо замолчать. Он с недоумением спросил меня.

— Так ты ничего не знаешь?

— О чём? — Изумленно переспросил я.

— Как о чем? Ты уже начинаешь становиться мужчиной! Во, даёт! Не знает...

Я ошарашенно на него смотрел, чувствуя странную неловкость от его слов. То, что я *становлюсь мужчиной*, я, конечно, не знал, но *главным* для меня в этот миг оказалось не это, а то, что после его слов я понял — никакого *гостинца* от туберкулёза я не получал! Через день-два в моей голове *координаты* переместились: оказывается в моём теле появился *признак* формирующегося мужчины, который разглядел опытный Таперо! А я-то думал, что всё у меня совсем не так... Это было для меня так неожиданно, что я, поспешно отодвинувшись от кровати Николая Таперо с помощью уже моего собственного крючка, уехал в коридор.

Я был настолько поражён откровением, которым *одарил* меня взрослый Таперо, что никак не мог понять, почему именно соски начинают припухать и болезненно надуваться, превращая хрупкого мальчика, как я, в *мужика*? И всё же моё понимание слов соседа по палате: «*становишься мужчиной*» было... *странным*, потому что не опиралось на *представление*, располагавшееся... *ниже пояса*. Но там у меня

никогда не было никакой *активности*, поэтому и услышанные от Николая слова казались абстракцией...

...Два раза в месяц в санатории были *банные дни*. Обслуживала моих *однопалатчан* крепкая деревенская баба, по своему красивая молодой, зрелой сочностью — Полина. Муж её погиб на фронте, остались двое детей и она пошла работать в санаторий. Было ей лет тридцать пять или тридцать семь. Грудастая, ловкая, неутомимая, она обладала густым, громким голосом, белой кожей с крапинками веснушек и веселыми глазами. Обычно, в мойку, где хозяйничала Полина, нас на руках заносили два санитары. Здесь пахло сыростью, висел пар, шумела вода, суетилась Полина, *купая больного*, уже голого, лежавшего на широкой, толстой доске, уложенной поперёк большой ванны. Справа от доски торчали краны с горячей и холодной водой, внизу был слив. Под кранами стояли два ведра, куда Полина набирала воду, размешивая её, на доске лежали мыло, мочалка. Была она не очень высокого роста и стояла у ванны не слишком нагибаясь к больному, которого мыла. Делала она всё быстро и молча. Одета была в просторную, обычно мокрую робу, у которой был большой вырез впереди, и тяжёлые груди свободно *плескались* в узком пространстве белого бюстгалтера. Огненно-рыжие волосы Полина закатывала в тугий узел и связывала косынкой, а рукава робы были короткими, выше локтя. Обычно, когда привозили купать нового парня — она уже вытирала его предшественника. Вымытое тело больного она вытирала чистой, сухой простыней, стопка которых лежала на столике, в углу ванной комнаты. Вытерев, бросала её в широкий бак, стоявший рядом со столиком с простынями. Стопка простыней медленно таяла, но их количество в баке соответствовало числу парней, которых она уже искупала. Купальный конвейер работал без сбоя: санитары привозили на каталке больного в предбанник, снимали с парня верхнюю рубашку. Если бедро или колено

было в гипсе, трусов на больного парня или пацана обычно не надевали. Не было смысла. Когда приносили судно или давали утку, надо было *быть готовым* к процедуре опорожнения. Если болел позвоночник, больной был в трусах и в рубашке, лёжа, как я уже говорил, в специальной ванночке.

Голого больного санитары на руках заносили в моечную – ванную комнату. Укладывали на топчан, стоявший неподалеку от ванны и тут же подхватывали вымытого и вытертого Полиной парнишку. Клали его на каталку, где лежала или пара чистого белья – трусы и рубашка, или просто рубашка, заранее приготовленная санитарями. Больному помогали одеться. Завершив процедуру, санитары укладывали очередника на моечную доску, что поперёк ванны, и Полина начинала его купать, а они увозили на каталке уже вымытого и вытертого насухо парня в его палату.

Молодые ребята иной раз чувствовали себя напряжённо. Пока санитары подхватывали *свежевымытого* больного и увозили его, «*возбуждённый*» попадал в руки Полины. Ей-то и приходилось как-то успокаивать парня, намыливая, «*теря*» его тело, ополаскивая и... так далее.

...Однажды Полина, завершив моё купание, вытирала меня. Позвала санитаров. Они уже привезли и раздели Витю Козлова. Подхватив его, принесли в моечную. Но топчан был занят. Там лежал я и меня вытирала Полина. Витя был крупен и тяжёл. Не мешкая, санитары положили его на широкую доску, стоявшую поперёк ванны. Полина немного замешакалась со мной и услышав от неё: «...я сейчас Олега вытру...» санитары ждать не стали и вышли из моечной, где было жарко.

Я заметил, как Витя *жадно* смотрит на Полину. Та стояла спиной к нему, наклонившись ко мне, лежавшему на топчане, вытирая мои стопы. Неожиданно я заметил, как пенис Козлова начинает набухать, расти в размерах и медленно подыматься. Я был так *ошарашен* созерцанием этого

явления, что Полина что-то почувствовала. Заметив мою напряженность, она с недоумением глянула на меня. Боясь выдать себя, я отвёл глаза. Для неё это оказалось *сигналом*, чтобы посмотреть туда, куда только что *таращился* я. Глянув в сторону Вити, увидев его *мужское достоинство*, мощно поднятое вверх, Полина укоризненно проворчала.

— Витенька! И чего ты *мало* пугаешь? — Тут же громко крикнула: — Мишка, Сенька — так звали санитаров — тащите Юрганова в палату! — В моечную вошли санитары. Не замечая пенис Козлова, стоявший по *стойке смирно*, они быстро и проворно подхватили меня, уложили на каталку и стали одевать. Окончательно обалдевший от увиденного, смущенный обыденной реакцией Полины, от созерцания *члена* Козлова, абсолютно онемевший от его внушительных размеров, буквально оглушенный *созерцанием* всей этой *анатомической прелести*, я медленно приходил в себя, вернувшись в палату, куда санитары меня привезли.

Никогда, никакой *активности* в моих половых органах я не ощущал. Готов признаться, что в свои уже исполнившиеся тринадцать лет я даже не подозревал зачем природа дала мне то, что называлось невинным словом *писька*. Разве что только для того, чтобы выводить из организма избыточную влагу?!

Все в моей голове *смешалось*. Очень хотелось поддаться соблазну и спросить невольного «гуру» – Таперо было ли у него точно так же, как у меня в таком же возрасте? Конечно, мне и в голову не пришло задать ему такой вопрос. В глазах еще долго стояла сцена в моечной и укоряющая реплика Полины в адрес Вити Козлова. Кстати, появившись в палате после бани, он спокойно взял книгу и, подняв её над головой, стал читать, ввергнув меня в полный *ступор*!

Наступил вечер. Вот-вот дежурная медсестра, сделав уколы, должна была выключить свет. Таперо был занят игрой в шахматы с моим тёзкой – Олегом и не обращал на меня

никакого внимания. Наконец, свет выключили. Я получил приёмник и собирался слушать последние известия. Не то, чтобы я очень хотел этого... В моей душе было муторно от обрушившейся на меня сегодня *зримой* информации.

— Эй, *малой!* Как твоё «ничего»? — Голос Таперо приглушенным шёпотом проник в щель моих наушников. Я их снял.

— Ты что-то сказал? — спросил я.

— Я пытаюсь понять, — сказал он назидательно, — что у тебя *на роже* написано? Страдаешь? — Не зная, что ответить своему соседу, я подавленно молчал. — Давно хотел тебя спросить, *малой*, а по жизни ты что... ещё *целка*? — Это слово я услышал впервые. Осторожно спросил.

— А что это такое? — Таперо накрылся одеялом с головой и расхохотался. Смеялся он хлипко, будто задышался. Быстро перестал. Откинул с головы одеяло. Придвинулся ко мне ближе.

— Девки — начал он назидательно — бывают *целые* и *дерут* их с учётом этого обстоятельства. Пацаны тоже бывают *целками*. Их *хозяйство* еще не было *использовано*. С таким они рождаются до тех пор, пока своим *хозяйством* не начнут пользоваться.

Слушая Николая, я мало что понимал, однако испытывал *интерес* к тому, о чём говорил восемнадцатилетний парень, которого уже через два или три дня должны были отпустить домой.

Вдруг я почувствовал, как его рука потянулась к моим *гениталиям* и окаменел. Между тем, он спокойно, даже деловито продолжил, толкаясь в моё ухо воздухом, летящим из его губ.

— У нас с этой *радостью* расстаются рано. Девки, лет в двенадцать, парни чуть позже. Тебе тоже пора, — прошептал он решительно. — Хотя бы вручную, а то ты так *целкой* и останешься...

Я опешил, не зная, что он задумал. Замер, но сопротивляться не решился. Он взял в руки мой безвольный пенис и энергично задвигал крайнюю плоть вверх-вниз, отодвигая её к границе нестерпимой боли все дальше и дальше. Я напрягся в страшной панике. Чтобы не закричать, держался изо всех сил. Наконец, Таперо изловчился и резким движением дёрнул крайнюю плоть к самому основанию пениса. Почувствовав жуткую боль, я непроизвольно вскрикнул.

— Ну вот, — удовлетворённо пробормотал Николай. — *Теперь ты почти мужик*. — И он отечески потрепал меня по щеке. Пребывая почти в беспамятстве, едва не плача, я не мог осознать, *что же сейчас произошло?* Почему все так случилось болезненно и тяжело? Как понимать слова моего соседа: «...*теперь ты почти мужик*...»? Онемев от пережитого, лежа почти в полном беспамятстве, я не заметил, как заснул...

...Санаторий оставался учреждением, в котором прошедшая война оставила свой чёрный демографический след. Мужчин, готовых работать за сущие гроши санитарями или исполнять обязанности уборщиков, мойщиков, подавальщиков суден и прочей санитарной *дребедени*, не находилось. Женщин среди врачей было большинство, тем более среди медсестёр. Санитары были, как правило, людьми пожилыми, а женщины-санитарки — гораздо моложе. Большинство — вдовы. Они же исполняли роль *сменных купальщиц* больных пациентов.

По моим приблизительным подсчётам, взрослых ребят в возрасте от двадцати двух до тридцати пяти лет, покалеченных туберкулёзом, в санатории было человек тридцать-тридцать пять. Среди девушек такого же возраста — не меньше двадцати. Большинство в моём возрасте — от десяти до четырнадцати лет. Молодым санитаркам, деревенским бабам, общаться с ними, как и с больными возрастом помладше, было просто. Тем же, кто обслуживал взрослых ребят, сложностей хватало.

К банному дню каждый возраст готовился по-разному. Тяжелобольные взрослые – равнодушно. Ходячие, в возрасте от семнадцати до двадцати-двадцати пяти лет, с нескрываемым удовольствием. Подростки, в возрасте завершения детства и лишь подступающего отрочества вроде меня – чаще всего... с осязаемым испугом. Мы не очень владели своими чувствами и в процессе купания возникали самые непредсказуемые обстоятельства, чаще всего *не зависящие* от нас самих. О девочках ничего не могу сказать, не знаю. Но юноши шестнадцати, семнадцати, девятнадцати лет банный день любили, и у них были на то основания.

Сам Таперо рассказывал мне, что с санитаркой, которую звали Соня – низкорослой коренастой девахой с большими грудями, у него был *роман*. Он рассчитывал в последний день, перед выпиской, *осуществить* желаемое, чем и похвастался, когда завершился срок его пребывания в прочнокопском санатории...

...Неделю я страдал от боли в распухшем кольце крайней плоти, будучи добровольным *объектом агрессивных* познаний Таперо. С ужасом я смотрел на посиневший *обод* у конца моей *письки*, страшась неведомых последствий, о которых я, разумеется, и не догадывался. Постепенно всё наладилось, и я вернул крайнюю плоть на место. Но в очередной банный день, *приблизившись* к своей пубертатности еще на шаг, едва та самая *мойщица* Соня начала тереть мочалкой мой пах, затем мыть промежность, ополаскивать и мягко вытирать его насухо, моё *срамное* место неожиданно потеряло *контроль* и неумолимо начало вырастать высоким и могучим *отростком*.

Оторопев, Сонька – ей было лет тридцать пять – изумленно на меня посмотрела и звонким голосом воскликнула.

— Ишь ты! Чего это *он*? — Я растерянно посмотрел *туда* и покраснел, как будто только что побывал в парилке. Соня примирительно пробормотала. — Ну ладно...

Я бы тебе *отсосала*, но сейчас времени нет... В следующий раз... — Она, накинув на меня чистую простыню, перенесла на топчан, быстро вытерла голову, крикнула санитарам – эй, там! Давай, бери парня!..

Особых *приключений* у меня не было. Молодых людей, готовых пойти вслед за *голосом природы* среди больных было немного. Когда у тебя болит спина или бедро, колено или стопа, особо не *наиграешься*. Но те, кто ожидал выписки, за короткий период этого ожидания успевал попробовать *безхозной плоти* женщин, которые нас обслуживали...

...За время моего пребывания в санатории у меня, видимо, произошли какие-то внутренние перемены в отношении к родителям. Я оставался в пределах тех ощущений, которые характерны для моего возраста. Болезнь сильно повлияла на мой рост и физическое развитие. Давало о себе знать и то, что родителей я подолгу не видел. От этого я рано стал ощущать *давление* собственной самостоятельности. Иначе говоря, возникающие в окружающей среде обстоятельства *заставляли* меня реагировать на них без опоры на рекомендации или советы отца с матерью, как это случается у здоровых ребят. Ко мне же прибавлялись тяготы болезни, ограничивающие возможности моего организма, а ресурсы сознания и приходящего опыта почти не чувствовались...

В условиях, когда ко мне применялись методы лечения, суть которых врачи не считали нужным комментировать больному в связи с его малолетством, я не мог советоваться с моими родителями. К тому же, их некомпетентность была очевидной. О гарантиях лечебных мер я и сам не имел никакого представления. К тому же, никаких явных альтернатив тоже не было. Находясь в тубдиспансере, больнице, санатории, я пребывал в руках моих *лекарей*, которые располагали неким лечебным опытом. Содержание больного ребёнка, находившегося в возрасте десяти, одиннадцати, тринадцати лет, основывалось

на бедственной реальности, то есть на времени, которое было переполнено разрухой и нехватками. *Выживание* пациента являлось первичной задачей медперсонала. Его полное излечение практически было неосуществимо. Оценивая итоги своего пребывания в больницах и санаториях пятидесятих годов, я понимал, что выжил вследствие природной крепости моего организма, благодаря стараниям персонала соблюдать санитарно-гигиенические нормы, режим дня, калорийное питание, а так же длительной пенициллиновой и стрептомициновой блокаде...

...Авторитет родителей я учитывал, как данность, но научился не преувеличивать их влияния на меня. Я видел их беспомощность перед лицом моей болезни, на которую они не могли *обратить* свои социальные возможности. Им было доступно лишь то, что в *народном здравоохранении* декларировалось, как *общедоступное право*, которым иногда они могли пользоваться, как родители ребенка, в организме которого наступал кризис или когда они сами утрачивали некий баланс собственного здоровья. В конце своего жизненного пути они стали жертвами *этого принципа*. *Общедоступное право на здравоохранение*, в конце восьмидесятых годов в СССР, превратилось в абстракцию, ставшую для них убийственной...

...Спустя полгода моего лежания в Прочноокпском санатории, ко мне приехали папа и мама с младшим братом – двухлетним Сашей. Я с удивлением смотрел на мать с отцом, на подростка брата. Мне *предстояло* понять, какие перемены произошли в их лицах за время их отсутствия? У матери была короткая стрижка с завивкой. Вокруг глаз появилось множество морщин. Отец был худ, но очень рад, скорее всего тем, что у него на руках сидел маленький сын, с любопытством на меня поглядывавший. Я лежал в кровати с загипсованным левым бедром и таким же правым, уже прооперированным. Приехали родители в начале июня.



июнь 1952 года

Мать угощала меня привезёнными домашними вкусностями. Отец весело рассказывал о проделках брата, много смеялся. Мать тихо слушала всё, что я рассказывал ей о своей жизни и говорила лишь о том, что хотела от меня услышать. Ей требовалось узнать о моей учёбе, причём, исключительно приятные новости. Но, что я мог ей сказать? Так что эту тему я старательно огибал. Рассказал ей о сделанной операции. Поскольку я ничего не знал о её сути и перспективах, рассчитывал, что родители сами поинтересуются у санаторного начальства, для чего эта операция была сделана? Какие перспективы сулит? Но хирурга уже не было, дежурный врач у нас поменялся после исчезновения Зиновия Давидовича. Теперь наш палатный врач – молодая женщина, которая, кстати сказать, накануне уехала домой на выходные. Я попросил, чтобы родители написали письмо профессору Варсаве, надеясь, что тот им ответит. Но ничего этого не было сделано. Причина тому была проста – ни мать, ни отец не знали, как лечат их ребёнка. Что за лечебные задачи ставят перед собой врачи, применяя какие-то методы к мальчишке с таким тяжелейшим заболеванием. Мне и в голову не приходило в чём-то *упрекать* мать и отца, но *любопытность* была бы очень кстати, для тех, кто произвел меня на свет.

На ум мне не приходило, что родители ужасно устали от многих лет моего недомогания, совпавшего по времени с жуткой войной, с их собственными насущными жизненными проблемами, личными кризисами, нуждой растить нового ребенка, уже три года как жившего на белом свете...

...Поговорили о моей игре на мандолине. Мать попросила меня что-нибудь сыграть. Попросила и испугалась, увидев, как возвышается гипсовый свод, доходя мне почти до подбородка. Но я сыграл. Ошибался, срывался со струн, но сыграл. Мать сказала мне комплимент и на этом мы закончили. Что-то рассказывала матери медсестра Тая. Но что она могла сказать? Что мне еще делают уколы? Что я хорошо ем? Хорошо сплю? К исходу дня родители стали собираться. Они хотели еще засветло попасть на вокзал, чтобы не опоздать на поезд: Армавир – Краснодар...

После отъезда *моих* родителей, размышляя, насколько мог это делать тринадцатилетний пацан, я осторожно начал осознать (или мне просто так показалось), свою *особую* роль в той жизни, которая *изменилась*, предоставив мне *странное право* делать так, как я считал необходимым. Это право я пока отчётливо не воспринимал, не ведая, *как* этим *правом* хотел или мог бы *воспользоваться!* Но эту, уже *зрешую* готовность, ощущал, пусть не сию минуту, но со временем. Разумеется, я не знал, когда это время наступит, конкретизируя мои ощущения. Груз прошедших сквозь моё тело *страданий, переживаний*, возникших на почве полного отсутствия понимания их причин, заставляли мой разум *напрягаться* в поисках ответа на пока еще скрытые вопросы моего *нелепого* бытия. При этом, я оставался членом семьи Юргановых. Мои родители давали мне общедоступные советы, которые я слушал. В известной мере зависел от их воли. От правил жизни, которые они исповедывали и внушали мне с присущей им настойчивостью. Все эти коллизии *проникали* в опыт моей жизни, едва я приехал

домой и начал учиться в средней школе. Но до этого надо было прожить еще вторую половину года в противотуберкулезном санатории...

...Именно в Прочноокопске я впервые ощутил неведомые мне доселе чувства, которые скорее всего можно назвать словом – *«влюбился»*. Её звали Анастасией и пребывала эта девушка в соседней палате. Была она старше меня года на два или даже три. Я впервые увидел её, когда нас всех свезли в общий коридор для просмотра фильма «Волга-Волга». Её кровать находилась неподалеку от меня и я увидел точёный профиль, выступавший из глубины *позвоночной* ванночки, куда она была погружена, лёжа в своей кровати. Она вертела зеркалом в разные стороны, ища знакомые лица и неожиданно наткнулась на моё лицо. Не мудрено, потому что я почти сразу же увидел её огромные глаза, остриженную голову, погружённую в изголовье ванночки и впился в неё своим долгим взглядом. Я не знал тогда, в моём возрасте пубертата, что *значило* слово *«понравилась»*, но, поскольку смотреть на её профиль мне неудержимо *хотелось* и я не в силах был отвести от неё взгляд, я, видимо, почувствовал, что в этом лице таится некая *притягательная* для меня сила.

Судя по всему она была достаточно крупна, но что я мог думать о нашей взаимной «диспропорции»? Скорее всего ничего! Меня, как магнитом притягивал её профиль и я очень хотел заглянуть ей в глаза, видя лишь ободья век, их сероватую голубизну, отсвечивающуюся сквозь изогнутый часток кол высоких ресниц. Волосы были острижены и я догадался, что скорее всего у Анастасии поражены шейные звенья позвонков...

...Когда начался фильм я, бесконечно смущаясь, поглядывал на неё искоса, а потом немного повернул голову вправо, где стояла её кровать. Смотрел так, что с её стороны могло показаться, что я не отрываю взгляда от экрана, тогда как

я всё время созерцал её лицо. Она лежала неподвижно, смеялась, когда на экране и в самом деле возникали смешные ситуации...

...Фильм закончился. Санитары стали нас развозить по палатам и я просто вперился взглядом в лицо Анастасии. Она прислонила ко лбу зеркало и посмотрела на меня с удивлением, невольно заставив меня отвернуться. В это время два санитары подхватили спинки её кровати и повезли в палату. Неожиданно для себя, я махнул ей рукой и увидел, как, разворачивая кровать, санитары поставили её боком, невольно дав мне возможность увидеть её лицо ещё раз. Она снисходительно улыбнулась мне и почти незаметно подняла пальцы правой руки, заставив меня поверить, что её улыбка и движение ладони были адресованы мне. Тут санитары подхватили мою кровать и откатали в нашу палату. Въезжая в свою палату, я в последний миг увидел удаляющийся профиль Анастасии.

То, что происходило со мной все последующие дни и месяцы могло убедить меня лишь в том, что фантазия пубертата обслуживает нарождающуюся сексуальность точно так же, как половое развитие делает её, эту фантазию, навязчивой и властной. Целыми днями я, лежа в кровати, вызывал в своём воображении профиль Анастасии, её улыбку, глаза. Несколько раз я порывался проникнуть в палату, где она лежала, но мне отчаянно не везло. Или её увозили на процедуры, или меня не пускали в палату, ссылаясь на предстоящие уколы... Но однажды я выехал в коридор и неожиданно увидел её в кровати, одиноко стоявшей у окна. Она – спала. Целых пять минут я беспрепятственно созерцал её лицо, наслаждаясь чертами, от которых я не мог оторваться. Неожиданно она проснулась и посмотрела на меня спокойным взглядом взрослого человека.

— А почему тебя сюда привезли? — спросил я.

— Я попросила... — ответила она простодушно.

— А я сам приехал... — Я начал немного смущаться.

— Я не могу. — Сказала она, вздохнув. Из её палаты вышли два санитары и молча подхватив за обе половинки кровати, повезли куда-то по коридору. Я отправился в свою палату. Мне удалось узнать её фамилию и я записал в свою тетрадь, для памяти. Больше я её не видел, хотя думал о ней непрерывно, уже чувствуя некую напряжённость там, где до того никогда, ничего подобного не ощущал.

Через пять месяцев я уехал домой в Краснодар и решил написать ей письмо. Удержаться я просто не смог! И тогда, я впервые понял, что моя влюблённость, каким-то неведомым мне образом, связана с тем участком мозга, который отвечает за моё искусство строить *словесные обороты*. Моё сердце отчаянно билось, когда, лёжа на сундуке, в нашей краснодарской квартире, по улице *Шоссе пилотов*, я писал своё первое в жизни *любовное* письмо. Разумеется, я не смогу сейчас воспроизвести текст этого письма, но отчётливо помню своё состояние, когда я его писал. Я понимал, что Анастасия могла уже уехать из санатория и моего письма не получить. Я не сомневался, что письмо обязательно будет прочитано *цензорами*, но ничего не мог с собой поделать, хотя в стилистику письма не допускал никаких *вольностей*. Вместе с тем, Анастасия, как мне казалось, могла понять, что автор сильно ею увлечён и будет счастлив получить ответ.

Ответ я получил... Месяца через полтора или два. Я читал его, пребывая в горячечном состоянии от самого факта получения весточки от Анастасии. По-видимому, это обстоятельство и стало основанием к уникальному запечатлеванию текста её письма в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. Сейчас я процитирую текст, который давно утерян и физически не существует. *«Здравствуйте, Олег! Спасибо за ваше письмо. Хочу вам сказать, что вы должны помнить о том положении, в котором находитесь. Готовьтесь к той*

жизни, которая вам предстоит в будущем. Спасибо за добрые слова. Анастасия.»

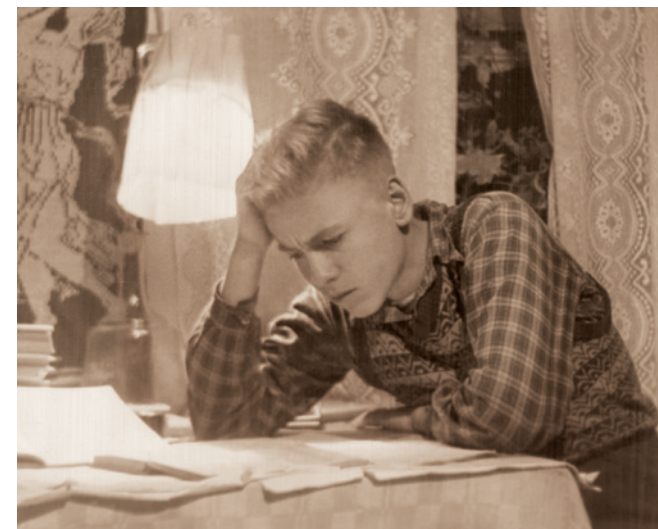
Не думаю, что я ошибаюсь, воспроизводя текст письма, потому что даже если я что-то и *переврал*, то суть его осталась *неизменной*. В этом тексте отчётливо всплыло отношение девушки, старше меня на год или два, к жизни, полной будущих ограничений и даже страданий. Её внутренняя собранность и даже жёсткость, по-видимому, произрастали из врождённого долга и зачатка материнства, скорее всего инстинктивного, проникших в контекст её мыслей под грузом долгих, скрытых размышлений и переживаний о будущем.

Моя любовь *иссякла* уже через несколько недель, а *фантазия* заставила перейти к новому объекту моих, неведомо как и неведомо где зреющих *страстей*. Но об этом я мало что знал, хотя переживания были искренними...

...1952 году в конце зимы я был выписан из санатория. ТUTOR, щадивший бедренную кость от нагрузок, мне пришлось через три недели снять. Следовало ходить в школу, сидеть за партой, а в нём я не мог. Родителей мне пришлось обмануть, заявив, что тUTOR – *штука* временная и надо с ним расстаться, поскольку в санатории мне сказали, что в школу с ним ходить даже вредно: будет натирать кожу и мешать сидеть.

Подвижность в правом *суставе*, который так можно было назвать только условно, после операции сохранилась. Ничего не мешало двигать ногу, только были болезненные ощущения, от которых невозможно было избавиться. Но уже через месяц, опираясь только на один костыль, я уже ловко *скакал*, держась второй рукой за трость.

По стандартам обучения в тринадцать лет я должен был ходить в шестой класс. Мы жили тогда в квартире по улице Шоссе пилотов, выданной отцу на работе при содействии М. Ф. Тарасова. Она была переделана из складских



Олег Юрганов Краснодар октябрь 1954 года

помещений, утеплена и мы занимали две комнаты, одна из которых была тёплой прихожей, вторая – жилым помещением, где мы зимой спали, ели, как-то проводили время. Там же спал и я на своём знаменитом сундуке, известном мне еще по Баку. Мать с отцом спали на большой кровати, стоявшей в нескольких метрах от моего сундука. Брат – в кровати, напротив родителей, на расстоянии вытянутой руки от них. Через неделю, после приезда из санатория, я начал ходить в школу, постепенно привыкая к новой для меня физической нагрузке.

...Школа № 42, где я учился, располагалась в посёлке нефтянников, неподалеку от нашего дома. Честно говоря, особых впечатлений она у меня не оставила. Хорошо помню, что я сильно отличался от своих сверстников робостью и сложностью включения в учебный процесс. Мне не доставало навыков понимания математики, решения задач, осознания геометрии, физики, освоения таких предметов, как химия, ботаника, которые я пытался усвоить в Прочнокопске, но без особого успеха. Моё положение человека, включённого в сложные учебные лабиринты, продолжалось и дома. После уроков, оглушавших меня массой новой информации, зачастую мне непонятной и, честно говоря,

ужасно *неинтересной*, я, дома ещё и ещё раз перечитывая страницы учебника, пытался понять некую суть, к которой оставался... равнодушным. Игнорировать учёбу, уж слишком откровенно, я не мог – дома была мать. Она особо не вмешивалась, но *делать вид*, что ей всё равно, чем я занимаюсь, не хотела. Она сидела в той же комнате, где я делал уроки. Поглядывала на меня. Иногда спрашивала, что именно я делаю? Тогда приходилось *делать вид* мне...

К исходу второй четверти положение моё оказалось угрожающим. Мать вызвали в школу. Она вернулась домой очень расстроенной. Как ни странно, она не представляла причин, по которым я попал в такую абсурдную ситуацию! Верила, что в санаторной школе меня хорошо учили, что я усваивал учебные предметы, которые там преподавали, хотя, *как всё* это происходило в реальности, она даже не догадывалась. Рассказывать дома все подробности моей жизни в Прочноокопске я никогда не стремился. Отмалчивался. У меня не было никакого желания, даже *виртуально*, возвращаться в ту жизнь, которая теперь не представляла для меня никакого интереса.

Пришлось мне, «*взяться за ум*». Сейчас, осмысливая события тех далёких лет, я могу сказать, что то был трудный период моей жизни. Я решил заново перечитать все те учебники, которые мне купили для школы. Их я читал истово, по несколько раз! Все свободное время посвящал тому, что пытался разобраться по написанным текстам в учебниках, о чём там идёт речь? Что я должен выучить наизусть? Мне хотелось чувствовать себя в классе более или менее уверенно. Я не был тупым, ничего не соображающим *пацаном*, просто наталкивался на отсутствие знаний там, где они были *необходимы* для понимания предмета. Мои настойчивые усилия дали результат и я начал осваивать те предметы, в которых не было сложных для меня расчётов и непонятных формул. Ботаника, потом



Олег Юрганов
октябрь 1954 года

зоология, география, русская литература, русский язык. Геометрия, физика, химия постепенно стали поддаваться моему старанию. Хотя и не в полной мере, но...

По-видимому, от перегрузок у меня, в правом бедре, через четыре месяца после возвращения из Прочноокопска, опять начал зреть абсцесс. Рос он медленно, незаметно. Я долго не догадывался, что происходит там, где красовался огромный шрам, оставленный хирургом Б. А. Варсавой в Прочноокопске. Разумеется, я был уверен, что после операции ничего подобного быть не должно! Наконец, я почувствовал боль. Выпуклость, на поверхности зоны, где должно быть правое бедро, стала явственной...

...Из армии вернулся наш сосед Игорь. Служил он во флоте и его появление было для меня неким *восторженным* актом. Я всегда с особым поклонением относился к морской форме, носил тельняшку и считал, будь я здоровым человеком, обязательно пошел бы служить в военно-морской флот. Так, по крайней мере, мне казалось. Военная форма очень меня привлекала и я не удержался и попросил Игоря разрешить мне надеть его бушлат и бескозырку. Он согласился, По фигуре Игорь был мелковат. Ростом, чуть выше меня. В свои уже исполнившиеся четырнадцать, я превосходно *влился* в его форму,

с гордостью встал на пороге своего дома, попросив его меня сфотографировать.

Мелкие житейские радости, наподобие этой, хоть и не часто, но наполняли мою жизнь эмоциями радости. Мой облик в военной форме, взятой у соседа, а чуть позже у моего одноклассника, ходившего в клуб юных авиаторов, оживлял моё бытие. В те годы были лётные училища, созданные еще во время войны, а позже преобразованные в клуб юных авиаторов. Мальчишки, учась в обыкновенной средней школе, после уроков изучали там, начиная с шестого класса, материальную часть самолёта, основы аэродромной службы, теорию пилотирования. В моём классе учился парнишка по имени Дмитрий, которого однажды я и увидел в полувоенной форме, попросив разрешить мне примерить его китель. Немного *пофорсив*, я был горд обликом военного, хотя бы внешне.

Лишний раз я убеждался, как искалечена была моя судьба болезнью, которая не позволяла мне принимать жизненные решения, которые в моём возрасте, как я полагал, были для меня более всего привлекательными.

Конечно, не спорю, я мог ошибаться, симпатизировать своей лишь внешней привлекательностью в военной форме. Когда я видел себя в облике военного человека в чужой военной форме, мне казалось, что именно он соответствовал моим представлениям о моей судьбе. Но увы! Она была мне абсолютно *недоступна*. Именно *недоступность* судьбы, в которую уже окунулись мои физически здоровые сверстники, вызывала в моей душе *дразнящие* чувства. С этой реальностью я примирялся, форся в военной форме, взятой напрокат, надев её на себя, ради минутного подросткового *кокетства*. Сама же моя жизнь была полна постоянных озабоченностей, которые невозможно было избежать! Приходилось терпеть боль, ходить так, как представлялось возможным

в моём положении. То, что мне приходилось двигаться с большой хромотой, перекачиваясь, как утка, я уже привык, но когда на правой стороне бедра растёт багровая шишка, душу охватывает тревога!

Однако, в школу ходить надо. Делать уроки – тоже. Я немного втянулся в ту *обязаловку*, которую взвалил себе на плечи. Мне удалось выправить знания почти по всем предметам. Иначе говоря, я стал устойчивым «хорошистом». Правда, кроме немецкого языка и алгебры. Они, эти предметы, решительно отказывались мне подчиняться. Пришлось напряжённо заниматься и *лопнувший* на бедре абсцесс встретить, как неизбежную обыденность.

Это случилось дома, когда я делал уроки. Гной разлился по трусам и кровати. Я понял, что, находясь дома могу стать угрозой для Сашки и родителей, как-никак туберкулёз был инфекционной болезнью! Меня увезли в противотуберкулёзный диспансер, сделали перевязку и снова... привезли домой. Пришлось моей матери искать для меня санаторий. За то время, пока моя мать искала для меня лечебного пристанища, я к осени сдал переэкзаменовку по алгебре и готов был отправиться в седьмой класс. Но тут неожиданно возникла удача: мать получила в Краснодарском Горздравотделе путёвку для меня в городской противотуберкулёзный санаторий, расположенный на окраине Краснодара.

Я вступил в возраст, когда болезненные ощущения становились всё более навязчивыми. Не так-то просто было избавиться от них, хотя внутренние силы ума и чувств, стремились к *сопротивлению* тягостным, однообразным ощущениям болезни, которая еще недавно – каких-то полтора года назад казалась побеждённой в Прочноокопском санатории.

Мне было четырнадцать лет и так случилось, что в Краснодарском санатории я попал в палату, где лежала одна мелюзга! Школы в санатории не было и я быстро утратил ощущение *тревоги* за учёбу. На неё мне было просто наплевать!

Раз всё случилось так нелепо и неожиданно, пусть! Но тоска подступала к горлу. Возникла обычная в жизни больного подростка коллизия – утрата готовности спокойно реагировать на катаклизмы, происходившие в организме. Мои эмоции гнева невесть на кого, кто был якобы виновен в моём положении, я обрушивал на пацанов, окружавших меня, таких же больных, как и я, над которыми я начал... *издеваться*. Я задираю их, обзывая бранными и обидными кличками, рассказывал им грязные анекдоты, употреблял в их адрес сальности, оскорбляя, как мог. Всё это они молча сносили, не перечая мне, лишь иногда жалуясь на меня медицинскому персоналу. Однако, доказать свою правоту они не могли, потому что я умело разыгрывал недоумение, ссылаясь на их малолетство, якобы дающее им привилегии клеветать на *взрослого* человека. Конечно, я считал себя *взрослым*, который просто *не может* вести себя так, как считает эта мелюзга, жалуясь администрации.

Мои оправдания казались убедительными и некоторых *пацанов*, на которых я был особенно зол, отправляли в другие палаты. Не знаю, как, но я убеждал врача и медсестер в намеренных капризах этих несчастных мальчишек, выдержать которые мне было просто *невыносимо*.

Может быть, мне верили, потому что я был старше всех. Излагал свои мысли *авторитетно* и аргументированно, а мелюзга – визгливо и капризно? Когда не оказываешься в школьной зоне, утратив общество сверстников от обострения болезни, развития пубертатности, отсутствия необходимых и целенаправленных *нагрузок на разум*, психика отравляется тягостной тоской. Она наполняла моё поведение подростковой *деструктивностью*. Побуждала к агрессивности и грубости. Больничным режимом лечебного учреждения можно было очень условно как-то регулировать моё поведение. И тут... я неожиданно снова влюбляюсь!

Двери из женской палаты вели в короткую комнату, где

лежали маленькие мальчики. Наша комната становилась проходной, когда больных развозили оттуда на всевозможные лечебные процедуры. Однажды санитары провозили кровать, в которой лежала девушка лет шестнадцати с загипсованной ногой. Провезя её через короткую комнату мальчиков, они въехали в нашу, проходную, и почему-то оставили кровать на несколько минут. Девушка была черноволосой, с густыми бровями и небесно голубыми глазами. Она полулежала на подушке и её голова оказалась прямо с противоположной стороны моей кровати. Глянув на неё лишь искоса, я неожиданно заинтересовавшись, присел, заглянул ей в глаза и... *напрягся*. Их небесная голубизна, оттеняемая смуглостью её кожи и волосами, *мгновенно* захватила моё внимание. Девушка отвернулась. Она явно смутилась под моим пристальным взглядом. Интерес мой возрастал и осторожно приблизившись к противоположной стороне моей кровати, я спросил.

— Девушка, а как вас звать? — Она повернулась и, глянув на меня, кротко и едва слышно ответила.

— Алина... — Тут же подошли замешкавшиеся санитары и увезли её, так быстро, что я не успел назвать своё имя.

Где бы я ни лечился, за исключением санатория в Бузовнах – когда я там находился, то был слишком мал – мне встречались ребята, которые увлекались мужским *рукоделием*. Они делали из цветных открыток всевозможные вазы и шкатулки, миниатюрные сундучки. Сначала вырезали детали, потом аккуратно сшивали их и получались прелестные *штучки*. В Краснодарском городском санатории умельцев было множество. Такому мастерству стал учиться и я у своего соседа, мальчишки лет десяти, к его вящему удовольствию. Поскольку был он на четыре года младше меня, поступил сюда недавно и еще не успел со всеми познакомиться, моё желание вызвало в мальчишке доброжелательную готовность помочь. Звали его Артур. Собирая

шкатулку, он умело орудовал иглой, сшивал детали, вырезанные из открыток, показывая ловкость и мастерство. Ребята из нашей палаты, несмотря на мою *вредность* характера, собрали для меня открытки, поделившись своими запасами. Артур вырезал детали, показал, как надо их сшивать и я приступил к работе.

Предназначение шкатулки, разумеется, было тайной. Да никто и не спрашивал! Почти месяц я возился и часто у меня получалось некрасиво. Артур выручал советом или сам исправлял мои ошибки. Наконец, шкатулка была готова. Когда ко мне пришла мать, я показал ей дело рук своих. Она обрадовалась и очень хвалила меня. Наверное, матушка была уверена, что я собираюсь подарить шкатулку ей. Знала бы она, кому эта красивая *штучка* предназначалась!

Мне хотелось положить в шкатулку бусы. Превозмогая смущение, я уже почти решился попросить матушку купить мне дешевые бусы, но не посмел! Своим ощущениям я верил и почти не сомневался, что мать ждёт, когда я подарю ей эту шкатулку. Я ссылался на то, что работа еще не закончена, откладывал её в сторону. Когда она навещала меня в следующий раз, прятал шкатулку в тумбочку. Уловка удалась. Матушка о шкатулке уже не спрашивала, а я своё изделие ей больше не показывал. Разумеется, шкатулку я предназначал Алине.

Наконец, я исправил все кривые швы, положил в шкатулку бусы, которые сделал из вырезанных узких полосок цветных журнальных иллюстраций, скатанных в шарики, склеенных и высушенных на батареях парового отопления. Этому тоже меня научили мои *однопалатчане*. Оставалось за малым – отправить шкатулку с *дарами* девушке, которая мне *понравилась*. После раздумий я решил, что *операцию по доставке* подарка лучше всего провести ночью и только самому. Узнать, на какой по счёту кровати в женской палате лежала Алина, оказалось очень *непросто*.

Как и везде, в этом санатории были ходячие больные. Пришлось рискнуть. Один из пацанов – он был почти моим ровесником – подошёл к моей кровати, чтобы попросить книгу Жюль Верна. Сейчас и не вспомню её названия. Я очень не хотел с ней расставаться, даже на время. Держа книгу в руках, и как бы размышляя – давать-не-давать – я тихо спросил его, старательно надев на свою физиономию маску равнодушия, не знает ли он девчонку по имени Алина? Он её знал и тут же кивнул. Всё так же равнодушно глядя на него и почти протягивая ему книгу, я поинтересовался, а не знает ли он какая кровать от дверей женской палаты у этой девушки. Ничего не подозревая и уже держа, перелистывая книгу, Антон, так его *кажется* звали, задумался. Через мновение сказал нерешительно.

— Третья или четвёртая... Кажется... От входной двери. — Взяв у него книгу, я дружелюбно Антона попросил.

— Не мог бы ты проверить? — Всё ещё разыгрывая из себя лениво-равнодушного парня, я искусно сделал вид, что спрашиваю без всякой *«задней»* мысли. Во всяком случае, мне так казалось. Желая получить книгу, Антон мгновенно отправился уточнять. Как ни старался я говорить тихо, разговор ребята из моей палаты слышали. Некоторые из них стали переглядываться. Даже подмигивали, мол Юрганов, судя по всему... Это мне не могло понравиться. Деваться некуда, пришлось сделать вид, что я чем-то увлечен и не замечаю их намёков. Пришёл Антон и сообщил мне, что кровать третья от двери и это – совершенно точно. Я отдал ему книгу и Антон отправился в коридор, откуда его уже звала медсестра делать укол...

...Дня три я находился в состоянии крайнего возбуждения. Мне не давал покоя вопрос: как Алина могла бы воспринять подарок? Поймёт ли она, что шкатулка *от меня*? Хорошо бы узнать её впечатление... Но как? Я хотел написать записку. Положить её в шкатулку. Однако... Это – *улика!*

Я решил этого не делать. Здесь, в санатории, тоже была суровая цензура, как и в Прочноокопске. Если бы записка попала в чужие руки... У Алины могли быть неприятности. И тогда я решил всё сделать *на удачу*. Мне казалось, что Алина меня запомнила. Ведь я *сам* спросил её об имени. Да, своё я не назвал! Не успел... Но теперь это было даже кстати! После мучительных раздумий я решил, что полагаться надо только на то, что Алина, увидев шкатулку... А она ей наверняка понравится... Что уж тут говорить – я очень в это верил... Начнёт думать... Кто же мог её сделать?.. Кто подарил?.. Сообразит! Я так решительно верил в готовность Алины понять, что подарок именно *от меня*, что на третьи сутки моих раздумий отмёл все сомнения...

Ночью, часика в три, мне предстояло ползком преодолеть расстояние от нашей палаты до соседней, где находились мальчики пяти-семи лет, а уже от них двинуться в палату девочек. Отсчитать от двери три кровати и очень осторожно, аккуратно положить шкатулку на кровать крепко спящей Алины.

Наступила знаменательная для меня ночь. Я был настолько возбуждён, что не мог заснуть. В нашей палате на боковой стене, впереди от меня висели часы. Когда стрелки приблизились к цифрам *три* и *двенадцать*, я осторожно слез с кровати и лёг на пол. Предстояло проползти метров пять в палату малолеток. Меня смущало, что в окна светила луна и я был отчётливо виден на полу темным движущимся *объектом*, ползущим к дверям в соседнюю палату. Я не думал, что меня кто-то из малышни мог заметить, испугаться и поднять крик! Эта мысль просто в голову не приходила – три часа ночи! Самый глубокий сон... Сердце жутко колотилось. Мне казалось, что его громкий стук слышен не только мне.

Раздались поспешные шаги. Кто-то шел в палату, которую я уже почти переполз, собираясь уже проникнуть

в женскую, где спала Алина. Я быстро юркнул под ближайшую кровать и застыл. Вошла медсестра. В лунном свете я узнал её лицо. Она взяла со стола какой-то журнал, наверное, забытый ею, и вышла. Переведя дыхание, я осторожно выполз из-под кровати и двинулся в женскую палату. Преодолев порог, я направился к третьей кровати, где, как мне сказал Антон, должна была находиться Алина. Приблизившись, я поспешно положил шкатулку в кровать девушки и замер. Мне ужасно захотелось посмотреть на неё. Я смутно видел в полумраке лишь её черты и закрытые глаза. Приподнявшись, заметил юный лик, хранивший покой сна, нежный и хрупкий. Впервые в жизни я почувствовал непреодолимое желание коснуться её губ. Такого со мной никогда не было! Но я снова услышал чьи-то шаги в коридоре и так вжался в пол, будто хотел в нём раствориться. Шаги стали удаляться. Я быстро повернулся и пополз в свою палату...

Когда я улёгся в своей кровати и отдышался, чувство исполненного долга наполнило меня такой гордостью за мою смелость, что я почти мгновенно уснул, а во сне увидел Алину, которую бестрашно целовал! Наверняка это был первый эротический сон в мои неполные пятнадцать лет...

Назавтра нас свезли в общую комнату и я увидел Алину в кровати, которую санитары поставили неподалёку от моей. Было очень шумно и весело. Справлялся какой-то праздник, то ли Первое мая, то ли Седьмое ноября, не помню... Алина лежала в кровати, не обращая на меня никакого внимания. У неё между ног лежала... моя шкатулка! Я так внимательно смотрел на шкатулку, что невольно спровоцировал Алину *перехватить* мой взгляд! Она покраснела, искоса на меня поглядывая. Скорее всего она поняла, но не посмела отреагировать так, чтобы я догадался. Нас развезли по палатам, а через неделю меня выписали...

Я еще долго помнил эти голубые, да нет, пожалуй совсем синие глаза, но Алину я больше никогда не видел. Иногда



Зинаида Юрганова
1953 год

вспоминал волнения в момент моих *пластунских* телодвижений по крашеному полу, когда полз к кровати девушки, пряча под рубашкой, со стороны спины, шкатулку...

...Из городского санатория меня выписали по очень простой причине: ничего кроме уколов пенициллина мне делать не могли, однако свищ упорно не желал затягиваться. Мотив к моему удалению из санатория главный врач – сухая, жёсткая женщина с пронзительными карими глазами и седыми волосами на висках – сформулировала однозначно: *неподобающее поведение*. Она сообщила моей матери, что я громко ругался матом, обижал младших мальчиков и, вообще, вел себя в нарушение всех лечебных *стандартов*. Мать упрекала меня, жаловалась отцу, а тот с изумлением посмотрел на меня и спросил.

— А где же ты всему этому научился?

— У тебя и матери... — Ответ мой был лаконичным. На миг отец потерял дар речи. Потом молча ушел на двор и долго о чём-то разговаривал с матерью.

По сути же – меня просто не могли вылечить! На то время туберкулёзный коксит блокировался только инъекциями пенициллина, а стрептомицин был еще острым дефицитом. Что касается мотивов моего удаления, он вполне реален, потому что поведение пубертатного юнца, вроде меня, вполне могло быть с признаками *огрубления*. Избежать этого мне, увы! не удалось...

...Первого марта 1953 года была суббота. В пятидесятых годах, этот день был рабочим и учебным днём. Отдыхали мы только в воскресенье. Было, наверное, часов восемь. Надо вставать, приводить себя в порядок, идти в школу. К окну подошел сосед, мой сверстник Стасик. Постучал костяшкой указательного пальца. Крикнул мне.

— Алька, школы сегодня не будет! — Сказал и убежал. С чего бы это? Удивился я, но размышлять не стал, прислушиваясь к звукам радио, висевшем на стене у окна. Играла грустная классическая музыка. Делая неловкие шаги с костылём, я двинулся к умывальнику. Отец ушёл на работу. По голосам я понял, что мать с братом на улице. Я выглянул в окно и увидел, что она подметает наш двор, а брат помогает ей.

Зазвучал голос Левитана. Диктор объявил, что через несколько минут будет объявлено важное правительственное сообщение. Я насторожился, но продолжал свои обычные дела.

Надел брюки, тёплую рубашку, убрал с сундука свою постель. Музыка оборвалась и снова зазвучал голос Левитана. Я вышел на двор и позвал мать, чтобы она послушала какое-то важное сообщение. Она вошла в комнату, присела на сундук, а Сашка устроился на полу, у её ног. Диктор сообщил, что случилось с нашим вождём и учителем Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Мать ахнула, прикрыв лицо фартуком. Что-то пробормотала и вышла на улицу. Брат отправился за ней. Я был в полном недоумении. Наверняка, мне казалось, что Сталин будет жить вечно и сообщение о его болезни меня ошарашило.

Целый день передавали сообщения о состоянии его здоровья, заменяя сообщения исполнением печальной классической музыки. Как обычно, вечером, к половине шестого пришёл с работы отец. Я видел его тревожные глаза, но не могу сказать, что выражение его эмоций было долгим.

Сели ужинать. Мать сказала, что может быть Сталин поправится, отец, пожав плечами, молчал. Потом они вышли на двор, а я сел читать книгу. Глянув в окно я увидел, что мои родители и соседи сидят и разговаривают, у соседки заплаканные глаза. Стемнело. Отец с матерью вернулись в комнату и стали стелить постель. Радио продолжало *бормотать*. Мать его выключила и мы начали укладываться спать. Ложились мы рано и я долго слышал шопот родителей, лежавших в кровати. Говорили они очень тихо. Изредка я слышал то от отца, то от матери: «Сталин...Сталина... Сталину...» Речь шла о сообщенном по радио событии и, видимо, у моих родителей были свои основания как-то реагировать на сообщения о болезни *вождя*.

...Несколько дней по радио передавали бюллетени о состоянии здоровья И. В. Сталина и, наконец, прозвучало сообщение о его смерти. Мать была дома, что-то готовила в прихожей. Услышав сообщение, она пришла в комнату и встала у приёмника. Я в школу не ходил, потому что у меня сильно болела нога. Отец был на работе, а брат играл на дворе. Я собрался выйти на двор, чтобы просто посидеть на воздухе, но из комнаты не вышел, взял свои костыли и стоял с матерью рядом, слушая сообщение о смерти И. В. Сталина.

Ни слова не говоря, мать подняла руку, сделала радио тише и вышла в прихожую. Ничему я не удивился, потому что сообщение уже *перегорело* в душе и я воспринимал его почти без эмоций. Ни с матерью, ни с отцом мы никогда не обменивались впечатлениями о произошедших важных событиях, случившихся в стране. Родители, по-видимому, не считали, что имеет смысл обмениваться со мной, малолетним пацаном, какими-то мнениями, а я не долго удерживал в памяти и в душе произошедшие события.

В школе смерть И. Сталина как-то переживалась или соответственно изобразалась на лицах учащихся и педагогов.

Это было так давно, что я, честно говоря, ничего не вспомню, кроме стандартных ощущений, присущих согражданам советской страны в момент смерти *вождя*. Единственное, что осталось в памяти – слова отца, вечером, за ужином, пятого марта 1953 года. «*Бешеный был человек! Наконец-то пришёл и его час...*» Мать посмотрела на отца искоса и молча продолжала есть картошку...

Вскоре я услышал, что какой-то Маленков был назначен главой правительства. В свои четырнадцать или неполные пятнадцать лет я не имел ни малейшего представления о том, *кто есть кто* в нашем государственном и партийном руководстве. Такие фамилии, как Берия, Булганин, Маленков, Хрущёв всё время были на слуху и, когда началась *дележка* руководящих должностей, эти фамилии мелькали достаточно часто. Однако, я не знал, *что* это были за люди, чем они занимались, какую они могли играть роль в стране после смерти И. Сталина.

Отец на работе, я в школе насмотрелись на образцы *всенародного горя*, но рано или поздно истерия траура утихла и мы узнали, что И. В. Сталина положили в мавзолей рядом с В. И. Лениным. Этот акт не вызвал у меня какие-то раздумья или переживания. Ну положили и что? А разве могло быть иначе? *Вождь, светоч мира, отец народов* – куда ж его класть, как не в мавзолей, рядом с другим вождём – Лениным?..

...Наступило лето. Свищ никак не затягивался и я постоянно перевязывал рану в ноге, но наступившим летом отец предложил мне поехать в пионерский лагерь. В моём положении это был скорее забавный, чем рискованный шаг. Я ходил то с одним, то с двумя костылями. Не могу сказать, что мне удавалось пройти *значительное* расстояние, но постепенно кое-как у меня получалось. По-видимому происходило возрастное укрепление моего организма, а *лагерная* жизнь этому способствовала: «*беспривязное содержание*», свежий воздух, ароматы Горячего Ключа, где располагался лагерь...



лето 1954 года

Какие-то события в пионерском лагере происходили каждый день. У меня снова *прорезался* голос, эдакий приятный тенор и я целыми днями пел, не зная, что в моём возрасте требовалось осторожное с ним обращение. Я пел, к месту и без, наслаждаясь жизнью и, конечно, голос... сорвал! На этот раз окончательно.

Первый раз это случилось, когда я был в Прочноокопском санатории, там, неожиданно для себя, я запел. Наверное, дали о себе знать гены моей матери. Палата была маленькой, положили меня туда, заподозрив инфекционное заболевание, по сыпи, выступившей на теле. Но вскоре оказалось, что то была пищевая аллергия. Ошибку исправили – вернули меня в мою палату. Время пребывания в изоляторе оказалось достаточным, чтобы, *учуяв* в соседней палате симпатичную сверстницу-девочку, которая тоже лежала с какой-то инфекцией, я начал её развлекать, распевая песенки. Мне казалось, что мой голос ей нравится и во всю старался, пока не сорвал голос. Тогда я не обратил на это внимание. Голос как-то восстановился. Я пел в хоре санатория и теперь, спустя два или три года, в лагере

запел снова. Делал это где надо и не надо и вряд ли сильно расстроился, когда умолк на неделю, а потом уже и вовсе не смог *распеться*...

Отношение ко мне *пионерского начальства*, набранного из студентов, было скорее равнодушным, чем заинтересованным. В походы меня не брали, поэтому я сидел в прохладе лагерной палаты или бродил по территории, когда мои сверстники гуляли *по долинам и по взгорьям* Горячего Ключа.

Когда ребята из моего отряда ушли в поход, от нечего делать, я случайно забрёл к туристическим палаткам старшей группы. Ребята и девушки, лет шестнадцати-семнадцати, о чём-то спорили. Я присел неподалеку на пеньке, поставив костыль между ног. Было любопытно, о чём шёл разговор? Прислушался...

Было их человек пять или семь. Выделялся высокий, симпатичный парень, который что-то доказывал сверстникам, сидевшим, кто на траве, кто на пне, а кто просто стоял, опираясь спиной о дерево. Парень – *красавчик* – с тонким, нервным лицом и густыми русыми волосами, весело рассказывал, как год или два тому он влюбился в одноклассницу, которая на него не обращала никакого внимания. В его словах была самоирония, но оттенок некой обиды был всё-таки заметен. На скамейке, с врытыми в землю круглыми ножками сидела очень милая черноволосая девушка, которая внимательно слушала разговор. Молчала... Вдруг говоривший, обратился к ней.

— А ты Лора можешь сказать, чего это она меня игнорировала? Ты же знаешь Светку... — Я понял, что ребята хорошо знают друг друга. Одноклассники? К девушке, которую звали Лорой, парень обратился с улыбкой на лице. Она пожалала плечами и сказала.

— Ты же сам должен знать, Андрей! — Парень, которому она ответила, неожиданно вспылал.

— Что ты хочешь этим сказать? — Его лицо напряглось. Он, пригнувшись к Лоре, грубо спросил: — Что я должен знать? Что Светка была дура-дурой? Так я это знал хорошо! У неё только физиономия была смазливой, ну и... — Он показал недвусмысленный жест, коснувшись рукой груди. Ребята, сидевшие вокруг, рассмеялись. Сам парень брезгливо передёрнулся. — И чего выпендриваться? — Он отвернулся.

Девушка, которую назвали Лорой, неожиданно резко встала. Я увидел на её глазах слёзы. Ей тоже было около семнадцати. У неё были серые глаза, темнорусые волосы и очень изящная фигура. Была она в платье. На ногах — тапочки. Волосы заплетены в косу. Она отошла от мальчиков к палатке и, встав в её тени, украдкой вытерла глаза платком.

Не зная почему, я поднялся и, опираясь на костыль, подошёл к ней. Мне было её ужасно жаль! Подчинившись некоему инстинкту, я спросил.

— Что-то случилось? Хочешь прогуляемся? — Она вяло на меня глянула. Заметив костыль, мою хромоту, худую фигуру, стриженую голову, запнувшись, тихо произнесла.

— Л-л-ладно... Давай... — Несколько шагов мы прошли молча, провожаемые взглядами расходившихся мальчиков, с которыми она только что стояла у палаток.

Лора перешла в десятый класс, так она мне сказала. Заметила, что приехала в лагерь, потому что у неё дома, в Краснодаре, никого всё лето не будет. Отец — военный моряк. Мать — журналистка. У всех дела... Сидеть в четырёх стенах не хотелось.

О стычке с одноклассником ничего говорить не хотела. Только заметила, что парень — Андрей, на грубость которого она обиделась — и в самом деле учился с ней в одном классе. Несколько шагов снова прошли молча. Я стал рассказывать девушке о черепахе, которую я вчера нашел и отпустил. Она слушала мою болтовню о драке двух мальчишек в нашей палате, о книге, которую я читал и был ею очень

увлечён. Она её тоже читала и мы живо обсудили прочитанное. Дошли до выхода из территории лагеря. Я понял, что идти мне стало очень трудно. Шёл я с одним костылём и всё ждал, когда она спросит о моей болезни. Было настолько естественно поинтересоваться, почему я так хромаю и что со мной случилось, что я уже покорно был готов к подобным вопросам. Но Лора не спрашивала. Она говорила совсем о другом. Я узнал, что её отец — работает в Севастополе, хотя она живёт с мамой в Краснодаре. Уточнять я ничего не стал и, постепенно, уже заметно теряя силы, стал передвигаться совсем медленно. Лора спохватилась и осторожно спросила.

— Ты, наверное, устал? — Я молча кивнул. Тут раздался звук горна, зовущий к ужину. Мы отправились назад. Лора подошла ко мне вплотную и предложила опереться на её плечо. Сильно стесняясь, я подчинился. Мы уже веселее зашагали к территории лагеря. Доведя меня до столовой, Лора тепло попрощалась и побежала к своим палаткам...

Я отчётливо помню лицо девочки. Голос того парня с нервным лицом. Наш разговор и мою смущённость, когда она подставила своё плечо, помогая мне идти. У меня остались теплые впечатления от короткого общения с этой девочкой, душа которой была наполнена глубоким сочувствием, теплом, а главное правдивостью в оценке поведения парня, который рассказывал свою историю, не стесняясь в выражениях и жестах, столь болезненно ею воспринятых.

Искренность, с которой Лора общалась со мной, так и осталась примером тех возможностей, которыми располагает личность и которые мне бы хотелось видеть в случаях моего общения с девочками...

...К концу лета 1953 года в Краснодар приехала бабушка Надя — мать моего отца. Я не предполагал, что этот приезд так сильно огорчит её сына. Но причины к тому были. Увидев халупу, в которой мы жили, бабушка, которая выглядела, как аристократка, сразу же начала её критиковать,



Зинаида и Олег Юргановы
Краснодар 1953 год

призывать родителей вернуться в Баку.

Моя мать была склонна к возвращению в Азербайджан. Она соскучилась по родне, близким подругам, жившим в Баку. К тому же, как мне кажется, она не представляла перемен, происходивших в столице Азербайджана после смерти Сталина. Ей казалось, что арест, суд и расстрел Багирова, о чём она узнала по радио, после расстрела Лаврентия Берии, даст ей шанс устроиться на работу в Бакинский Исполком. Почему она так предполагала? Бог знает!

После долгих разговоров, порой весьма громких, женщины решили, что моя мать поедет в Баку с бабушкой и Сашей – моим младшим братом, а я останусь с отцом в Краснодаре. Согласие отца, отпускавшего жену в Баку, было мучительным компромиссом. *«Если ты соскучилась по родне – говори он – езжай, но, заодно, присмотришь повнимательней к тому, что в Баку происходит!»* Бабушка предложила невестке жить в её квартире на Низами 28, а сына просила,

чтобы *«...подумал хорошенько над перспективами жизни в Краснодаре – настоящей провинциальной дыре. А если что удумаешь, приезжай, моя квартира будет пристанищем для вас всех...»*

В свои годы я не мог вмешиваться в семейные разборки, не понимал, чем руководствуются взрослые, споря друг с другом. Только теперь я осознаю, как тяжело переживал отец властные фантазии своей матери и не очень продуманные желания жены, заставившие его принимать решения, подвергшие риску его карьеру в Краснодаре.

Мать в своих заблуждениях была слишком категорична. Если учесть тяжесть быта, нищету, скученность и большую разницу стиля жизни и облика городов Краснодара и Баку, её можно было понять. К тому же сложностями провинциальной жизни и отсутствием работы она была очень раздражена. Конечно, тот факт, что я никак не мог выбраться из клещей болезни сильно её удручал. Да и малыш-брат требовал постоянного внимания, помимо меня – больного подростка.

То были непростые годы жизни, но отец делал всё, что мог! В ситуации, в которой он оказался в Краснодаре, надо было набраться терпения. Научиться сносить все невзгоды. Работать не покладая рук. Видеть рядом с собой такого же человека, готового идти на издержки от неустроенной жизни, которая была у множества трудяг, таких же, как и он. В отличие от матери, отец был готов ждать от жизни в Краснодаре лучшей доли, а главное, верил в заверения своего морального «гуру» генерала в отставке – М. Ф. Тарасова. Тот реально помогал ему адаптироваться к жизни на разрушенной войной Кубани...

...Как и все мои сверстники я ходил в школу. Однако, перед уходом, мне приходилось тщательно перевязывать бинтом дырку от прорвавшегося абсцесса с внутренней стороны правой бедренной зоны. Придя из школы, я снимал повязку, выбрасывал пропитанную гноем салфетку и тут

же накладывал новую повязку. На это уже не обращал внимания, ни я, ни мои родители. Все устали... Наконец, мать взяла Сашу и уехала в Баку.

...Я остался с отцом. В школе моим главным желанием было – почаще видеть девочку по имени Ира, в которую я... *влюбился*. Нет, с Виноградовой Ирой у меня не было никакого *романа*. Более того, я не мог похвалиться тем, что с её стороны чувствовал хотя бы малейшую отзывчивость. Я оставался низкорослым, хромым, однако, постепенно становясь всё более крепким мальчишкой. Тем не менее, на ногах я *стоял* еще очень слабо. Это заставляло меня активно заниматься спортом, который увы! не был мне доступен. Слишком глубокие разрушения произошли в моём организме, а сам ресурс роста тела пока оказался относительным. Противоречие возраста заключалось в том, что с одной стороны я стремился внешне догнать своих сверстников, причём я выбирал в качестве образца типажи благополучные, которые к четырнадцати или пятнадцати годам выглядели более чем привлекательно, с другой – мой внутренний *сексуальный компас* устремлял *магнитную стрелку* на противоположный пол, который неумолимо становился источником моих тайных волнений. При этом, я не мог ни с кем из моих школьных или дворовых товарищей *прилично* разговаривать на эту тему, потому что оставался носителем такого телесного уродства, что каждый, кто мог услышать от меня нечто *эстетическое* о девушках, смотрел на меня с удивлением. В тринадцать, четырнадцать и пятнадцать лет я переживал в своей душе разные степени состояний «бури и натиска», оставаясь при этом физически очень неразвитым и даже уродливым существом.

Передвигался я с одним костылём, иногда с тростью. Правда, сидя, я мог внимание девочек привлечь своим лицом, в котором не было следов *банальной* пубертатности. Например, прыщей. Я понимал, что выгляжу привлекательно.

Однако, стоило мне встать... Пройти два-три шага... Я ментально обретал беспомощность...

...В 42-й краснодарской школе, где я учился, мне удалось выровнять свою успеваемость по многим предметам, но я оставался в числе слабых учеников из-за немецкого языка, который упорно и тупо игнорировал. Дело доходило до смешного. Учитель, доброта которого была просто безграничной, не вызывал меня к доске по полгода, а то и год, оказывая мне медвежью услугу. Наверное, он полагал, что тем самым он спасает меня от мучительных испытаний. Если он и вызывал меня, то самая лучшая оценка, которую я мог получить, была *тройка*, хотя всему классу было ясно, что ответил я на очевидные *два балла*. Все мои усилия исправить положение с немецким ни к чему не приводили.

...Мои симпатии к Ирине Виноградовой – отличнице, старосте класса – развивались *мучительно*. Проявлять интерес к ней – как мне казалось – было с моей стороны просто *неприлично!* То есть, я не имел на это право! И хотя я очень старался хорошо учиться – у меня... ничего не получалось! Тогда я попытался добиться внимания Виноградовой иным путём. Например, предложил нашей классной руководительнице сделать стенную газету, в которой хотел рассказать о жизни нашего коллектива. Она очень обрадовалась! Я начал приставать к отцу – «*помоги...*». Тот нехотя согласился и мы почти полночи просидели над широким листом чертежной бумаги.

На верхней линейке отец красиво написал название газеты: «*Семикласник*». В написании этого слова, отец не обратил внимания на ошибку, а мне было не до того, потому что он рисовал весёлые карикатуры, рассказывающие о невинных проделках моих одноклассников и моих тоже. К ним мне предстояло сочинить веселые, рифмованные комментарии. Меня отец нарисовал с трагикомической физиономией, ожидающим (дрожа) вызова к доске на уроке немецкого

языка. От усталости он почти засыпал над шаржем. Никаких тревог за свою *упавшую* успеваемость я не испытывал, поскольку к моим учебным *недомоганиям* он относился очень снисходительно.

Мать с братом жили уже в Баку на квартире у бабушки. В недавнем письме она сообщала, что устроилась на работу в Баксовет. Судя по всему, всё у неё складывалось неплохо. Я чувствовал себя вполне раскованно, ожидая реакцию Иры Виноградовой и всего класса на мой *подвиг* – *стенную газету*, оформленную руками моего отца.

Стенгазета и в самом деле вызвала в классе большой интерес. У Иры Виноградовой тоже. Конечно, ошибка в названии сильно *потешила* классных грамотеев и учительницу русского языка. Однако, я не унывал. Моего *газетного* авторитета хватило ненадолго. Через неделю её сняли, свернули в трубочку и куда-то сунули...

...Сколько мы будем жить в Краснодаре, разделённые с матерью и братом, я не знал. Каждый день, как обычно, отец уходил на работу, я – в школу. Часа в два я приходил домой, тут же делал перевязку моего незаживающего свища на правой ноге, обедал, делал уроки, а вечером с работы возвращался отец. Обычно, мы общались недолго. Поужинав, отец с газетой засыпал в кресле, а я читал какую-нибудь книгу и жизнь текла своим чередом...

...Однажды в наш класс пришла новая девочка, которую звали Наталья Гончарова. Это была настоящая красавица, не чета Ирине Виноградовой. Я тут же... *безумно* в неё влюбился! Наталья была выше меня, крупновата, с поразительно красивыми глазами и вьющимися волосами. Она была доброжелательна со всеми и я тоже удостоился её внимания. К тому времени я делал, тоже не без участия отца, физический прибор. Он должен показывать *силу* инерции во время произвольного движения шарика, спускаемого по полозьям с верхней точки прибора с попаданием

в короткий круг в центре и замирая в конце. Отец показал мне, как пользоваться политурой, чтобы обработать древесину. Как верно изогнуть толстую проволоку по конфигурации прибора? Следовало сложить два её экземпляра в узкие полозья, точно по размеру шарика. Когда всё было отлажено, достигаемый эффект производил впечатление! Опуская шарик с самой высокой точки прибора, можно было видеть, как он мгновенно оборачивается вокруг кольца в его центре, прижавшись к полозьям и... благополучно достигает конца пути, замерев в углублении.

Когда я принёс прибор в класс, учительница была счастлива. Работал прибор безукоризненно, служа иллюстрацией к её объяснениям физических законов инерции. Наташа Гончарова восторженно смотрела на меня своим *волооким* взглядом и, чувствуя себя *героем дня*, я решился пригласить её к себе домой вместе с подругой, тоже моей одноклассницей.

Как это часто бывает, подруга Наташи, её звали Лиза, была толстой, некрасивой девушкой, которая ни на шаг не оставляла Наташу. Я показал, как обрабатывал дерево, делал из толстой проволоки полозья физического прибора и нам было весело и легко общаться.

Нам никто не мешал: отец – на работе, мать – в Баку. Через полчаса или час я стал прощаться со своими одноклассниками. Провожая девочек, я неловко споткнулся о порог и упал, сильно ударившись лицом о камень, торчавший у порога. Девочки растерялись. Подымаясь и вяло улыбаясь, я вытирал кровь, текущую из ссадины над бровью, бормоча, что всё в порядке... Через секунду девочки упорхнули.

Вернувшись домой и глянув на себя в зеркало я с ужасом увидел мгновенно созревший *фонарь*. Приложил туда холодную тряпку, безумно огорчился и, обессилив, присел на тахту. На душе было так тягостно, что хотелось свести счёты с жизнью. Так впервые, в пятнадцать лет, я осознанно ощутил суицидальные чувства, вольно или невольно

связанные с неожиданным кризисом внешности в пубертатном возрасте.

Подступив к новой границе этого возраста, я и представить себе не мог, что окажусь в самом центре противоречий, которые будут развиваться в условиях, когда моё тело всё ещё остаётся под властью зрелого в моих бёдрах туберкулёза, *сцепившегося* с неведомыми и достаточно могучими силами природы, которые двигали мою психику к биологическому образу развивающегося мужчины...

...За период моих *любовных* переживаний в краснодарской школе пубертатный кризис спровоцировал два или три раза бурный ночной выброс *поллюций* и красочные эротические сновидения. Я впервые *пережил* во сне близость с Наташей Гончаровой. Проснулся в поту, с сильным среднебиением. Ощувив сырость в трусах, я страшно перепугался, будучи уверенным, что разлился гной из моего свища, с которым я всё никак не мог справиться. Но вскоре понял свою ошибку и моё недоумение усилилось ещё больше! Не имея ни малейшего представления о *природе* поллюций, я страшно растерялся! Единственным, хотя и мгновенным утешением в случившемся было то, что я некий миг хранил в памяти следы виртуального акта *наслаждения*, которое *подарила мне* в моём сне Наталья Гончарова. Придя в класс, я едва мог на неё смотреть. Буквально сгорал от стыда и... неслыханной жажды ещё и ещё раз на неё глянуть...

...Отец оказался более зорким, чем я предполагал. Встав очень рано, он заметил, что во сне я вожусь со своим пенисом а, проснувшись, получил от него предупреждение, в котором я впервые услышал слово «онанизм». Это понятие стало ключевым в моём *открытии* той стадии развития организма, который назывался *пубертатностью*! По интонации упреков отца, я понял, что занимался чем-то *неслыханно постыдным*, а главное *опасным* для моего организма. Придя с работы, отец продолжил свой урок и теперь

я узнал, что если не прекращу, как он выразился, *заниматься онанизмом*, меня ждёт не просто расстройство моего здоровья, но и начнутся проблемы *сексуальной функции*, которые приведут к утрате возможности иметь детей. Так впервые состоялся разговор отца с сыном о *сексе*. Моему ужасу не было предела! Мне и в голову не могло прийти, что познания моего отца в области *полового развития юношества* формировались увы! из *малограмотных* источников, и внушаемые мне *утверждения* были, мягко говоря, *необъективными*. Но я им *свято* верил! Несколько лет я бесконечно страдал, когда у меня возникали самопроизвольные выбросы семенной жидкости! Искренне себя корил за несдержанность, *кратко* соглашаясь со своей природной *распущенностью*. Я успокоился спустя шесть или семь лет, прочитав об этом научную литературу. В библиотеках и читальных залах СССР на эту тему был наложен запрет для широкой



Борис Юрганов
1952 год

публики. Мои друзья, студенты-медики, взяв по студенческим билетам книги по сексологии, дали мне возможность ознакомиться с этой проблемой и я хоть что-то стал понимать! С крайней досадой я узнал о *невинной естественности* тех событий, которые пережил в подростковые годы, а *мастурбация*, которой занимаются мальчики всех времен и народов, оказалась *обыденным* явлением у всех пубертов. То был способ избавиться от психо-физиологической *зависимости* созревающих мальчиков, еще не имеющих регулярных сексуальных отношений...

...После возвращения в Баку в начале 1954 года я с родителями жил в бабушкиной квартире. Через день или два, после нашего приезда, она решила меня *проинструктировать*, что нельзя было трогать в её *апартаментах*. Под запрет попадала *библиотека*, накопленная покойным дедом Александром Павловичем Юргановым. Я послушно кивал, *кратко* поглядывая на хозяйку квартиры. Однако, утром, едва взрослые отправились на работу, я, не долго думая, легко вскрыл книжный шкаф и стал оглядывать книжные сокровища моего деда, умершего почти одиннадцать лет назад.

На верхней полке стояли тёмно серые тома первого издания сочинений В. И. Ленина. Рядом, на той же полке, стояли три больших тома сочинений Вильяма Шекспира. Они упирались в правую боковую стенку шкафа. Кто такой Вильям Шекспир в свои неполные пятнадцать лет я не знал, а интерес к сочинениям В. Ленина у меня тогда не проявился. Единственно, что меня очень удивило, замаранная, густо и аккуратно фамилия кого-то из редакционной коллегии, ответственного за выпуск сочинений *вождя* Октябрьской революции. Кто это и почему с ним так обошлись я не ведал и отложил том в сторону. Позже, поглядывая Первую Советскую Энциклопедию, тома которой стояли на нижней полке книжного шкафа деда, я заметил на их страницах такие же аккуратные траурные полосы

под некоторыми коллективными снимками и на отдельных фотографиях тоже. Лет через пять, я сообразил, что затёртая на томе сочинений В. Ленина фамилия, принадлежала скорее всего Г. Е. Зиновьеву, редактору первого издания сочинений *«вождя революции»*. К моменту выхода томов в свет он попал в опалу. Был арестован, потом судим и, *как враг народа*, расстрелян. Почти сразу же его вычеркнул из всех экземпляров книг создателя партии коммунистов, нового пролетарского государства и т.п.

...В феврале 1954 года мне *«стукнуло»* пятнадцать лет. Множество авторов книг, которые стояли в шкафу моего деда, не были мне известны. Флобер, Золя, Бальзак, Гюго, Андре Жид, Мопассан, Цвейг, Фейхтвангер и множество других. Ничего удивительного! Библиотеки санаториев и больниц обычно содержали провинциальный набор советских авторов. К тому же по возрасту мне скорее всего просто еще *не полагалось* знать западно-европейскую классику. Разве что лишь в произведениях В. Гюго не было описания эротических сцен. Кстати, к тому времени я прочитал только его небольшой рассказ «Гаврош»...

Просматривая книжные залежи я неожиданно, скорее даже случайно, обнаружил на нижней полке шкафа, в самой его глубине, три нарядных тома с красивыми золотистыми вензелями в оформлении: «Мужчина и женщина», 1912 года издания. Эти книги, напечатанные по правилам старой российской орфографии, приковали моё внимание и *надолго* стали предметом моего самого пристального изучения. Трёхтомник был прекрасно иллюстрирован, с большим количеством роскошных фотографий и превосходно написанных статей об истории Эроса, теории секса, культуре межполовых отношений во всех цивилизациях и странах мира. Пятнадцатилетний, активно развивающийся *пубертат* впервые получил возможность читать то, что его остро интересовало!

Часа три или четыре я провёл у раскрытого книжного шкафа, изучая его содержимое. Я ничем не рисковал, целый день был в моём распоряжении – взрослые рано уходили на работу, а я, отлёживаясь после утомительного переезда из Краснодара в Баку и пока еще не оформившись в школу для продолжения среднего образования, *наслаждался свободой*. Наконец, взяв том Мопассана с романом «Милый друг», потому что там были завлекательные иллюстрации целующихся пар, жадно стал читать...

Между тем, моя свобода окончилась быстро. Через неделю мать записала меня в 83-ю среднюю школу города Баку, куда я пошёл в восьмой класс. Ничего интересного в классе я не обнаружил. Всё было точно так же, как в моей первой 172-й, Бакинской, затем в 42-й в Краснодаре. Гораздо интереснее стало, когда к нам в класс пришла Светлана Савельевна – учительница русского языка и литературы. Но должно было пройти некоторое время, пока я не привык к обычной школьной рутине большого столичного города Баку. Ходил я с одним костылём, ощущая боль в ногах при хождении или сидении в классе и дома за уроками. Но после занятий в школе у меня было два или три часа. Быстро пообедав, я ложился на роскошный, но многоголосно стонущий диван деда, стоявший рядом с книжным шкафом и застав, запоем читал западно-европейских авторов XIX века. Моя увлеченность чтением несколько раз меня подводила. Услышав приход с работы моей бабушки, я едва успевал положить книгу на место и неслышно закрыть шкаф. Пока она снимала калоши, ставила зонтик, снимала плащ или пальто, вешая его на вешалку в прихожей, я успевал поставить книжку в шкаф, бесшумно закрыть дверцу и лечь на диван, искусно изображая, что дремлю. Соблюдать конспирацию я научился неплохо...

...Перечитаны все книги Мопассана и мои чувства пубертата возбуждены. Содержание «Пышки», «Милого друга»,

«Жизни», «Пьера и Жана», «Сильна, как смерть», «Под солнцем» то есть всё, что я прочитал в собрании сочинений великого французского литератора, изданных с 1936 по 1939 год, оказавшихся в библиотеке моего покойного деда, вызвали мою телесную *взволнованность* и яркий душевный восторг.

Такой реакции не вызвал В. Гюго, зато Гюстав Флобер, точнее его «Мадам Бовари»... Этот роман меня просто ошеломил! Я никогда не думал, что история женщины могла меня так захватить. Стал искать *продолжение* этого романа. Я понимал, что занятие это – бессмысленное, поскольку главная героиня уже мертва, но найдя два романа Г. Флобера: «Воспитание чувств» и «Саламбо» стал жадно их читать. Однако... Они не произвели на меня *никакого* впечатления.

По своему возрасту я не мог подолгу оставаться во власти событий, которые захватывали меня в момент чтения романов. Да, они крепко держали мои чувства, я искренне переживал всё изложенное в художественных текстах, кстати, превосходно переведённых с языка оригинала на русский. Глубина чувств героев, кипящие страсти, драматические события, захватывающие людские судьбы я *обнимал* скорее эмоциями, чем разумом. Однако, этого было достаточно, чтобы я снова и снова был готов *хватать* новую книгу, нового автора, совершенно мне неизвестного, чтобы искать в ней нечто подобное тому, что я пережил, завершив только что прочитанный роман.

Оноре де Бальзак меня не впечатлил. Хотя я брался читать «Блеск и нищета куртизанок», «Отец Горио», «Утраченные иллюзии», «Гобсек». Устав от многочисленных описаний я не дочитывал эти романы до конца. Длинные отступления казались мне скучными. Скорее всего, я просто не дорос до произведений Оноре де Бальзака и отложил чтение его книг. Мне пригодилось чтение книг великого французского классика в университете, когда на семинарах

по классической литературе XIX века я блистал тонкостями пересказа его романов, запомнив всё, что удалось прочитать.

Взявшись за роман Стендаля (Мари-Анри Бейль) «Красное и черное», осмысливая драматическую историю Жюльена Сореля, я был просто потрясён судьбой главного героя. Бесконечно сочувствовал ему. Осуждал за импульсивность поступков и наконец стал... *отождествлять* себя с ним. Я нашёл в шкафу деда второй роман Стендаля «Пармская обитель», увлекся чтением, но впечатления, оставшиеся от прочтения предшествующего романа, долго меня не оставляли. Снова и снова я брался читать «Пармскую обитель», но события, описанные там, не очень тронули моё сердце. Совсем не так, как это случилось при чтении романа «Красное и черное».

Чтение Эмиля Золя – «Жерминаль», огромного романа Роже Мартена дю Гара «Семья Тибо» целиком меня захватили. Хотя... я мало что понимал в описанном! Однако, романы были настолько блистательно переведены с французского, что музыка текста меня просто пленяла!

Несколько раз я откладывал Вильяма Шекспира. Вкусы пятнадцатилетнего мальчишки, только – только приблизившегося к шестнадцати годам жизни, оказались беспомощными перед грандиозной поэзией английского драматурга в переводе незабвенного Михаила Лозинского. Трагедия «Ромео и Джульета» показалась сказкой, а «Король Лир» вызывал тоску. Лишь просмотрев несколько экранизаций произведений Шекспира, я снова обратился к чтению его драм и трагедий. Через четыре года, изучая в Саратовском Университете его творчество, я по-настоящему начал понимать великий смысл его творений! Воистину – каждому *овощу* свое время!

Как *заговоренный*, в бешеном темпе, проглатывая за день треть книги или даже половину, я не скрывал слёз, особенно, читая Стефана Цвейга. Его рассказы просто сводили

меня с ума! «Письмо незнакомки» и «Двадцать четыре часа из жизни женщины» так и остались в моём представлении шедеврами, которые навсегда вошли в мою память, оставив глубокий, *чувственный* след.

Повзрослев, посмотрев фильмы, снятые по этим двум рассказам, я убедился, что мои ощущения стали гораздо отчётливее, настолько точно выражены были актёрами переживания героев, выписанные писательским гением С. Цвейга.

Когда я работал над романом своей покойной жены Тани «Автопортрет любви без ретуши», я нередко признавался себе в том, что моя собственная болезненная страсть во многом была сходна с теми чувствами, которые выразил австрийский писатель в своем рассказе «Письмо незнакомки»...

Я прочитал за год или полтора всё, что было мне доступно в книжном шкафу моего деда. Моя благодарность была бесконечной за его отменный вкус. Прочитав эти книги, я редко к ним возвращался. Чтение такой литературы требует совершенно особой атмосферы, которая возникает скорее случайно, как у меня, чем по навязанной причине. Если бы от меня кто-то постоянно требовал пересказов, неких оценок прочитанного или упрекал бы за несвоевременность чтения *такой* литературы, наверняка, я не испытал бы пережитых ощущений, буквально впиваясь в страницы, жадно поглощая *эти* книги.

Приближаясь к сравнительно современным авторам, книги которых находились в шкафу деда, таким как Анри Барбюс, Ромен Роллан, я стал «притормаживать» скорость *проглатывания* этой литературы. Роман «Огонь» Анри Барбюса не оставил мне шанса дочитать его до конца, хотя найденная в шкафу его статья о И. Сталине – произвела впечатление, но не надолго. Я почти полностью забыл о ней. Вспомнил лишь теперь, в связи с тем, что заговорил и Ромене Роллане. Его короткая повесть «Пьер и Люс» надолго

го врезалась в память. Она заставила меня воспроизвести сюжет почти полностью, когда я работал над своим романом о старшем сыне, родившемся в браке с Татьяной Юргановой, который *предал* меня. Едва я вспомнил повесть «Пьер и Люс» Ромена Роллана, судьба моего сына, по сравнению с романтической трагедией Пьера, показалась мне настолько *примитивной и жалкой*, что страницы своего романа я уничтожил...

«Кола Брюньон», книга того же французского романиста, оказалась в шкафу деда, с иллюстрациями знаменитого в тридцатых годах советского графика Е. А. Кибрика. Его «Ласочка» с лукавым взглядом и двумя вишенками в зубах, буквально заворожила меня. Я не представлял облик молодых француженок, не знал какими они могут быть в двадцать лет! По иллюстрации Кибрика её образ представлялся мне скорее со славянскими чертами. Девчонка из городка Кламси, откуда Ласочка была родом, будившая страсти Брюньона, вовсе не казалась мне француженкой! Оно и понятно! Юных баловниц из Кламси, что в центре Бургундии, я никогда не видел... Я даже пошёл на неслыханную дерзость и вырезал эту иллюстрацию из большой, нарядной книги и сохранил её на двадцать лет. В Минске у меня на письменном столе я держал эту вырезку под стеклом, любясь увлечшим меня женским образом, работая над сценариями своих телепрограмм...

Когда я вспоминаю «великое чтение» с января 1954 по декабрь 1955 года, даже строгое запрещение бабушки прикасаться к книгам оказалось мне «на руку». Страх, потерять уникальную привилегию, подстёгивал меня, заставляя читать, читать и читать!

На чтение трёхтомника «Мужчина и женщина» я потратил почти год жизни. Много позже эти тома стали частью моей личной библиотеки. Бабушка подарила мне трёхтомник в 1980 году, откликнувшись на мою просьбу. Отказать она

не решилась. Её подруга, путешествуя по Белоруссии, где я жил в то время, заехала ко мне в Минск и передала эти книги.

Поспешность, с какой я в подростковом возрасте *проглатывал* их, помешала мне заметить дарственную надпись деда, сделанную своей жене. Только получив эти книги в личное владение, впервые неспешно раскрыв в своей минской квартире первый том, я с изумлением увидел строки, написанные удивительно красивым, скорее даже изящным почерком Александра Павловича Юрганова: «*Дорогой Наденьке в день её двадцатипятилетия с самыми нежными чувствами...*». Далее следовала витиеватая подпись её супруга. Разумеется, я был счастлив, получив эти три тома в подарок. Пришлось подчиниться республиканским властям, потребовавшим сдать «*раритет*» в Национальный музей Белоруссии, когда я уезжал в США. Наверняка, трёхтомник «Мужчина и Женщина» пылится сейчас в его запасниках...

Моё самообразование всё-таки развивалось скачкообразно. В наступившем шестнадцатилетии я закончил *поглотить* тома западно-европейской классики. В образовавшейся паузе возникли новые интересы и желания, но сам процесс чтения так меня захватил, что остановиться я уже не мог. Мне случайно попал в руки журнал «Новый мир» с фрагментами повести Дудинцева «Не хлебом единым.» Чтение увлекло меня и я стал искать продолжение. Это привело меня в библиотеку и там журнал «Новый мир» стал для меня неким внутренним обязательством искать советские публицистические новинки, чтобы найти ответы на вопросы, постепенно начинающие уже «*вылупляться*» в моём сознании. Я начал знакомиться с литературой прежде всего, *просачивающейся* в журнал Твардовского. Но творчество самого поэта А. Твардовского заинтересовало меня ничуть не меньше, чем публикации его журнала. Я прочитал его «Страну Марвию», «Дом у дороги», «Василий Тёркин». Необычайно доступная стилистика его произведений запе-

чатлилась в моих чувствах и памяти с отчётливой ясностью эмоций и переживаний.

Повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» я увидел в журнале Твардовского, но прочитать не успел – мы уезжали уже из Баку. Вдумчиво прочитать пришлось много позже, потому что ажиотаж вокруг повести был такой, что пробиться к журнальному тексту было немислимо! Появившись массовым тиражом в издательстве «Роман-газета» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» стала, наконец, мне доступна...

Если продолжать мысль о моей *читательской библиотеке*, то уместо заметить, что в годы юности и наступившей молодости, я *перечитал* книги маститых советских авторов – К. Симонова, А. Фадеева, Ф. Гладкова, К. Федина, Н. Островского, Бориса Горбатова, Мариэтты Шагинян, Юрия Богатырева, Галины Николаевой, Александра Гельмана и всех иных, произведения которых были опубликованы в конце пятидесятых до середины восьмидесятых годов...

Между тем, в моей памяти так и остались *непревзойдёнными* впечатления от западно-европейской классики XIX и начала XX века, затем произведения русской классической литературы того же периода: Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Тургенева, А. Аксакова, Н. Лескова и других. Признаюсь, что романы М. Шолохова «Тихий Дон», А. Фадеева «Разгром» его же «Молодую гвардию» я прочитал с увлечением, как и романы К. Симонова, К. Федина, А. Леонова, А. Серафимовича, Б. Горбатова, С. Злобина, Ф. Гладкова и многих других. Однако, они *остались за бортом* моих глубинных жизненных переживаний. Почему? Весь секрет, скорее всего, в долгой моей жизни, которая вместила в свои границы гибель государства, которому отдали свои силы и жизнь, талант и душевные переживания перечисленные *солдаты духа*, продукт которых – книги – так и не суме-

ли убедить миллионы рядовых читателей не направлять *разрушительную* силу их восприятия и чувств, иначе говоря *тяготы сомнений* к стенам той *крепости*, которую создавали политические мифологи – вожди и их спутники – *певцы*. Всё оказалось построенным на песке!

...Моё состояние здоровья, плюс проблемы с учёбой, стихийное чтение художественной литературы из дедушкиного книжного шкафа, не слишком располагали к развитию любопытства к политике, тем более к любознательности. Процесс над Багировым и последующий его расстрел оставил равнодушным. Позже, через год-два интерес снова возник, но спонтанно, вызванный эмоциональными признаниями матери, случайно увидевшей некоторые официальные бумаги процесса, попавшие в архив Бакгорисполкома.

По радио изредка передавали сведения о начале реабилитации крупных политработников, репрессированных при жизни Сталина, а теперь, после его смерти, признанных властью убитыми *незаконно*. Фамилии лидеров страны – Маленкова и Хрущёва были на слуху постоянно. Однако, в чём был *сыр-бор* между этими двумя деятелями в свои четырнадцать и начинающиеся пятнадцать я не очень понимал. Помнил только о том, что Маленков призывал развивать легкую промышленность, чтобы насытить полки магазинов ширпотребом, облегчить жизнь людей, а Хрущёв настаивал на необходимости продолжить развитие и восстановление тяжёлой промышленности, чтобы крепла обороноспособность страны. Эти *страсти-мордасти* представителей государственной власти после смерти самого главного из них – И. Сталина были недостижимы для ума подростка.

Между тем, атмосфера как-то сгущалась вокруг произносимых по радио фамилий: Хрущёв, Булганин, Берия, Маленков. Расстреляли Лаврентия Берия. За власть шла острая борьба. *Агитпроп* и в Азербайджане, и на всём пространстве СССР старался *разруливать* симптомы кризиса.

Читателям газет и журналов, радиослушателям, первым зрителям телепрограмм, обалдевшим от *гостя* современной цивилизации, *Агитпроп* умело *внушал*, что в стране царит деловая партийно-политическая активность всего народа. Государство продолжает двигаться *вперед*, восстанавливая разрушенное войной народное хозяйство, отстраивая города, повышая жизненный уровень граждан.

Мне не скем было осмысливать происходившие в стране события. Не сложился круг общения. Закадычных друзей я не приобрёл ни в Краснодаре, ни в Баку. Да и сами события, происходившие в стране, не вызывали ажиотажа, хотя бы отдалённо напоминавшего, например, смерть Сталина. В наступившие пятнадцать лет круг общения со сверстниками-одноклассниками, соседями по двору в доме бабушки, где мы жили около двух или трёх лет, не был связан с потребностью хоть как-то *осмысливать* всё, что читалось в газетах, слушалось по радио.

В отрочестве я не был готов отчётливо осознавать *справедливость* или *несправедливость* преследований сотен тысяч своих сограждан. Лишь *позднее*, когда мне исполнилось девятнадцать или двадцать один год я что-то начал осознавать. И то далеко не в полной мере, с большим трудом, пытаюсь осознать причины преследования, например, врачей-евреев.

Меня охватывал ужас, когда я слушал по радио голоса дикторов, пропитанные уверенностью, представлявших аргументы, факты. Не верить в них было просто невыносимо! Поэтому и пробуждалось чувство обиды, даже ненависть к тем фамилиям, которые произносились по радио, печатались в газетах, как свидетельство истины, в которую надо *просто верить*, не сомневаясь ни на минуту. Судьба моей болезни и роль врачей, утверждавших о природе её происхождения, заставляли и меня верить в те небылицы, которые излагали дикторы, называя фамилии врачей-евреев. И хотя речь шла о государственных деятелях, здоро-

вью которых они нанесли вред, я верил, что то было общей тенденцией, захватившей и меня! Я жил в Азербайджане, меня лечили врачи-азербайджанцы, но и среди них было немало медиков-евреев, они не могли справиться с моей болезнью, но теперь я *подхватывал* версии *Агитпропа*, который подсовывал мне ответы на проклятые вопросы, которые меня донимали.

Сталин умер. Мне исполнилось четырнадцать лет. Агитпроп почти сразу же изменил политический курс! Теперь меня убеждали по радио в ошибочности представлений, которыми я уже *начинал* руководствоваться! Невольным олицетворением этого политического *разбоя Советской власти* была судьба Зиновия Давидовича Штильмана. Разобраться, где ложь, а где правда было не по силам! Я не мог даже *приблизиться* к истине, потому что её первая инстанция была – Советская власть, которая сначала разоблачала врагов народа для *моего же блага*, потом восстанавливала правду с той же целью! Я не обладал природным опытом вдумчивого восприятия политических событий, сведения о которых, уже измененных после смерти Сталина, начинал публиковать всё тот же *Агитпроп*.

Практика *зомбирования* населения, жившего на громадных просторах СССР, начиналась с раннего возраста. *Нужную* политической власти реакцию народа закладывали в *конструкции* политических событий партии и правительства, представленные в средствах массовой информации.

Перемены в моей жизни, наш с отцом приезд в Баку из Краснодара вытеснили тягостные переживания, связанные с недавними событиями в стране. Мои новые увлечения, особенно бурная стихия чтения, с головой захватившая меня, избавили от гнёта бездумных переживаний времени отрочества.

На исходе моих пятнадцати лет, я учился в школе, которая была неподалеку от бабушкиной квартиры. В нашем

классе было много армян, азербайджанцев, русских, евреев и жили мы в основном мирно. Ко мне никто не приставал, но и с дружбой не лез. Я был замкнут. Пытался учиться более или менее прилично. Ходил на одном костыле и так же подходил к доске. Любимым предметом стала русская литература и сочинения, которые мы писали с аккуратной периодичностью. С той мерой эрудиции, на которую я, пятнадцатилетний мальчишка, был способен, сочинения учили меня выражать свои мысли. Если учесть, что мои одноклассники не отличались особыми талантами, не были азартными книгоочами, стремились писать *пресно*, лишь бы не было ошибок, нетрудно догадаться, как непросто было выражать свои мысли, используя ресурс неродного им русского языка. Я же, не боясь получить низкую оценку, увлеченно излагал свои идеи, и... не слишком заботился о грамотности. У меня всегда получалось парадоксально: «пять» за *собственно сочинение* и «три» за грамотность.

Русский язык, с его многочисленными исключениями и неукоснительными правилами, для меня долго оставался *terra incognita*. Я был большим *специалистом* ставить «авторские знаки». Как мне казалось, запятые нужны там, где они должны быть по моим *личным* представлениям, а не по строгим правилам орфографии. Вот уж чем я сильно забавлял нашу учительницу русского языка и литературы – Светлану Савельевну Ширман. Она, тем не менее, любила мои сочинения за нестандартность мышления и... терпела полное пренебрежение к знакам препинания. Обычно, я получал 3\5, что означало: тройка за грамотность, пятёрка за содержание. Мои сочинения она читала вслух перед классом, не акцентируя внимание одноклассников на том, какую оценку она поставила, а обращая их внимание на *содержательный смысл*, заложенный в моём тексте. Это дорого стоило!

То, что меня понимают и уважают за идеи мне было при-

ятно, хотя, разумеется, никакой революции в содержании моих сочинений не было и в помине! Мои попытки тщательно разобраться в истоках творчества – духовных, социальных – двигали меня к пониманию тайн творчества писателей, которых мы изучали по школьной программе. Иначе говоря, Пушкин и Гоголь, Грибоедов и Фет, а вслед за ними Маяковский, Фадеев, Шолохов и т.п. извлекали из противоречий окружавшей их жизни идеалы, оформляя и вплетая их в собственные художественные или поэтические тексты. Они выражали себя, своё отношение к *формирующейся* при их творческом участии глубинной сущности своего времени. С моими медленно зреющими представлениями о добре и зле, в то время крайне идеалистичными и примитивными, было непросто выразить в сочинениях сложную ткань мировоззренческих противоречий классиков русской литературы. Преподавание гуманитарных дисциплин в то время было подчинено прямолинейным идеологическим штампам, *зжато* дисциплинарными тисками, обойти которые, ради внушения своим ученикам реального смысла духовных процессов XVIII-XIX веков в русской литературе, могла только такой искусный педагог, как Светлана Савельевна Ширман. Она умело извлекала из авторских текстов ключевую проблему, ту самую, которая заставила автора, что называется «*взяться за перо*», выдать протестный стон: «*не могу молчать*». Она учила нас понимать природу писательского творчества, преодолевающего плотные частоты тяжких лет социального гнёта, просочиться через которые дано лишь немногим. В 1955 году это была молодая, стройная, очень милая женщина, лишь совсем недавно окончившая Ленинградский университет...

...Тайком я написал небольшой рассказ, который был моим вторым литературным опытом. Авторство в пятнадцатилетнем возрасте – состояние тяжкое. Не думаешь о написанном, как о чём-то отвлеченном, хотя сюжет

для меня был более чем абстрактным. Я готовился вступить в комсомол и решил рассказать о героическом поступке юноши, почти мальчишке, который, спасая девочку из горящего дома, уронил в пламя пожара свой комсомольский билет. Вытащив девочку из огня, он, заметив пропажу билета, тут же рванул назад, в горящий дом. С риском для жизни, найдя билет, он чудом остался жив, выскочив из пекла. Сейчас, оценивая этот «творческий» акт моей биографии, могу сказать, что в нём был след неистово пропагандируемой Агитпропом героики повседневности.

Жизнь в Баку, большом городе, по своему красивом, со множеством оригинальных зданий, в период, когда я уже научился ходить с одним костылём, передвигаясь в пространстве дома, в котором я жил, по двору, на улице, производила на меня впечатление. Переживания еще не оформлялись в сложные эмоции, не составлялись в глубокие, содержательные ощущения. Я только начинал считать, что в свои пятнадцать лет уже многое могу! Но в сущности я оставался полным инвалидом, лишенным возможности пройти даже 100-200 метров со своим костылём, быстро уставая, прислоняясь к стенам зданий, отдыхая от боли подмышками и снова куда-то двигаясь. Однако, это заставляло меня подсознательно *удобрять* мир моего подросткового «Я» для выращивания образцов поведения, привлекательных для моего возраста, *конкурируя* с реальными возможностями моего тела. Вместе с тем, о героическом освоении целины, «великих стройках коммунизма» и прочих делах молодёжи я слышал по радио каждый день. Не *подхватить* эти информационные бациллы СМИ, выращенные Агитпропом в возрасте, когда ты еще фактически мальчишка – было просто невозможно. Вот я и заразился...

...Светлана Савельевна приветливо откликнулась на мою просьбу прочитать и оценить моё «произведение». Взяв рукопись домой, она обещала быстро её посмотреть. Пример-

но через неделю, она пригласила меня к себе домой в гости, чтобы поговорить о моём рассказе в *неформальной* обстановке. Так я оказался в её семье. Она познакомила меня с матерью – Марией Адамовной и отцом – Савелием Ефимовичем, усадила за стол, угостив множеством вкусностей, которые в изобилии испекла её мать.

В окружении членов семьи Ширман смущался я недолго. Атмосфера была настолько тёплой, что я очень скоро почувствовал себя уютно и раскованно. В свой первый приход я сразу и близко сошёлся с хозяином дома. Невысокого роста, седой старик, с необыкновенным чувством юмора, очень разговорчивый, Савелий Ефимович, был любимцем семьи. Он до фанатизма увлекался конструированием и кустарным изготовлением для своей квартиры... люстр. Едва дождавшись, когда наш «перекусон», наконец-то, завершится и женщины начнут мыть посуду, он заманил меня в большую комнату, где на столе лежало множество деталей и фрагментов новой *грандиозной* люстры, которую он делал для холла своей квартиры.

Семья жила в самом центре Баку, в старой, но очень просторной квартире, идеально чистой стараниями жены Савелия Ефимовича – Марии Адамовны. Она часто курила, за что её, не переставая, бранили и муж, и дочь. Как мне показалось, ей эта шутивная ругань нравилась. На грозные реплики мужа и дочери она пугливо прятала папироску, клятвенно обещая, что *последней* будет именно эта! От табачного дыма меня и утащил в большую комнату Савелий Ефимович.

Я был восхищен небольшой коллекцией люстр на широком столе, стоявшем у окна, которую хозяин дома показал мне. Он, словно мальчишка, радовался моей реакции и, заговорщицки приглушив голос, проговорил, что: «...*вот эта, которую я сейчас делаю, будет самой гениальной!*» Неожиданно Савелий Ефимович, пристально на меня посмотрев,

спросил решительно и громко.

— Тот рассказик, который ты Светке на суд отдал, твое сочинение?

Я покраснел. Я не ожидал такого вопроса в лоб. Растерялся...

— Ага! — Весело закричал Савелий Ефимович, обогнув стол, подошел к паяльнику и включил его.— Значит твоё! Нет, ты не подумай... Разрешение почитать я спросил у вашей *училки*, моей дочери.

Приблизив ко мне своё лицо с гривой седых волос и очками на лбу, он почти прошипел, брызгая слюной мне на щеки.

— Олежек! Милый мой Юрганчик! Ну какого чёрта ты пишешь такую ерунду!? — Я оторопело молчал. Сев за стол, Савелий Ефимович начал что-то паять.

— Конечно, ерунду! — Повторил Савелий Ефимович. Он отложил паяльник. Вытирая руки старым полотенцем, говорил уже не столько о моём «*произведении*», сколько вообще о *другом*. Услышанное заставило меня буквально онеметь! Он говорил, что комсомол это организация, которая была в тридцатых годах полностью разгромлена Сталиным. Что половина, если не вся верхушка руководства этой молодёжной организации, была посажена в лагеря, осуждена и расстреляна. Потом в пекло, вслед за ними, пошли и «*старшие товарищи*»...

Я молчал, подавленный услышанным. В комнату вошла Светлана Савельевна и присела на стул неподалеку от стола, за которым, непрерывно рассказывая мне о репрессиях, сидел её отец.

— Если бы я сам не попробовал тюремной баланды — говорил Савелий Ефимович — вряд ли я что-то мог тебе сказать, но я, чёрт подери, десять лет просидел на Колыме и за что? — Он закашлялся. Видя его нешуточное волнение, дочь встала, полуобняла отца и тихо попросила угомониться. По-видимому откровения Савелия Ефимовича были в семье обычным делом и никого не удивляли. Острота пе-

реживаний членами семьи его ареста, многих лет лагерной отсидки, редких писем как-то притупилась, но в душе старик всё еще нёс печать тяжких испытаний. Теперь, видя меня, автора рассказа-агитки, он решил преподать мне урок неведомой мне *истины*, горькой до тошноты.

Я провёл в доме Светланы Савельевны часа четыре. Она спокойно и очень логично поведала мне о ничемности моих литературных усилий, не забыв, тем не менее, сказать, что мне еще рано «...искать сюжеты...», а лучше всё-таки научиться грамотно писать. Но уж если неумоготу и хочется что-то написать, то лучше «...учиться у классиков».

До своего окончательного отъезда из Баку в Краснодар я был частым гостем в доме Светланы Савельевны Ширман. Каждый свой приход я неизбежно попадал под бурное обаяние хозяина дома, который вознамерился мой кругозор расширить. Орудя плоскогубцами, проволокой, стекляшками «*висюлек*», украшавших очередную люстру, которую он сооружал, Савелий Ефимович с увлечением рассказывал мне о древнем Риме, о сути римского права...

...До привлечения к суду «тройки» и отправки в ГУЛАГ, Савелий Ефимович был очень известным в Баку адвокатом. Он вёл в основном уголовные процессы, защищая привлеченных к суду мужчин и женщин, обвиняемых властями за множество мелких проступков, которые *раздувались* в судилище с целью посадить в тюрьму или отправить в лагерь всё новые и новые жертвы. К тому же это были люди, которых привлекали к «*пролетарскому суду*», чтобы показать так называемую *справедливость* народной власти. Савелий Ефимович Ширман в молодости был человеком задиристым, смелым и образованным, чем страшно раздражал Багировское партийное начальство в Баку. В конце-концов его в 1937 году оклеветали и судом беспощадной «тройки» приговорили к 10 годам лагерей...

...Он поражал меня не только своей бесконечной

образованностью, но восхищением юриспруденцией древнеримского государства, которая его самого удивляла бессмертной логикой и мощным величием справедливости, беречь которую обязывалось тамошнее общество, создав для этой цели *великое* право.

Иной раз он рассказывал о быте лагеря, в котором находился, о бесчеловечном обращении с заключёнными надзирателей, о благородстве своих товарищей, их гибели, беспрерывно повторяя, что сам не понимает, как ему удалось выдержать эти жуткие тяготы и вернуться домой.

Когда я начал работать на Бакинском телеграфе, мне уже не удавалось видеться с Савелием Ефимовичем так часто, как хотелось. Последний раз это случилось в 1957 году. Он был энергичен, весел, хотя годы и пережитое согнули его. Мария Адамовна – его жена – умерла, а Светлана Савельевна преподавала в той же школе, которую я оставил, перейдя в вечернюю, которая располагалась неподалеку от Бакинского Оперного театра.

Когда я оказался на дворе дома, где прошло моё детство и увидел разросшийся виноград, который посадил с помощью покойного Али почти шесть лет назад, я пришёл в дом Савелия Ефимовича и рассказал об этом впечатлившем меня событии. Я был очень возбуждён, беспрерывно рассказывая о своих переживаниях, принеся старику мои ощущения редкой жизненной удачи – созерцания плодов своих рук и старания. Такого значительного факта в моей жизни еще не было и я не мог умерить обуявший меня восторг. Савелий Ефимович долго на меня смотрел, лишь изредка отвлекаясь, что-то привёртывая к деталям очередной своей люстры, улыбался, потом встал и подойдя ко мне тепло обнял за плечи. Его сочувствие остановило мой поток эмоций и, смутившись, я умолк. Пришла Светлана Савельевна. Она давно меня не видела, обрадовалась. Стала накрывать на стол, но отец остановил её и заставил меня снова

пересказать так взволновашую меня историю с виноградом. Она слушала, глядя на меня своими большими светлосерыми глазами, тихо кивая в такт моим словам. Помолчали. И тут Савелий Ефимович сказал слова, ставшие напутствием мне на всю оставшуюся жизнь: «...*Дерево ты уже, считай, посадил. Теперь дело за ребёнком и книгой. Ребёнок – часть тебя... Книгу написать тоже следует. Но только хорошую, а главное – честную...*» Через полгода он умер...

...В 1999 году я познакомился в США с иммигрантом из Азербайджана, который пришел в редакцию газеты «Каскад», где я тогда работал, чтобы предложить фотографии, сделанные им для репортажа о жизни нашей общины. Поскольку был он из Баку и оказался моим земляком, мы разговорились... Слово за слово... Оказалось, что Исмаил, так его звали, всю жизнь прожил в Баку и... прекрасно знал Савелия Ефимовича Ширман. Они были знакомы, поскольку Исмаил, будучи подростком, жил в том же доме, что и Савелий Ефимович. После окончания Азербайджанского университета он работал фотокорреспондентом в Бакинских газетах и журналах. Возвращение из лагеря знаменитого на весь Баку адвоката для Исмаила было памятным. Будучи уже юношей, увидел Савелия Ефимовича на улице. В сгорбленном старике – тот приехал из Колымы седой, исхудавший – Исмаил его не узнал. Теряясь в догадках, решил пойти за ним вслед, чтобы как-то удостовериться, тот ли это человек, которого он знал с детства. Помотав его по переулкам, Савелий Ефимович, резко остановился и пронзительно посмотрев на Исмаила неожиданно расхохотался!

— Ах, шельма! Исмайлик, ты? А я то думал, что снова ко мне *гебешник* прицепился! — Рассказывая мне этот эпизод, старик-азербайджанец, с щёткой «кавказских» усов под носом, весело рассмеялся. Славные люди, судьба которых тесно переплетается с нашими, питая неокрепшие души живительными соками чести, справедливости, служению

истине. На исходе моего отрочества я *приобретал новизну впечатлений*, возникающих невольно, стихийно, неведомо как и почему, оставшихся в моей памяти по сию пору...

...Моя бабушка *увлеклась*. Я не знаю, как назвать привязанность пожилой, хотя и весьма привлекательной женщины, к *служителю муз*, обитавшему под сенью здания с колоннами, именованного Бакинской Государственной Филармонией.

Это случилось, когда давно уже утомонились все страсти, связанные с нашим возвращением в город Баку, когда мать уволили из Баксовета и ей пришлось довольствоваться ролью служанки в семье знаменитого бакинского психиатра, имени которого я не помню...

Однажды, присев ко мне на диван, когда я читал книгу, бабушка Надя осторожно спросила меня, как я отношусь к классической музыке? Я растерялся, потому что опыт слушания серьезной музыки у меня был крайне скуден. Я писал уже, что в Прочноокопске, когда мне перепала удача получить детекторный приёмник, я слушал по радио симфонические концерты. Некоторые произведения русской и западно-европейской классической музыки мне очень нравились. Иначе говоря, оставались впечатления, которые я вспоминал, погружаясь в толщу музыкальных звуков, остававшихся во мне на долгие месяцы. Но судить о музыке как-то определённо, конкретно я не мог, потому что слушать её регулярно в свои тринадцать-четырнадцать лет я не имел возможности. По приезде в Баку, когда мне исполнилось уже пятнадцать лет, слушал музыку я редко. Чёрная тарелка, висевшая на стене в бабушкиной кухне-столовой, страшно *шепелявила*, лишая меня возможности получать удовольствие от слушания транслируемой по радио классики. Радио я выключал, едва замечал, что в доме никого нет. Открыв том очередного романа, я отправлялся на свой диван. Или садился за ломберный столик, медленно

переворачивая большие глянцевые страницы трёхтомного фолианта «Мужчина и женщина». И вдруг неожиданный вопрос бабушки... Я ответил, наверное, невпопад.

— Музыку надо любить, — назидательно сказала бабушка, добавив, — Музыка обогащает твою душу... — Я не возражал. В этой мысли неоспоримая истина скорее всего содержалась! Правда, к чему она была произнесена — додуматься я был не в силах. — А давай-ка мы с тобой отправимся в филармонию, — сказала она, заговорщицки прищурившись. — Сегодня там играют шестую симфонию Чайковского и еще... — Бабушка умолкла, затруднившись вспомнить музыкальное произведение какого-то композитора, которое хотела предложить мне послушать. Она подошла к зеркалу, в котором отразилось её увядающее лицо со следами искусных усилий сделать его привлекательным.

— Ну как ты...Пойдёшь? — Бабушка Надя пристально на меня посмотрела.

Составить бабушке компанию я был готов, но меня сильно смущали костыли. Из дома я далеко на улицу не выходил. Двигался с одним костылём, лишь изредка передвигаясь с двумя. Похоже бабушка ход моих мыслей угадала и поспешно произнесла.

— Ты не волнуйся, Алик! Мы с тобой поедem на такси. В зале ты сядешь на стул и музыку будешь слушать сидя. Билеты я уже купила. — Бабушка смотрела на меня со странной надеждой, в которой я успел заметить *тень опасения*, по-видимому от моего возможного отказа идти с ней в филармонию. Я быстро согласился. Дома никого не было. Бабушка аккуратно меня причесала. Проследила, чтобы я надел нарядную рубашку, брюки со складками, туфли, которые она мне недавно подарила к моему пятнадцатилетию. Даже своими духами брызнула на мою голову! Услышав звуки клаксона такси, мы вышли на двор.

Так для меня начался *сезон* слушания классической му-

зыка, открытый моей бабушкой Надеждой Георгиевной Юргановой. Продолжался он почти полгода. Во время концертов на дирижёрском подиуме всегда был один и тот же человек: Ниязи Тагизаде Гаджибеков – главный дирижёр Азербайджанского Государственного Симфонического Оркестра.

Сидя на стуле в первом ряду, обняв костыли, я слушал классическую музыку. Мою неокрепшую душу, честно говоря, она изрядно изматывала. Уставая от растворения в фигуре дирижёра, облаченного в черный смокинг, непрерывно повторяя за ним (*разумеется, про то вовсе и не ведая*) движения его спины, головы, плеч, рук, пальцев, вплетаемых уверенно и властно в податливую ткань музыки, я изнемогал от неё, звучащей рядом, едва ли не в двух шагах от меня.

Проходило время, концерт завершался. Я мгновенно оказывался в убийственной тишине полупустого зала. Бабушка прикасалась к моему плечу – она сидела рядом, смотря невидящими глазами на опустевшую сцену, с которой несколько минут назад ушли музыканты и дирижёр, напоминавший мне громадного орлана размахивавшего черными, просторно раскинутыми крыльями – помогала мне встать и мы медленно брели к выходу. Спустя полчаса я оказывался дома. Опускался на кожаный диван. Осознавал, что сижу я в большой комнате бабушкиной квартиры и почему-то всё еще сотрясаем изнутри мощными волнами симфонической музыки....

Когда, уже в зрелости, я понял, что за роль мне довелось исполнять, сидя рядом с пожилой, аккуратно одетой, по-своему красивой женщиной, она, эта роль, вовсе не показалась мне нелепой или тягостной, хотя невольная моя обязанность *пажа* при пожилой, старомодно одетой *даме*, стала испытанием для моего тела, искалеченного болезнью.

Но, кажется, я понял главное: сам я и звучащая музыка, даже дирижёр (*об этом не подозревающий*) с л у ж и л и чувствам женщины, её поклонению *демону* филармониче-

ского зала, который своими большими широкими ладонями, с нервно танцующими пальцами, властно, неутомно *лепил* невидимую, беспрестанно звучащую *скульптуру*, заполняя своей беспрерывно движущейся *фигурой* каждую меру пространства. Не потому ли до сих пор живы в моём воображении *три грации*: хищный изгиб черной спины Ниязова с угрожающе вздёрнутыми руками над головами покорных оркестрантов, подагрически припухшие суставы бабушкиных пальцев, обнявших виски и я, прижавший к груди маленькие деревянные костылики, на седловины которых опиралась острым подбородком моя бритая голова с большими оттопыренными ушами...

Не скоро я догадался, что эти посещения Филармонии, объясняемые бабушкой необходимостью музыкального просвещения внука и моим родителям, и любопытствующим соседям, таковыми вовсе не являлись.



Олег Юрганов
декабрь 1955 года

Истина была тайной! Она заключалась в том, что Надежду Георгиевну *обаял* демонический облик главного дирижёра оркестра. Она стремилась видеть его, как можно чаще, но не смела выдать своих симпатий.

Усаживаясь со мной в первом ряду просторного и едва заполненного наполовину зала, она *замирала*, устремив взгляд к дирижёрскому подиуму, на который, при медленно гаснувшей люстре, вскакивал дирижёр – высокий, худой, с лицом Кашея. Она вглядывалась в его фигуру, и я обнаружил, что в этой женщине живёт страстная и сентиментальная душа, готовая откликнуться на чарующие или мощные звуки, извлекаемые из инструментов десятками музыкантов, воля которых принадлежала дирижёру с пляшущими ладонями рук. Привязанность бабушки так и осталась безответной и тайной. Наши *вояжи* в Бакинскую Филармонию мы неожиданно прекратили. Однако, время пребывания на симфонических концертах стало для меня истинным *катарсисом*, который охватывал мою душу по воле моей любвеобильной бабушки.

Она убедила своего сына – моего отца – приобрести семье хороший радиоприёмник с проигрывателем. Подарила мне множество пластинок с записями классической музыки, подтолкнув меня к погружению в бездонные глубины любви к симфоническим созвучиям, всегда будившим во мне мощные и нежные чувства...

...Спустя время Надежда Георгиевна увлеклась бородачём и внешне очень импозантным священником. Я даже помню его имя: *отец Сергей*... Иногда, я краем глаз видел, как он увозил её с нашего двора *в свой храм*, где, кстати сказать, я был тайно окрещён в 1945 году...

...Летом пятьдесят пятого года мне было уже пятнадцать с половиной лет. Мы с родителями ездили на каспийский пляж и я попытался немного привыкнуть к пребыванию в морской воде. Я не мог предположить, что научусь пла-

вать едва ли не сразу, как только окажусь в морской стихии, в некотором отдалении от берега, но на мелководье.

Готов признаться, что с моей болезнью я мог бы вырасти капризным недотрогой, с хрупкой психикой и непредсказуемым, нервным нравом. Всё к тому и шло, если учесть мою малоподвижность, непрерывно ощущаемую боль и осторожность, как следствие слабости мышц. Игривые волны моря сбивали меня с ног, но, поддерживаемый водой, я всё-таки шёл, осторожно двигаясь по песчаному дну. Вода моря снимала с бедренных зон напряжение мышц, и стоять в воде было сплошным удовольствием! Облегчение я чувствовал, но не будешь же бесконечно стоять на воде! Следовало научиться плавать. Но как?! В далёком 1946 году в Крыму, я от берега не отходил. Река была быстрой. Дно – в острых камнях. Ходить – очень трудно. В морской воде я чувствовал себя гораздо уютней. Оттолкнувшись от дна, опираясь грудью о воду, я, размахивая руками, *как мне казалось*, вроде бы, *потихоньку* учился плавать...

Однако, мой отец считал иначе. Резкие движения отца, его брутальная бесцеремонность, мускульные выходы хоть и пугали меня, но я кое-как откликался на них. Правда, совсем не так, как мог бы это делать в шесть, семь, даже десять лет. Видя, как я осторожно бреду без костылей по мелководью, он *решил*, что принцип: *чем дольше, тем лучше*, не для меня, если и в самом деле я хочу научиться плавать. Не говоря ни слова, подхватив меня в воде на руки, он шёл шагов десять – пятнадцать дальше и выбрасывал на горб встречной волны, не дав мне опомниться.

Оказавшись на глубине, примерно в мой рост, я отчаянно барахтался, глотая морскую воду. Отец что-то мне кричал, показывая в воде движения руками, но я был в полном отчаянии! Мне казалось, еще минута и я... утону! Непрерывно дёргая руками-ногами, нащупывая дно стопами ног, отталкиваясь от него, чтобы глотнуть немного воздуха,



Олег Юрганов
июль 1954 года

я, бешено вращая руками, пытался удержать голову и тело чуть выше кромки воды и снова глотал горько-солёную воду. Плюясь, фыркая, как щенок, я каким-то чудом доставал дно носками, снова отталкивался, устремляясь вверх, уже вяло шлёпая ладонями по воде, пытаюсь хотя бы секунду удержаться на её поверхности.

Потеряв отца из виду, через несколько секунд я с ужасом чувствовал, как неведомая сила отрывает меня от воды и я взлетаю вверх, лечу в сторону моря и снова плюхаюсь животом о воду, ударяясь лицом в пенный холмик набежавшей волны. Снова перевожу дыхание... Отец подкрался ко мне сзади, но я этого не слышу, поглощенный выравниванием дыхания. И тут он опять подхватывает меня подмышки, поднимает над головой и бросает на крутой бок набежавшей волны. Сквозь струи воды, стекавшей с моей головы, вижу на берегу мать. Она показывает в мою сторону и что-то отцу кричит. Я отчаянно дергаюсь, снова пытаюсь *выплыть*, кручу руками, выплёвывая горько-солёную воду Каспия. Едва чувствую, как пятки опираются о твердь дна, уже предвкушая нормальное дыхание, снова взлетаю над водой, готовый распла-

каться от полной беспомощности. Подхваченный и брошенный отцом в воду, в сторону от берега, я уже на грани истерики. Держусь изо всех сил, не успев произнести ни единого звука. Наконец, тяжело дыша, я выползаю на прибрежное мелководье. Кладу голову на песок и тяжело дышу. Отец, оставив меня в покое, прыгнул в воду и быстро уплыл к буйкам. Через несколько минут его голова стала размером со спичечную *серную* точку, а я, лёжа на прибрежном песке, положив голову на руки, пытаюсь отдышаться.

Лежа на животе мать, всё это время, спокойно загорала, подставив спину солнцу. Ничего необычного не происходило. Минут через десять вернулся отец. Ему было 40 лет. Крепкий, коренастый мужчина. Смуглый, мускулистый. Он превосходно плавал. Был атлетически сложен и, наверняка, убежден в правоте своих действий. Ничуть не сомневался, что учить плавать сына-подростка нужно именно так, как он это только что делал. Мой пятилетний брат играл на берегу в камешки-ракушки. Весело смеялся, когда отец бросал меня в воду, заставлял барахтаться, приучая к движениям, вызволявшим из воды мою голову и тело. Будил мои древние инстинкты, которые заставляли меня *спасать* самого себя изо всех сил!

Почти отдышавшись и не ведая, что сейчас всё повторится снова, я тихо лежал на солнце, закрыв глаза, не слыша осторожные и бесшумные шаги отца по песку. Он быстро наклонился, хватал меня поперек груди и, двигаясь к воде со мной на руках, быстро бросал далеко в воду. Поначалу я пугался. Раскрыв рот в безголосом крике, уже через секунду я глотал воду моря. Отец смеялся. Что-то показывал младшему сыну, который стоял у самой кромки берега. Я погрузился в воду. Удивился, настолько близко от меня было песчаное дно. Оттолкнулся от него руками. Вскочил на ноги. Закашлялся. Отец опять схватил меня поперёк спины и снова выбросил в воду. В этот раз я ударился о воду грудью

и быстро задвигал руками, почувствовав, что почти лежу на воде. И... о чудо! Я плыву! По неосторожности и своей безалаберности я двигался не к берегу, а к морю, секунды отбиваясь от воды, толкая свое тело вперед. Устав, я перестал барахтаться и тут же погрузился в воду. В этот раз я лихорадочно стал отталкиваться от воды и быстро оказался на поверхности. Судорожно вдохнув воздух, я неожиданно почувствовал облегчение и понял, что, набрав воздух полной грудью, можно лежать на воде. Двигаясь к берегу, я плыл по-собачьи, уже осторожно озираясь в поисках отца. Он, не обращая на меня внимания, держал брата на руках, иногда окуная его в воду, а тот весело визжал. Мать всё так же лежала на берегу, накинув на лицо носовой платок и уже перевернувшись на спину. Пляжная обыденность была умиротворяющей. Я понял, что кажется *научился* плавать, хотя очень не хотелось еще раз проверить так это или нет.

Скоро я понял, что морская вода – моя стихия. Этим же летом я несколько раз был на пляже. Отплывал от берега на достаточно далёкое расстояние. Не было ни фанфар, ни родительских воспоминаний о варварском методе обучения меня плаванию. Не было ни обид на отца за его бесцеремонность. Было главное – я научился плавать! То, какой ценой это умение мне досталось, никогда не вспоминал. Особенно в тех ситуациях, которые я мог бы назвать риском для жизни, когда я понимал, что... тону. Обуздывая водную стихию, я пытался быть благоразумным, справляясь, с внутренней паникой, если попадал в неожиданные ситуации. Наверное, моя древняя, инстинктивная память, храня осколки ужаса, выстраивала *пазл* спасения, делая это независимо от разума, извлекая *кусочки навыков* из моего тщедушного тела. Потом, я выходил на берег, бесконечно долго отдыхал, наслаждаясь звуками и красками окружавшей меня земной жизни... Наконец, моё поведение на воде

стало обыденным, когда я уже не задумывался далеко ли я отплыл и как я буду добираться до берега...

Завершалось *время отрочества*, наступала *юность*, которая была полна недоумений, зревших недоразумений, которые я постепенно, шаг за шагом пытался осознать, подчинить своей воле. Главное вырвалось вперёд стремление научиться ходить без костылей. Обрести способность чувствовать себя человеком независимым. Однако, до этого пока было далеко...

Глава 3

Юность...

Юность счастлива,
потому что она ничего не знает...

Франсуа Рене де Шатобриан
Французский писатель XIX века.

...Азербайджанские властные структуры, воспользовавшись смертью диктатора И. Сталина и расстрелом Багирова, а так же противоречиями центральной власти страны, обратились к использованию национального языка, как к *естественной* ценности титульного этноса республики – азербайджанцев.

Во главе республики в начале пятидесятых годов встал Имам Мустафаев. Был он сравнительно молодым – сорок один год. Энергичный лидер стремился использовать время перемен для коренной реорганизации жизни в республике, и довольно быстро все ставленники Багирова во властном эшелоне были *выдавлены*.

У Имама Мустафаева успешно складывалась карьера ученого селекционера и... партийного деятеля. В 1932 году он окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт, затем аспирантуру кафедры селекции и семеноводства. В 1940 году он заведует этой же кафедрой. Тогда же вступает в ВКП(б) и становится заместителем народного комиссара госконтроля республики. В 1947 году И. Мустафаев – министр сельского хозяйства республики. Находясь на этой должности вплоть до 1950 года, он одновременно пребывает академиком-секретарём Академии наук Азербайджана. В 1952 году становится секретарём Гянджинского обкома партии, а через два года – Первым секретарём ЦК КП республики, параллельно работая заведующим отделом Института генетики и селекции Академии наук Азербайджанской ССР.

В бытность И. Мустафаева в роли первого лица в республике численность *азербайджанцев*, среди руководящих кадров высшего и среднего звена, заметно возросла. Приоритетное значение в их деловой среде приобрёл *азербайджанский* язык, и началось заметное вытеснение из республиканского документооборота *русского языка*. В Москве заметили возникшие перемены в республике. Н. Хрущёва

они не устроили. Глава государства и партии увидел в языковом *вольномудстве* И. Мустафаева признаки растущей политической независимости от Центра. Он потребовал *безоговорочного* подчинения Азербайджана – Москве. Борьба шла подковёрная, внешне малозаметная, но Первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана всё чаще и резче стали *одёргивать* из столицы государства, пытаясь затормозить процесс растущего *предпочтения* национального языка. *Выдавливает* из органов власти русскоязычные кадры национальной республики И. Мустафаеву стало непросто. Поскольку Москва проявляла холодную сдержанность к И. Мустафаеву, заметно снизился и рост послевоенного индустриального развития Азербайджана. Соседние республики – Грузия, Армения семимильными шагами развивали свою экономику, а поскольку Первый секретарь ЦК КП Азербайджана вел тяжбу с Москвой по поводу приоритета азербайджанского языка, рычаги управления, находившиеся в Центре, стали для него недостижимы. В конце концов, схватка оказалась им *проигранной*. Обвинили его в *национализме*.

Каждая реформа требует продуманных действий, неспешности и аккуратности. Пока длилась тяжба Первого Секретаря ЦК Компартии Азербайджана с Центром, сотни высококвалифицированных русскоязычных специалистов покинули республику. Их места заняли азербайджанцы, но значительное их количество не могло похвастать квалификацией и профессионализмом. 8 июля 1959 года постановлением IX Пленума ЦК КП Азербайджанской ССР И. Мустафаев был смещён с должности Первого секретаря, хотя и оставлен членом ЦК КПСС...

...Когда моя мать приехала в Баку в пятьдесят третьем году, она сравнительно легко вернулась в должность заведующей архивом Бакгорисполкома. Вышестоящее начальство, знавшее её почти двадцать с лишним лет, заверило Зину Юрганову, что через год-два она даже получит квартиру.

Вот почему, когда спустя месяц или два, мы с отцом возвратились в Баку, мать, не разобравшись в ситуации, очень *оптимистично* оценивала свои ближайшие перспективы...

...Кровать родителей стояла в холле бабушкиной квартиры и отправляясь спать, супруги нередко, «полусшепотом», заводили разговор *«о-том-о-сём»*. Диван, на котором я лежал, находился шагах в трех или пяти от кровати и частенько мне был слышен их разговор.

Отец очень сожалел об отъезде из Краснодара. Он упрекал мать в необдуманности и поспешности её действий. Она настаивала, что пребывание в Краснодаре обрыдло ей, не говоря уже о том, что жизнь вдали от родственников – сестёр и племянников – её тяготила. Вся материнская родня жила в Баку, за исключением брата матери Сергея Никитича Юрьева, который прочно осел в Новочеркасске. Работая заведующей архивом, будучи уверенной, что квартира вскорости будет ею получена, она и слышать не хотела о якобы совершенной ею *ошибке*.

Отец сразу же устроился на Бакинский телеграф. Его там хорошо знали и дали примерно такую же зарплату, как и до отъезда, однако квартиру – не обещали. Проживая в квартире своей матери – моей бабушки – он не мог забыть оставленное в Краснодаре жильё, пусть и напминавшее жалкую хибару, но в него было вложено очень много сил! Он понимал, что надежды получить квартиру в столице края были хрупкими, тем не менее рассчитывал, что уже через год, два или пусть даже спустя три года она была бы им получена!

Все разговоры родителей обычно заканчивались распрями. Однажды в сердцах мать сказала отцу резкие слова, типа того, что мол можешь куда хочешь ехать и что хочешь делать, но сама она не сдвинется с места! Именно в это время я и узнал, со слов матери, *о грехе молодости* моего отца – его бегстве из семьи, когда он попытался сделать карьеру комсомольского чиновника в предвоенное время. Она была

очень зла на мужа, хотя вырезку из «Комсомольской правды», где был опубликован фельетон с карикатурой на отца, она мне не показала. Я случайно наткнулся на неё, обнаружив между страницами старой тетради, кажется дневника матери, лежавшей в ящике большого письменного стола. Там были две или три ничего не значащие записи, датированные сороковым годом и лежала пожелтевшая вырезка из молодёжной газеты.

Шестнадцать лет – возраст противоречивый, безжалостный, зачастую насыщенный пренебрежением к нормам и правилам жизни. Поскольку историю эту я уже слышал от матери, то считал вправе прочитать короткую статью об отце, раз уж она сама мне всё рассказала о случившемся. Проглядел и дневниковые записи моей матери.

Я понял, что в отношениях родителей друг с другом всё было далеко не гладко! Коллизия, возникшая между ними, заставила меня размышлять. С одной стороны мне представилось, что я уже стал совсем взрослым, поскольку получил паспорт, как свидетельство гражданства. С другой стороны – оставался еще обыкновенным мальчишкой! Да, начитанным, с хорошей речью, но многое еще не понимающим в людских отношениях. Слушаешь мать, осознаешь справедливость её упрёков в адрес отца, однако, *узнать* его мнение не можешь. А как выяснять истинную причину совершённых им поступков? Тут же тебя настигает вопрос: а надо ли это делать? К откровенности отец не был склонен и дружеских отношений у меня с ним не было. Своим привычкам он не изменял – судил *обо всём и обо всех* с высоты своего возраста, опыта, эрудиции. Считал себя человеком самодостаточным. Излагал свои позиции категорически, безапелляционно! Я сильно рисковал, если бы желание спросить его о случившемся в годы его молодости, *легло мне на язык*. Определенно он бы вспылал! Заявил бы, что не моего ума это дело. Такое случиться могло! Мне было –



Олег Юрганов
сентябрь 1956 года

шестнадцать, но мой возраст им в расчёт не брался, хотя что-то *путное* в моём сознании уже стало оформляться. Скажем так – некие фрагменты жизненных принципов, нравственных представлений, которые я черпал из множества прочитанных книг и... даже из житейского опыта моих родителей.

По-видимому не так то просто ощутить в формирующемся шестнадцатилетнем сыне умного, мыслящего партнёра, пытающегося справедливо оценить жизнь своих родителей. Права на такого рода *любопытность* у меня, пожалуй, не было. Не ощутил я этого права и когда почувствовал приближение финала собственной жизни. Разве что, пока не сел за собственные мемуары, потому что мой теперешний возраст выравнивается с родительским опытом, а образованность помогает судить, что было хорошо, а что плохо в их жизни, потому что свою я почти прожил...

...Между тем, родители хоть и ссорились, но друг с другом общались спокойно и уважительно, хотя и *перетирали до пыли* собственные мысли, пережитые события, личные впечатления, растворённые в недрах их жизненного опыта. Строго говоря, знать природу, подоплёку, истоки, причины их споров мне, в мои шестнадцать лет, было *необязательно*.

Всё равно, пришлось бы склоняться к чьему-то мнению. Кого-то осуждать, кого-то оправдывать. Не думаю, что сын может быть *судьёй* своих родителей. У него нет ни опыта, ни знаний, ни природных полномочий для этой роли. Но, наверное, стоит попытаться *понять* суждения матери или отца, прорвавшиеся сквозь эмоции их переживаний, если придётся стать свидетелем этого, *осмыслить* случившиеся поступки друг друга.

Попытки осознать, что такое хорошо, а что – плохо наполняют жизненный опыт взрослеющего сына или дочери. Он начинает складываться не только из перечня твоих собственных жизненных ситуаций, но и тех, авторами которых оказались твои родители. Хорошо бы к тому времени обрести рациональную, а точнее доброжелательную *снисходительность*, чтобы *начинать* учиться прощать близких тебе людей. Твой разум поначалу готовится *понимать* горький опыт родителей, потому что душа далеко не всегда верно, а главное не всегда искренне, *откликается* на обиды родителей друг на друга. *Случается*, что разум и вовсе не обретает эту способность, так тоже бывает...

Откровенность матери была мне понятна. Слишком уж очевидно выглядела обида в рассказанной ею истории. Но злоупотреблять своим положением слушателя я не собирался, потому что тогда отец оставался для меня человеком *значительным*, а главное – понимающим необходимость самостоятельно выстраивать азимут своей судьбы, как бы ошибочно он ни выглядел. В возникших его стараниями обстоятельствах *слабым звеном* оказался именно я. Иначе говоря, мать одна не способна была справиться с тяжестью проблемы – больным ребенком. Но я даже не пытался осознать: стоило ли рисковать моей беспомощностью, переложив на плечи жены всю ответственность за сына? Я не знал всех подробностей рассказанной матерью ситуации. Не знал меру и степень готовности каждой из сторон нести

свою ношу. Честно скажу: я не стремился узнать от обоих правду о превратностях их предбрачных отношений, о противоречиях молодости, буднях супружества и случившихся кризисах. В шестнадцать лет мне это не было нужно, потому что я *не ощущал* никаких угроз моему благополучию. К тому же я хорошо знал, что характер у моей матери был достаточно сильным. Себя в обиду она не давала. Была резка, категорична, кстати, так же, как и её муж. Спустя пять или шесть лет, их взаимоотношения смягчились, устоялись. По-видимому это было для меня главным...

Много позже возникла сходная, пусть формально иная, ситуация в моей собственной и первой по счёту супружеской судьбе. Я вернусь к ней, но скажу, со *знанием* дела, что любовь и супружество две параллельные сущности, хотя и зависят друг от друга, то есть взаимосвязаны, а по качеству – нерасторжимы. Переживания, чувства, страсти и *либидо* далеко не в полной мере и совсем не по наитию *сочетаются* с обязанностями следовать *нормам* взаимоотношений, в которых будущие *притязания* супругов и дети сочетаются в их индивидуальных целях жизнеутверждения. Знания и умения, важные для супружества, далеко не всегда важны для *утоления* страсти. О том, что она, эта страсть, *конечна* при разной продолжительности брака, даже в голову не приходит, в то время, как супружество остаётся до конца дней *«парной упряжкой»*, цель которой – *движение*. И когда эту «упряжку» *распрягаешь*, то ли *сам*, то ли *она сама*, потому что нет *возможности* двигаться *вместе*, причин к тому может быть великое множество. Почти всегда в этой *реальности* остаётся ребёнок, который нередко вырастает в *упряжке*, ставшей уже не *парной*. Но как при этом *сохранить достоинство*, которое становится разменной монетой в руках тех, с кем ты *делил* супружество, растил ребёнка? В семье моих родителей такого случая, как у меня не случилось, стало быть *гроза* миновала



Олег Юрганов
1955 год

и за это спасибо и отцу, и матери. У меня, в моей первой семье, всё случилось. Но об этом позже...

...Нам предстояло прожить в Баку около пяти лет. С момента приезда из Краснодара в столицу Азербайджана у каждого из нас складывалась здесь своя жизнь. Мать, вынужденная уволиться из архива Бакгорисполкома, в связи с переменами в языковой политике И. Мустафаева, стала работать прислугой в семье крупного бакинского психиатра. Завершался шестнадцатый год моей жизни, и я учился в девятом классе. Обдумывал предложение отца, пойти работать на Бакинский телеграф учеником слесаря-ремонтника телеграфных аппаратов. Для меня то было очень непростое решение. Да, на месте свища образовалась тонкая плёнка, и на бывшую рану достаточно было просто наклеить *нашлёпку*. Но смогу ли я работать? Я научился ходить с палочкой, но был еще ужасно слаб, хотя умело изображал из себя «*денди с тростью*». Друзей у меня так и не появилось, за исключением Вовки Рыжего. Но с ним мы встречались крайне редко, а новых приятелей я пока не приобрёл. В школу я ходил, *отбывая повинность*. Старался хоть как-то исполнять обязанности, которые лежали на моих плечах ученика девятого класса...

...Однажды под бабушкиной кроватью я нашел мандолину. Надежда Георгиевна вспомнила, что инструмент купил дедушка Александр Павлович (а может быть просто экспроприировал?) у одного антиквара, еще в Саратове,

когда работал в ЧК, но сам играть так и не научился. Я попытался восстановить навыки игры на инструменте, которые приобрёл за время пребывания в Прочноокопском санатории. От долго лежания под кроватью инструмент слегка деформировался. Я уговорил отца отдать её в ремонт. Мандолина оказалась итальянской. На плоской стороне изголовья мандолины были выложены красивые инкрустации из блестящих перламутровых накладок. После ремонта звуки струн стали нежными и чистыми. Зазвучала она прелестно! Правда, от струн у меня сильно заболели пальцы, однако, недели две-три я упорствовал и, наконец, заиграл вполне прилично...

...Дела школьные налаживались у меня с трудом. Сказывались пропуски, не слишком упорное моё рвание, а то и просто обыденная лень, преодолеть которую мне никак не удавалось, потому и возникли у меня проблемы с русским языком. Тогда бабушка решила обратиться за помощью к соседке, жившей в доме напротив – девушке лет двадцати – которая училась на первом курсе филфака Азербайджанского государственного университета. Звали её Аида. Она, кажется, была армянкой. Жила с матерью, которая работала в пекарне и выглядела болезненной и вялой. Отец Аиды погиб во время войны. Её мать с работы вскоре ушла. То ли на пенсию, то ли по состоянию здоровья и подолгу просиживала дома, у окна, выходящего на двор.

Аида согласилась мне помочь. Бабушка, по-моему, ей даже немного приплачивала... Приходила она в бабушкину квартиру и мы усаживались в столовой, у большого окна, выходящего на двор. Девушка объясняла мне правила русской грамматики, диктовала короткие диктанты. Одним словом, тренировала меня в правописании.

Мы подружились. Правда, играть на мандолине мне нравилось больше, чем писать диктанты и зубрить правила грамматики. Честно говоря, я не слишком старался

справиться со своими ошибками. Аида сердилась, пыталась на меня повлиять, но получалось у неё как-то не очень убедительно...

Не знаю почему, может быть это было связано с законами неведомого мне полового развития, но именно в это время у меня *проклюнулось* яркое красноречие. Мой голос после ломки – завершался шестнадцатый год моей жизни – обрёл приятный, баритональный, разговорный тембр. Мне нравилось *себя* слушать, особенно, когда я в беседах с Аидой обращался к темам, близким ей, как филологу. Начитавшись книг из книжного шкафа деда, сильно обогатив свою устную речь, я, прекрасно владея текстами десятков прочитанных книг – в основном западно-европейской классики – затевал с Аидой долгие интеллектуальные разговоры. Она – первокурсница – поначалу была просто ошарашена моей начитанностью! Как замороженная слушала мои размышления о литературных героях книг, которые я прочитал. Источниками моих рассуждений были не только сюжеты прочитанных романов, но и *предисловия* к каждой книге. Привычка внимательно прочитывать в книгах вступительные статьи, которые были написаны весьма знающими экспертами, сильно мне помогла в моей литературной *болтовне*, которую я затевал с неискушенной, хотя и весьма грамотной студенткой университета. Я узнавал из этих текстов массу интереснейших сведений о жизни автора, превратностях его судьбы, особенностях творческого стиля, эстетики, влиянии эпохи, в которой жил писатель. Не говоря уже о том, что литературоведческий разбор книжного текста был изложен выше всяких похвал! Эти сведения *врезались* мне в память. Я даже не подозревал, что в своих разговорах с девушкой повторяю целые фрагменты из текста *предисловий*, которые я осваивал, открывая первую же страницу очередного тома.

Мои *лекции* Аида, которая была старше меня на три года,

слушала с неослабевающим интересом. Часто спохватывалась, когда время, отведенное на занятия со мной русской грамматикой, кончалось и ей надо было бежать на лекции или семинарские занятия в университете.

Занимались мы на террасе бабушкиной квартиры. Происходило это обычно после часа дня, когда я приходил из школы. В запасе у нас было часа два. Огромное окно, на подоконнике которого стояло множество горшков с домашними растениями, выходило на двор. Напротив была квартира Аиды с таким же широким окном, перед которым сидела её мать, глядя, как дочь и я разговариваем друг с другом.

Внешне я выглядел милым, щупленьким мальчиком, с тонким лицом и зачёсанными назад длинными волосами. Разумеется, никаких *вольностей* я не позволял, тем более, что Аида сидела у самого окна, изредка махая рукой матери, которая вяло кивала в ответ.

Через месяц мать Аиды умерла. Приехавшие откуда-то родственники похоронили её, потом поминали, усевшись в просторном холле квартиры. Я смотрел на происходившее из окна бабушкиной квартиры. Когда после похорон вся родня её умершей матери разъехалась, Аида осталась совсем одна в большой квартире. Она сильно осунулась, похудела и уже не приходила заниматься со мной русским языком. Зайти к ней, чтобы поинтересоваться, как она себя чувствует, я не решался. Школа – дом, дом – школа, вот и весь мой маршрут. Единственно, что меня спасало, чтение очередных романов, которые я *добывал* из книжного шкафа деда, да игра на мандолине.

Однажды в обществе Аиды я заметил высокого парня. Появлением гостя я был сильно удивлён. Пытался понять, кто это? Насколько близко они связаны друг с другом? Ничего не понимая, испытывая глухое *раздражение* от появления... *соперника*, я с каждым днём мрачнел. Сейчас, в свои

более чем зрелые годы, осмысливая те далёкие события шестнадцати и половины семнадцати лет, я *осознаю*, что происходило со мной.

Возраст любви приходит к каждому человеку, но по-разному. Я никогда не слышал от своих родителей размышлений на эту тему. К тому же, мои переживания, более или менее похожие на *чувственные*, заставляли меня *спонтанно* и в основном в больницах. Похожие состояния я мог адресовать молоденьким медсёстрам или некоторым девушкам-страдальцам, таким же, как и я сам, оказавшимся неподалеку от меня.

Как я переживал тайные влечения к противоположному полу? Что я от них хотел? Почему в моих еще совсем детских страстях рождалась нелепая комбинация *агрессивности с готовностью* одаривать девушек вниманием? Пребывая с мальчишками в больничной палате или на улице, в те редкие моменты жизни, когда я находился дома, я, как большинство таких же пацанов, как и я, рассказывал похабные анекдоты, *героями* которых были женщины или девчонки. Мой ум был заражён *скабрзностями* и находясь среди своих сверстников, я не стеснялся в выражениях в адрес противоположного пола. Находясь среди девочек, я немедленно менялся, пытаюсь показать себя веселым, умным, словоохотливым и даже мягким человеком.

Начитавшись классической литературы, я *купался* в образах, наслаждаясь красотой, яркостью чувств, страстями, которые блистательно были описаны в романах, а в замечательных иллюстрациях изображались прекрасные героини, красота которых казалась мне неземной. Я смотрел фильмы с участием советских актрис, которые казались мне верхом внешней привлекательности, а их более чем сдержанные любовные отношения с киношными партнёрами казались мне образцом для подражания.

Я уже начал ходить в кино, благо неподалеку от дома

бабушки был кинотеатр, названный именем классика азербайджанской средневековой поэзии – Низами, который, вообще-то, был поэтом Персидским, но советский Азербайджан адаптировал его в роли своего национального писателя... Так вот, там показывали самые свежие фильмы. Кинотеатр был почти рядом с домом бабушки. Надо было пересечь наискосок улицу и... Я посмотрел там «Овод» с Олегом Стриженовым в главной роли, «Анна на шее», с Аллой Ларионовой, которую я считал настоящей русской красавицей, «Аттестат зрелости», оставивший меня равнодушным, «Верные друзья», «Михайло Ломоносов», «Матрос Чижик», «Мать», по роману М. Горького, «Максим Перепелица», «Судьба барабанщика», «Тайна двух океанов», «Чужая родня», «Богатырь» идёт в Марто», «Кортик», «Мы с вами где-то встречались» впервые показавший волшебное искусство Аркадия Райкина.

Честно говоря, в более позднее время, настоящие, взрослые фильмы, с глубоким и страстным отражением любви, я видел не часто. Были они, в основном, не советские, а иностранные. В конце пятидесятых, начале шестидесятых Госкинопрокат не слишком баловал советских людей иностранной киноклассикой. Но фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» остался в памяти на всю жизнь. Картина произвела на меня *сногшибательное* впечатление и я смотрел её раза три или четыре в разные годы. Когда фильм получил приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», я был счастлив, будто мне вручили эту престижнейшую премию. Баталов и Татьяна Самойлова надолго стали моими кумирами.

Хорошо помню, как с мамой смотрел «Дон Кихот» Григоря Козинцева, с Николаем Черкасовым в главной роли. Не думаю, что всё понял в этой картине, но яркая цветная лента и сентиментальные интонации фильма заставили меня прочитать роман Сервантеса. Не знаю почему,

но сюжет не слишком захватил меня и только много позже, уже в университете в Саратове, я снова перечитал роман, осознав все смыслы и прелести этого произведения. Мой чувственный мир был слишком зажат физическими проблемами, которые мне никак не удавалось преодолеть. В большей мере я готов был воспринимать эмоции любви, даже созерцая на экране не слишком художественно отснятые фильмы. Но если приходилось увидеть такие как «Дом, в котором я живу», «Дело было в Пенькове», та же «Высота» или «Весна на Заречной улице», я получал внутренний толчок к новым переживаниям. Однако, пресная классовая идеология Агитпропа не была готова обратиться к темам, менее актуальным, чем *«строительство коммунизма»*. Читая западно-европейскую классику, я купался в чувственном мире. Скорее всего она не была рассчитана на зрелого гражданина СССР. Как полагали приверженцы Агитпропа, он не слишком испытывал интерес к такой литературе. Во всяком случае, *«родная»* Советская литература, адресованная шестнадцати-семнадцати-восемнадцати-летним читателям тех лет, была практически *«бесполой»*. И на экране тоже! «Битва в пути» по роману Галины Николаевой – лучшее тому свидетельство.

В зарубежных фильмах, которые мне довелось посмотреть в шестнадцать-семнадцать лет, любовь изображалась лёгкой, изящной, красочной, артистичной, ставившей меня в... тупик. Такой была трофейная кинокартина «Девушка моей мечты», которую я смотрел два или три раза, любуясь на актрису Марику Рекк, слушая её чарующий голос, погружаясь в очарование *банальнейших* ситуаций, в которые она попадает по воле сценария или режиссёра Георга Якоби. Понимая всю условность происходивших в фильме событий, я, тем не менее, *разрешал* себе мечтать о чём-то подобном и невольно избавлялся от страданий, которые приходили с моей болезнью, продолжая меня мучить.

Советские фильмы «Два капитана», «Неоконченная повесть», «Отелло», «Двенадцатая ночь», «Княжна Мэри» в мои шестнадцать-семнадцать лет готовы были стать моими нравственными *путеводителями* в мире духовных человеческих страстей. Но в них не было любви в том виде, которую, как мне казалось, я уже был готов *понимать* в свои годы. Я прочитал роман Вениамина Каверина «Два капитана», «Отелло» В. Шекспира и его же «Двенадцатую ночь или Что угодно?» и множество других хороших книг, но так и остался юнцом, лишённым глубокого понимания любви, абсолютно не обладая *чувственным* опытом. Моё реальное *телесное* состояние противостояло тем критериям, на которых это чувство зиждилось. Я оставался *хромым* и немощным. Мой внешний облик *отбрасывал* далеко в сторону вероятность любви, а потребность пубертата, на заре юности, увидеть в *женском* взгляде ответные симпатии, в лучшем случае наталкивалась на подсознательное сочувствие юных *прелестниц* или обычное, скорее всего, *естественное* равнодушие.

Я понимал, что сильно отличаюсь от своих сверстников, уже переживавших эмоции привязанности, близости к девушкам и... молча страдал. Мой внутренний мир был до краёв заполнен переживаниями, и никто из моего окружения даже не догадывался о драматизме болезненных ощущений. Тем не менее, я оставался оптимистичным, весёлым, подвижным и эмоциональным человеком. Мои *пристрастия* постоянно менялись, как ни странно, избавляя меня от безответных чувств. Постепенно, к семнадцати, восемнадцати, девятнадцати годам, у меня начал складываться спасительный принцип ответного *«рукотворного равнодушия»* к девушкам, при этом оставалась *чувствительность* к их интеллектуальному и эстетическому содержанию, проявлявшаяся в общении со мной. Выражаясь проще, я обращал внимание только на красивых, стройных, высоких девушек, обладавших всеми признаками внешней

элитарности. Вступая с ними в контакт, я весьма придирчиво оценивал их интеллект и образованность. Следование таким критериям отражало *самозащиту* физически искалеченного парня, глубоко травмированного, внутренне понимающего *маловероятность* чувственного отклика женщин на его природный призыв.

Могу сказать, что все мои увлечения юности убедили меня в верности моих принципов *отбора*. Однако, должен признаться, что далеко не всегда я следовал тем признакам в облике женщины, которые считал для неё обязательными... Это противоречие было следствием пубертатности, диктующей мне *обиденные* потребности, которые я желал бы, но не был способен утолить.

...Учился я неважно, часто пропускал школьные занятия, впадал в депрессию от того, что увлёкся Аидой, вопреки совершенно очевидному равнодушию девушки ко мне. Финалом моих *страданий*, вылившихся в тоскливое одиночество, стало сочинение «Девичьего вальса» ко дню её рождения. Это было первое и последнее музыкальное произведение, сочинённое мной. Поскольку поводом к этому творческому акту оказалась сама Аида, я могу быть только благодарен ей за это...

...Играя на мандолине, той самой, которую нашёл под кроватью в доме бабушки, тему вальса я сочинил довольно быстро. Много дней шлифовал вариации, пока почти вплотную не приблизился к событию, которому оно было посвящено. Оставалось сделать аранжировку и написать нотный клавиш. Но как? Нот я не знал. Делать фортепианную аранжировку не умел. То, что у Аиды дома стоит пианино, я знал и дарить ей моё музыкальное произведение следовало *в полноценном виде*, чтобы его можно было сыграть, положив на пюпитр, передав при этом все тонкости фортепианного звучания. Для меня это была тяжелейшая и практически невыполнимая задача! Что же делать?

В нашем доме, на втором этаже жил студент московского

Физтеха, который приехал к родителям на каникулы. Мы часто играли с ним в настольный теннис в нашем дворе. Во время игры я так забывался, что не чувствовал боли в бёдрах. Миша – так звали студента – был полноват, малоподвижен и наши возможности, в момент игры, неожиданно оказались равноценными. Особого азарта ни у меня, ни у него не было, но мы оба явно получали от игры удовольствие!

Однажды я увидел, как Миша ловко и бодро играет на рояле в одной из квартир, расположенных на первом этаже нашего дома. Мгновенно пришла мысль обратиться к нему за помощью. Поскольку Миша знал ноты, стало очевидно, что он не только сможет превосходно справиться с моей просьбой – сделать фортепианную аранжировку – но и записать на ноты мой «Девичий вальс». Так я назвал свою музыку...

Мою просьбу Миша внимательно выслушал, пригласил меня к себе домой, попросив взять мандолину. Несколько раз прослушал моё сочинение. Потом стал подбирать, услышанную мелодию на клавиатуре большого рояля, стоявшего в его квартире. Оказывается, он закончил музыкальное училище. Даже хотел поступать в консерваторию, но увлёкся атомной физикой и оставил музицирование.

Фортепианная аранжировка Миши оказалась удивительно красивой, звучной, сочной и, слушая его фантазию на тему моей мелодии, я был очарован. Потом он тщательно записал музыку «Девичьего вальса» на ноты и отдал мне. Я рассказал Мише, кому я посвятил этот вальс. Внимательно всматриваясь в моё смущенное лицо, он ответил: «*Будь я девушкой, этот вальс произвёл бы на меня очень сильное впечатление...*»

...Лет через шесть или семь я оказался в Москве с моей первой женой Леной. Мы вышли из квартиры её дяди – профессора химии – и, тихо разговаривая друг с другом,



Олег Юрганов 1956 год

шли по улице. Неожиданно я остановился: мимо прошёл мужчина с бородкой. Его лицо мне показалось *пронзительно* знакомым. Через минуту я понял – это же Миша! Едва сообразив шагнуть за ним, чтобы пожать руку, я увидел, как он вскочил в троллейбус и уехал... Лена долго пыталась разговорить меня, чтобы услышать трогательную историю увлечённости шестнадцатилетнего мальчика двадцатилетней девушкой, но от воспоминаний я уклонился. *Воронить* прошлое не хотелось...

...С предложением отца, пойти работать на Бакинский телеграф, я всё же согласился. У меня в кармане уже был паспорт, мне исполнилось семнадцать лет, а школьные беды росли. Светлана Савельевна Ширман – моя школьная учительница русского языка и литературы, с которой я был очень дружен – посоветовала мне пойти в вечернюю школу, сославшись на то, что там мне легче будет учиться. Идея мне понравилась.

К девяти часам утра, как и положено *малолетнему* работнику, я отправился на Центральный Бакинский телеграф. Поначалу трудиться мне предстояло только полдня,

поскольку по закону я считался подростком. Мне уже исполнилось семнадцать с половиной лет и отец решил, что мне сначала надо попробовать поработать. Это было разумно. Всё-таки я был инвалидом. Получалось вроде бы неплохо и через пол-года – 9 февраля 1957 года – я был официально зачислен подсобным работником. Но фактически я начал изучать профессию «надсмотрщика телеграфных аппаратов» ещё осенью, когда появился на телеграфе. Моим наставником был Рафик Юсупов, который трудился здесь же, в большом аппаратном зале Бакинского телеграфа. В вечернюю школу я записался сразу же, в сентябре, но в девятый класс, хотя по возрасту мог быть в десятом. Учиться стало проще, поскольку, пребывая на телеграфе полдня, осваиваясь на новом месте, особо не утомляясь, я быстро подтянул успеваемость...

...Мне кажется, что решение пойти работать на Бакинский телеграф было верным во всех отношениях. Во-первых, я себя *зауважал*, получив возможность сменить статус *домашнего инвалида* на положение человека, обретающего трудовую профессию. Во-вторых, была готовность *ходить на работу* каждый день, получая ежемесячно заработную плату. Для меня это было крайне важно, потому что *ходить в школу*, в статусе слабо успевающего ученика, было унижительно. Я хорошо понимал, что сам виноват в своём положении *троечника*, но ничего не мог с *собой* поделать! Взять себя в руки и выправить своё положение мне не удавалось. Став работником телеграфа, где когда-то работал мой дед, до сих пор трудится бабушка – его жена, мой отец и, наконец, я сам, накладывало на меня дополнительную ответственность. Так, по крайней мере, я рассуждал, осваиваясь в первые месяцы на своём рабочем месте.

Отец меня не предупредил, что найдутся молодые ребята – *шутники*, которые захотят проверить меня, сына весьма уважаемого на телеграфе Бориса Юрганова, на *прочность*.

Примерно через месяц, как только я как-то освоился, ко мне подошел помошник мастера. Звали его, кажется, Женя. Высокий, с модной причёской, с «коком» посередине лба, он весело со мной поздоровался. Стал расспрашивать, что да как... Обычное дело. К нему подошел азербайджанец, примерно его возраста. Сел на стул, вытирая руки цветной полотняной тряпкой. Женя был знатным болтуном и непрерывно о чём-то говорил. Вдруг азербайджанец, назову его Мустафа, спросил его.

— А ты уже проверил потенциал сопротивления Олега?
— Женя изумленно на него посмотрел и, ударив себя по лбу, почти вскрикнул.

— Слушай, ара! Хорошо, что ты мне напомнил! Как же я забыл? Без этого потенциала Олег работать просто не может! Я с недоумением смотрел на парней, чувствуя, что совершил за целый месяц работы на телеграфе какую-то серьёзную оплошность. Телеграфистки позвали Женю и Мустафу к рабочим местам. Наверное, что-то случилось с аппаратом и на столах зажглись лампочки. Парни быстро ушли, а я, в полном недоумении, продолжил размышлять: как же могло так случиться, что я не проверил свой «потенциал сопротивления», не имея ни малейшего представления что это такое? Да, Юсупов – его, кстати, тогда не было в телеграфном зале – показал мне, какие электрические приборы были у телеграфистов на каждом рабочем месте. Наши рабочие места были в самом конце зала и точно такие же приборы были установлены на столе, где работали мы. Когда случалась нужда, мы привозили аппараты СТ-35 на свои рабочие места и занимались их ремонтом и регулировкой. Сейчас, озадаченный заявлениями Жени и Мустафы, я внимательно осмотрел наше рабочее место. Передо мной стоял, прочно закрепленный на столе, прямоугольный планшет с двумя дырочками, куда всовывалась вилка от телеграфного аппарата, для включения, если требовалось

выявить его неполадки. Конечно, я знал, что это и есть электросеть. То, что на этом же планшете была ручка регулировки напряжения в сети я ещё не знал. Сейчас и не вспомню, зачем нужен был этот регулятор напряжения, но именно он-то и стал для моих коллег главным «действующим лицом» для испытания моего «потенциала». Пока я лихорадочно размышлял, что же я мог забыть из инструкции Юсупова, возможно тот излагал мне какую-то информацию, но я забыл. Уже почти убедившись, что о моём «потенциале сопротивления» он точно ничего не говорил, я вижу – вернулись Женя и Мустафа.

— Значит так, Олег – сказал Женя – твой потенциал всё-таки придётся проверить. — Мустафа, без тени улыбки, деловито кивнул. Я оглядел зал, Юсупова не было уже примерно полчаса. Честно говоря, я надеялся, что он вот-вот появится и всё мне объяснит, но ничего не оставалось, лишь воспользоваться услугами этих парней и проверить этот *треклятый потенциал*. Мустафа пробормотал.

— Это важное измерение... Я даже не знаю, как ты работаешь без него?

— А что надо делать – спросил я робко – понимаете, мне никто почему-то... — Я начал осторожно оправдываться. Женя тут же меня перебил.

— Мы-то с Мустафой работаем здесь давно... Оба очень давно это испытание прошли. Года два или даже четыре назад. Сейчас мы тебя проинструктируем... — Его голос звучал мягко и доброжелательно. Он положил два пальца правой руки на две дырочки, блестящие металлическими округлостями поверх прямоугольного планшета, немного вышавшегося над столом. За секунду до этого, незаметно для меня, вывел левой рукой, поворотом ручки, напряжение тока, сведя его к нулю. Конечно, в суматохе я этого не заметил, а вот то, что он положил пальцы на дырки, где было *электричество*, меня сильно озадачило. Однако, Женя,

держа пальцы на клеммах, смотрел то на Мустафу, то на меня, продолжая говорить, как бы размышляя.

— Кстати, почему *потенциал сопротивления* нулевой?

— Как? — Мустафа изумился. На его лице была искренняя гримаса удивления. Почему-то мне захотелось немедленно попробовать, то есть приложить два пальца к этим клеммам. Я не решался, ожидая *инструкции* «старших товарищей». Они смотрели на прибор сбоку, сверху, сзади, спереди. Создавалось впечатление, что они и в самом деле пребывают в полном недоумении, почти не обращая на меня внимания.

— Ты давно проверял этот пульт? — Наконец спросил меня Женя.

— Я? — Теперь моему изумлению не было предела. Почему я должен был проверять этот пульт? Юсупова всё еще не было. И куда он запропастился? Он никогда мне ничего не говорил о работе пульта. Просто привозил с рабочего места аппарат с какими-то неполадками, ставил его на вращающееся место ремонтника, включал вилку в эти дырочки на прямоугольном пульте, и мотор аппарата тут же начинал работать...

— Ну ты даёшь, Олег! А если сейчас аппарат принесут? Он же работать не будет! — Женя с осуждением на меня посмотрел. Мустафа согласно кивнул.

— Точно, не будет! Никакого потенциала-то у тебя нет!

— А почему? — Спросил Женя, прищурив свои карие глаза, глядя на меня с осуждением. Казалось он был полон уже не удивления – негодования! Разгильдяйство ученика по имени Олег Юрганов, судя по всему было очевидным! Я не на шутку забеспокоился и мгновенно приложил свои пальцы к клеммам, которые уже никто не держал. И в самом деле, я ничего не чувствовал. Между тем, Женя уже полез под стол, а Мустафа сверху вниз смотрел на него, продолжая поглядывать то на меня, то него. Женя встал, отряхивая с коленок пыль. Я всё еще держал пальцы на клеммах,

изумленно соображая, как же так могло случиться, что в сети не было электричества? В этот момент какая-то дьявольская пасть с тысячью мелких зубов вонзилась в мою руку, да так, что она, а вместе с ней и я, затряслись в бешеных толчках! Раздался хохот. Женя громко смеялся, шлёпая себя по бокам, довольно оглядывая меня, стоявшего у стола, с красным от испуга лицом и трясущимися руками. Руку я отдернул, инстинктивно её поглаживая.

— Оказывается, *потенциал сопротивления* у Олега есть! — Мустафа довольно улыбаясь, похлопал меня по плечу. Мой взгляд упал на планшет. Я заметил, что ручка была повернута в противоположную сторону, то есть доведена до максимума напряжения. Было ужасно неприятно, но парни остались довольны, видя, что я пребываю в полной растерянности. Тут в помещение вошёл Юсупов. Увидев хохочущих парней и меня, инстинктивно отряхивающего руку, он сразу понял *проделку* молодых мастеров и сердито посмотрел на Женю с Мустафой. Те быстро ретировались...

После этого «испытания» с Женей мы подружились. Он был комсоргом аппаратного зала и часто беседовал со мной, когда было время. Учился Женя в техникуме связи, любил потрепаться, рассказать анекдот. В общем, был парнем веселым и без комплексов...

...Ощущение моей *солидности* пришло ко мне уже месяца через четыре или пять после трудоустройства. Мне «стукнуло» восемнадцать лет, и я даже стал... курить, уходя на *перекуры* в угол коридора, стоя вместе с курящими взрослыми работниками. В моём поведении то был явный *перебор*. Тогда же возникали периодические столкновения с отцом, рассерженным моим новым *увлечением*. Но он и сам курил, так что аргументы его на меня не действовали. Я считал себя *взрослым*, играя в самостоятельность, обретал *вредные* привычки, с которыми много позже с трудом расстался...

...Отец работал в мастерских телеграфа, потом стал

инженером по рационализации, изредка заглядывал в аппаратный зал, чтобы убедиться, всё ли у меня в порядке. Мой наставник Рафик Юсупов избрал в обучении очень простой принцип: делай, как я. Он сказал мне, что это – «принцип лисы», и я старательно поглядывал на его действия, когда на столе телеграфистки загоралась красная лампочка, сообщавшая: с аппаратом что-то случилось. Рафик подходил к столу, быстро просматривал сначала клавиатуру, потом открытые части аппарата, нет ли затора из-за попадания бумажной ленты в ходовые части, потом включал-выключал мотор аппарата и если ничего не менялось к лучшему, убирал его на свой стол, стоявший в конце зала. Тут же он привозил телеграфистке на тележке запасной СТ-35, отремонтированный и опробованный, включал его, пробегал по клавиатуре пальцами и звал её, чтобы продолжала работать. Потом, мы с Рафиком подходили к аппарату, стоявшему на нашем столе и я молча смотрел, что он с ним делает?

Не говоря ни слова, Юсупов открывал внешний кожух аппарата, вычищал тонкой щёткой его внутренности от бумажной пыли, просматривал все контакты, если надо, тут же прочищал их, наконец, находил поломку и приступал к ремонту. Рафик или менял деталь, которая вышла из строя, или объяснял мне её устройство, роль в работе аппарата и предлагал варианты действий: убрать, проверить может ли работать, будучи тщательно вычищенной, заменить новой или оставить, смазав ближние шестерёнки и так далее.

В телеграфном зале в основном стояли аппараты СТ-35, которые внешне были похожи на пишущую машинку. Разница была в том, что печатающие планки с буквами били по довольно узкому резиновому кругу, на который укладывалась белая телеграфная лента, намотанная на большое колесо, стоявшее справа, с внешней стороны кожуха, с тонким ограждением по бокам. Поверх бумажной ленты, двигалась на специальной проволочной укладке,

красящая летна, чёрного цвета. Она гарантировала чёткий отпечаток буквы на ленте бумажной, когда телеграфистка нажимала на клавишу. Кожух накрывал аппарат целиком, значительно снижая шум от работы мотора и печатающих деталей. На пюпитре, укрепленном на кожухе, лежал текст телеграммы, которую телеграфистка – обычно это была девушка – печатала, бегая пальцами по клавиатуре...

...Первые недели учёбы в вечерней школе настолько захватили меня, что я, неведомо как мобилизовавшись, стал получать «пятёрки» даже по ненавистному немецкому языку и математике. Не знаю истинных причин моих успехов, но скорее всего это было связано с изменившейся атмосферой, царившей в классе. Во-первых, нас было не более десяти, пятнадцати человек. Во-вторых, средний возраст одноклассников – двадцать пять, тридцать лет. Будучи самым младшим среди одноклассников, мне удавалось едва ли не лучше всех усваивать материал, что сразу же сказывалось на моих оценках. К тому же, я готов был *консультантом* едва ли не по всем предметам для своих товарищей и охотно это делал!

Рядом со мной сидел офицер, служивший на военной базе, располагавшейся на южной оконечности Апшеронского полуострова. Он приходил в военной форме, потому что не успевал – далеко – захватить домой, чтобы переодеться. Обычно офицер опаздывал, но учителя относились к этому спокойно, продолжая урок, не обращая внимания на его задержки. Артём, так его звали, шепотом спрашивал меня в чём суть урока и я быстро ему «докладывал». Урок кончался, звенел звонок, Артём выходил в коридор покурить и по звонку снова заходил в класс.

Это был настоящий служака. Ему предстояло сдавать экзамены в военную Академию в Москве и чтобы предъявить хороший аттестат, он решил пойти на хитрость, завершить на все «пятёрки» девятый и десятый классы, пока служил

на Апшеронской военной базе. Кстати, так делали многие мои одноклассники. Кто-то хотел поступить в институт, но знаний не хватало, и тогда пришлось садиться за парту вечерней школы. Кто-то, как я, решил завершить курс средней школы, одновременно работая.

Училась у нас семейная пара: Алина и Егор Прохоровы. Она – красивая, крупная женщина, училась хорошо, а вот её супруг, статный двадцатипятилетний Егор, видимо всегда – спустя рукава, потому и в вечерней школе не слишком себя утруждал. Алина его постоянно контролировала, что-то объясняла по ходу урока, но он *зыркал* по сторонам, отпрашивался в туалет, чтобы *просачковать* урок, прохаживаясь в коридоре.

В конце-концов Егор однажды исчез. Алина поначалу приходила на уроки одна, на вопросы одноклассников – куда делся Егор? – не отвечала, а потом не выдержала разревелась в голос. Мы перепугались, стали её утешать... В общем, история стала накручиваться... Дело в том, что Алина была беременна на шестом месяце. Жили супруги на квартире. Вскоре Алина рассказала, что Егор уехал невесть куда, предоставив ей выпутываться из *ситуации*.

Одноклассники, большинство которых работали на бакинских предприятиях, отнесли к судьбе Алины и будущему ребенку очень тепло. Живот у Алины потихоньку рос. Она, меняясь на глазах, давно перестала плакать, училась старательно. Наши парни были с ней предупредительны, вежливы и участливы. Алина снимала квартиру в доме, который находился неподалеку от школы. Мы все, готовясь к рождению малютки, по очереди, стали приводить её квартиру в порядок. Побелили стены, покрасили окна, подоконники. Я даже отремонтировал два стула, которые Алина нашла на помойке, обновил их, покрыв лаком. Ребята скинулись, купили будущему малышу кроватку, коляску, наши девушки приобрели для мальчика

– она была уверена, что родится именно сын, так и случилось – пеленки, распашонки и прочую мелочь. В общем, отнесли мы к нашей однокласснице по доброму.

Наконец, Алина родила... Уже через неделю всем классом мы отправились её встречать из родильного дома. Я не ходил – работал во вторую смену – но когда Алина пришла в школу вместе с ребёнком, лицезрел его, а в крохотном личике заметил поразительное сходство с Егором. По молодости ляпнул – «Это ж надо! Вылитый Егор!» Народ вокруг на меня зашикал, но Алина повернулась ко мне и спокойно произнесла: «Ну конечно! Это же его ребёнок.»

Артём – мой сосед по парте, тот самый офицер с Апшеронской военной базы, очень мне нравился. Деловой, подтянутый, мускулистый. Учился неплохо. Было видно, что парень старается, хотя было ему очень непросто – работа была у него тяжёлая. Кем он служил в воинской части, не знаю. Но, когда Артём приходил на урок, нередко, я видел у него пистолет в кобуре, пристёнутой сбоку, на широком ремне. Любопытство никто из одноклассников не проявлял, я – тоже. Но с оружием я видел его раза два или три.

Однажды Артём пришёл на урок, и я заметил напряжённость в его облике. Спрашивать не стал, только искоса поглядывал на него. Множество ссадин на руках, на коленях – следы земли, правда, уже отряхнутые и почти незаметные. Похоже, он по дороге пытался зачистить следы пыли или грязи с галифе, но временем не располагал, чтобы полностью привести себя в порядок. На перемене я всё же не выдержал и спросил его.

– У тебя что-то случилось? Ты сегодня какой-то... — Я запнулся. —...Пришёл необычный. — Артём курил, стоя лицом к окну, неспешно сбрасывая в урну пепел. Он был спокоен. Однако, то было спокойствие человека – как мне показалось – который, умея себя держать в руках, все же был не в силах скрыть внутреннее возбуждение.

— Два часа тому... я... человека убил...

Я потерял дар речи. Глянув на меня мельком, Артём коротко кивнул, затянулся папиросой. Бросил окурок, машинально подтянул португею, тронул кобуру. Внутри неё выглядывала плоская часть рукоятки пистолета.

— Представь... Иду... Нет... Не иду, а бегу! Опаздывал на автобус. Надо было, от ворот моей воинской части пройти метров двести... До остановки... Обычно, до города, на мотоцикле меня подбрасывал товарищ. В этот раз он задержался... Побежал к автобусной остановке. Сейчас темнеет рано... На автобус опоздал... Представь, прибегаю на остановку, а он мне «хвост» показывает! Плюнул, решил пробежаться до следующей остановки. Бегаю я быстро... Автобус идёт прямо, а я раза в два сократил путь, через лесок и овраги. В общем, побежал... На повороте, из кустов... Там такой пригорок был над дорогой... Какой-то *член* прыгает на меня... Я успел отскочить... А он опять на меня прыгает. Представляешь? Ничего не понимаю... Чего он хочет? Вокруг никого! Уже темнеет... А он, чувствую, за кобуру хватается... А! Понял... Ну тогда я рассвирепел... Хватаю его за пояс... У него на брюках был узкий пояс. Удобно... Двумя руками поднимаю над головой... Он для меня был мелковат... Ну и об землю его головой. Не рассчитал немного... Голова – вдребезги! Как арбуз! Там был каменный пригорок... Я по инерции присел на колени, а его тело скатилось вниз, в овраг... Смотреть не стал, бегу дальше. Успел на автобус... Вот так...

В это время прозвенел звонок. Мы пошли в класс. Учитель задерживался. Артём сказал мне, что на учёбу сегодня у него нет настроения. Пойдёт домой. Приведёт себя в порядок. Ушёл...

Мы встетились с ним еще раза два или три. Уж не знаю почему, но «доставал» меня вопрос: как так могло случиться, что один человек *убил* другого? Может быть, в моё сознание проник *«мыслительный вирус»*? Мне приходилось

бывать в ситуациях, когда, гуляя с дворовыми ребятами, я наткался на агрессивных пацанов, то ли армян, или азербайджанцев, которые нас задирали. До драк дело не доходило, но огрызались или мы, или они. Такие ходки по *«лезвию»* были, но они оставляли в душе странные следы. Я начинал размышлять, почему агрессия столь частый гость в среде пацанов, примерно такого возраста, как у меня или моих сверстников. Конечно, мне хотелось некоего физического самоутверждения, но голову я никогда не терял, хорошо *понимая* свои более чем ограниченные возможности.

Ситуаций взаимной враждебности в вечерней школе никогда не было. Даже видимого напряжения не было. А вот на улице, на бульваре стычки случались, но не у меня. В основном у тех незнакомых мне людей, кто разделял со мной прогулку по городу... Стычки возникали спонтанно. Часто из-за пустяков, но некоторые из них, иной раз, перерастали в полноценные драки.

Я помню столкновение молодых людей неподалеку от бабушкиной квартиры, на большом внутреннем дворе, за пределами нашего дворового колодца, слева, у выхода из него. Ярость и жестокость схватки пяти или шести парней, лет двадцати-двадцати пяти, меня просто потрясла! Я стоял шагах в десяти, на проезжей части, отделявшей многоэтажный дом, стоявший справа от меня и не мог пошевелиться, глядя на отчаянную возню парней. Вдруг я почувствовал плоский, скользкий удар по собственной макушке и отчетливо услышал звон в ушах. Отвлёкшись и почёсывая место удара, я озирался по сторонам, пытаюсь определить, кто же мог запустить этот камень в мою сторону? Я так и не понял произошедшее, чувствуя, как вздувается маленькая шишка. Ушёл домой, заметив, как уже иссякшая скоротечная драка, как странный бесформенный зверь, медленно растекается расходящимися участниками в разные стороны.

Я долго думал над случившимся со мной. Определенно,

мне сильно повезло! Будь я чуть выше ростом, повернись налево или направо, относительно летящего камня, скорее всего удар пришёлся бы в висок, со всеми вытекающими обстоятельствами. Потом, несколько раз я выходил на эту площадку, *вычисляя* траекторию камня и, в конце концов, пришёл к заключению, что кинуть мог его тот самый парень – азербайджанец, лет шестнадцати, который сейчас стоит на балконе и курит, равнодушно отвернувшись от меня...

Удивительная *беззащитность* жизни... Странная, нелепая вероятность гибели нависает над каждым человеком, думаю я, возвращаясь домой. И не столь уж редко, как на первый взгляд может показаться. Непонятные потоки вспыхнувшей поведенческой турбулентности молодых людей, стихийно вовлекают, вобщем-то, ограниченные физические ресурсы личности и могут стать началом конца *жизни*, драгоценность которой не успевает осознаться ни теми, кто становится истоком этой стихии, ни жертвами. Эти мысли пришли мне в голову впервые в семнадцать лет, на фоне жестокой драки молодых людей и нелепого, мгновенного насилия, совершённого в мой адрес неведомым мне субъектом...

Думаю, по причине этих событий и раздумий, в моём сознании выстраивалась ситуация, в которую попал Артём. Потому, наверное, и лезли в голову вопросы, которые мне хотелось ему задать. Скорее всего я понимал мотивы нападения. Уж слишком очевиден был эпизод, рассказанный Артёмом. Но откуда взялся *атакующий*? Почему хотел отнять у военного оружие? Чтобы разбойничать с ним?... От этих мыслей избавиться было не просто. Они пробудились на почве реальных событий, случившихся с Артёмом.

Особенность моей психологии, а точнее, формирующегося мировоззрения, была в том, что о реальной жизни я знал крайне мало! Когда оказываешься за её бортом, да еще на долгое время – в больницах, санаториях – обычное движение жизни вроде бы притормаживается.

События, которые происходили в больничных палатах, сильно отличались от тех, которые происходили на улицах. Да что улицы? Была масса мест, куда я не мог проникнуть! Даже заглянуть туда... Танцплощадки, например, парки, стадионы. Здесь кипела жизнь, действовали люди, жаждавшие общения, взаимного интереса друг к другу, чреватого, кстати сказать, риском столкновений.

Однажды я случайно попал на стадион, где смотрел футбольный матч. Как я туда попал – не помню, но матч проходил под дружные крики враждебных речёвок болельщиков двух команд. Постепенно, когда одна команда побеждала другую, агрессивность болельщиков проигрывающей команды постепенно возрастала. Чувство тревоги, овладевшей мной, было так велико, что я не выдержал и, опираясь на костыли, пробираясь к выходу. Был я один. Ходил на костылях, осторожно ступая, чтобы не упасть. Задев костылями чьи-то ноги, поспешно извинялся, двигаясь к заветным воротам. Вдруг, часть стадиона, дружно вскочив с мест, радостно заорала, задирая руки вверх, прыгая у своих скамеек, а другая часть молча сидела на своих местах. Краем глаза я заметил, что вратарь вошёл в ворота, куда закатился мяч очередного гола проигравшей команды и мне стало ясно, что случилось. Когда я дошёл до выхода, на стадионе началась свалка. Сначала драка завязалась на зрительских местах. Потом, её грозный ком, как могучее веретено смерча, перекинулся на игровое поле, разбившись там на мелкие куски стычек дерущихся парней. Я не мог смотреть на эти *протуберанцы* страсти и ненависти, медленно двигаясь к троллейбусной остановке. Я пришёл домой растерянный и подавленный...

Именно с той поры, отделённой от меня короткими промежутками между событиями, случившимися с Артёмом и со мной (*когда в меня кто-то кинул камень*), я понял, что из меня никогда не получится полноценный футбольный

фанат. Моя личная складывающаяся *культура* поведения почти сразу же перестала быть почвой, на которой могли произрастать ростки стихийного насилия и жестокости. Хотя, со временем я максимально приближался к *поведению*, сущность которого дышала угрозой и вероятностью моего насильственного действия, движимого справедливым возмездием или желанием отчётливо осознаваемой мести! Но случилось это много позже и об этом мой рассказ впереди...

Когда я оказывался вне пределов *четырёх стен*, вне ограничения собственной деятельности, вне произвольных встреч с людьми, жизнь которых была насыщена множеством потребностей, которые могли противостоять моим, я обнаруживал жёсткую *ограниченность* моих личных возможностей и желаний, характерных для семнадцати-восемнадцати и более лет. Осознаваемая мной мотивация жажды действий, схватки, на фоне видимой конкуренции с соперниками, представала передо мной в моём жизненном бытии. Случалось, что я вроде бы окунался в *настоящую* жизнь, но реально оказывалось, что это далеко не так. Мой внутренний мир постоянно чувствовал тяжесть оков моей физической ограниченности и первое, что останавливало мою желанную активность, готовую перерасти в агрессивность, была быстрая усталость и страх не выдержать нагрузок, которые были не под силу моему растущему, но искалеченному болезнью организму.

Реальность моего бытия постепенно начала вырабатывать в моем воображении *фантастические* образцы поведения, зревшие в моём мире, скрытом от чужих глаз. В конкретном *контексте* переживаемых мною событий мне, обычно, *нечто* казалось, а *не проявлялось*. Вот почему, будучи свидетелем некоего реального события и *пересказывая* его, я постепенно *скатывался* на вымышленный *пласт* событий *воображаемых*, не замечая, что *внедряю* в их сущность чужеродные элементы, неведомо откуда *добытые* мною.

В годы начала моего отрочества, но особенно на этапе его завершения и обретения юности, как времени активной функции *сознания*, когда в нём начал накапливаться *социальный* опыт, эта особенность моей личности становилась всё очевидней. Видя интерес слушателей к моему *пересказу* случившихся событий, участником которых я невольно оказался, я ощущал не столько *готовность*, сколько непреодолимое *желание* излагать *нечто*, рискуя потерять репутацию правдивого рассказчика. Однако, мои фантазии редко выходили за рамки допустимых границ, но сам факт желательности *подпустить* увлекательную выдумку к границам правды, сильно помог мне в зрелые годы, когда я почувствовал неодолимое стремление к *литературному сочинительству*...

...К концу недели встречаю Артёма. Урока не было. Сидели одноклассники, тихо переговариваясь друг с другом, как и мы с Артёмом. Он хотел уже уходить, но, перелистывая учебник геометрии, о чём-то меня спросил. Я ответил. Помолчали. И тут я не выдержал, задал ему *свой* вопрос об убийстве.

— Я уже давно военный человек, — начал Артём. — Большинство из нас люди особенные. У меня, например, нет переживаний, которые сдерживают мои действия, как это бывает у большинства гражданских. На меня *напали*. Я *реагирую* мгновенно. *Не думаю*, что за человек на меня напал? Почему? Что ему от меня надо? Об этом я никогда *не думаю*. Его цель — я! Вопросы: «Что тебе надо?» «Чего ты ко мне пристал?» Не мои! Времени нет! На секунду расслабишься и всё! Он бы меня убил. Точно! Я изловчился и прикончил его... Конечно, я мог бы использовать свой пистолет... Но знал бы ты... Какая меня ждала бы канитель! Надо объяснять... Причем, в письменном виде... Ехать на место... Туда, где всё это случилось... Показывать... На каждый выстрел должна быть своя причина! У нас же не военное положение... Причина

выстрела должна быть понятна эксперту. Моему начальству! Чёрт знает, поняли бы меня? В общем, схватил я его... Стукнул головой об землю и выкинул в яму... — Помолчали опять. Бросив окурок в урну, Артём сказал:

— Ты знаешь, Олег, год учебный закончу и уеду... Сколько до конца года осталось? Месяца три-четыре... Кстати, меня в другой гарнизон переводят... — Он вздохнул... — Пойду — ка я домой. Ты остаешься? Пойду... Что-то устал... — Он вышел за дверь. В тишине школьного коридора постепенно растворялись его твёрдые шаги. Учебный год *проскочил*, как из пушки. Я сдал все экзамены на «четыре» и «пять». Получил аттестат зрелости и расстались мы с одноклассниками уже навсегда...

...С Аидой у нас ничего не заладилось. У неё начался *роман* с тем парнем, которого я однажды увидел, входящим в её квартиру. Ясное дело! Чего уж тут приставать? Мой «Девичий вальс» я подарил ей ко дню рождения, приложив к нотам красивую открытку. Всё положил в её почтовый ящик в дверях. Ждать её реакции на подарок пришлось неделю или две. Однажды, она постучала в мою квартиру.

— Здравствуй, Алик — сказала она, назвав меня, как обычно звали мои родители и бабушка. — Спасибо за очень красивый вальс! Неужели ты написал эту замечательную музыку? — На её лице было недоверие. Я почувствовал, как горячая волна обиды заставила меня замолчать. В свои семнадцать лет я молча стоял, опустив голову, не зная, что сказать. Аида, снисходительно потрепав меня по волосам, повернулась и ушла. Почти мгновенно, в тот же миг, я *вылечился* от своего увлечения ею. При встречах, с трудом пере-силивая себя, едва заметно кивал...

Менялись мои жизненные представления, менялся я сам. Мой разум обретал всё большую независимость. Работая на телеграфе, закончив школу, я, как мне казалось, обретал новые признаки *взрослости*. Изменилась осанка. Теперь,



Олег Юрганов
1956 год

дождавшись своей очереди играть в настольный теннис, я вешал свою трость на забор крохотного садика у бабушкиной квартиры и, припадая на правую сторону, подходил к столу, держа в руках ракетку.

Но глядя на меня со стороны, нетрудно было заметить мою наивность, азартность, вспыльчивость. Я оставался человеком низкорослым, хромым, с неустойчивой походкой. Однако, эти признаки моей внешности уже не давили на меня так, как это было год или три назад. Возросло моё самоуважение, хотя, увы! Я был готов к безрассудным поступкам, которые отнёс бы к разряду *откровенно дурацких*...

Однажды вечером, подчинившись суете мальчишек, готовых сбросить кошку с крыши нашего трехэтажного дома, я вызвался *подсобить* им. Схватив несчастное животное за шкурку, я полез по железной лестнице к крыше дома, зная, что любая кошка останется в живых, сиганув с большой высоты. Поднимаясь по лестнице и не чувствуя боли, я добрался до края крыши. Кошка, истошно орала и царапалась. Она вырвалась у меня из рук и, соскользнув с края крыши, упала вниз, на асфальт. Я отполз от края крыши и быстро скатился по лестнице, не видя, какая разыгралась трагедия на *асфальте*. Кошка оказалась беременной. Приземлившись, она отползла к краю асфальта, испытывая родовые конвульсии. Собралась маленькая группа людей, наблюдая за происходящим. Я, ничего не ведая, только теперь

почувствовав боль в бедрах, отправился домой. Бабушка, услышав от соседки о проделке каких-то пацанов, пошла на улицу, но там лежал только мёртвый крохотный котёнок, кошки уже не было...

...Жизнь продолжалась! Недели через две отец купил младшему сыну Саше велосипед «Школьник». Брат выглядел весьма горделиво, стоя рядом с велосипедом, но кататься не мог и, повидимому, как старшему брату, мне предстояло его научить. Как это делать я не знал. Родителям и в голову не приходило покупать мне велосипед! Зачем? Да я и сам не стремился просить их об этом. Мне казалось, что я не смогу никогда в жизни кататься на этой увлекательной *машине!* А тут отец купил брату велосипед, конструкция которого была сходна с взрослой версией – ручной тормоз и ножной, шины, которые следовало накачать насосом, даже фонарик посередине руля. Отец попросил меня помочь брату освоить блестящую лаком и никелем *машину*. Садиться на велосипед Сашка почему-то решительно отказался. То ли боялся упасть, то ли не очень еще доставал до педалей. Хотя нет... Я уговорил его взобраться на велосипед и убедился, что с педалями был полный порядок! Что же делать? Тогда я сам решил на него усесться. В свои семнадцать был я росточка небольшого, да и веса умеренного. Взобрался... Может я и выглядел нелепо на «Школьнике», но странное дело! Едва я его *оседлал*, как мои ноги послушно закрутили педали и двухколёсная *конструкция* уверенно двинулась вперед! Сначала брат побежал за мной, но, увидев, что я направился к выезду из ворот, вернулся за калитку бабушкиного садика. Выехал я между большими домами, на проезжую часть и, крутя педали, почувствовал необыкновенную *гордость*, хотя, честно говоря, держался в седле не очень устойчиво. Тормозил неумело, даже сбил маленькую девочку. Испугавшись за неё, я с велосипеда упал а, вставая, почувствовал на своём затылке крепкие

удары её отца, который, подняв девочку, решил в отместку надавать мне *«лещей»*. Сильно хромая, я отошёл чуть в сторону, стал стыдливо извиняться. Девочка лет пяти, отряхиваясь, быстро отошла в сторону. Её отец продолжал меня ругать, а я попытался снова взобраться в седло велосипеда, с опаской оглядываясь на сердитого папашу, поехал домой. С работы уже пришла бабушка. Она молча слушала плачущего внука, который жаловался на то, *что Алик уехал, а ему ничего не сказал...*

Как ни странно, но бабушка отнеслась к моей проделке очень снисходительно, хотя отец строго-настрого запретил мне садиться на велосипед брата. Оно и понятно! Я выглядел по сравнению со «Школьником» вполне *здоровым лбом*, которому вовсе не пристало кататься на *велике* младшего брата. Не думаю, что мне стало стыдно. Нет... Наоборот! Осталось впечатление человека, который испытал чувство *удовлетворения* от того, что *сел и поехал!*

К радостям детства и отрочества, наверное, включая и юношеский возраст, относятся моменты, когда ты что-то *осваиваешь*. Допустим технику передвижения – тот же велосипед. Пережить это в детстве мне не удалось. Такое в моём положении было невозможно! Но вот *стукнуло* мне семнадцать и... нате вам! Сел на велосипед, купленный семилетнему брату. И... поехал! Случилось это в Баку...

Если продолжать тему, вспоминается момент, когда я, уже в Краснодаре, работая на тамошнем телеграфе, познакомился с коллегой, который ездил на работу на велосипеде. Что меня сподвигло просить его разрешить покататься? Было мне тогда девятнадцать лет. Я вполне мог сообразить, что в этой затее есть немалая толика риска. Во-первых, я собирался выехать со двора телеграфа и двигаться по улицам, запруженным транспортом. Во-вторых, я не знал, хватит ли у моих ног сил крутить педали, отмеряя расстояние не только *«туда»*, но и *«обратно»!* От азарта я *потерял*

голову. Когда сравнительно легко я стал двигаться по улице, с небольшим наклоном корпуса вперёд, не чувствуя усталости в ногах, глянул на часы, что висели на здании телеграфа, заметил – до окончания перерыва осталось минут пять! Исчезло ощущение времени и я напрочь забыл, что с обеденного перерыва надо вернуться на работу вовремя.

Пристроившись сзади к троллейбусу, я двигался ему вслед, не думая, что машина рано или поздно будет тормозить и что надо бы помнить об этом! А ведь тормозить-то надо до момента, когда троллейбус начнёт замедлять своё движение. Увы! Никакого опыта езды на взрослом велосипеде у меня не было. В общем, опомнился я слишком поздно. Приближаясь к остановке, троллейбус замедлил движение, а я, двигаясь вслед за ним, стремительно к нему приближался. Возникла угроза удариться о его «спину». Лихорадочно соображая, что же мне делать, я начал тормозить и понял, что столкновение почти неизбежно! Тут я увидел правый бортик асфальта, который был достаточно высок, чтобы моя правая нога могла бы на него опереться и остановить движение велосипеда. Мне повезло. Я уже был готов удариться колесом в бампер остановившегося троллейбуса, но в сантиметре перед его спиной, встал, упершись стопой о высокий бортик асфальта. О-о! Это были памятные переживания... С отчаянно бьющимся сердцем, я осторожно развернулся на пустой улице и поехал к зданию телеграфа. Хорошо хоть отъехал от него недалеко...

...Тогда мой девятнадцатилетний азарт сыграл со мной злую шутку. Назавтра, уговорив владельца велосипеда, дать его мне, чтобы съездить пообедать домой, я уселся и поехал, не ведая, что одно дело, когда ты едешь по асфальту и совсем другое – булыжная мостовая. Хоть и были у велосипеда хорошо накачанные шины, свою «задницу» я отбил, «ехая» уже без всякого удовольствия. Я проклинал себя за легкомыслие, трясясь на двухколёсном монстре, уже на полпути

утратив желание добраться домой, чтобы удивить мою мать и поесть её борща. С трудом развернувшись на полдороге, я решил вернуться на телеграф. Стал моросить мелкий дождь. И откуда он взялся! Через минуту я опрокинулся на левую сторону дороги. То ли потерял равновесие, то ли просто устал, не выдержав тряску, чувствуя, что руль велосипеда бьётся в руках, как крупная птица. Мимо тут же промчался грузовик, обдав меня перегаром горячего выхлопа, едва не задевая передними и задними колёсами. Ко мне подбежал какой-то мужчина с бледным лицом. Он помог встать, глядя на меня испуганными глазами, пробормотав:

— Ну, парень... Ты точно, в рубашке родился... От тебя бы ничего не осталось...— Что-то буркнув в ответ, я еле взобрался на велосипед и минут через десять оказался на своём рабочем месте, трясясь от ужаса вероятной гибели, так сказать «постфактум»...

Была еще одна история с велосипедом, но уже с моторчиком. Правда, сидел я верхом на багажнике, был слегка навеселе, а рулём управлялся мой друг Володька Сирин. Но об этом – потом. Тем более, что от погони милиционеров мы всё-таки оторвались...

...Вернусь в свои семнадцать лет, плюс полгода восемнадцати. Из случившихся событий в СССР, в период начала моей юности, самым сильным для меня впечатлением было прочтение Постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий.» Честно говоря, в эти годы я не слишком вчитывался в статьи, опубликованные в газете «Правда». Однако, почти всегда в доме или на работе было включено Всесоюзное радио! Волей-неволей приходилось прислушиваться к голосам дикторов. Тогда же местное Азербайджанское радио вещало что-то около двух или трёх часов в сутки, отдавая дань местным новостям и трансляции концертов «Мугам» – национальной музыки.

Вокально-инструментальные произведения, один из основных жанров азербайджанской национальной традиционной музыки. Звучание мугама для славянского уха – надоедливо и тягостно, хотя вокальные требования к исполнителям этих национальных «пассажей» были достаточно высокими. Музыка звучала в сопровождении азербайджанских народных инструментов: «уд» – родственник гитары, ставший похожим на мандолину, «тар», «саз», «кьяманча», звуки которых я не отличал. Духовые инструменты, напоминавшие русскую дудочку, особенно зурна, в союзе с ударными, например, с «гавалом», напоминавшим барабан с короткими полями. Ко времени «прайм-тайма», когда завершался рабочий день, включалось «Всесоюзное радио» и передавались последние известия.

Хорошо помню, была суббота 30 июня 1956 года, но не вспомню по какой причине мать предложила мне сходить в кинотеатр «Бакы», который располагался неподалёку от бабушкиного дома, где мы тогда жили. В фойе кинотеатра мать купила в киоске газету «Правда». Народу было немного. Мы присели на свободные места в большом холле. Мать разворачивает газету и я вижу слова: «Постановление ЦК КПСС...» Что-то меня отвлекло и я отвернулся от газетной полосы. Мать застыла, читая опубликованный партийный документ, лицо стало напряжённым, заставив меня обратить на неё внимание. Перегнувшись ближе к плечу матери, читаю: «О преодолении культа личности и его последствий.» Честно говоря, я мало что понимал в этом словосочетании, но имя И. Сталина, мелькавшее на странице, было притягательным. Сжав губы, мать придвинулась ко мне и прошептала: «Просто кошмар какой-то... Тут про Сталина... Пишут... Невозможно...» Я наклонился к газетной странице и начал читать: «Публикуемое ниже Постановление Центрального Комитета партии было принято в соответствии с решением XX съезда КПСС «О культе

личности и его последствиях». В нем раскрыты конкретно-исторические условия и причины возникновения культа личности И. В. Сталина, его сущность, характер проявления и последствия. Наряду с этим в Постановлении отмечено, что И. В. Сталин, находясь на посту Генерального секретаря ЦК партии, вместе с другими руководящими деятелями партии и Советского государства, активно боролся за претворение в жизнь ленинских идей; как теоретик и крупный организатор он возглавлял борьбу против троцкистов, буржуазных националистов, против происков капиталистического окружения...»

Прозвенел звонок, приглашавший пройти в зал. Я мало что понимал в тексте с первых строк Постановления, а само словосочетание «...культ личности И. Сталина» вызвал у меня сильное недоумение.

Я сейчас не помню, какой фильм мы посмотрели с матерью, но домой она возвращалась хмурая и не произнесла ни слова. Придя домой, растерянно похлопала по карманам кофты, видимо, только сейчас поняв, что оставила газету в кинотеатре, на стуле. На том всё и кончилось. Я тоже не вспоминал о прочитанном. Вечером, часов в пять или шесть, по радио стали передавать текст Постановления ЦК КПСС и я прислушался. Но тут на дворе собрались ребята, чтобы поиграть в настольный теннис. Раздался характерный звук прыгающего целлулоидного мячика, и я не выдержал, пошёл на улицу.

Пришёл с работы отец. Я стоял у заборчика крохотного садика бабушки и смотрел на играющих. Устав стоять, вернулся домой. Мои родители сидели в столовой на диване друг против друга и о чём-то разговаривали. Было уже часов девять вечера. Я прислушался. Отец – напомним, он был беспартийным, а партстаж матери исчислялся уже пятнадцатью годами – видимо, продолжая мысль, высказанную ранее, сказал:

— Об этом разве так надо говорить?

— Что ты имеешь в виду? — Спросила мать. Отец, не обращая на меня внимания, произнёс со злостью:

— Этот человек пролил море крови, а тут *теорию* разве-ли, вот что странно!

— Хорошо хоть заговорили об этом... — Заключила мать.

— Людоед! — Выкрикнул отец. — Говорить о нём надо, как об убийце! — Мать замолчала, увидя, что я спускаюсь со ступенек порога в квартиру. Отец махнул рукой. Встал и вышел в палисадник.

...Доклад Хрущёва о культе личности Сталина, секретно прочитанный делегатам XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года, мне был неведом, в Советском Союзе текст доклада распространялся в первичных парторганизациях в форме «Закрытого письма ЦК КПСС».

После публикации в «Правде» Постановления ЦК КПСС на ту же тему прошло уже некоторое время. Его моя мать читала в кинотеатре, а я только *подчитывал*. Не стоило ожидать от меня ни внимания, ни *погружения* в теорию культа личности Сталина. Суконный текст статей в «Правде», длинные рассуждения о причинах культа меня привлекали мало. Захватывали личные проблемы, непрерывные боли и усталость – вечная спутница труда, связанного с необходимостью поднимать тяжёлые аппараты СТ-35, перетаскивать их на тележку, чтобы отвезти на рабочее место слесаря, искать причины сбоя в работе.

По радио шли передачи о судьбах репрессированных, имена которых постепенно реабилитировала «Специальная Комиссия при ЦК КПСС». Иногда в «Известиях» публиковались короткие художественные миниатюры, героями которых были репрессированные и в недавнем прошлом сидевшие в лагерях. Поскольку некоторые тексты были написаны довольно талантливо и убедительно, случалось, я прочитывал их с сочувствием. Однако, пока реабилитация не получила широкого размаха или быть может я в свои

семнадцать-восемнадцать лет еще не дорос до осознания трагедии невинных людей, искалеченных сталинскими репрессиями и освобождаемыми из ГУЛАГа.

Пострадавших в моей семье не было. Но судя по впечатлениям моей матери, страх был постоянным. В Азербайджане тогда *боялись* едва ли не все! После войны репрессии продолжились, но и тогда они минули мою семью. По радио, которое мне приходилось слушать чаще, чем отцу с матерью – они были заняты на работе – я воспринимал только ту информацию, которая была допущена цензурой. Другой просто не было! Она, эта самая цензура, *процеживала* реально происходившие события настолько тщательно, что в открытый эфир попадали только *пресные*, то есть избавленные от *подробностей* данные, хотя и касались они проблем, которые были уже *осознанны* верхушкой власти, как опасные для *социализма* ошибки, объяснённые, растолкованные, которые предъявлялись *к сведению* масс.

Не знаю *почему*, но подсознательно я рано начал понимать, что вступление в *партию* будет для меня делом необходимым для моей будущей *карьеры*, хотя определенно я долго не знал кем я хочу быть? По-видимому в моём зрющем сознании *амбиции* стали занимать место, предназначенное для формирования твёрдых жизненных *принципов*, нравственных *привычек*, моральных *устоев*. Однако, эти качества характера формировались трудно, развиваясь в условиях болезненности физического роста, заставляя долгое время пребывать в отрыве от семьи. Возникали пустоты. Чем-то они заполнялись, черпая *версии свойств* характера из больничного социума. Пробуждающиеся у меня потребности, интересы, которые обычно развиваются в ещё неокрепшем сознании юноши, уже ощущались.

Вперед вырывались приоритеты пубертата, которые пока не оформлялись в устойчивые нравственные нормы. Тут же навязывались социумом обязательства в школе, на работе,

в обыденном общении и... так далее, и тому подобное. В этих условиях моя личность обрела специфический *привкус*, в котором *выживание* становилось доминирующей идеей. Амбиции обретали *эгоистический* оттенок. Моя природная прямолинейность, категоричность, пробуждавшаяся воля подсознательно *вынуждали* меня искать решения, в которых обнаруживались *возможности* проникновения в первичные структуры власти. Этим скорее всего объясняется тот факт, что в 1957 году, на Бакинском телеграфе, я был принят, в восемнадцатилетнем возрасте, кандидатом в члены КПСС. В комсомоле я пребывал три или четыре года, вступив в Краснодаре, когда учился в школе, вернувшись из Прочноокопского санатория.

Обсуждение моего заявления проходило быстро и спокойно. Даже не задали ни одного вопроса. Проголосовали единогласно, а через неделю или две я получил кандидатскую карточку и начал платить членские взносы.

Когда в парторганизации Бакинского телеграфа было получено письмо ЦК КПСС с текстом Доклада Н. С. Хрущёва: «О культе личности и его последствиях», зачитывалось оно и обсуждалось, когда у меня проходил, так сказать, организационный период моего вступления в партию.

Я не знал, как этот документ рождался. Как проходил он сквозь соковыжималку аппарата ЦК КПСС. То есть был подвергнут там изменениям, прежде чем попал в руки низовых партийных кадров, в том числе и ко мне. Конечно же, я был юн, недостаточно оснащён жизненным опытом, которым обзавёлся только с приближением зрелости.

Сейчас, в свои семьдесят шесть лет, уже с другим настроением, я читаю книгу Р. Г. Пихоя «Советский союз: история власти 1945-1991». Там пишется: «...Когда на XX съезде было принято решение ознакомить членов КПСС с текстом доклада Хрущёва, то для начала следовало создать его

официальный текст.»¹ Это решение было принято 5 марта 1956 года, а в партийных организациях СССР, включая и ту партиячку, в которой я работал на Бакинском телеграфе, читался уже «...отредактированный, правленный вариант доклада Хрущёва. Однако, что читал и что говорил Хрущёв делегатам XX съезда, достоверно не известно. Установить степень соответствия печатного текста доклада Хрущёва и его устного выступления пока не представляется возможным, так как пока не выявлена магнитофонная запись выступления.»² Вот так! А на дворе сейчас 3 декабря 2014 года. СССР канул в вечность, вместе с КПСС.

Отшумели Венгерские события. Они не слишком меня задели. По радио я слышал официальные версии событий в Будапеште сильно *выжатые* Агитпроповской цензурой. В свои восемнадцать лет, даже будучи кандидатом в члены КПСС, я не понимал, чего хотят венгры? Их освободили от фашизма, во главе правительства встали местные лидеры – коммунисты. Строят социализм и вдруг... восстали! Позже были изданы в «Политиздате» книги с документальными фотографиями, в которых я увидел страшные снимки изуродованных тел коммунистов на улицах Будапешта. Прочитал комментарии. Разумеется, ничего, кроме гнева не испытал! Это ж надо – рассуждал я – сколько бандитов развелось в братской стране! Что они там вытворяют? Хорошо хоть наши танки вовремя прибыли в столицу республики, остановили этот разбой недобитых фашистов Миклоша Хорти!

Правящая КПСС искусственно противостояла желанию своего народа знать о событиях в Венгрии, замалчивала правду об истинных мотивах недовольства граждан

1) Р.Г. Пихоя «Советский Союз: история власти 1945-1991» изд. Сибирский хронограф, Новосибирск 2000 г., стр.128

2) Там же: стр.128

Восточной Германии, Албании, Югославии, Польши, Чехословакии. Не говоря уже о том, что истинная суть желаний народов жить так, как им хочется, Агитпропом утаивалась. Догматика большевистских концепций «*строительства социализма*» противоречила социальному опыту народов Восточной Европы, их государственным, национальным, политическим традициям.

Но что я знал об этих традициях? В свои восемнадцать, девятнадцать лет, живя в Баку, затем в Краснодаре я был всего лишь свидетелем происходивших событий, о которых мне сообщало радио, журналы, газеты, недавно возникшее телевидение, и я усваивал *позицию официоза*, впитывая в себя те представления, которые мне предъявляли *советские* СМИ.

Волнения в Восточной Германии. Советские танки в Венгрии. Массовые демонстрации в Польше. Почему возник тяжкий конфликт между лидерами КПСС и такими же коммунистами Югославии? Я не понимал карикатуры на Иосифа Броз Тито, в которых он изображался с фашистской свастикой, хотя, те же советские газеты рассказывали ранее о его успешном руководстве партизанским движением в годы Второй Мировой войны!

Были приняты в состав СССР Прибалтийские республики, после освобождения их от гитлеровских захватчиков. По радио передавали громкие восторги народов на демонстрациях по этому поводу. Но я ничего не знал о «Лесных братьях» – партизанах Латвии, Литвы, воевавших не с войсками Гитлеровского Вермахта, а с Красной Армией, которая якобы оккупировала их страны. Да, я был осведомлен о концлагере «Саласпилс», негодовал о сотнях тысяч загубленных в печах, ставших жертвами нацизма, в том числе и евреев, десятки тысяч которых были уничтожены там. Был свидетелем полной «*политической перелицовки*» социально-политической реальности в Прибалтике, но я ничего не знал о десятках тысячах сосланных в Сибирь эстонцев,

латышей и литовцев, объявленных большевиками «кулаками». О тысячах граждан Прибалтики, посаженных в тюрьмы за «сопротивление властям» и т.п.

Вступив в Евросоюз после краха СССР эстонцы, латыши, литовцы, во всяком случае, их политическая элита, убеждены, что нынешняя Россия стремится к реваншу. Они ненавидят всё, что осталось после Советов, включая памятники воинам-освободителям, которые ценою своих жизней избавили Прибалтийские государства от нацизма. Лидеры этих стран *снисходительны* к фашизму, приветствуя демонстрации нацистских легионеров. Десятки тысяч русскоязычных жителей Прибалтики лишены гражданских прав, проживая на территории Прибалтийских государств... И так происходит, потому что эти народы на себе испытали все «прелести» Советской власти. Всё перепуталось в Прибалтийском социуме: раньше они прятались под тенью СССР, теперь они затаились под «*кущами*» Евросоюза, отработывая свою безопасность и политические права точно так же, как это делали в Советском Союзе...

Но мог ли я понять *тогда*, в 1956-1957 годах, что политические противоречия в странах Варшавского Договора, да и в СССР, подавляемые спецслужбами социалистического лагеря и КГБ, возникали от того, что советская политическая и идеологическая доктрина *не устраивает* послевоенных партнёров СССР, которые сущность этих доктрин, *освящённых* именами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, не готовы были считать *нетленными* плодами ЦК КПСС и ради них идти на отказ от своих национальных идеалов и многовековых традиций!

Агитпроп заставил меня думать, что народные волнения – это «*вылазки врагов*». Я оправдывал их силовое подавление, ради чего вмешательство советских войск считал необходимым, хотя и очень болезненным актом! Самое поразительное, что то же самое делали США, воюя в Корее,

помогая Чан-Кайши в Китае оружием и военными инструкторами. Хотя... Нюансы и различия здесь имеются...

Я особо не углублялся в политические дебри. В свои семнадцать-восемнадцать лет я довольствовался плодами политической пропаганды, старательно выращиваемыми Агитпропом. Та реальность, в которой я жил меня устраивала. Она была мне понятна. Я даже гордился, что нашлись люди, которые публично признали ошибки И. Сталина. А это, как мне казалось тогда, было очень непросто!

Я сидел на собрании, слушал выступавших, большинство которых читали по бумажке. Голосовал за резолюцию, которая была составлена в парткоме и согласована в Первомайском райкоме КПСС города Баку, к которому относился телеграф. В свои семнадцать-восемнадцать лет я был *нешкой*, еще не зная какой ценой доставался опыт и умение выживать в условиях, когда политическая система социализма сотрясалась от противоречий, оказавшихся *неразрешимыми* для *мифологических* основ идеологии коммунизма. Но эта политическая система оставалась еще жизнедеятельной, а её *теоретическая доктрина* стала даже называться «*научным коммунизмом*». Но как *это* случилось, я не знал. Однажды в университете, начал изучать *научный* предмет с таким наименованием. Потом сдавал экзамены. Не думал о его сущности предмета, обеспеченного профессурой, которой сегодня грош цена! Очень непросто было мне, человеку, который оказался плотно *запелёнутым* в тряпичные лоскуты мифологических доктрин, пытаться понять суть её гнилых *корней*, неспособных удерживать древо жизни, потому что питались они не соками *истины*, а ядами *лжи*.

Разумеется, я не имел ни малейшего представления о том, что в руководстве КПСС зрел *государственный переворот*. То, что происходило в Москве официально так не называлось, но суть событий, тонким ручейком просачиваясь в газеты и радиопередачи, вызывала у меня

и тревогу, и недоумение. Не хочу сказать, что я вдумчиво следил за происходившими в стране событиями, умело отслеживал «*зигзаги*» в линии партии, неотрывно слушал выступления Хрущёва во время его поездок по стране. Все впечатления накапливались спонтанно, происходили как бы сами собой...

В мои восемнадцать лет вперед вырывались и другие интересы, в которых естественнее выглядела *поведенческая* линия жизни моей личности. Однако, что-то инстинктивно угрожающим было в событиях с весны-лета 1957-1958 годов. Я продолжал работать на Бакинском телеграфе, возвращался домой в бабушкину квартиру номер 5 по адресу Низами 28, играл в настольный теннис в свободное время... При этом, я постоянно слышал по радио и читал в газетах о «...*массовом трудовом подъёме...*», «...*социалистическом соревновании трудовых коллективов...*», о «...*трудовых починах...*», а между этими бравурными сообщениями мелькали фамилии «*Маленков*», «*Ворошилов*», «*Хрущёв*», «*Булганин*», «*Молотов*», «*Шепилов*», «*Каганович*», «*Жуков*», «*Суслов*».

Потом, в более или менее последовательном изложении, возникла история «в верхах», угрожавшая благополучию современной мне властной системы. Празднование 250-летия города Ленинграда, куда должны были отправиться на торжества члены Президиума ЦК. Это стало ключевым событием, которое перекликалось с другим, более скучным, но, как оказалось гораздо более важным для судеб страны – совещанием Президиума ЦК КПСС, на котором бурно рассматривались, так сказать «*организационные вопросы*», а говоря попросту – судьба Хрущёва.

Разобраться в хитросплетениях властных интриг мне было невозможно, хотя я, кандидат в члены КПСС, слушаю все радиопередачи, читаю газету «Правда», политические журналы «от корки-до корки» и т.д. Ни газеты, ни радио, ни телевидение ничего определенного не излагали,

всё «вокруг да около», а по тону передовиц центральных бакинских газет и газеты «Правда» можно было лишь предположить, что слишком энергичная деятельность Первого Секретаря ЦК КСС, Председателя Совета Министров СССР Н. Хрущёва вызывала недовольство «некоторых товарищей». Потом случайно выяснилось, что маршал Жуков организовал с помощью Армии, а точнее её ВВС переброску членов ЦК в Москву, для участия в работе Пленума ЦК. Это, вообще, выглядело парадоксально! Наконец, в газетах появилось сообщение об открытии Пленума ЦК и только, кажется, через неделю, было опубликовано его Постановление «...Об антипартийной группе Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова...» Так были преданы огласке имена «некоторых товарищей».

Я читал этот обширный документ верховной политической власти, констатировав, что глава КПСС Н. Хрущёв победил заговорщиков, которые были против развития сельского хозяйства, партийной демократии, борьбы за мир во всём мире, подписания мирного договора с Австрией и так далее, и тому подобное и, вообще, были готовы на всё, чтобы ликвидировать мирный процесс в развитии страны.

А тут случилось грандиозное событие 4 ноября 1957 года. Был понедельник. Не хочу сказать, что я хорошо это помню, просто сейчас пошёл на Google в Интернете и проверил. Да, было начало недели. Я был дома и не знаю почему включил чёрную тарелку. У нас не было другого приёмника. Вещал старый ветеран Агитпропа – радиоприёмник. Он висел на стене в столовой бабушкиной квартиры и поскольку все ушли на работу, а у меня зверски ныли ноги и я решил на телеграф в этот день не ходить, довелось услышать важное правительственное сообщение.

Голос Левитана заставил меня вздрогнуть. «...Первый в мире искусственный спутник Земли, создан в Советском Союзе!...» Тогда до меня дошло о чём идёт речь. Конечно,

я радовался. Это ж надо! Такое сделать! Тем не менее, событие почему-то не очень возбудило мать и отца. Они спокойно реагировали на происшедшее, не восторгаясь, как я. В доме не было разговоров о первом спутнике, хотя, как мне казалось, событие это заслуживало самых восторженных откликов.

Семь дней все медиа Советского Союза были посвящены этому событию, вовлекая и меня в такие же переживания, заставляя вслушиваться в голоса дикторов, читать газетные статьи, пытаясь понять истинный его размах. Я очень жалел, что не владею портативным радиопередатчиком и не могу принять радиосигналы спутника, хотя слышал их отчётливо и громко, когда наша «чёрная тарелка» иногда передавала эти сигналы.

В общем, почти две недели ни о чём не думалось, только об этом грандиозном событии. Мне достаточно было самому осмысливать его, хотя, в моём возрасте хотелось с такими же пацанами, как я собраться и сопереживать произошедшее. Но у меня не было тогда друзей, а дворовые мальчишки, мои сверстники, как мне показалось, не слишком восторгались этим фактом, отвлекаясь беспредметными спорами о возможных итогах товарищеского футбольного матча, который должен был состояться в воскресенье между Бакинской командой «Нефтяник» и Московским «Спартаком»...

И тут я узнаю по радио том, что маршал Жуков в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР освобождается от обязанностей министра обороны СССР. Он смещается со всех занимаемых постов и отправляется в отставку. Случилось это 25 октября 1957 года. Читаю в "Правде" и "Красной звезде" какие-то дурацкие статьи об опасности "бонапартизма", при этом не упоминаются никакие имена. Я – в полном недоумении! Самый крупный военачальник страны отправляется в отставку?

Я же хорошо помню, что до июля 1957 года Жуков был союзником нынешнего главы КПСС Н. С. Хрущёва. Именно он выручил Хрущева, доставив военными самолетами в Москву всех членов ЦК, чтобы тот получил большинство над заговорщиками – Молотовым, Кагановичем и другими членами антипартийной группы. Тогда, я это тоже хорошо помню, Хрущев ввел Жукова в состав Политбюро, а что же теперь?

В свои восемнадцать лет я уже мог размышлять независимо от мнения взрослых, но ранг событий был настолько значителен, что моих «мозгов» не хватало понять логику происходивших событий. Да и сами события перемешивались тогда настолько густо и так бестолково объяснялись Агитпропом, что их смысл для меня оказался недостижимым! С учётом того, что логика поведения «верхов» была недоступна для нас, рядовых членов партии.

29 октября 1957 года читаю в «Правде» Постановление Пленума ЦК КПСС «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте». Маршал Георгий Жуков обвиняется в «склонности к авантюризму», в потере «партийной совести» и т.д. Он, понятно, в отставке, а новый министр обороны – маршал Р. Малиновский. На этом посту он пробыл до своей смерти в 1967 году.

Моя робкая попытка попросить секретаря парторганизации телеграфа, пожилого еврея – сейчас и не вспомню его фамилию – объяснить мне события с Жуковым, вызвала у него приступ страха. «Эко куда тебя занесло, Юрганов! Зачем тебе это знать? Слушай, читай, соображай по написанному в газетах и все дела!» Это стало для меня уроком...

...Все последующие события в космических исследованиях и в партийной жизни страны, случившиеся во второй половине 1957 года, меня уже не затрагивали. Назревали перемены в бытии нашей семьи – всё чаще и чаще шли разговоры о необходимости отъезда из Баку. Отец снова стал вести



Олег и Зинаида
Юргановы
1959 год

переписку со своим фронтовым «гуру» отставным генералом М. Ф. Тарасовым. До отъезда в Краснодар оставалось что-то около полутора лет. Своим чередом шла жизнь и у меня...

...Однажды вечером в наш двор пришла рыжеволосая женщина лет тридцати – тридцати пяти. Одета она была просто: платье, на голове косынка, ноги обуты в простые туфли без каблучков. Я играл в настольный теннис с одним из своих дворовых товарищей и стоял спиной к черному входу в ресторан «Ширван». Женщина медленно двигалась в нашу сторону. Остановилась у квартиры Юрия Трубецкого – тот был коллегой моего отца по работе на Бакинском телеграфе – переговорила там с мальчишками, которых встретила по дороге. Те показали ей рукой в мою сторону. Она кивнула. Прошла вперед мимо квартиры Аиды и, подойдя к калитке крохотного садика моей бабушки, встала, легко опершись спиной о заборчик, изредка на меня поглядывая. Мне показалось, что ждёт она именно меня, хотя за спиной и рядом стояли два или три сверстника, в ожидании, когда я завершу партию. Заканчивать игру раньше времени я не собирался, отбивая на игровое поле противника целлулоидный мячик. Я проиграл,

и немного огорчённый, отошёл к заборчику палисадника, чтобы взять свою трость, висевшую между досками. Ноги страшно ныли. Тут женщина неожиданно повернулась ко мне, спросив.

— Вы – Алик Юрганов?

Я кивнул...

Подойдя ко мне на шаг ближе, она поздоровалась.

— Добрый день... Можно с вами поговорить? — Я устало кивнул. Честно говоря, настояшись после игры в настольный теннис, я чувствовал сильную потребность куда-то присесть, чтобы отдохнуть и уже взялся за калитку бабушкиного садика, чтобы пройти на стоявшую там короткую скамью. Женщина представилась. — Меня зовут Рая (имя не помню, потому и назвал так. О.Ю.). — Я работаю в доме Джамала Муслимовича Магомаева...

Кто это такой, я не имел ни малейшего представления, но фамилию вскоре вспомнил. Она довольно часто звучала по радио и была на слуху. Однажды даже мой отец рассказывал, что Муслим Магомаев-старший преподавал физику или математику в Бакинской средней школе, где он учился. Я, конечно, знал, что был он композитором, написал оперу, кажется первую в классической музыкальной культуре Азербайджана – «Шах Исмаил». Впрочем, на этом мои познания о композиторе завершались, а о его потомках я решительно ничего не знал...

...Рая объяснила, что пришла с просьбой, которую ей передала тётя Муслима Магомаева, мальчика, который живёт в соседнем дворе и учится в седьмом классе. У этого мальчика – проблемы с математикой – сказада она тихо, добавив – и с другими предметами. Едва стоя на ногах, я, сцепив скулы от боли, рассеянно слушал эту женщину, готовый отодвинуть её и сесть на скамью.

Тётя, искавшая *репетитора* для своего племянника, судя по всему, была дамой практичной. Она не хотела тратиться

на студента ВУЗа и поручила Рае, походить по близлежащим дворам, поискать способного старшеклассника, который мог бы бесплатно позаниматься с Муслимом. Рая так и сделала. Дом, в котором жил Магомаев-младший, располагался по соседству с нашим. Проход в наш двор был параллельным с воротами, ведущими во двор дома, где жил Муслим. Обойдя дворовых мальчишек, живших в её доме, поспрашивав их, Рая желающих позаниматься с Муслимом не нашла. Мальчишки его хорошо знали, как шустрого, смешливого шалопая, заниматься с которым было бы себе дороже. В общем, все отказались.

Не долго думая, Рая отправилась в соседний двор, то есть в наш. Я тогда *форсил*: начал носить очки, чтобы скорректировать зрение. Очки мне шли и выглядел я очень солидно. Когда я играл в настольный теннис, очки снимал, а в момент разговора с Раей, вытащил их из нагрудного кармана рубашки и надел.

Услышав её просьбу, я начал отнекиваться, ссылаясь на занятость – ежедневную работу с восьми до пяти. Я тогда уже работал целый рабочий день, потому что мне исполнилось восемнадцать лет. Наверное, я и в самом деле выглядел тогда «умным очкариком», как спустя сорок лет напишет в своих мемуарах знаменитый певец, потому что Рая, проникнувшись ко мне уважением, продолжала меня уговаривать. Настал миг, когда я понял, что если эта женщина сейчас же не оставит меня в покое, я просто рухну на асфальт от острой боли в бёдрах. Почти всем телом я упёрся в заборчик, впившись рукой в перекладину трости и сказал, что должен подумать. Она не отставала и вынудила согласиться придти назавтра в квартиру Магомаевых, чтобы переговорить с тётей Муслима. Рая тут же стала объяснять мне, как пройти в их двор, в какой подъезд зайти и какую квартиру искать. Наконец, облегченно вздохнув, заверив меня, что предупредит Марию Ивановну, жену дяди



Олег Юрганов август 1956 года

Муслима – Джамалая, чтобы та никуда не уходила, женщина удалилась. Еле добравшись до кожаного дивана, стоявшего в холле бабушкиной квартиры, я лёг, вытянул ноги, потирая жестоко ноющие бёдра.

Назавтра, придя с работы, пообедав, я отправился в дом Муслима Магомаева. Почему я это сделал? Во-первых, свою роль сыграло здоровое честолюбие. Еще три-четыре года назад я сам нуждался в помощи, теперь, завершив вечернюю школу и работая, я сильно выправил уверенность в себе. Как оказалось, дворовые пацаны, показав на меня этой тётке, сильно подняли мои «акции», и теперь какой-то мальчишка, явный шалопай и бездельник, живший в доме, известном, как *питомник* азербайджанской элиты, целиком зависит от меня! Я уже знал со слов той же Раи, что учится этот пацан в музыкальной школе. Судя по всему он *завалил* успеваемость по всем предметам. Во-вторых, я всё-таки рассчитывал *стряссти* оплату за свой труд, будучи уверен, что результаты моих стараний после нескольких недель занятий появятся. Было и в-третьих – любопытство! Я часто проходил мимо двора этого дома. Не раз слышал, как живший там, известный на весь Баку, а может и Азербайджан, певец

Бюльбюль оглы *распевал* свой голос громкими голосовыми *руладами*. Он делал это по утрам, обычно летом, у распахнутого окна, невольно привлекая к себе внимание редких прохожих в задних дворах и проходах дома, в котором жил. Он часто выступал и по радио. Конечно, мне *ужасно* захотелось попасть внутрь дома, в котором, в одной из квартир, жил этот знаменитый певец.

Забегая вперед, скажу, что с великим певцом Азербайджана познакомиться мне не довелось, а вот с его сыном – Поладом Бюльбюль оглы я однажды увиделся на дне рождения Муслима, в квартире его дяди, Джамалая Муслимовича Магомаева, где он жил.

...Пройдя поперёк нашего двора, повернув налево к воротам, по выходе из них, я дошёл до следующих ворот и попал в просторный двор большого многоэтажного дома. Было четыре часа пополудни. Чтобы достичь подъезда, в котором, как мне объяснила Рая, жили Магомаевы, мне пришлось пересечь двор почти по прямой. Я вошёл в подъезд и лифт поднял меня на второй этаж. Остановился у широкой двери. Перевёл дыхание. Нажав на кнопку звонка, услышал мелодичный звук. Дверь тут же распахнула Рая, радостно со мной поздоровавшись. Пригласила пройти в просторную прихожую. Дала мягкие тапочки и провела в комнату, дверь которой была широко распахнута. Попросила минутку подождать, пока она позовёт тётю Муслима. Слышались звуки рояля. Скорее всего играл мальчишка Магомаев.

Я оглядывал комнату, обставленную добротной мебелью. На паркетном полу лежал большой красивый ковёр, а на подоконниках – кадки с обычными домашними цветами. Сверху, с центра потолка, свисала люстра с выключенными лампочками. Шторы на окнах были полузакрыты, а на стенах горели включенные бра. Опираясь на трость и уже начиная чувствовать в бёдрах назойливую боль, я обратил внимание на отменную чистоту и роскошь обстановки.

Я никогда не видел ничего подобного, хотя считал, что обстановка в квартире моей бабушки была подобрана с отменным вкусом. Но до мебельного гарнитура в квартире Магомаевых ей было явно далеко...

Открылась дверь. В прихожую вошла невысокая женщина в красивых туфлях-тапочках с задраными вверх носами, в шёлковом халате. На голове красовалась яркая косынка, подвязанная сзади. Слегка прищурившись, она громко, но приветливо со мной поздоровалась. Попросила пройти за ней. Я заковылял. Она провела меня в комнату, гораздо просторнее той, где я её ждал. Там тоже висела люстра, но уже с горевшими лампочками. Комната тоже была обставлена дорогой мебелью. С окон свисали темно-вишнёвые, тяжёлые шторы. Указав на кресло, стоявшее у двери, она пригласила меня присесть, а сама опустилась на маленький диванчик неподалеку от зашторенного окна.

— Меня зовут Мария Ивановна — чуть резковатым голосом начала она. — А тебя — Алик? — Ей было лет сорок — сорок пять. Лицо крупноватое, властное, с тонкими губами. Я не был склонен к церемониям, но её «ты» меня слегка покорило. Это впиталось в память, оставив горьковатое ощущение.

— Д-да... — Чуть запнувшись ответил я...

— Ты можешь позаниматься с Муслимом? — Не ожидая ответа, она громко позвала — Мусли-и-и-м! Иди сюда... — Звуки рояля умолкли. В комнату вошел мальчик, довольно высокий для своих лет.

Рая мне сказала, что ему недавно исполнилось четырнадцать лет. Наш разговор происходил то ли в сентябре, то ли в октябре месяце 1958 года. Навскидку, Муслим был с меня ростом. На нём были брюки, ковбойка, ноги — прятались в мягкие тапочки. Волосы — тёмные, довольно длинные и гладко зачёсаны назад. Лицо худое, с живыми, карими глазами, на губах полуулыбка, скорее всего, как привычная

grimаса. Глаза, с любопытством уставились на меня. Уши прижаты, голова — слегка вытянута. Руки длинные, явно «лишние», которые он куда-то хотел деть, но еще не решился и держал их по швам. Наконец, он отвёл их за спину и, глядя то на меня, то на тётю, ждал. Мария Ивановна показала на меня рукой и решительно сказала тоном, не терпящим возражений.

— Вот Муслим! Это — Алик. Он работает, но согласился с тобой позаниматься. — Я убедился, что обо мне Рая подробно рассказала хозяйке. Секунду помолчав, тётя всё так же решительно, добавила — заниматься он будет по тем предметам, которые тебе *не даются*... — Она усмехнулась, вопросительно на меня глянув.

— Хорошо бы сначала посмотреть, — сказал я, — какие у Муслима проблемы со школьной программой... — Эту фразу я заготовил заранее, выговорил её легко и по-моему вполне солидно. Брови Марии Ивановны поднялись вверх, губы сжались и она молча встала. Махнув рукой в сторону племянника, произнесла.

— Ладно... Покажи Алику... Что там у тебя...

Разумеется, я не знал подробностей о домашних Муслима, с кем он живёт. Рая, при первой нашей встрече, вкратце рассказала про обстановку в доме. От неё я узнал, что отец Муслима погиб на войне, а мать — актриса и живёт где-то в России. Воспитывает Муслима родной брат его погибшего отца, Джамаль Муслимович, который работает в Госплане республики и его жена Мария Ивановна — тётя Муслима. Позже я понял, что была она дама с характером, но заставить мальчишку прилично учиться ей не удавалось, вот и пришлось искать *репетитора*.

Не думаю, что я проникся к нему *сочувствием* при знакомстве. Мне было восемнадцать лет. Муслим был младше меня года на три или четыре, да и в моём тогдашнем возрасте не слишком задумываешься о *пацаньих* проблемах.

Тем более, что становятся они *значительными* только лет через пять, а то и десять. К тому же, по обстановке, в которой жил Муслим Магомаев, я увидел, что этот мальчишка имел *привилегии*, которыми я никогда не располагал. Тот факт, что он рос в семье дяди и воспитывался тётей меня не слишком занимал. Выглядел он вовсе не забитым или запуганным, скорее, наоборот! Хотя, когда он вошел в комнату, его облик показался мне немного жалким. Скорее всего положение в школе, подумал я, было кризисным! Да и в моём присутствии, не зная меня – он видел меня впервые, да еще при тёте, которая *следила* за его школьными делами, наверняка, корила за неудачи и замечания учителей – Муслим чувствовал себя неловко. Я готов был понять, что из-за *двоек* у него могли быть конфликты, напряжённость отношений с тётей, да и с дядей, наверняка, тоже. Помня о собственном опыте моих неудач в школе, я не думал, что эти трения со взрослыми были *невинными*. Во всяком случае, я *услышал* тон с каким Мария Ивановна произнесла фразу: «...по тем предметам, которые тебе не даются...» В них слышалась насмешка, пренебрежение и... усталость. Позже мне приходилось видеть его дядю Джамала Муслимовича, который при мне пытался усовестить племянника, с раздражением выговаривая ему за *двойку*, которую Муслим получил, за день или неделю до моего прихода, по контрольной работе по русскому языку.

Наверняка, проблемы со школьной успеваемостью у Муслима были, но я вовсе не горел желанием привести его школьные дела в порядок, а *увидев* его тётю, понял, что об оплате за мои услуги она говорить даже не собиралась.

Почему же я согласился? *Не знаю*. Наверное, времена были тогда иные. Коммерческие интересы куда-то сдвинулись в сторону, так и не захватив меня. Однако, определенно могу сказать, что роль Муслима Магомаева, ставшего через пять лет выдающимся артистом, для меня была равна нулю

в момент нашей первой встречи. Я имел все основания считать, что по сравнению со мной – достаточно взрослым парнем – то был жалкий *пацан*, которого надо было *спасать* от гнева его школьных учителей, раздражения дяди – высокопоставленного правительственного чиновника – капризной тётки, не знавшей, что делать с этим угловатым, нескладным подростком. Может потому я и согласился заниматься с ним бесплатно, что не справился с собственным чувством превосходства? Не знаю...

Услышав просьбу тётки показать мне свои тетради, Муслим, сморщившись, как от зубной боли, едва заметно махнул мне рукой и направился в свою комнату. Опираясь на трость, я двинулся вслед за ним. Комната с окном, выходящим во двор, по размерам была достаточно скромна. В центре – большой черный рояль, занимавший больше половины помещения. Слева от входа – письменный стол, довольно скромных размеров, плотно прижат к угловой стене, у окна. На нём неряшливо валялись раскрытые учебники, тетради. Перед роялем, на стене висел какой-то восточный пейзаж.

Двери в свою комнату Муслим плотно закрыл, как только я присел неподалеку от рояля. Подойдя к окну, он сел за стол и длинно вздохнул. Не теряя времени, я спросил его.

— Муслим, ты можешь показать мне, что вызывает у тебя затруднения?

Почти с испугом он сказал, что завтра – контрольная работа по математике. Ему кажется, что он ничего не знает и, наверняка, завалит её! Но не успел я хоть как-то отреагировать на его слова, он подошёл к роялю, сел на крутящийся стул и меланхолично стал перебирать клавиши, играя какую-то мелодию.

После аранжировки моего «Девичьего вальса», которую на пианино сделал Миша, я с особым уважением относился ко всем, кто играл на фотрепиано. Передо мной сидел

мальчишка, обладавший длинными, изящными пальцами, которые незаметно и легко перелетали с клавиши на клавишу, извлекая приятные, мягкие звуки. Играл он превосходно! Так мне тогда показалось. При этом, *создавая* тихую мелодию, обрамлённую множеством красивых созвучий, сопровождая главную музыкальную идею без тени каких-то усилий или видимых намерений. Конечно, я не знал – новая это мелодия или некое произведение, которое он выучил. Я просто обо всём забыл, будучи зачарован звучанием рояля. Возможно, Муслим заметил произведённый на меня эффект от музыки, звучавшей под его пальцами. Выпрямился, перенёс на клавиатуру вторую руку, стал собранным. Мелодия окрепла, звучащая фантазия стала богаче, сочнее...

Я опомнился. Мальчишку требовалось оторвать от рояля и заставить работать! Мне следовало что-то сделать, раз уж я согласился с ним работать, тем более, завтрашняя контрольная мой авторитет могла подкосить! *Избавившись* от магнетизма звучащего рояля, я настойчиво попросил Муслима присесть к столу, показать мне учебник математики, тетрадь с задачами и примерами. Он нехотя встал. Пересел к столу. Стал лениво перебирать разбросанные тетради и учебники. По его лицу было видно, что это наводит на него тоску, вызывает *душевные колики*...

...Забегая вперед скажу, что мне удалось выправить успеваемость Муслима почти по всем предметам. Память у него была блестящей! Он мгновенно запоминал нужные формулы, легко усваивал правила, которыми надо было при этом руководствоваться. Разумеется, отличником он не стал, но уже через полгода ориентировался в школьных предметах совсем неплохо и от «двоек» избавился. Такие подробности не забываются, потому что я больше никогда не брался за репетиторство, и в моей памяти эти эпизоды сохранились, как будто всё в моей жизни



Олег Юрганов октябрь 1957 года

случилось буквально вчера!

Муслим назвал меня в своей книге: «Любовь моя – мелодия» *очкариком* и точно передал мою реплику, которую однажды я ему адресовал, когда с грустью понял, что выправить математикку мальчишке никогда не удастся.

Через некоторое время ему исполнилось пятнадцать лет и буквально вдруг, впервые, он реально открыл в себе *красивейший голос*, который вырвался из него, как джин из бутылки! Его увлечение пением сразу же стало *нетерпеливо-болезненным* и фанатичным. При том, что *никто* в музыкальной школе при Бакинской Консерватории этот факт как-то *осмыслить* не смог! Не говоря уже о домашних, которые отнеслись к этому факту агрессивно, даже враждебно! У мальчишки стало хоть что-то получаться с учёбой, а тут новая *напасть*, которая угрожала встать поперёк его музыкального образования. Разумеется, голос *подступал* к нему *постепенно*. Ещё годом ранее, правда в более или менее скромных физических формах, он рванулся в глубинный мощный вал, отозвавшийся в лабиринтах его души только формирующейся страстью. Неведомый и такой притягательный *инструмент* самовыражения

– *голос* появился у незрелой, задиристой, чрезмерно эгоистичной личности.

Я продолжал аккуратно приходить к нему два раза в неделю, заставлял его решать задачи, писать диктанты по русскому языку, учить конкретные уроки, *прогоняя* его по всем предметам. Когда он явно отлынивал, я изредка обещал ему обратиться к тётке и даже к дяде Джамалу, которых он всё-таки опасался.

То было время, когда и я (вольно или невольно) *боролся* с проявлениями его вокального *открытия*, борясь с собственным слабо управляемым желанием слушать его красивые голосовые рулады, сопровождавшие музыкальные импровизации, вылетававшие из-под его тонких пальцев, неистово пляшущих по клавиатуре рояля.

Его дарование быстро *обрастал* признаками вульгарной публичности. То есть, он готов был раздвинуть стены своей маленькой комнаты, позвать на *созерцание себя* толпы народа для *обзора* того, что он *сумел* и сыграть, и спеть! Но законы жизни неумолимы. Реальный вокальный талант, особенно в его ранних проявлениях, обычно *сталкивается* с границами возможного, которые нельзя игнорировать. К тому же ни тётка, ни дядя, единственные взрослые люди, ответственные за его судьбу, не были готовы к *пониманию* мощного вокального дарования, зреющего в Муслиме. От него самого оно требовало *признания*, к чему он не был готов ни *физически*, ни *умозрительно*. Нечто подобное происходило и с теми, кто учил Муслима законам музыкальной композиции и гармонии, готовя его принять эстафету великого деда-композитора! Его буйная социальная фантазия наталкивалась на хрестоматийные *нормы* обучения музыке, законы композиции и пианистического искусства. Он жаждал раздвинуть границы своей личности, но время еще не пришло и это ему не удавалось. Он был юн и неопытен, честолюбив и капризен. Это страшно его раздражало,

приводя к грубости в общении с наставниками, утрате уважения к ним, к дерзким выходкам в школе.

Я помню наши разговоры между уроками математики, русского языка, биологии, зоологии, истории и тому подобной *учебной дребедени*. Судя по словам Муслима, его готовили и внушали ему в школе мысль о том, что он внук великого азербайджанского композитора Муслима Магомаева, его деда, который был основоположником Азербайджанской классической музыки и теперь, волею судеб, он Магомаев-младший, обязан продолжить дело своего великого прапращура.

— А я не хочу! — Почти кричал Муслим, нервно беря точные аккорды клавишами рояля, автоматически и безошибочно *строя звуковой ряд* оперы Верди «Риголетто», тут же подхватывая великую арию старого горбуна, пропитанную жестоким трагизмом. Мне казалось, что он совершает кощунство, потому что три года назад, я сам, обладая сильным красивым тенором, полученным в наследство от матери, сорвал голос, находясь в санатории без надзора и доброго участия взрослых, терзая своё только что проклюнувшееся дарование. Никто не был готов меня убедить, что с природным даром надо обращаться бережно. По признанию Муслима, его домашние *распевы* вызывали неудовольствие тётки, а с её подачи и у дяди. Они рассматривали это *увлечение*, как *отвлечение* племянника от главного дела его жизни – музыки, композиторского искусства, о чём беспрерывно твердили ему школьные учителя. Пение казалось нелепым, досадным отвлечением племянника от более важных дел!

— Я хочу только петь! — Неистово повторял Муслим, натываясь на мой укоризненный взгляд...

...Однажды он *загорелся* обучить меня музыке. В пятнадцать лет, уже обладая свободой владения инструментом и умениями, которые приходят с годами игры на фортепиано, пользования нотной грамотой, он почти восторженно

стал меня убеждать, какие безграничные возможности меня ждут, если я овладею тем же, что умел делать он. Да, мне исполнилось восемнадцать и, наверное, я мог бы свести все разговоры к шутке, будучи, по годам, прожитым мной, готовым понять невозможность воплощения этой мальчишеской идеи Муслима. Для такого вывода у меня было много аргументов, включая и отсутствие инструмента, мою работу, даже мой возраст... Но, увы! И я оказался склонным к фантазии, которую неведомо как, Муслим сумел во мне разбудить.

Проверив по стандартной методике наличие у меня музыкального слуха, увидев мои руки и заключив, что пальцы у меня *вполне пригодны* для рояля, он горячо взялся за дело. Я растерянно молчал. Он вскочил из-за стола, отбросив в сторону тетрадь с алгебраическими формулами, схватил нотный лист и мгновенно *начертил* учебную модель нотной записи, которую мне предстояло выучить наизусть.

Мы обменялись ролями: я даже не заметил, как стал *покорным*, совсем как робкий мальчишка перед знаменитым и строгим *маэстро*. Муслим усадил меня за рояль, положил на пюпитр нотный лист с набором только что написанных им нотных знаков и энергично стал объяснять, тут же показывая на рояле, как звучит каждая нота. Мне потребовалось много времени, чтобы очнуться от этого *гипноза* и заставить Муслима снова сесть за учебники. Я отправился домой, взяв с собой страницу с учебной нотной записью. Я даже подумал, что может быть и *в самом деле* мне стоит воспользоваться услугами этого *пацана* и начать изучать правила игры на фортепиано?

Лишь изредка мне приходило в голову, что в моём положении то была сущая нелепица! Хотя казалось – я обладал *здоровым смыслом*, во мне стал уже прорезываться *здоровый скептицизм*, которым обладают *старшие* в общении с *младшими*. Тем не менее, я какое-то время оставался во власти собственной нелепой фантазии и тешил себя мыслью,

что у меня что-то *может* получиться.

Назавтра, на обеденном перерыве, я пришел в актовый зал телеграфа, где стояло пианино. Жуя бутерброд, я поставил сделанную Муслимом учебную нотную запись на пюпитр и пальцами начал тыкать в клавиши, извлекая звуки музыкального алфавита: «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си». Довольно быстро я начал *«вышагивать»* пальцами по клавиатуре, почти не делая ошибок. Я был уверен, что свой первый урок, за короткое время перерыва, я успешно преодолел. Надо было спешить на работу. Я вышел из зала, закрыв крышкой клавиатуру пианино.

Прошло два дня. Назавтра я должен был идти в дом к Муслиму. Там я застал его дядю Джамала. Увидев меня, он кивком пригласил в соседнюю комнату, где стоял его племянник. Не скрывая своего раздражения дядя сердито спросил.

— Ты занимаешься с ним — дядя кивнул в сторону племянника — математикой? Я — кивнул... — Так — сказал дядя, глядя на ручные часы. — Этот *недоросль* сегодня умудрился получить двойку по русскому языку... Мне даже позвонил домой его учитель! Алик! Может быть ты позанимаешься с ним русским? — Я пожал плечами. Честно говоря, меня не очень устраивала эта перспектива. Если учесть, что математика и так *«дышала на ладан»* мне не очень хотелось брать на себя еще и русский. Муслим стоял рядом с дядей, дотягиваясь головой ему почти до уха, если не выше. То ли почувствовав моё настроение, то ли легкомысленно решив, что в этой ситуации он может высказать и *своё* мнение, Муслим сказал.

— Да, зачем, дядя Джамал? Я... — Не успел он закончить фразу, как получил сильную затрещину по уху. Муслим схватился за щеку, стоя рядом с бабушкой Байдигюль, которая незаметно прошла в комнату, услышав громкий голос сына Джамала. Дядя почти сразу же вышел из комнаты. Через секунду я услышал, как хлопнула входная дверь.

Потирая ухо Муслим пробормотал.

— Вот оглохнет *великий певец* от удара родного дяди по уху и кто будет виноват?

Через минуту Муслим, как ни в чём не бывало, уже показывал мне скрипку деда, заставив разглядывать в узкие щели изящных линий эфы на деке инструмента какие-то знаки, едва видимые в полумраке дна.

— Видишь, видишь! Там написано «Страдивари»! — азартно шептал он.

...Старшие попутчики будущего мастера эстрады, попав на страницы его мемуаров тридцать лет спустя, становились *аристократами* духа. Он был щедр на похвалы тёте и дяде, будучи признателен им за проживание, обеспечение его детства, отрочества, юности. Читая книгу М. Магомаева «Любовь моя – мелодия» я убедился, что это так и есть, потому что нелегко растить племянника, чья юная душа была отягощена *множеством талантов*, рвущихся наружу совсем не вовремя, без согласия его собственного разума, ещё не готового понять, как *надо* оценивать и *ответственно* относиться к тому богатству, которым одарила его природа!

Попав в дом азербайджанского чиновника республиканского Госплана, откликнувшись на просьбу его жены помочь племяннику вылезти из учебного болота, я вступал в отношения с *незнакомым* мне миром, *отличным* от моего собственного.

Различие в качестве жизни этого слоя азербайджанского чиновничества проходило мимо моего внимания, а компенсация за мой труд, заменялась полным отсутствием в моём характере даже намёка на корысть, вытесненного интересом к личности мальчишки, несомненно одарённому, хотя страшно взбалмошному и эгоистичному.

...Опыт моего слушания классической музыки, когда я ходил с бабушкой на концерты дирижёра Ниязи пригодился теперь в общении с Муслимом Магомаевым.

Я как-бы перешёл в новую стадию собственного *музыкального образования*. Мне казалось, что я мог чему-то научиться у подростка, который в свои годы уже обрёл базовые навыки музыкальной образованности. Он делал для меня нечно недоступное, а главное, как мне казалось, явно *жаждал*, как можно быстрее научить меня тому же, что знал и умел сам.

Скоро я понял всю нелепость и утопичность моих мечтаний. Увы! Программа *репетиторства*, которую я взвалил на свои плечи, *трещала по швам* и теперь уже по моей вине. Почувствовав мою *слабину*, Муслим ловко обменялся со мной ролями и стал *требовать* от меня большего внимания к усвоению музыкальной грамоты, используя время наших с ним предметных занятий для моих тренировок игры на фортепиано уже у него дома, за его роялем. Я вяло сопротивлялся, но мне было трудно отказаться от *соблазна* усвоить элементарные навыки игры на фортепиано. Но рано или поздно всё это закончилось.

...Однажды я прочитал в газете «Вышка» объявление Албанского культурного Центра, то ли бакинского, то ли московского, сейчас уже и не вспомню. Там было написано, что Центр предлагает всем музыкантам-любителям написать музыку к песне о дружбе албанского и советского народов на стихи албанского поэта, которые были тут же в газете опубликованы в русском переводе. Предлагалось, сочинив музыку, написать ноты и отправить их в Союз композиторов Азербайджана. Тут же указывался адрес. Такие объявления иногда появлялись в советских газетах, потому что наступило время *становления* социалистического лагеря, и каждая страна, из числа «*народных демократий*», пыталась обратить на себя внимание «творческой молодежи» СССР.

Я купил газету, принёс и показал Муслиму. Его жажда самовыражения была *чрезвычайной*. Уже отказавшись

заниматься математикой, делать уроки в моём присутствии, он сел за рояль и, быстро *сколотив* подходящие аккорды, начал потихоньку напевать стихотворные строчки, постепенно делая это увереннее и громче. Через полчаса его голос уже гремел на всю квартиру, благо дома не было ни дяди, ни тёти. Песенка получилась милой, запоминающейся и весьма бодро звучащей. Спросив нравится ли мне и не слушая моего ответа, он быстро вскочил и потребовал, чтобы мы с ним сейчас же поехали в Союз композиторов, чтобы отдать только что сочинённый *opus*.

Спорить с ним было бессмысленно. Да меня и самого сильно занимал момент вольного или невольного соучастия в роли, так сказать, *продюсера*. В общем, мы пошли! Муслим был крайне возбуждён и я со своими эмоциями мало чем от него отличался. Надо было ехать на трамвае минут двадцать. На часы мы не смотрели, но было примерно часов пять пополудни. Вскоре мы стояли у двери Союза композиторов Азербайджана. Они оказались запертыми. Стучаться было уже бессмысленно – конец рабочего дня!

Тяжело опираясь на трость, я растерянно топтался на ступеньках перед входной дверью рядом с автором песни, который держал в руках нотный клavier с собственным сочинением. Что же делать, если *учереждение* закрыто?! В сердцах ударив носком туфли о нижнюю кромку солидной двери, Муслим медленно стал спускаться к тротуару. Вслед за ним осторожно потянулся и я. Можно было бы сначала позвонить в Союз, узнать часы работы, как-то договориться о встрече... Нет! Попёрся с этим пацаном, обуреваемым жаждой *славы*. Я сел на скамейку в скверике, неподалеку от здания Союза композиторов. Кругом шла своя жизнь: сновали по улицам люди, машины, трамваи. Где-то слышалась музыка, мелькали обрывки фраз прохожих.

Муслим сидел рядом и неожиданно насмешливо сказал.

— Знали бы они, кто к ним пришёл, *специально бы меня*

ждали! — Я искренне расхохотался. Не говоря ни слова, встал со скамьи и мы пошли к трамваю. Расстались у ворот его двора, где пацаны играли в футбол. Муслим побежал домой, а я, морщась от боли в бедренных зонах, медленно побрел к себе.

Я был юношей с активным, энергичным любопытством, уже оснащенный (хотя бы чуть-чуть) некоторым жизненным опытом, даже охваченный мечтами, робкими и не слишком отчётливыми.

Сравнительно недавно пробудившаяся в моей душе любовь к классической музыке, несколько прочитанных книг о жизни композиторов, давала мне шанс стать равноценным партнёром в диалогах с подростком Магомаевым. Было заметно, что он был безнадежным пленником множества скрытых *комплексов*, возникавших в лабиринтах его неокрепшей души. Её он унаследовал от честного, прямолинейного отца, человека увлечённого художественными фантазиями, воплотить которые ему не дала ранняя гибель на войне. Разумеется и матери – женщины артистичной, неутомной, носившей в себе *горячую* кровь адыгов и турок, не дававшую ей покоя. Она выплёскивала свой темперамент на сценических площадках множества русскоязычных театров, разбросанных по пространствам России, куда забрасывала её судьба.

Отца Муслим никогда не видел, тот слишком рано погиб. А мать редко являлась перед сыном, будучи вечно занятой на гастролях, в спектаклях далеко за пределами города Баку. Дядя – Джамал Муслимович – относился к ней сдержанно, если не сказать жёстче. Его жена, по национальности полька, считала мать Муслима женщиной никчемной, пустой и свои эмоции, при её появлениях в их доме, едва сдерживала. За время общения с Муслимом его мать мне ни разу не приходилось видеть. Она жила где-то в глубинке России. Однажды он показал мне фотографию молодой

женщины, как мне показалось очень красивой и яркой. «Это моя мать...» сказал Муслим, поставив рамку с фотографией на свой стол.

— А где она сейчас? — Осторожно спросил я.

— Точно не знаю... Где-то в России. В каком-то театре. Она актриса...

Осталось странное ощущение от этого мгновения. Сын никак не выражал отношения к женщине, родившей его, но по каким-то причинам фотография эта оказалась у него в руках и он даже показал её мне. Я понял, что история отношений Муслима и его матери таит какие-то сложности. Они чувствовались в умолчаниях и сведениях, которые невольно становились известны мне, без особого желания с моей стороны что-то узнавать об Айшет Ахмедовне Магомаевой. Признаюсь... Даже у меня стали возникать некоторые признаки отчуждения к ней, когда я пытался понять причины её отсутствия рядом с сыном.

Семейные ценности восточной семьи даже крупных азербайджанских чиновников были растворены в национальных традициях, имеющих глубокие корни, и, вряд ли, мать Муслима могла обойти их после гибели мужа. Яркая внешность, общительность, готовность сценического самовыражения в драматическом искусстве, умение петь, танцевать, играть на различных музыкальных инструментах, острая жажда публичности противостояли идеям *сдержанности*, царившей в клане Магомаевых, сумевших подняться до высот властных ступеней в Азербайджане. Традиции требовали от Айшет отказа от успеха на театральных подмостках.

Ребёнок, подросток – Муслим, мало что знал о творческой биографии своей матери. Скорее всего, он полагал, что мать – обыкновенная женщина, для которой его судьба была слишком обременительна для неё молодой, яркой женщины, в то время, как семья дяди Джамала отдавала ему все возможности, о которых можно лишь мечтать!

В своей книге Муслим пишет о матери так: *«Послевоенная судьба мамы сложилась так, что она обрела другую семью. Я не могу её ни в чем винить. Она драматическая актриса, всегда кочевала по городам России, никогда подолгу не работая ни в одном театре. Родной брат отца Джалэтин Магомаев и его жена Мария Ивановна стали для меня настоящими родителями...»* Несомненно, весьма состоятельная семья дяди позволила выпестовать мальчика, оберегая его от нужды и неустроенности быта, которыми была полна жизнь матери. Выйдя замуж во второй раз, она родила двоих детей, кстати, продолжая служить в театрах, имея весьма скромные доходы от своей работы, не смея претендовать на свои права матери Муслима Магомаева. Со временем, скорее всего, с уходом из жизни дяди и его жены, отношения с матерью у Муслима как-то выровнялись и сохранились свидетельства искренней любви и нежного участия Айшет Ахмедовны к сыну и к его семье...

...У деда Муслима была богатая коллекция пластинок с записями певцов начала века, особенно молодого Карузо. Услышав его голос, Муслим удивился поразительному сходству со своим подростковым баритоном. А может быть ему это просто показалось? Заниматься со мной школьными делами он уже не хотел категорически! Еле-еле мне удавалось усадить его за книги, и едва только выдавалась минутка, он ставил на патефон пластинку, слушал голос великого итальянского певца, пытаясь повторить звуковую пластику мастера оперных арий своим красивым, но еще очень неустойчивым голосом.

Тогда в наших отношениях было именно так, как он написал в своей книге «Любовь моя – мелодия», вспоминая мои слова, адресованные ему: *«...Точные науки не хотят влетать в твою голову. Хотя, если ты захочешь, то сможешь... Поэтому давай о музыке. И мы часами разговаривали об этом...»*

Его *вокальное неистовство* опережало готовность *осмыслить* свой пробудившийся талант, а требовательность учителей в музыкальной школе, тем более, негодование домашних *выдавливали* процесс ответственного восприятия пробуждавшегося таланта. И ничего удивительного в этом не было. Миг *пробуждения* вокального гения, и мгновение его *признания* разделены периодом, который обычно заполняется пробами и ошибками личности, остающейся пока еще незрелой. Если учесть, что лишь теперь, в строках официальной биографии, даже в собственной книге Муслима Магомаева эти полтора года, с сентября 1956 по декабрь 1957, как это ни странно, лишь я оказался с Муслимом внутри странной и нелепой ситуации, когда кроме раздражения и даже гнева его голос, точнее неистовое желание петь, не вызывал у окружающих добрых чувств...

..После неудачи с *албанским сочинением*, я предложил Муслиму написать несколько романсов на стихи великих поэтов, а начать с А. Пушкина. Почему? Мне казалось, что прикосновение к гениальным стихам придаст его музыкальным композициям особый оттенок. Главное – он не будет *рвать* оперными ариями свой неокрепший голос, а романсовый диапазон, интимный, мягкий, чуткий, придаст звукам созревающей вокальности осторожную *лирическую* интонацию.

В музыкальной школе он выучил наизусть к уроку русской литературы стихотворение А. Пушкина «Осень». Я предложил ему попытаться положить слова стихотворения на музыку. Идея вызвала у Муслима неожиданный и, как часто у него бывало, даже бурный восторг. Я-то думал, что моя затея не понравится ему, он станет капризничать, однако случилось совсем наоборот! Стихотворение уже было выучено и он сел за рояль. Перебирая клавиши лёгкими, почти незаметными прикосновениями, он в полголоса напевал строчки себе под нос, делая записи нот на листике, лежавшем

на пюпитре рояля. Тётя была дома. Муслим понимал – надо быть осторожнее, чтобы не нарваться на её гнев, с которым она встречала его *вокальные упражнения*, считая их баловством. Было воскресенье. Придя позаниматься с ним, я сидел, меланхолически перелистывая его учебник математики, искоса поглядывая на него, прислушиваясь к его музыкальным *раздумьям*.

Через полчаса Муслим повернулся ко мне. Сказал со странно просветлённым лицом.

– Я готов... – На пюпитре лежала запись с отчётливо написанными нотными знаками, красиво расположенными на линейках. Сверху красовался заголовок: «Романс «Осень», слова А. Пушкина, музыка М. Магомаева.» Забыв всякие опасения, он громко запел.

*Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...*

Замерев, я слушал его удивительный, бархатный голос, видел лицо, с налётом грусти, истекающей из превосходных строк, пропитанных красками наступающего увядания природы. Неожиданно у меня мелькнула мысль – хорошо бы мне *заполучить* этот романс... На память... В семнадцать-восемнадцать лет ты не слишком сентиментален, но если тебя музыка *тронула*, а твоими чувствами завладел *голос*, пусть еще не окрепший, но уже с признаками будущей зрелости и мощи; если ты сам предложил идею написать *романс* на такие превосходные слова великого русского поэта... Невозможно воспротивиться желанию обрести этот *опыт* подросткового творчества!

Тут же мелькнула отрезвляющая мысль и я смолчал, переживая только что услышанное звучное полотно, яркое,

с сочными красками, ароматами увядающей природы, неведомо как проникшими в голос мальчишки.

Муслим умолк. Неспешно наклонился к листу с нотами и что-то написал на узкой полосе над заголовком. Сделав резкую закорючку подписи, улыбнулся и сказал.

— Вижу, романс тебе понравился... Дарю! На память... — С большим трудом я сделал вид, что не удивился. Пророботал, принимая клавиш.

— Спасибо...

...Уезжая из Баку, по нерасторопности и юношеской своей неорганизованности, я оставил в бабушкиной квартире авторский лист с текстом и нотами этого романса. Найти его она так и не смогла. Мелодию я помню до сих пор. Особенно его первые аккорды...

Когда мы *встретились* с Муслимом Магомаевым в Интернете, я ждал его звонка, который он мне обещал сделать. Ждал, чтобы напеть по телефону, через два океана, мелодию из далёкого творческого мгновения мальчишки и попросить вспомнить её. Записать ноты, чтобы воссоздать мелодию романса со всеми фортепьянными *виньетками*. Звонка не последовало...

Всё оставшееся время его и моей жизни, с момента, когда я написал на его сайт письмо и напомнил о себе, прошло, как оказалось, шесть лет. Все эти годы я больше не вступал с ним в контакт. Зачем? Личность, судьба, одним словом — *биография* Муслима Магомаева уже *удалились* от меня в безвозвратное прошлое, остановившись передо мной буквально на миг, чтобы завершиться вскоре его смертью. Моё желание восстановить чудную музыку к романсу «Осень», написанную Муслимом Магомаевым в мае 1957 года, когда ему было пятнадцать лет, осталось неосуществлённым. Она живёт в моей памяти и кто знает, быть может какой-нибудь неведомый музыкант однажды сжалится надо мной и, услыша мелодию, напетую моим голосом, воплотит

её в чёткие музыкальные очертания, красиво обработав её уже своими авторскими *виньетками*. Но пока делать этого я не хочу...

...В свои четырнадцать и первую половину пятнадцати — время нашего знакомства и тесного общения — Муслим был одержим звучанием собственного голоса. 27 августа 1957 года, в день пятидесятилетия племянника, дядя подарил ему магнитофон. Не на год позже, как Муслим пишет в своих мемуарах, а именно в день пятидесятилетия. В этот день Мария Ивановна — тётя Муслима — пригласила и меня. Накрыла столик в его комнате. Там же были его сверстники, которых я изредка видел в его квартире: Полад Бюльбюлю оглы и несколько одноклассников из музыкальной школы. Я сумел придти, когда гости готовы были уже разойтись. Застал такую картину: Муслим сидит за письменным столом, на котором стоит большой магнитофон, эдакая *чудная* машина с широкими колёсами на поверхности. Изнутри мощно звучит голос певца. Муслим слушает. Что-то помечает в тетради с нотными линиями. Увидев меня, входящего в его комнату, он вскакивает, показывает рукой на магнитофон, сообщает, что это *чудо* ему подарил дядя. Берет мой подарок. Я подарил ему пачку его фотографий в гриме Риголетто. Недели две или три тому, я сфотографировал его, когда Муслим показывал мне выученную арию из оперы Верди. Долго не было времени напечатать фотографии и вот, случай представился...

Он перебирал фотографии. Подошли гости — мальчишки. Снимки были любительскими. Сделанными старым фотоаппаратом, который мне подарил отец. Заниматься фотографией я начал совсем недавно и откликнулся на просьбу Муслима поснимать его в *рукотворном* артистическом гриме. Почти час или два я посвятил, снимая его в роли Риголетто. Он засунул за спину под рубашку маленькую подушку, сотворив себе горб, натянул на себя какой-то старый халат,



Муслим Магомаев

что-то приклеил на нос, сделал его с горбинкой, разрисовал морщины на щеке, лбу, смазал зубной пастой виски, сделав белые полосы на волосах, изобразив седину. Получился *типаж* оперного героя, как он его себе представлял. Тёти дома не было. Нам никто не мешал и я легкомысленно обещал ему быстро сделать фотографии, но подгадал изготовить их только ко дню рождения...

Его сверстникам быстро надоела возня Муслима с фотографиями и они разошлись. Не стали они слушать и магнитофонные записи *какого-то* голоса, который там звучал. Когда все удалились Муслим сказал мне с грустью.

— Они считают, что все мои старания – глупость!

— Кто все? — Спросил я, рассеянно жуя вкусный кусочек торта.

— Да все! И в школе, и дома. Тётя ко мне пристаёт. Перестань выть и рычать! Занимайся нормальной музыкой. Дядя поддерживает свою жену. Говорит – она мудрая женщина. Зла тебе не хочет...

— А эти?... — Я показал на подоконник, где еще полчаса тому назад сидели его сверстники,

соседские мальчишки, товарищи по школе. Весело болтали, смеясь над услышанным голосом, перебирая фотографии, которые я принёс Муслиму, которые тоже их сильно развешили.

— А ты сам не видел? То же самое! Считают, что я выпендриваюсь! А я *пою!* Что в том плохого? Я хочу стать певцом, а не композитором! — Помолчав, он озорно глянув на меня сказал. — Ладно... Ты вот что мне скажи... — Муслим подошел к магнитофону. Послушай и скажи... Только честно! Кто это поёт? Ничего не подозревая, и, разумеется, не догадываясь о розыгрыше, я доедал пирожное, запивая остывшим чаем. Пообедать я не успел, готовился пробыть у Муслима недолго, да вот, засиделся.

Шёлкнув тумблерами магнитофона, прокрутив назад ленту, Муслим нажал кнопку, и я услышал голос, звучащий под аккомпанемент фортепиано. Звучала ария Риголетто, драматическая, полная боли, страдания и горя, охватившего отца, оплакивающего утрату дочери. Слушая и с каждой минутой попадая под обаяние голоса, я ощущал внутренний отклик моей души, сжимавшейся от сострадания. Мне и в голову не приходило, что аккомпанемент пианино мог бы дать мне шанс понять, что поёт сам *Муслим*, играя на своём рояле. Однако, слушателем я был неопытным. К тому же, я не очень был готов отделить этого мальчишку, которому сегодня исполнилось пятнадцать, сидевшего передо мной с озорными, азартно блестящими глазами, с невероятно довольным лицом, в котором царило лукавство, от того вокального образа, в котором уже явно вырисовывался истинный трагизм Риголетто в оттенках звучащего из магнитофона голоса. Я полностью слушал запись первый раз. Оперу – только по радио и на сцене Бакинского оперного театра, куда однажды повёл меня Муслим, которого превосходно знали все контролёры. Я оторопело молчал, боясь признаться, что не силен в различении голосов оперных

гениев прошлого и настоящего.

— Это же я, Алик! Я-а-а! — Он рассмеялся. Я молчал... Розыгрыш Муслима произвел на меня сильное впечатление. Я не нашел ничего лучшего, как, в который раз, предупредить его о рискованности таких упражнений. Встал и ушёл. Меня не было недели три или, быть может, месяц-полтора. Чувствуя бессмысленность моих стараний, учиться играть на пианино, я перестал это делать. Однажды, едва я пришёл с работы, в дверь квартиры постучали. Я вышел. Увидел рыжеволосую Раю, которая стояла у порога. Она передала мне записку. Рукой Муслима было написано: «Алик, прошу тебя, приди ко мне!» Я сказал, что приду через полчаса.

Захожу... Дома никого, кроме Раи и бабушки. Обе женщины были с потерянными лицами. Рая проводила меня в комнату Муслима. Он был бледен, с перевязанным горлом. Сидел за роялем, что-то наигрывая. Встретил улыбкой, правда какой-то вымученной.

— Что случилось? — Спросил я. Он показал рукой на горло и взял карандаш. Вырвал листок из блокнота, что-то написал. Читаю: «*Я сорвал голос...*» Чувствуя, как во мне начинает закипать ярость, я сел на стул. Когда тебе уже стукнуло восемнадцать, ты понимаешь, что лично у тебя достаточно мозгов, чтобы понять хотя бы начатки ответственности за дарование, предоставленное тебе природой. Нет, ты не можешь в такие минуты рассуждать размеренно, с осознанием причин и следствий, но констатировать *реальную потерю дара* — способен. Перед тобой, человеком уже почти взрослым, даже кое-что знающим в этой жизни, сидит по сути — *сопляк*. Он уже владел всеми признаками гениального наследства, неведомо от кого полученного, а вот распорядиться им с умом — *не смог*. Конечно, я думал о безвозвратности голоса, погибшего от чрезмерных упражнений безмозглого мальчишки! Я молчал. Бабушка стояла у дверей, вытирая слёзы платочком. Рая растерянно

перебирала концы шарфика, который висел у неё на шее. На улице стоял прохладный, даже ветреный вечер. Посмотрев в сторону Раи, я почему-то спросил.

— А что Мария Ивановна и дядя Джамал? — Рая вяло махнула рукой.

— Мария Ивановна рада. В доме стало гораздо тише... Дядя — тоже... В школу Муслим не ходит... — Я посмотрел на него. Положив голову на руку, он сидел у рояля, что-то наигрывая одним пальцем.

Я не был его *гувернёром*, не был его другом, не был *наставником*. Я был свидетелем отношения мальчишки к собственному голосу, который искренне считал «даром небес», несмотря на свой кондовый атеизм, а он, скорее всего, *игрушкой*, с которой можно *забавляться* сколько угодно, извлекая всё новые и новые *возможности*, но, увы! еще только зревшие. Тогда мне казалось, что вокальная карьера Муслима не начавшись, уже завершилась. Я погладил его по волосам и направился к выходу. Ничего другого сделать я не мог.

Через полгода, к зиме я уезжал с родительской семьёй из Баку в Краснодар. Вечером вышел прогуляться по улице со стороны выхода со двора, который вёл к параллельным воротам, за которыми стоял дом Магомаевых. Муслима я заметил сразу. Он стоял на улице. Мы с ним месяц не виделись. Одет он был в пальто. Без шапки, хотя было довольно холодно. Поздоровались. Сходу он сообщил мне, что его пригласили сниматься в фильме «Отелло». Я выслушивал «*подробности*» его *фантазий*, излагаемые красивым, окрепшим голосом и понял... *всё обошлось*. Он снова владеет своей «*игрушкой*». Наверняка, я подумал, как-то по-другому, но суть моих мыслей была в тональности благополучного исхода той мрачной ситуации, которая случилась с этим мальчиком месяц назад.

— Ну ладно — перебил я его, не желая слушать его *трёп* и понимая, что теперь нас с ним ничего не связывает, а его

сочинения «строчек» собственной судьбы всего лишь *пицца* для честолюбия. — Я уезжаю. Муслим! Всего тебе хорошего. — Я пожал его слабую, теплую ладонь и ушел домой. Мы с ним больше никогда не виделись.

...В 1962 году я работал в Саратовском Обкоме комсомола. Был комсомольским чиновником двадцати трёх лет. В нашей «*конторе*» служила секретаршей очень милая девушка, которая была фанаткой Магомаева. После выступления на Всемирном Фестивале молодёжи в Хельсинки он был хорошо известен в СССР, часто выступал на эстраде и оброс множеством поклонников. Эстраду я знал плохо, слушал неаккуратно, тем не менее, видя Магомаева на телеэкране, отдавал дань его голосу, артистизму и популярности. Звонить ему в Баку, напоминать о себе мне *никогда* не хотелось, хотя в записной книжке хранился его домашний телефон.

Однажды Светлана – так звали нашу секретаршу – слёзно уговорила меня попытаться созвониться с Муслимом. Как я ни отнекивался – уговорила!

— А вдруг он захочет с тобой поговорить, — интригующе улыбаясь, сказала она. Я согласился, вытащил записную книжку и дал ей номер бакинского телефона Магомаева. Нас отделяло уже почти пять лет. Тут же в приёмной обкома фанатка-секретарша набрала его номер и передала мне трубку. Мужской голос спросил: «Кто звонит? По какому вопросу?» Положение было глупейшим! Представляться по всей форме было полной нелепостью! Называть себя по имени «Алик», тоже казалось не очень умно, поскольку в России я был уже Олегом. Я назвал свою фамилию.

— Это Юрганов... Позовите пожалуйста Муслима Магомаева. — На той стороне провода что-то промычали, потом сказали – «Подождите минуточку!» Отошли... Светлана напрягшись, вслушивалась в трубку параллельного телефона. Через минуту тот же человек в Баку взял трубку.

— Вы знаете... Муслим сейчас занят... Он подойти не может... — Послышались короткие гудки...

...Прошло еще семнадцать лет. Изредка я видел его на «Голубых огоньках», на концертах в Кремлевском зале, слышал по радио, но относился к его существованию спокойно, без ажиотажа. Когда вышла его книга «Любовь моя – мелодия», я её не искал, а когда наткнулся на книгу в магазине – покупать не стал. В том не было никакой нужды, потому что наши пути резко разошлись, мы стали друг для друга чужими.

Эмигрировав в 1992 году США, я однажды случайно включил русское радио, на которое был подписан. Слышу размеренный с красивыми тембровыми оттенками и лёгким «*бакинским*» акцентом голос Муслима – передавали интервью с ним. Не узнать его голос было просто невозможно! Речь в интервью шла о драматической истории, которая случилась в его судьбе, если я не ошибаюсь, в 1967 году в Грозном. Муслим сидел в родном городе своего деда Магомаева-старшего, переживая... *потерю голоса*. Я узнал, что тогда от него ушла жена. Забрала дочь Марину, с которой уехала в иммиграцию в США. Он приехал в Нью-Йорк, кажется, в 2000 году, чтобы её повидать... Мне страшно хотелось позвонить на радио. Я себя остановил...

...В 2002 году в августе Россия справляла шестидесятилетний юбилей замечательного певца. Тогда я уже освоил компьютер, Интренет и на удачу решил написать в поисковой строке Google два слова: «Муслим Магомаев». Мгновенно открылся его сайт. Как и следовало ожидать, популярность сайта была ошеломляющей. Я открыл гостевую страницу и написал Муслиму короткую поздравительную записку.

Назавтра я с искренним удивлением обнаружил бурную реакцию Интернет-сообщества на мою записку. Называя себя, я напоминал обстоятельства, при которых сорок пять лет назад состоялась наша встреча, а «*сайчата*», как называл

гостей своей сети сам Муслим, восприняли историю, как свидетельство «...нетленной дружбы...», «...преодолевшей все преграды...»! В самом конце восторженных откликов был ответ самого Муслима. «Дорогой Алик-Олег! Конечно, я тебя прекрасно помню и благодарен тебе. В доказательство отправляю тебе фрагмент книги «Любовь моя – мелодия», в которой я писал о том далёком теперь времени». Дальше шёл фрагмент из книги Муслима.

«Учился я без усердия. Сидеть за партией для меня было всё равно, что сидеть на шиле. С музыкой было всё совсем иначе: мне это нравилось. Нравилось, когда говорили о моих первых сочинительских опытах, когда хвалили мою музыкальность, а вот математику, все эти формулы, скобки, да и вообще что-нибудь считать, терпеть не мог. Дело дошло до того, что пришлось для меня приглашать репетиторов по общеобразовательным предметам. Помню одного из них, математика. Хороший был парень, очкарик-умница. Он мне про алгебру, а у меня в голове своё – музыка или гулянье. Ему надоела эта игра в одни ворота.

– Математика из тебя никогда не выйдет. Не потому, что ты тупой, просто ты никогда этим не будешь заниматься. Точные науки не хотят влетать в твою голову. Хотя, если ты захочешь, то сможешь. Но ты совсем не хочешь... Поэтому давай о музыке. – И мы часами разговаривали об этом. Тётя Мура, видя, как мы долго сидим вместе, нахваливала меня, говорила дяде: «Вот, усердие!»

«Олег! Я отзвонюсь тебе в ближайшее время» – завершил свою записку юбиляр – Всего хорошего! Муслим.» Я хотел подарить ему свою книгу и, назавтра, написав на его сайт еще раз, попросил его московский адрес. Ответа не последовало...

Известие о смерти Муслима Магомаева, случившейся в 2008 году 25 октября, я встретил с прискорбным чувством. Как журналист я написал в американской русскоязычной газете «Каскад» свои воспоминания о времени

нашего с ним общения в годы его отрочества. Это был не столько долг, сколько зов памяти. Я так и назвал свою статью. Многие из того, что нас связывало в те далёкие пятидесятые годы, я рассказал в этой книге, теперь же хочу лишь отметить судьбу Артиста в Советском Союзе, в которой, как в капле воды, отразились все неизбежные противоречия, которыми была полна его жизнь в государстве, строившем коммунизм, лишившем Муслима Магомаева воистину мировой славы.

«...Как это часто бывает, гений садится за мемуары в зрелом возрасте. Очень редко к этому моменту его память сохраняет все подробности ранних прошедших лет. К тому же, в годы работы над мемуарами, мировоззрение автора уже сложилось. Нередко, это происходит как бы само собой и далеко не всегда автором мемуаров объективно осмысливается роль неожиданных пристрастий, возникших в отрочестве или в юности. О вынужденных прививках идеологических догм прошлого и вовсе умалчивается. Особенно, когда к выходу книги воспоминаний произошла историческая смена вех.

Муслим Магомаев – артист страны Советов. Его личность сложилась в контексте безграничного обожания и славы. Он был выпестован азербайджанской культурно-политической элитой и той, которая властвовала почти все годы творчества Артиста в КПСС и СССР. Он был любимцем советского народа и Советской власти и властителей Азербайджана. На монопольное владение творческим гением Магомаева претендовала партийно-политическая элита обоих государств. Властная номенклатура предоставляла ему воистину безграничные возможности, но, как правило, лишь в рамках своей территории, своих идеологических догм, политических амбиций и культурных притязаний. Почетные звания, должности, эстрадно-симфонический оркестр Бакинской Филармонии, кино-роли, престижные

партии в лучших театрах страны и даже государственная оплата стажировок в Миланском театре «Ла Скала». Культура вокального творчества Муслима строилась на высоких европейских профессиональных стандартах, унаследованных русской оперной и художественной школами. Очень рано Муслим Магомаев обрёл такие творческие возможности, созревшие в недрах его выдающегося артистического и вокального таланта, что стал певцом мирового класса. Будь власть Советская менее эгоистична, отнесись она к Артисту, как к сокровищу, принадлежавшему всему миру, судьба певца сложилась бы иначе. Это лишь на первый взгляд кажется, что просторы его творческих возможностей были ничем и никем не ограничены, а миллионы поклонников имели счастье слушать и видеть воочию певца в самых знаменитых залах мира. Это далеко не так!

Ему предлагали весь баритональный репертуар в «Ла скала». Выступления на сцене знаменитой парижской «Олимпии».



Муслим Магомаев

С надеждами на него посматривали Австрийская Опера и Британская Королевская Опера, разрешат ли ему власти СССР ступить на их прославленные подмостки?. Да мало ли было мировых оперных сцен, мечтавших показать Муслима Магомаева своим зрителям!

Министерство культуры СССР, объявив Магомаева «...нашим государственным певцом...» ревниво следило, чтобы Артист не поддавался на соблазнительные предложения, идущие из-за рубежа. Мотивы его личного отказа петь в труппе Большого Театра были ясны и понятны. Воспитанный на оперной классике Европы Муслим терпеть не мог партийно-политический репертуар «придворной сцены». Национальный репертуар Бакинской Оперы сильно сузил его возможности и как артиста, и как вокалиста. Его творческое честолюбие было прекрасно оснащено природным дарованием, ограниченным великолепным музыкальным и вокальным образованием, но он выбрал... эстраду. Принято говорить о славе, почете, безграничной любви советского народа к Магомаеву. Всё так и было. Но было и другое. В отсутствии свободы творчества Артиста обнаруживалась свинцовая печать идеологического эгоизма и политический цинизм власти и в Москве, и в Баку. Эта печать оставила свой отпечаток в душе Магомаева на долгие годы. А эта несвобода начиналась уже в отрочестве, когда с ранних лет на его плечи и в музыкальной школе, и дома уже примеряли почетные вериги будущей музыкальной «мессии» Азербайджана. Ему прочили роль продолжателя творческого гения патриарха азербайджанской музыкальной культуры – деда, его полного тезки – Муслима Магомедовича Магомаева. По этой причине пробуждение яркого голоса стало для его идейных наставников фактом скорее даже «неудобным». Учась искусству музыкальной композиции в специальной Бакинской музыкальной школе, Муслим делал успехи. Они были очевидны и тешили самолюбие тех, кто

в Азербайджане видел в его руке эстафетную палочку, врученную ему природой от знаменитого деда. Тогда уж совсем «некстати» оказалось увлечение Муслима джазовыми композициями и американской рок-музыкой. Дело дошло до абсурда, когда он втайне от педагогического начальства Бакинской музыкальной школы организовал группу сверстников и, прячась в квартире одного из приятелей, с упоением исполнял собственные джазовые импровизации.

Пробуждение голоса у Муслима было и в самом деле явлением ослепительным. Но оно вызвало скорее раздражение, чем настоящий восторг его наставников, в том числе и дяди Джамала. Невозможно было в тринадцать-четырнадцать лет, в пору ломки голоса судить определенно о вокальных перспективах мальчишки и видеть в нём будущего гения оперной сцены. Тем более, что виделся он всеми, как будущий композитор. Настало время выбора истинного пути. И оно оказалось для подростка Магомаева очень непростым...»

Статья, опубликованная в газете «Каскад» стала доступной едва ли не всему Интернет-сообществу, превратившись в мой букет цветов памяти на его Бакинской могиле, где стоит памятник Артисту, сделанный из белого мрамора...

...Однажды в субботний вечер я сидел на бакинском бульваре у Каспийского моря, отдыхая после короткой прогулки. Не помню, что сподвигло меня отправиться на бульвар. Скорее всего, я возвращался от тётки Шуры, старшей сестры матери. Был воскресный день. Я приехал к тётке, чтобы посмотреть фильм по телевизору, который собрал своими руками её сын-эпилептик Валентин. Каждый вечер соседи тётки Шуры собирались перед крохотным экраном, который увеличивался в размерах с помощью большой линзы, стоявшей перед ним. Можно было хорошо видеть всё, что на этом экране происходило. Днём соседи не приходили и воспользовавшись этим, я приехал к тётке Шуре. Перед телевизором сидели мы с Аллой – дочерью дяди Коли –

постоянно жившей у своей приёмной матери, коей стала для неё мамина старшая сестра – моя тётя.

На экране появилась диктор-азербайджанка Наджуба Меликова, которая сообщила, что сейчас будет показан художественный фильм «Два капитана». Повесть я читал, а фильм посмотреть в кинотеатре не удалось, так что я смотрел его с удовольствием. До конца досмотрел только я. Алла и Валентин едва дотянули до середины фильма и ушли на двор. Валька молча запускал голубей – он был большим их любителем. Его сестра ушла к подруге, жившей в соседней квартире.

Закончился фильм, и я решил прогуляться до бульвара. Попрощавшись, я вышел на Красноармейскую улицу и направился к бульвару. Это было непросто для меня. Дойдя до длинных рядов скамеек я поспешно присел, потирая ноющие стороны разрушенных болезнью бёдер.

Стал оглядывать прохожих. У меня недавно возникла такая забава: угадывать по внешнему их виду возраст, профессию, женат-не женат и так далее. Меня не смущало, что проверить свои версии я не мог, но сами раздумья на этот счёт сильно меня увлекали, а главное, когда болели ноги, от этих неприятных ощущений я как-то отвлекался.

Рядом со мной присел парнишка, лет шестнадцати, может чуть помладше, с тонким, слегка вытянутым лицом, волосами, зачёсанными назад. Был он в брюках, клетчатой рубашке с короткими рукавами. Присев, неожиданно сказал мне: «Здравствуйте!» Я ответил. Его приветствию я был немного удивлён. Стал соображать, не видел ли его где-нибудь или быть может нас кто-то когда-то знакомил? Не случилось в моей жизни такого, чтобы незнакомый человек, вот так запросто, садясь в общественном месте рядом, здоровался со мной, как со знакомым. Я отвлёкся от своих занятий, искоса поглядывая на соседа. Выражение лица у него было меланхолическим, хотя облик выдавал человека, занимающегося спортом.

— Как вы думаете, сколько лет тому офицеру? — неожиданно спросил я незнакомца, показав на мужчину, одетого в офицерский китель с галунами и фуражкой на голове, с проседью на висках. Парнишка на секунду задумавшись, сказал:

— Думаю, лет сорок, сорок пять.

— Точно, — почти обрадовавшись, ответил я, провожая офицера взглядом. Слышу голос соседа.

— Вы что-то угадываете у людей? — Сам вопрос прозвучал немного коряво, но суть его была понятна. Чуть задумавшись, я ответил.

— Я пытаюсь понять, глядя на человека, сколько ему лет и чем он занимается...

— Ну человека в морской форме нетрудно определить — ответил парень...

— Это понятно, но хорошо бы определить, что это за человек? Каков его характер... — Я с любопытством стал разглядывать парня, который со мной заговорил так, будто мы с ним уже были знакомы.

— Меня зовут Борис Минасян! — Парень протянул мне руку. Я сделал то же, пожав его ладонь.

— Олег Юрганов!

Так мы познакомились. Он сказал мне, что поссорился с матерью. Живет он неподалеку от кинотеатра «Низами». Мы продолжили мою игру и попытались определить кто-то из числа прохожих, попавших в наше поле зрения. Борис забавлялся с удовольствием и показался мне очень живым и милым парнем.

— У меня есть друг, — неожиданно сказал он.

— И как его зовут? — Я поддержал разговор...

— Вовка... Хороший парень, — добавил Борис. Тут он встал, собираясь видимо уходить. Я тоже поднялся. Мне надо было идти к трамваю и мы побрели вдоль набережной. Я тяжело опирался на трость. Борис не спрашивал меня,

что у меня с ногами, почему я так тяжело хромаю, и я был ему за это очень признателен. Дойдя до перекрёстка, Борис вытащил из кармана записную книжку и сказал:

— А я дам вам... — Я шутливо рассердился.

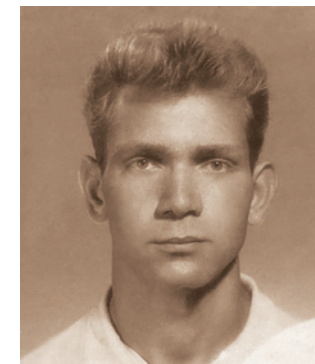
— Ну что ты «выкаешь»? Мы так дружно с тобой *«потрудились»*. Проглядели массу прохожих! — Я улыбнулся...

— Точно? Можно на «ты»?

— Конечно, — весело сказал я... Он протянул листик, вырванный из записанной книжки, куда успел что-то черкнуть.

— Вот, телефон. Можешь звонить... Только после трёх. Я в это время обычно дома, сказал Борис.

Тот факт, что парнишка решил со мной познакомиться, меня не очень удивил. Немного смущало выражение его лица. Застенчивость его была очевидна, но то, с какой решительностью он её преодолевал, говорило о скрытой силе характера, хотя его решимость, как мне показалось, постоянно была у него *«под собственным надзором»*. Видимо, далеко не каждому Борис готов был протянуть руку и раскрыться. Чем-то я его привлек и это мне понравилось. Но что именно заставило его обратиться ко мне — так



Борис Минасян
Баку 1957 год

и осталось для меня загадкой.

Дня через два, от нечего делать, я позвонил Борису. Он обрадовался и тут же предложил встретиться, назвав свой адрес. Я согласился. Найти его дом было просто, и минут через пятнадцать-двадцать я уже стучал в его дверь. Он открыл мне и пригласил в квартиру. Была она маленькой, уютно обставленной, с нешироким окном, которое выходило во внутренний коридорчик, примыкавший к жилым помещениям. Там иногда проходили соседи, останавливаясь перед широким, распахнутым окном во двор. О чём мы с ним болтали не помню, но в этот раз настроение у него было напряжённым. Он суетился, невпопад отвечал на мои вопросы и я подумал, что пришёл не вовремя.

Спустя полчаса или минут через сорок в квартиру вошла пожилая женщина. Голова седая, сама полновата, но в движениях – ловкая и быстрая. Мне кажется она была армянкой, хотя настаивать не могу. Растерянно оглядела меня... Борис скорее всего не предупредил её о моём визите...

Это была его мать. Имени не помню, хотя внешность врезалась в память. Позже я узнал от Бори, что отец его погиб на войне, и больше никаких подробностей о нём не знаю.

Тогда, в мою первую встречу с его матерью, когда мы остались вдвоём, проводив Борю на забытое им занятие по математике, у меня сложилось впечатление, что она милая, добрая женщина, с мягким характером и с очень отчётливыми жизненными принципами. Она тревожилась за судьбу Бори, который учился в вечерней школе и работал в регистратуре той же поликлиники, что и его мать. Кем она работала там, я не помню, может быть, врачом или медсестрой. Она не скрывала – работа ему не нравится и что он хочет пойти работать на строительство бакинского фуникулёра. Позже так и случилось...

Я воспринимал Бориса, покровительствуя ему, как человека, который был на два года младше меня. Не могу сказать,

что общаться с ним было легко. Был он человеком скорее замкнутым, чем общительным. Хотя вместе – мне и Володе Расшивкину – его близкому другу, с которым Боря меня познакомил, было очень интересно. Я бы сказал даже весело. Во всяком случае, я испытывал внутреннюю раскованность, когда случалось так, что мы оказывались наедине и о чём-то вели разговоры.

Я строил своё общение с Борисом по мере моего возрастного опыта, возможности или готовности понимать его характер и поступки. Мне кажется, что он всегда меня внимательно слушал, безусловно уважал, свои суждения высказывал с осторожностью, ожидая мою реакцию. Для меня Борис так и остался человеком не до конца понятным. Конечно, в моём характере уже давали о себе знать признаки родительского наследства – я был склонен к категоричности, хотя и *пытался* быть гибким, не спешил с оценками, правда, не всегда заботился о *безукоризненности* своих аргументов. Наверное, я *подавлял* собеседника своей уже наметившейся эрудицией и начитанностью. Сказывался возраст юности, несший на себе отпечаток постоянных физических *страданий*, которые *давили* на психику, лишая меня терпения и сдержанности. В разговоре я грешил безапелляционностью, хотя и спохватывался, но чаще всего поздно...

...Я уже упоминал Володю Расшивкина – друга Бориса. Именно он и познакомил нас, не подозревая сколь значительную роль тот сыграет в моей жизни. Припоминаю, как это случилось. Мы встретились на приморском бульваре. Я сидел на скамейке и увидел его издали. Мы договорились о встрече, но я был необыкновенно заинтригован, потому что Боря обещал мне какой-то сюрприз, не став говорить подробно о том, *что* он собирался сделать? Он приближался ко мне с идущим рядом с ним невысоким коренастым парнишкой, у которого на голове была густая шапка, выгоревших, почти белых волос. Подошли...

— Это Вовка Расшивкин, — представил Борис.

Я понял, это и был его сюрприз. Я с любопытством оглядев Расшивкина и, пребывая в веселом расположении духа, промолвил:

— Белый... — Тот не понял, а Борис тут же весело рассмеялся.

— Точно! — Хлопнул друга по плечу — Пусть это будет твоей «партийной кличкой»... — Только сейчас Вовка понял, что его окрестили и молча провёл рукой по своей густой шевелюре. Мы пожали друг другу руки. Уселись на скамейке и начали играть в «мою игру» — оглядывая прохожих, определяя, «кто есть кто?» Несколько минут мы громко спорили, доказывая каждый свою правоту и вскоре обратили внимание на мужчину лет сорока или сорока пяти. Одет он был довольно бедно, но чисто и аккуратно. Медленно шагая по тротуару, мужчина шел по направлению к нам. Почему-то мы сразу умолкли. Мужчина подошёл к нашей скамье, присел. Через минуту, извинившись, попросил закурить. Курил тогда только я. Открыв портсигар, я вытащил папиросу и протянул мужчине. Вовка толкнул меня вбок, мол, давай его поспрашиваем? Я кивнул...

Незнакомец охотно рассказал нам о себе. Ему было сорок пять лет. По профессии — сапожник. Неделю назад вышел из тюрьмы, где отсидел за убийство жены. Она изменила ему и он... случайно, огрел её, в горячке разговора, по голове железным «башмаком», для набивки колодок на каблук. Не желая того, убил человека. Мы сидели, сражённые его рассказом, подавленные, обалдевшие от его откровений. Он тут же попросил нас дать ему немного денег. Мы вытащили каждый сколько имел и отдали ему всю наличность, которая была у нас в карманах. Он устал, вздохнув, поднялся и ушёл. Вслед за ним, так же молча, разошлись и мы. Уж не знаю, правду ли нам рассказал этот мужчина или, раскусив наши праздные забавы,



Владимир Расшивкин и Борис Минасян
Баку 1957 год

натолкал нам в память *страшилку*, но историю и самого этого мужичка я запомнил на всю жизнь...

Наша *троица* дружно обитала в том времени — 1957, 1958 годах — в пространстве города Баку. Я закончил школу, вслед за мной, через год, завершили своё среднее образование Борис и Вовка Белый. Оба готовились поступать в ВУЗы, а я готовился к отъезду в Краснодар. Но пока всё это как-то *выстраивалось* мы часто встречались, оставаясь теми типичными пубертатами, приключения которых так или иначе были связаны с девчонками.

Хорошо помню, работая на Бакинском телеграфе, я увлёкся девушкой. В моём возрасте это было вполне нормально, но меня ожидали сложности моего физического положения — хромого, низкорослого парня. Все привилегии, которыми я располагал: комсорг Бакинского телеграфа, начитанный, с в общем то симпатичным лицом, как я полагал, не могли интересовать представительниц прекрасного пола. По своему характеру я был оптимистом и обладал, на мой взгляд, редким свойством *отвлекаться* от физической реальности, которая пряталась в моих *телодвижениях*. При этом, оно —

моё тело – жило по своим законам, которым было неведомо проявление *гармонии*. Я двигался, как мог, иногда довольно ловко и быстро. Мои мышцы с каждым годом крепили и по своему я мог похвалиться гибкостью, хотя, все *конфигурации* моих движений сильно отличался от динамики здорового восемнадцатилетнего парня...

По национальности девушка была армянкой: большие черные глаза, густые чёрные волосы, лицо – смуглое, улыбочное, слегка вытянутое. Она была группкомсоргом в телеграфном зале. Довольно часто мы общались по комсомольским делам, поскольку я был её комсомольским «начальством».

Постепенно я почувствовал, что *втягиваюсь* в её облик, который становился для меня всё более притягательным. О случившемся со мной я однажды рассказал своим друзьям. Оба, Борис и Вовка отнеслись к моему увлечению очень сочувственно. Подсознательно они понимали причины, препятствующие развитию моих *лирических* интересов. Увидев Тамару (назову её так), Вовка моим вкусом восхитился. Борис промолчал... Скорее всего, не решился огласить свои сомнения, казавшиеся ему очевидными. После коротких переговоров, для облегчения моих только-только начинающих отношений с девушкой, было решено осуществить традиционный сценарий. Как нам тогда показалось, сработать он мог безотказно.

Я должен был проводить Тамару вечером домой. Невинная просьба вряд ли вызвала бы у неё отказ. Так мне показалось. Наш путь пролегал бы через короткий, но безлюдный и плохо освещенный переулок. Именно здесь два *незнакомых парня* должны были совершить на нас *нападение*. Со стороны Тамары, намерение «этих парней» в такое время суток, вряд ли подверглось сомнению. Разумеется, я мог бы защитить её от хулиганов, отстегав *паршивцев* своей тростью. Поскольку ни Борис, ни Вовка лично

с Тамарой знакомы не были, а рассматривали её лишь издали – в лучшем случае, в бинокль, когда я с ней прогуливался на обеденном перерыве неподалеку от Бакинского телеграфа – сделать «фокус» труда не составляло!

За сутки до того события, когда мы приняли своё решение, я *задумался*. Лёжа на диване в бабушкиной квартире, предавался непростым размышлениям. В какой-то момент мне показалось *унизительным* организовывать *игрище* ради закрепления привязанности к себе симпатичной девушки. Пришлось откровенно самому себе признаться, что Тамара была ко мне равнодушна, хотя были мы теплыми приятелями на работе. Я не мог не видеть, что девушка не выказывала ко мне внимания, а свои чувства (иной раз они не давали мне покоя) я тщательно *упаковал* внутри своей души.

Я представил, как мы с Тамарой идем по безлюдной улице, если она все-таки согласится прогуляться со мной, из-за угла с воплями вылетают Борис и Вовка... Что они будут кричать? Ладно, пусть орут, что хотят... Но как я их должен отпугнуть? Размахивать тростью? Ругаться? А Тамара? Не слишком ли она испугается? А вдруг поймет розыгрыш? Вот позорище будет-то!

Я позвонил Борису, затем Вовке и отменил этот нелепый *сценарий*. Борис очень обрадовался, а вот Вовка был огорчен и осторожно упрекнул меня в *слабости*. Какая-то часть моей юности тогда уже простилась с нелепым полудетским романтизмом, и, признаюсь, жить мне стало гораздо легче. Но странное дело – с той минуты моё отношение к Тамаре стало *отчуждённым*, даже *враждебным*. Мне трудно было оставаться с ней лишнюю минуту, я сразу уходил, едва простившись с ней. Мне даже стало казаться, что она нечистоплотна, неряшлива, будто мне чувствуется запах её плохо вымытого тела и волос. Я стал замечать множество изъянов в её одежде! Разумеется, ей я не делал никаких замечаний, просто мой обострившийся, почти враждебный

взгляд и нюх служили в моменты случайных встреч с Тамарой роль цепного пса, готового грозно зарычать при одном лишь её появлении рядом!

...Нахалом я был редкостным – *влюблялся* только в красивых или очень красивых девушек. Природная моя живость и то, что я готов, пожалуй, назвать красноречием, оттеснили на задний план гитару и пение, как беспроигрышную возможность завоевывать сердца девушек. К тому же я был настолько заводным парнем, что вокруг всегда было много сверстников, и я действительно часто забывал о своей хромоте.

Помню, после Тамары я влюбился, там же на телеграфе, в девушку по имени Лора. Мне тогда было восемнадцать лет. Самый возраст любви! Готовился молодежный вечер, и я храбро решил научиться танцевать, мечтая пригласить её на танец. Учила меня навыкам танцевальных движений знакомая телеграфистка. Я не помню её имени, но это была взрослая женщина, невероятно добрая. Я рассказал ей о своём желании потанцевать на вечере с Лорой, которую она хорошо знала. Сразу поняв, что справлюсь я только с медленным танцем, она стала учить меня несколькими типичными движениями, которые про себя я прозвал «...художественным перемещением хромого танцора...»

Действительно, после нескольких уроков мои ноги несли меня короткими кругами по залу. Я был на седьмом небе, совершенно не обращая внимания на то, как я выгляжу со стороны. Моя наставница убеждала меня, что в таком танце можно с девушкой даже разговаривать, но главным для меня оставалось согласие «дамы» потанцевать со мной... Через неделю уроков мои ноющие ноги все же чему-то научились. Когда настал вечер и заиграла музыка, я, сидя рядом с Лорой, небрежно сказал ей.

- Хорошая музыка, правда? Не хочешь ли потанцевать?
- Давай попробуем, — ошарашенно на меня глянув,

поднялась Лора. Она была в туфлях на каблуках и... оказалась выше меня! Пусть не намного, но все-таки... Правда, через минуту я об этом забыл. По-моему, она – тоже. Даже спустя годы я благодарен Лоре за терпение и деликатность. Я-то понимал – она догадывалась, что «танец» для меня – очень нелёгкое упражнение, но вида не подавала. С последними аккордами музыки нам даже захлопали, и я дурашливо поклонился.

После «танцевальной премьеры» Лора стала меня... избегать. Нетрудно догадаться о причинах. Как обычно бывает в таких случаях, подруги Лоры *поделились* с ней впечатлениями от увиденного на вечере. Конечно, конечно! Я писал ей стихи. Строчил и подбрасывал записки. По-моему, я – неистовствовал... Но постепенно успокоился.

Мой друг Вовка Белый сказал однажды: «*Олег, влюбляйся, приставай к девчонкам, назначай свидания, встречайся с ними и веди себя так, будто ты решаешь, а не они, что предпринять в дальнейшем: бросить их или продолжить отношения.*» С этими рекомендациями мой друг немного опоздал. У меня уже давно так получалось. Мне просто тогда не хватало сил сдерживаться, уметь владеть своими чувствами, которые расплетались словно мотки с цветными нитками, перемешиваясь в красочные клубки эмоций, просачивающихся в моём лице, в глазах, словах, неодолимых желаниях, справиться с которыми было очень непросто.

Тот факт, что я влюблялся в красивых и умных девушек, быстро становился *основанием* для того, чтобы я учился обуздывать себя, заметив их спокойное *равновесие*. Были обстоятельства, когда мне всего лишь требовалось проявить терпение, чтобы дать созреть чувствам девушки, размышления которой над моими переживаниями требовали от неё чуть больше времени, чтобы осознать мою некую особенность. Я принимал решение расстаться или просто исчезал, без всяких объяснений и надо сказать, что скорее всего

я избавлял девушек от *недоумений и растерянности*.

Взаимные, случайные привязанности редко обращались в дружеские отношения, и в этом была своя логика! Юность – время поиска подсознательного *сходства* во взаимном влечении, основа которого зиждется на физической готовности это влечение отчётливо представить, а точнее – *обеспечить* привязанностью. Мне предстояло повзростеть, чтобы зрелость моего ума обрела бы еще и опыт осознания физической *независимости* истинного влечения к женщине, а её отклик позволил бы чувству любви эту независимость морально и психологически подкрепить. Однако, об этом я пока ничего не знал, действуя интуитивно и слепо, как правило, *борясь* с сильными проявлениями влечения...

...Мои родители окончательно решили уехать в Краснодар. Стало ясно, что перспектив в Азербайджане нет, пора перебираться в Россию. Когда мы уезжали, родня матери в Баку еще оставалась. В их семьях перемены происходили, к сожалению, не самые лучшие. Юрий, младший сын тёти Шуры, племянник моей матери, умер от передозировки наркотиков. Дочь брата тёти Шуры – Николая Юрьева – Алла, умерла в психиатрической колонии лет через пять после нашего отъезда в Краснодар. Старший сын тёти Мани – Слава скончался от рака желудка вскоре после смерти своего отца – Петра Шевырева. Тётя Маня и тётя Шура сильно постарели, но навык жизни у тёти Шуры был неиссякаем! Я помню её подвижность, разговорчивость, аккуратность в быту, оставшуюся для её младшего сына Валентина островком чистоты и нежной привязанности матери.

Еще при жизни тёти Шуры и тёти Мани мои родители несколько раз приезжали из Краснодара в Баку. Последний, когда случилась кончина старшей сестры моей матери – Александры Никитичны по мужу – Ионовой. Случилось это, кстати, до смерти моей бабушки – Надежды Георгиевны Юргановой – матери моего отца.

Мои родители тётю Шуру похоронили, достойно исполнив свой печальный долг. Забавно, но тогда же, в матрасе умершей старшей сестры, мать случайно нашла несколько десятков тысяч рублей, которые та припрятывала примерно последние пятнадцать-двадцать лет жизни. Неожиданное *наследство* досталось Валентину, поскольку из Ионовых в живых остался только он...

Тётя Маня, после смерти мужа, а затем и старшего сына, впала в депрессию, тяжело отходя от впечатлений, оставшихся от горького опыта сожительства с её жёстким, драчливым Петром Шевыревым, который, наконец-то, избавил её от себя.

Подробностей этих финальных лет жизни в Баку моих тётушек – Александры Никитичны Ионовой, Марии Никитичны Шевыревой, а так же их детей: Валентина и Аллы, Альбины и Валерия я не знал. Я уехал в Краснодар со своими родителями в конце января 1959 года. Братья матери – Михаил Никитич, Николай Никитич Юрьевы и сестра – Татьяна Никитична Юрьева уже скончались... После отъезда из Баку я, спустя год, уехал из Краснодара в Саратов, где сначала лечился, потом поступил в университет. Из редких писем моей матери, ко мне в Саратов, узнавал я новости о последней бакинской родне Юрьевых. На похороны своей сестры Марии Шевыревой мать не успела – та свела счёты с жизнью неожиданно. Не смогла мать засвидетельствовать кончину своего племянника – Валентина Ионова. Он умер один, в новой бакинской квартире. Пролежал невесть сколько, пока не был найден соседями, которые его и похоронили, правда, неизвестно где...

Печально, что могил родителей моей матери – Никиты и Прасковьи Юрьевых, ни всех её упокоившихся родственников, их ушедших в небытие потомков не сохранилось. Город Баку бурно рос, застраивался, покрывая заросшие травой кладбищенские просторы ближних окраин

столицы Азербайджана бетонными многоэтажками спальных районов...

Ехать с нами в Россию бабушка моя – Надежда Георгиевна – не думала. Квартира у неё была, пенсия аккуратно выплачивалась, да и по возрасту она уже не была склонна к перемене мест. Некую судьбу в городе Баку предопределило ей природное долголетие. Правда, в Краснодар, к семье сына, на встречу с внуками бабушка приезжала несколько раз. Гостила в нашем очень скромном доме по Шоссе пилотов, потом уже во вновь отстроенном доме по улице Матросова дом 5. Но приезжала всегда не надолго, возвращаясь в Баку. Однако возраст брал своё! Настал момент, когда и за ней потребовался уход. Тогда отец уговорил младшего сына – моего брата Александра – поехать в Баку, пожить там, чтобы помочь бабушке с её житьём-бытьём. Ему самому было тогда уже что-то около шестидесяти и он хорошо знал, что с заботами о своей матери не справится. Александр отца выручил – поехал. Несколько лет прожил в Баку в бабушкиной квартире. Однажды я узнал из тех же писем матери ко мне в Саратов, что Саша, как положено, бабушку похоронил и вернулся в Краснодар...

...Когда я уезжал из Баку в Краснодар, прощание с Вовкой Расшивкиным и Борисом Минасяном проходило скупое, по-мужски. У каждого из нас не было уверенности, что мы когда-либо увидимся вновь. Договорившись накануне, мы встретились осенним вечером на улице. Медленно вышагивая, обменивались репликами. Для меня ходить неспешно было мучительно тяжело, поэтому я вскоре остановился и сказал.

— Ну ладно, ребята... Давайте прощаться. — Мы обнялись все втроём и не оглядываясь, разошлись. Было это глубокой осенью 1958 года...

Лет пять спустя, в 1963 году я, будучи женатым на Елене Козловской, жил в её доме в городе Энгельсе. Работал я тогда

в Саратовском областном комитете ВЛКСМ. Тогда же я учился в Саратовском университете, но ушёл в академический отпуск. Каждое утро я ездил на речном трамвайчике на работу в Саратов и возвращался к семи вечера с работы на другой берег реки Волги. Однажды, я мельком увидел на палубе знакомое лицо. Не поверив себе – прошло почти пять лет – я осторожно всмотрелся в лицо молодого человека, который курил, стоя у борта трамвайчика, глядя в воду. Он был чуть ниже среднего роста, без шапки, с густой шевелюрой почти белых волос. Конечно же, то был Вовка Расшивкин! Я ужасно обрадовался! Это ж надо – один из «трёх мушкетеров» оказался там, где находился я сам! Эмоции захлестнули меня. Я стал двигаться к стоявшему парню, и за шаг от меня Вовка повернулся ко мне и пробормотал.

— Тихо, тихо... Алик... Здравствуй... — Распахнул объятия, заключив меня в них решительно и крепко...

Он поступил в Бакинский Политехнический институт. Потом перевёлся в Саратовский – такой же – и теперь получал высшее образование в том городе, где я пребывал по служебной надобности, возвращаясь сейчас домой. Я пригласил его к себе и через полчаса или минут сорок спустя, мы предстали перед моей женой Леной, её матерью Анной Наумовной, в квартире которой мы тогда жили.

Посидели... Вспоминали наши Бакинские встречи... Самый длинный разговор случился у нас тогда о судьбе Бориса Минасяна. Вовка признался, что связь с ним потерял. Говорил, что Борис уехал в Сибирь, вроде бы окончил там нефтехимический институт и с... концами! Тогда же мы расстались с Володей года на два. За суетой жизни, множеством забот, личными передрыгами, без которых не обходится ни одна семейная жизнь, наладить аккуратное и постоянное общение и переписку не удалось. Будучи спокоен за Вовку, который учился в Саратове, я нередко вспоминал Бориса, полагая, что исчез он неспроста.

Еще в Баку был у нас с ним, в общем-то пустяшный конфликт, когда я в обоюдном разговоре назвал его как-то пренебрежительно. И ведь вида он не подал! Никак не отреагировал... Просто умолк и всё, а я продолжал веселый разговор, не обращая внимания на какие-то знаки, которые подавал мне Володя Расшивкин, сидевший здесь же. Всех деталей произошедшего теперь уже не припомню. Но вывод я не сделал или, если и сделал, то не вовремя. И хотя цены нет русской поговорке: «*Лучше поздно, чем никогда!*» судьба так и не предоставила мне шанса её доброй сущностью воспользоваться. Во всяком случае, я мог предположить причину долгого молчания Бориса, хотя не знаю, так это или не так? Мне искренне жаль, что судьба разметала нас с ним по разные стороны, но встречи с Володией Расшивкиным продолжались, причём, самым *невероятным* образом! Хотя у всей этой истории с судьбой Бориса мог быть иной сценарий. Однажды в Саратове Вовка рассказал мне, что Борис, служа в Армии, подвергся насилию со стороны старослужащего. Его то ли избили, то ли поиздевались, как это бывает в Армии... В общем, возникло у него желание как-то себе навредить, и сделал Борька *самострел*. Его осудили, дали какой-то срок. Приятного мало... Как это часто бывает у честных, но слабых по характеру людей, Борька Минасян сильно замкнулся, захотел исчезнуть в неведомых краях и уехал в Сибирь. Там он учился в институте, окончил его, стал работать на большом заводе, а о себе никому ничего не говорил и не писал...

...В 1968 году я пришел в Саратовский Институт измерительных приборов, где когда-то трудился. Надо было получить справку о том, что я там когда-то работал. Как это нередко случается, получение обыкновенной справки, особенно на предприятии Военно-промышленного комплекса, вылилось в многочасовую процедуру. Ожидая секретаря-делопроизводителя, я топтался по коридору, от нечего

делать прочитывая всё, что висело на стене. Неожиданно мой взгляд наткнулся на фамилию с надписью: «Расшивкин Владимир» и, разумеется – отчество. Я долго вспоминал отчество Володьки Белого, но так и не вспомнил. Мы не виделись лет пять или семь со дня той памятной встречи у меня в Энгельсе. Теперь я жил в Саратове, получил квартиру, у меня родился первенец Илья... Неужто однофамилец? Планшет, на котором я увидел фамилию Володи оказался составом профкома той *конторы*, где когда-то трудился я, а теперь и он. Пропуска у меня, конечно же, не было, но не составляло труда, встретив любого человека, идущего внутрь учреждения в коридоре, попросить позвать «...товарища Расшивкина». Так я и сделал. Минут через десять-пятнадцать я увидел, как сквозь пропускной турникет выходит... Володя Расшивкин. За пять лет или шесть со дня нашей последней встречи на речном трамвайчике, а потом у меня в доме, с ним произошли разительные перемены, как и с каждым из нас. В мою сторону *солидно шагал*, иначе, пожалуй и не скажешь... Полноватый, но всё с такими же русыми волосами мужчина в очках. То, что это был Вовка Белый сомнений у меня не вызывало ни на секунду! Сам же он, по мере того, как *ощупывая* взглядом пространство впереди себя, наконец, наткнувшись на меня, мгновенно утратил свою солидность и уже через минуту, едва сдерживая деловую осанку, почти побежал ко мне. Обнял за плечи и почти оторвал от пола!..

...Сидя в удобном кабинете его саратовской квартиры, мы проговорили с ним полночи. И снова мы коснулись судьбы Бориса Минасяна. Володя с ним случайно встретился, правда, не надолго, уж не помню где и по какому поводу. Просил написать мне, но тот мягко, с присущей ему интеллигентностью, отказался. Причин не знаю, но скорее всего та гипотеза, о которой я рассуждал ранее, так и осталась для меня в силе. Наутро прощаясь, Володя сказал мне,

что Борис умер. На мой вопрос, почему он не сказал мне об этом вчера, *Белый* резонно заметил.

— Я боялся, что ты свяжешь его более чем странный отказ встречаться с тобой или хотя бы обменяться письмом с его смертью. Всё гораздо прозаичнее. Был у него какой-то производственный конфликт, и его личность *сломалась*...

Обнявшись, мы простились друг с другом еще на *тридцать* лет, но его характер, влияние, авторитет неожиданным образом *откликнулись* уже через две недели после нашего расставания. Я вернулся домой в свою саратовскую квартиру, и мне позвонил Миша Чернышёв. О нашей дружбе с ним, о его непростой судьбе и о многих наших приключениях мне предстоит еще рассказать, но тогда просьба у него была проста. Он просил меня помочь с трудоустройством какому-то молодому человеку, который был бойфрендом нашей общей знакомой, назовем её Людмила. Выслушав его, я попросил её телефон, чтобы выяснить все необходимые подробности о работе человека, его возможностях и т.д.

Эта женщина в недавнем прошлом вошла и в мою судьбу (и об этом я напишу позже) однако, наши отношения так и не заладились. Она приехала в Саратов, вышла замуж за нашего общего с Мишей знакомого парня, родила ребенка и, разойдясь с мужем, уехала на родину, в Череповец, где жила до замужества, где я с ней познакомился. Вскоре опять вернулась с ребёнком в Саратов, да так и осталась там жить. Изредка мы встречались с ней у Миши Чернышёва, но я уже никогда не вспоминал о годах юности, связавших наши судьбы мимолётными узами симпатии. Не сложилось, так что ж тут горевать? Круг знакомых был у нас с Мишей общий, так что оказать помощь Люде было делом естественным. Мы созвонились и я поехал к ней домой. Знакомлюсь с Пётром, так звали парня Люды, узнаю, что работал в том же институте, где работал Володя в ранге зама генерального директора по кадрам. Петра уволили по сокращению кадров, и своё

увольнение он сильно переживал, желая вернуться в свой институт на работу. В СССР чиновничья братия, составляя списки сокращаемых сотрудников из соображений экономии заработной платы, особо не задумывалась. Предупредили, мол, ищи себе работу, подмахнули *документик*, и все дела! Я написал записку Володе Расшивкину, в которой просил еще раз и очень внимательно посмотреть на судьбу этого работника. Оказалось, что Расшивкина – Пётр знал. Очень его уважал, невольно перенес эти чувства при встрече и на меня. Слава Богу всё обошлось. На следующий же день он был восстановлен на работе. Не знаю, как складывалась его судьба и перспективы его отношений с Людой, но тень Володи Расшивкина в истории этих двух личностей укрыла их обоих от палящего солнца той беспощадной реальности, в которой нередко мы *погибаем* от житейского *перегрева*!

...Я не перестаю удивляться превратностям судьбы, трассы которой проходят по тем путям-дорогам, что мы выбираем. Возвращусь в 1998 год. Живя уже шестой год в США, я попросил своего старшего сына Илью, жившего тогда в Саратове, поискать там Володю Расшивкина. При своей житейской нерасторопности, сорокалетнему сыну удалось через адресное бюро запросить и получить официальный ответ: «Расшивкин отбыл... в США». Получив это сообщение, я был не то что сражён, п о т р я с ё н этим сообщением. Это ж надо! Друг моей юности, с которым меня связывали десятилетия, оказывается живёт в США. Вполне могло так случиться, фантазировал я, получив эту информацию, что мог Володя проживать не где-нибудь, а даже в *моём* шате Мериленд, в том же Балтиморе, где проживал я сам! Только я собрался искать его по Интернету, как раздался звонок: «Алька, привет!» Я буквально задохнулся от избытка чувств. Оказывается, Володька – в Кливленде! Так что мои догадки о шате Мериленди о Балтиморе не оправдались. Уже назавтра мы с моей женой Зиночкой сели в машину и отправились

к Вовке в Кливленд. Но об этом рассказ в третьей книге – «Человек года»...

...Дружба для меня понятие... загадочное. Если рассчитывать старт моей жизни в социуме, то начался он вовсе не с момента, когда я, пребывая в возрасте ребенка, лежал в больницах и санаториях. В свои два-три года мы напоминаем *овощи* – одинаковые по цвету, размеру, вкусу и запаху. Тогда *маловероятны* привязанности, желание поделиться чем-то сокровенным, вольные или невольные оценки друг друга. Нам – хорошо, нас целуют, обнимают, купают, кормят, нами наслаждаются наши родители и многочисленная родня, подбрасывая в воздух, наряжая и *сюсюкая*. А когда нам плохо? И в этом случае всё равно – *овощи*, только мятые, пожухлые, невкусные: мы стонем от боли, страдаем. В нас впрыскивают медикаменты, кормят таблетками, от которых мы бледнеем и слегка дуреем, даже если нас купают и кормят, целуют и ласкают. Вступив в возраст отрочества, пребывая в полном здравии, мы вольно или невольно испытываем влияние скрытых *причин*, делающих нас агрессивными или придирчивыми, упрямыми или эгоистичными. К этому можно добавить, будь мы больными и беспомощными, те реальные несчастья, которые преследуют нас, заставляя ограничивать наши растущие желания, которые вступают в противостояние с нашими возможностями, достичь которые нам не удаётся, конечно же, не по нашей вине, а потому, что... И так далее и тому подобное! И тогда наш разум, завися от этих обстоятельств, начинает отличаться от сознания здоровых сверстников.

Разум искалеченного болезнью подростка стремится понять изуродованное тело, а оно – тело – *давит* на разум своими многочисленными ранами, неподдающимися исцелению. Мы стремимся себя *показать*, но ничего кроме телесных деформаций продемонстрировать не в силах, потому и подвергаем сами себя всяческим безрассудствам.

Юность, как эпоха *пробуждения* сознания, даёт шанс отвлечься от искалеченного болезнью тела и обратиться к *созерцанию* сущностей, рассеянных в окружающем мире. Уже неважно, что внутренний мир *продолжает* подвергаться влиянию телесной «*химии*», подчиняясь биологическому *расписанию* развития. В итоге разум обретает могучую *автономию*, вовлекая *волю* человека в поиск своего «Я». И в этот момент рядом с нами появляются или такие же, как я, или совершенно здоровые сверстники. Но озабочены мы одним и тем же: ответом на запрос ума – *кто мы такие и зачем пришли на этот свет?* Встреча с самим собой ослабляет разрушительную власть болезни и *нередко* приводит к волшебному мигу *соединения* духовных истоков мира с нашими собственными духовными началами.

Я не могу сказать, что Володя Расшивкин и Борис Минасян были для меня *источниками* некоего духовного возбуждения. Но мы были во многом *сходны* и *приемлемы* друг для друга. Борис с его тонкой душевной организацией был мне близок в минуты размышлений о собственной значимости в этой жизни, которая была для меня важна, потому что где-то в глубине моего «Я» жил изуродованный «*гомункулус*», который был сильно *подавлен* и *ограничен* в своих возможностях, страдая от такой реальности. Другое дело, что у меня были ранние амбиции, еще лишённые очевидных признаков самореализации, потому я и был непозволительно категоричен, активен без намёка на эффективность и энергичен без страха невосполнимости. Когда эти качества характера проявляются в 17-18 лет, поведение приобретает признаки наглости, нежелания слушать чужое мнение, отказ от авторитетов. От того и получается, что в общении с умным, тонким и по сути своего характера скромным человеком, ты выглядишь, как слон в посудной лавке, разбивая вдребезги его хрупкие духовные ассоциации. Лишь со временем ты понимаешь, что *губишь* личность, влечение

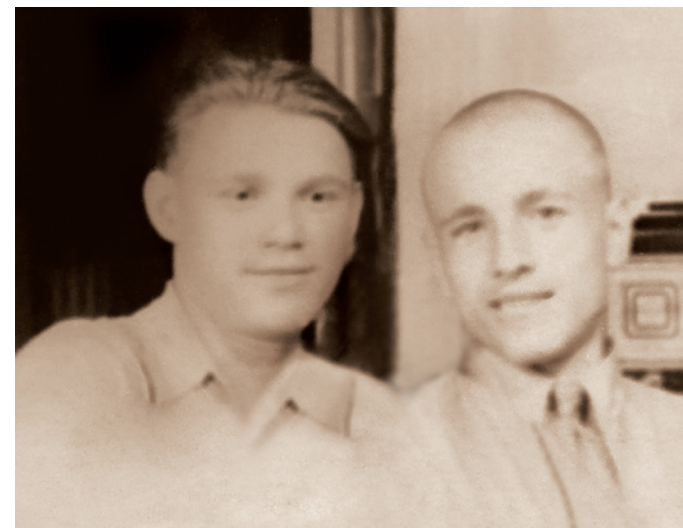
которой к тебе *очевидно*, поскольку она удостаивает тебя уважением и даже поклонением.

В этом смысле Вовка-Рыжий, появившийся из моего раннего детства, был человеком закалённым жизнью и очень независимым! Моё уважение к нему так и осталось безграничным, хотя годы нашего общения не были заполнены предметом и сущностями реально значительными друг для друга. Просто не успелось... Хотя, начатки взаимной готовности уже зрели в наших с ним дружеских отношениях.

Вовка-Белый, тот самый Расшивкин, который живет сейчас в Кливленде, был совершенно иной *типаж*. Мы были с ним поразительно схожи по внутреннему мироустройству. Оба – эгоистичны и прагматичны. Оба – добры и отзывчивы, с полным осознанием независимости друг от друга. Оба достаточно образованы, чтобы понимать свою значительность в этой жизни. Оба лишены соблазнов, при реализации которых нередко умирает честь и достоинство. Но нас обоих привлекает друг в друге та реальность, которая, живя в наших «Я», делает каждого из нас частью собственной нестираемой памяти. Мы можем не видеться десятилетиями, но наступает миг встречи и снова мы ощущаем как потребны друг другу. Не знаю... Может быть, это и есть магия дружбы? Но так сложилось, что друзей у меня больше никогда не было. Во всяком случае с таким многолетним *стажем* взаимных отношений, в которых каждый миг общения умножает естественную радость бытия...

...Семья наша уехала из Баку в Краснодар. На этот раз, навсегда! *Генетическая* родовая память давала о себе знать – мы продолжали сочувствовать событиям, происходившим в жизни родственников и друзей, оставшихся в столице Азербайджана. Родители изредка ездили в Баку или приглашали к себе бакинских друзей, принимая осколки родни в своём гостеприимном доме в Краснодаре.

Моя же судьба начала постепенно формироваться в моём



Вовка Рыжий и Олег Юрганов
Баку 1957 год

кокон индивидуальности, впитывая в себя особенности той *реальности*, которая окружала меня в Краснодаре. Зависимость от родительской семьи еще оставалась, отражая жизненные принципы отца и матери, их суждения и оценки, систему их нравственных представлений, то есть ту духовную атмосферу, в которой они жили много лет.

Некоторое время мы снимали в Краснодаре квартиру, неподалеку от которой строился наш дом. На это ушло время, которое стало для меня неприятным испытанием. За всё надо платить! Начали сказываться годы моих бакинских экспериментов, когда я начал ходить с палочкой и не очень был озабочен последствиями нагрузок на тазобедренные кости. Тон ощущаемых болей был каким-то иным, и это явно явственно я уже почувствовал. Оставаясь всё ещё *терпимой*, боль явно меня о чём-то предупреждала! Но о чём?

В восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет ты безрассуден и горяч, ты живёшь поиском любви. Хотя я уже начинал думать об образовании, но ничего путного так и не придумал.

Начал писать рассказы, отправляя их в журналы. Чаще в ответ я ничего не получал. Если он и приходил,

то с желанием литсотрудника, автора ответного письма, *почитать* меня уму-разуму. Мой жизненный опыт был слишком слаб, чтобы воплощаться в строчки литературных сочинений, способных хоть как-то *возбудить* моих потенциальных читателей.

Отец устроил меня на работу в Краснодаре по той же специальности, что была у меня на Бакинском телеграфе – слесарь-ремонтник телеграфных аппаратов. Еще в Баку я сдал экзамен, получил квалификацию и разряд. На краснодарском телеграфе я начал работать сменным слесарем-ремонтником в аппаратном зале. На работу я ходил пешком, теперь уже без палочки и сильно хромя. Однако это меня не очень заботило: полчаса – туда, полчаса – обратно.

На телеграфе мы – два слесаря-ремонтника – располагались в крохотной комнате у самого входа в аппаратный зал. В случае нужды в нашей помощи, телеграфистка зажигала на рабочем месте свет и мы подходили с тележкой, перегружали в неё *забарахливший* аппарат, тут же ставили и подключали отремонтированный запасной, возвращаясь в свою каморку, чтобы исправлять сломавшийся. Аппараты были такими же, как и в Баку – СТ-35 – с таки же тяжёлым весом, килограммов двадцать-двадцать пять. Его надо было поднять, чтобы поставить на круглый, ремонтный столик, вращая в разные стороны, оглядывая «*внутренности*» в поисках поломки.

Я давно уже работал полный рабочий день, поскольку было мне девятнадцать лет и сразу почувствовал, что это такое! Иной раз приходилось работать в две смены. Одному... Но что делать? Коллега мог заболеть или... запить. В среднем за рабочий день приходилось забирать в ремонт, иначе говоря, поднять и переложить на тележку, а потом и на ремонтный столик, до пяти-шести аппаратов СТ-35.

Выручала молодость. К концу дня, выйдя на улицу, особенно к концу вечерней смены, я чувствовал – идти не могу!

Боль адская. В бёдрах будто огонь кто-то разжигает! Расстояние от работы до дома – десять тысяч шагов. Считаешь и боишься, что вот-вот свалишься! Летом, возвращаясь с ночной смены, приходилось ложиться прямо на узком тротуаре, выстланном из кирпичей вдоль заборов, ого-раживавших одноэтажные дома. Короткий отдых немного снимал жуткую боль, и минут через пять-десять я снова вставал и шёл дальше! Приходил домой, добирался до постели и валился замертво. Примерно час шла борьба с болью. Наконец, я забывался и засыпал.

В то же время молодость требовала от меня новых встреч и общения. Год я нигде не учился, но поскольку я был членом КПСС, решил пойти в Университет марксизма-ленинизма. Мне исполнилось уже девятнадцать или двадцать. В эти годы в моей душе происходили некие *тайные*, во всяком случае, неведомые мне процессы, нуждавшиеся в осмыслении. То есть, не было *культурного* понимания зреющих явлений в недрах моего «Я». Что-то мне хотелось. Что-то меня привлекало. Что-то занимало. Но что это



Олег Юрганов
1960 год

такое: «Что-то»? Мой разум, *оболваненный* постоянными болями в бёдрах, был не в силах *понимать*. А ведь в этом заключалась его *работа!* Спасти от боли было невозможно! Две палки, сгнившие, с острыми концами буравили подвздошные «ёмкости» бёдер и не давали покоя ни днём, ни ночью. Конкуренция ресурсов молодости и хронической боли была очень острой, но, при этом, я оставался живым существом, готовым откликнуться на самый малый звук *чувств*, если, как я полагал, он был мне адресован.

Я стал ходить на вечерние занятия Университета марксизма-ленинизма, выбрав курс *диалектического и исторического материализма*. Был у нас преподаватель – довольно молодой, симпатичный грек, которому я понравился. Он часто расспрашивал меня о жизни, включая свои вопросы в темы наших семинаров, поручая мне выступать с докладами. Постепенно мы с ним перешли на «ты».

Помимо курса в нашем Вечернем Университете он преподавал основы философии в краснодарском музыкальном училище и однажды пригласил меня на концерт студентов-старшекурсников. Я с радостью согласился. Ходить на концерты в филармонию мне в то время не приходилось, но я чувствовал, что моя нужда в музыке как-то связана с моим болезненным состоянием. Мать подарила мне на день рождения проигрыватель, я купил пару-тройку пластинок с записями классической музыки и нередко, когда дома никого не было, слушал Чайковского, Прокофьева... Я и в самом деле потом ощущал некое облегчение в теле. Музыка подавляла боль, но при слушании я должен был лечь на диван или усесться в удобное кресло, сделать звук громким, проникающим в каждую клеточку моего тела. Возможностей для таких «*экспериментов*» не было, поскольку в нашем доме далеко не все были готовы ей поклоняться так же, как я...

...Концерт в музыкальной школе наградил меня знакомством со студенткой, которую звали Элла. Примерно одного

роста со мной, с крупной копной светлых волос на голове. С яркими карими глазами. Гибким телом. Мы с моим преподавателем-греком сидели в первом ряду и оба как-то выделялись. Он был с горбатым носом, чёрными глазами и зачёсанными назад чёрными волосами, я – девятнадцатилетний юноша с тонким лицом, русыми волосами, серыми глазами, одетый в ковбойку с короткими рукавами. Да, было лето. Антон, кажется так звали преподавателя, глянув в программу концерта, сказал мне.

— Сейчас будет играть Шопена девушка, которая уже прекрасно владеет инструментом. Получишь удовольствие... — Я кивнул. Когда на сцену вышла Элла, я буквально впился в неё взглядом. Меня поразила виртуозность, с какой Элла играла. По окончании я вскочил, отчаянно захлопал в ладоши и кажется заорал что-то вроде: — «Браво!» или «Бис!»

Чуть смутившись, я глянул на улыбавшегося Антона и продолжил неистово хлопать в ладони. Элла сыграла на бис еще один этюд Шопена, в этот раз в стиле менуэта – тонкого, лиричного, мягкого. Я был вне себя от восторга. Попросил Антона познакомить меня с этой девушкой. Он так и сделал...

К тому времени я начал увлекаться психологией. Тогда мы уже вселились в наш только что отстроенный дом, и мои родители мне даже выделили отдельную комнату. Отец решил, что книжный шкаф, в котором стояли *его* книги, мог находиться в моей комнате. Разговора об этом не было – поставил и все дела! Ну в самом деле, какая разница? К тому же мне льстило наличие книжного шкафа в моей комнате. Это делало её похожей на кабинет...

С Эллой мы встречались от случая к случаю. Иногда я приходил к ней домой, она играла на пианино, я радовался её мастерству, расспрашивал о жизненных планах и... всё. Однажды она познакомила меня с парнем, внешне очень спортивным, у которого были две страсти – мотоцикл и... Элла.

Но о второй его страсти я даже не догадывался. Элла была настолько проста в общении и настолько великодушна ко мне и к нему, что мне и в голову не приходило, что парень полон каких-то мечтаний о ней. Да и моё общение с Анатолием, так звали этого парня, сложилось дружелюбным. Как мне показалось, в наших отношениях не было даже намёка на соперничество.

И все же общение Эллы со мной отличалось от её взаимоотношений с Анатолием. Я был гораздо эрудированнее и по-видимому этим интересней для Эллы. Я это чувствовал, но ничего *лишнего* себе не позволял. Однажды, в присутствии Анатолия Элла засмеялась моей шутке и неожиданно *чмокнула* меня в щёку. И хотя всё выглядело невинно и деликатно, последствия этой невинной девичьей кокетливости оказались для меня достаточно *рискованными*.

Разумеется, об этом я не подозревал. Анатолий – крепкий, спортивного сложения парень. Мой ровесник. Правда, уж слишком молчаливый. Купил мотоцикл, гонял по улицам Краснодара, катал Эллу, вот и всё, что у меня отложилось в памяти! Другое дело Элла. Разговорчивая, с лёгким характером. Она была готова откликнуться на любую тему, едва я пытался её излагать. У меня давно не было столь роскошной собеседницы. Общаясь с этой девушкой, я не скрывал своего восхищения. Разумеется, любил я слушать и её *музицирование*. На фортепиано она играла интеллигентно, а главное, технически безукоризненно, вызывая у меня приливы восторга. *Выслушав* очередной фортепианный этюд, я произносил щедрые комплименты, причём совершенно искренне, поскольку она их заслуживала. Элле это нравилось, но реагировала она сдержанно, хотя и была девушкой честолюбивой. Не скрою, иной раз я, как с цепи срывался, оценивая её исполнение, не жалея ни красок, ни чувств... Будь я чуть *умнее*, возможно, мне удалось бы понять, что в присутствии Анатолия мои оценки должны бы звучать осторожнее...

...После одного из вечерних музицирований и долгих бесед с Эллой, когда я разговаривал с ней на тему о психологии восприятия камерной музыки, Анатолий сидел в кресле, в некотором отдалении от нас, молча слушал, отпивая кубанское вино, которым нас угостила Элла, мелкими глотками из широкого бокала. Назавтра днём – по-моему, это было воскресенье – едва я пришёл в дом к Элле, Анатолий сразу же предложил мне покататься на его мотоцикле по городскому шоссе. Я с радостью согласился. Тогда я принёс девушке книгу Л. Якобсона «Психология чувств». Дело в том, что накануне я *проболтался* ей, что отец купил эту книгу и я, успев её прочитать, остался очень заинтригован идеями, которые оттуда почерпнул. Элла озабоченно поделилась, что ей предстоит писать курсовую по психологии чувств и тут же уговорила меня принести ей книгу, оставив на два-три дня. Я принёс. Обрадовавшись, она одарила меня – невинным, скорее даже легкомысленным поцелуем.

Вместе с тем я переживал *сложные* чувства. Книга принадлежала отцу. Просить у него для девушки, которая мне *нравилась* было бессмысленно. Говорить об этом просто было нельзя: отец был уверен, что книги безвозвратно теряются, когда попадают в чужие руки. Может быть он был и прав, но его *роковых* подозрений я не разделял и легкомысленно взял книгу, не сказав ему ни слова. Честно говоря, я очень рассчитывал, что она почитает книгу пока мы с Анатолием будем кататься на мотоцикле. Она и в самом деле чтением книги была увлечена и даже, как мне показалось, не заметила, что мы ушли.

День был солнечный и тёплый. Я сел на заднее сидение мотоцикла. По тогдашним временам – надевать каску ни пассажиру, ни самому мотоциклисту не требовалось. Мы помчались. Мне был виден спидометр мотоцикла и я с восторгом наблюдал, как его стрелка постепенно приблизилась к цифре 100, а через пять минут уже стояла на 180 км.

Неслись мы быстрее ветра. Я заметил, что Анатолий, почти незаметно, приближает мотоцикл к правой кромке дороги, на которой были высажены тополя. Деревья были зрелыми, с толстыми стволами. Когда мы проносились мимо них, я слышал упругий свист ветра, ударявшего в стволы деревьев, находящихся буквально в сантиметрах пяти от моего уха. Мой восторг был столь велик, что мне и в голову не приходило, что риск удара головой о ствол дерева реален, как и мгновенная моя гибель. Просто я инстинктивно отодвигал голову чуть левее и всё!

Мы продолжали нестись воль шоссе, как артиллерийский снаряд. Колесо мотоцикла практически вплотную приблизилось к бордюру дороги. Поначалу это меня даже восхищало, казалось, что мастерство Анатолия, управлявшего мотоциклом – выше всяких похвал! Однако мне приходилось уже следить за пронесившимися стволами тополей, что меня слегка напрягало. Вполне можно было, при малейшей неосторожности, наткнуться правой стороной головы о столб или попав на щербину в бордюре, неожиданно въехать за бордюр и врезаться всё в тот же ствол тополя теперь уже лбом.

По настоящему испугаться этой мрачной перспективы я не успел. Анатолий затормозил и остановился у кромки дороги. Молча лёг на траву, закурил. Он смотрел на меня глазами, в которых я увидел непонятное мне сожаление. Думая, что он отдыхает после дороги, я молчал, разумеется, ни о чём не догадываясь, а он так ни о чём и не спросил...

На другой день, придя за книгой, я услышал от Эллы, что Анатолий устроил ей сцену ревности и признался, что готов был убить меня, якобы по моей же неосторожности, поблизь я голову чуть-чуть вправо. «Но, — сказал он: — ...я пожалел хромого парня уже и так обиженного Богом.» Таинственно улыбаясь, Элла тихо произнесла.

— Ты будь с ним осторожнее. Он просто бешеный...

На мою просьбу вернуть книгу Эллы, виновато улыбаясь, призналась, что дала её почитать студенту из их курса, и я с ужасом понял, что книгу я сегодня не поставлю в книжный шкаф и рано или поздно мне предстоит тяжёлое объяснение с отцом.

...На пороге юности очень непросто размышлять о поступках, которые ты готов относить к категории *непозволительных* много позже. Я не сумел отказаться от соблазна без спросу взять отцовскую книгу, а Эллу не смогла остановить себя, распорядившись вещью, не принадлежавшей ей... Всё имеет свою цену, всё следует сопоставлять с нормами «можно-нельзя», но до этого надо *созреть*, усвоить навыки, которые проникли бы в твою кровь и плоть, получить подсознательный сигнал, что последствия поступков – неизбежны. На чем этот опыт строится? На совершённых ошибках или проигнорированных предостережениях? Мы сильны *задним умом*. Этот факт вряд ли требует доказательств. Усвоение последовательных нравственных навыков «можно-нельзя» я не прошёл в детстве ни в религиозной среде, ни в светской. Религия была под запретом, *официоз* вовсе не был озабочен моим моральным воспитанием. Я жил в режиме «*не до жиру, быть бы живу*». Пространство моего бытия было пять лет не *объемным*, а *плоским*. В этом пространстве появлялись взрослые, которые были озабочены только одним – как меня накормить, убрать мои раны, помыть меня и снова оставить в постели на долгий период выживания. Я зависел от взрослых, взрослые исполняли свои обязанности, подчиняясь формальным стандартам. Я был во власти родителей, которые, едва справляясь со своими озабоченностями, в годы моей юности уже не думали о перспективах развития моего морального сознания, полагаясь на опыт школы, обыденный опыт семейных отношений, в котором главенствовали общепринятые стандарты нравственности. Их в домашних разговорах иногда

«пощипывали» дерзкие оценки матери или отца, полагавшиеся на здравый смысл, ссылки на факты несправедливости, которых было не счесть в опыте производственных отношений, общения с соседями и пр. Мой нравственный опыт складывался *виртуально* по мере того, как я начитывал десятки книг, смотрел множество советских фильмов, общаясь с героями, пропагандировавшими модели поведения, в котором раскрывалась сущность *хорошего и плохого*. Опыт *прекрасных абстракций* у меня постепенно складывался, но был малопригоден для моего *практического* мышления, которое складывалось на основе созерцания *противоречий* реальной жизни! В ситуации, вынудившей меня размышлять о случившемся с книгой отца, мне пришлось *искусственно соединять* мои скромные возможности для решения возникшей проблемы. Она была порождена моим нравственным недомыслием, а так же опытом осознания *характера* моего отца. Это был первый случай в моей едва начавшейся юности, который засвидетельствовал мою нравственную ущербность. Не говоря уже о поразительном сходстве *качества сознания* моих сверстников – Эллы и Анатолия – поставивших меня в рискованнейшие обстоятельства, лишённые какой-либо зрелой продуманности. Все трое мы были поразительно *глупы*, а главное *опасны* друг для друга, даже не догадываясь об этом...

Сложность моего положения в предстоявшем объяснении с отцом была настолько велика, что я даже не обратил внимания на реплику Эллы об Анатолии. О смерти – вероятной, случайной, нелепой на старте юности никогда не думаешь! Я был *озабочен* другим, гораздо более неприятным для меня: как *выйти* из возникшей ситуации с книгой?

...Я работал неделю в вечернюю смену. Каждый раз, возвращаясь домой, примерно, километр проходил по дамбе, которая отделяла реку Кубань от жилого посёлка, располагавшегося на правом её берегу, если идти в сторону нашего

дома. Ничего путного придумать не мог и с ужасом ждал, когда отец спохватится. Сколько я ни спрашивал Эллу о книге, она *кормила* меня обещаниями взять книгу у соркурсника. Всё оставалось по-прежнему. Однажды, при мне, отец открыл шкаф и долго что-то искал. Тогда мне повезло... Пропажу книги он не заметил.

Психологией отец никогда не увлекался, но умные книги любил, нередко в разговорах то ли с соседями, то ли на работе ссылался на некоторые из них. По роду занятий его можно было отнести к *технарям*, но по образу мышления его *тянуло* к гуманитарным наукам, что и заставляло покупать, изредка прочитывать *умные* книги. Мне срочно надо было что-то *придумать*, чтобы избавить его от вспышки гнева при обнаружении пропажи книги, купленной месяца два или три назад. Мои переживания на этот счёт сильно *отодвинули* от меня образ Эллы, постепенно начиная искажать, даже уродовать её облик, прежде казавшийся прелестным. Постепенно она перестала казаться мне красивой, умной, образованной девчонкой, с каждым днем выступая в облике взбалмошной и бестолковой, поскольку поставила меня в *ужасное* положение. Разумеется, я ничего не говорил ей. Скорее всего начинал думать, что книгу она или потеряла, или присвоила. «*Эка невидаль – присвоить чужую книгу...*» Увы! Я готов был так рассуждать, однако это была реальность моей нравственной безответственности, крайне для меня *неудобной*! Случается в эти годы всякое! Но я чувствовал приближение развязки и к ней абсолютно не был готов. Поиски книги в магазинах Краснодара ни к чему не привели. В продаже её уже не было. Красть в библиотеках было бессмысленно и... противно! Что же делать?

В этом случае уместно слово: «*однажды*». Так вот, *однажды*, работая в вечернюю смену, продолжая размышлять о выходе из сложившейся ситуации, я между делом, остро наточил короткий нож, сделанный из куска лезвия пилы



Краснодар, родительский дом, 1961 год

по металлу. Завершив работу, положил его в нагрудный карман и к завершению вечерней смены отправился домой. Еще не веря, что я способен *э т о* сделать, я медленно двигался по ночным улицам. Наконец, добрался до дамбы, три года назад построенной на береговой линии Кубани. Замедляя движение к дому, с каждым шагом я понимал, что *сценарий*, который я придумал – единственный, чтобы хоть как-то решить проклятую проблему.

Приблизившись к дому, я вытащил нож, напряженно расправил левую ладонь и резким движением полоснул по ней ножом. Выбросив его в Кубань, не замечая хлеставшую из раны кровь, поднял руку, чувствуя тёплые струи, стекавшие к плечу. Побежал по склону дамбы вниз, к воротам нашего дома. Калитка больших дворовых ворот оказалась плотно закрытой и открыть её не никак удавалось. Глянул в щель ворот. На окнах нашего дома задвинуты занавески, через которые пробивался свет. Я отчаянно закричал.

—Мама! Помоги мне открыть калитку! — Кровь стекала под рукавами рубашки длинной густой струёй, впитываясь в майку. Форточка в окне была распахнута, и мать услышала мой голос. Я дрожал всем телом. Зажимая разрез концами

пальцев левой руки, я стоял у калитки, даже не догадываясь, что она готова была распахнуться, нажми я ручку не снизу – вверх, как я это делал, а сверху – вниз. В состоянии, в котором я пребывал, всё делалось *ненормально*, потому и возникла столь нелепая ситуация. Мать выскочила во двор, подбежала к воротам, распахнула калитку. Над воротами висел фонарь и она увидела кровь на брюках. Стала громко кричать.

— Боря, Боря! Алика *зарезали!*

Из дома выскочил отец. Увидев меня, стоящим у порога дома с поднятой окровавленной рукой, он остолбенел. Оттолкнув его, мать провела меня в гостиную, усадила на стул и стала хлопотать, пытаясь перевязать кровоточащую рану на ладони какой-то белой тряпкой. В двух словах я попытался объяснить, что на меня кто-то напал. Я стал защищаться, *они* ножом порезали руку. В ней была зажата книга. Получилось так, что её выбили. Она упала. Кажется в реку... Я убежал... И прочая дребедень. Я умолк, чуть не плача. В наших краях хулиганов всегда хватало и, как мне показалось, история выглядела вполне *правдоподобно*. Ну и конечно, вид крови, разрезанная рука это *правдоподобие* усугубляло. Тогда я мог быть уверен, что родители мне поверили.

...Отношения с родителями в жизни детей – целая *эпоха*, в которой складываются иной раз *нелепые* коллизии. Когда я сам стал отцом, отношения с моими детьми строились несколько иначе. Роли *отца и сына*, то есть моего отца и меня – его сына – накапливали множество превратностей. Причина? *Сущность* наших характеров, противоположные нравственные нормы, не гарантировавшие *взаимопонимание* в ситуации обыденности. Как такое могло случиться? Об этом я буду размышлять позже...

Глядя на шрам, оставшийся на левой ладони от разреза, который я сделал себе в 1960 году в двадцать один год от роду, который сейчас, в 2015, когда мне исполнилось семьдесят шесть лет, и он стал едва заметным, я соображаю

– *что бы* случилось, если бы я просто покаялся отцу в содеянном и попросил бы у него прощения? Пустой вопрос сегодня, на который я не был готов ответить *тогда*.

Пути выхода из проблемных коллизий в годы наступающей юности – *неисповедимы!* Я себя наказал... Но выход мне показался *удачным*. Боль и риск изуродовать себе руку не казались *реальностью*. Нелепость придуманной интриги, в основе которой была банальная *ложь*, нисколько не напрягала мою молодую совесть. Нелепостью не оказался факт, который избавил меня от *справедливого* гнева отца. В *качествах* моего тогдашнего *разума* преобладала *изворотливость*. До *зрелости* следовало еще дожить, а представления о *дobre и зле* хлопотливо и аккурратно только выращивались...

Как мне показалось, сочувствие отца было недолгим. Рациональность ума заставила его *подозревать*, что я всё... *придумал*. Назавтра, глядя на мою перевязанную руку, висевшую на шейной повязке, он в недоумении проворчал.

— Куда ж ты книгу уронил? Там внизу, у реки я ничего не нашёл. — Мне ничего не оставалось, только поморщиться, двинув перевязанной рукой и промолчать...

В моей жизни возникало множество нестандартных ситуаций, которые требовали решений, опыт для которых складывался годами в пространстве практической *нравственности* советского общества, в котором я жил и свидетелем развала которого я оказался...

...Продолжая работать на Краснодарском телеграфе, моя *чувственная* биография складывалась с еще не состоявшимся в мои девятнадцать лет сексуальным опытом. Естественный интерес к женщинам оставался без отклика.

Однажды глубоким вечером возвращаясь с работы, я, пользуясь ночным безлюдьем на летней улице, лег на тротуар, чтобы немного дать отдохнуть спине и ногам. Боль потихоньку успокоилась и неожиданно я заснул. Спал минуту или две, не больше! Пробудился от осторожного

прикосновения к моей шее пальцев чьей-то руки. Надо мной склонилась девушка лет двадцати.

— Что с вами? — Спросила она, с тревогой вглядываясь в темноте в моё лицо. Я смутился. Никак не мог предположить, что в такое позднее время кто-нибудь может проходить по безлюдным улицам нашей окраины. Быстро вскочил.

— И чего это вы так поздно ходите? — проворчал я, не зная, как объяснить ей своё положение.

— Я работаю... То есть я шла с работы. Трамваи не ходят... Что-то на линии случилось. Пришлось идти пешком... — Говорила она растерянным голосом. Наверное не очень понимая, как это так: только что лежал человек и вдруг встал, живой и невредимый!

Оказалось – нам по пути... Я рассказал Людмиле – так она представилась – что у меня сильно разболелись ноги после вечерней смены и я решил, уже не в первый раз, прилечь и отдохнуть, тем более, что асфальт был тёплым. Мы говорили весело, я шутил, как мог, она даже смеялась. Неожиданно я предложил ей провести *вместе* завтрашний день. Чуть запнувшись, она согласилась. Попросила встретить её завтра, в конце дня, у городской пекарни. Она там работала. Я здание пекарни знал. Оно было неподалеку от телеграфа. Минут десять-пятнадцать ходьбы.

— Я учусь в техникуме — уточнила она, — а там прохожу практику.

Весь день я думал о ней. Я понимал, что с Эллой и её сумасбродным Анатолием мне лучше не общаться. Люди они *непредсказуемые*. Она – на почве вздорного характера, а он – неконтролируемой ревности. Если «*свято место пусто не бывает*», то пусть эта незнакомка Люда займёт своё место в моей душе. Забавно, но эта мысль мне понравилась!

Случайно я рассказал матери об этом знакомстве. О том, что я лёг на асфальт, пришлось умолчать. Она отнеслась к моему рассказу очень доброжелательно. Дала денег,

чтобы я купил цветы, пожелала успехов, провожая на свидание с Людой.

...В нашей семье о любви мужчины к женщине или наоборот, обычно не говорили. Родители были людьми не сентиментальными, и быть может, тема им казалась не заслуживающей «*рассусоливаний*». Моё положение человека, изуродованного болезнью, заставляло мать и отца молчать о девушках, предоставляя мне самому решать мои *проблемы*. Деликатность матери завершалась тем, что заметив пятна от ночных поллюций в моей постели, которую она стирала, как и всё домашнее бельё каждые две недели, *молчала*, по-видимому понимая, *что и почему* мне не удалось этого избежать. В душе она оставалась *крестьянкой*, хотя, большую часть своей сознательной жизни прожила в городской среде. Отец уже не приставал ко мне со своими советами или замечаниями. Его даже начинала немного смущать моя подступавшая взрослость, хотя, мои возрастные *нелепости*, вроде отращивания усов и жиденькой бородки, раннего желания приобрести *опасную* бритву, чтобы бриться, вызывали у него дружелюбный смешок и солёные шутки...

...Прежде чем я завершу историю со знакомством с Людой, должен признаться, что в свои восемнадцать-девятнадцать лет я оставался мальчишкой, лишённым ясного представления о развитии своего будущего. Внешне всё проходило вполне прилично. Я усвоил профессию слесаря-ремонтника телеграфных аппаратов, хорошо в ней ориентировался, трудился, общался с коллегами, даже ходил по вечерам два раза в неделю в некое учебное заведение с престижным названием, чтобы изучать не что иное, как марксистско-ленинскую философию. Но я не мог себе представить, что я буду делать дальше? Оставаться слесарем на телеграфе я никак не мог, даже повышать свою квалификацию не имело смысла, потому что эта работа была для меня тяжёлой. Идти (по подсказке отца) осваивать навыки

«*часовых дел мастера*» только потому, что она мне гарантировала *сидячую работу*, я не хотел. Не лежала душа! Те нагрузки, которые были у меня на работе и в обыденной жизни, заставляли постоянно чувствовать всю *ограниченность* моих физических ресурсов. Я не знал, есть ли в стране, где я жил, возможность обрести если не здоровье, то хотя бы некую рукотворную устойчивость, чтобы моё бессилие и вечные боли в бёдрах уступили бы место жизни без страданий. Время молодости – активность, но в свои девятнадцать я уже понимал... наступит время *старости*. Это вообще была запретная для меня тема, потому что я не знал, как долго я смогу прожить с туберкулёзом, отправлявшим меня со странной периодичностью в год – два в больницы и диспансеры. Однако, хочешь–не хочешь, а предательская мысль о конечности бестолково развивающейся жизни тела приходила в голову. Спасала только странная, какая-то неистощимая сила оптимизма, которая держала меня на плаву, заставляя весело оглядывать окружавшую реальность в поисках *любовных* приключений. Сейчас я думаю, что *дофамин*, вырабатывающийся в недрах моего развивающегося головного мозга, *периодически* взбадривал мне душу, отвлекая от тягостных мыслей, направлявших мою волю в пропасть...

Хотя я продолжал учиться в вечернем университете марксизма-ленинизма, начал читать философскую литературу, изредка печатался в Краснодарской газете «Комсомолец Кубани», будущее казалось мне призрачным. И всё же в том, что я делал, был робкий, неосознанный поворот к роду занятий, в которых осторожно проклёвывались зёрна *амбиций*.

Философские книжки не выходили за рамки хрестоматийных толкований общепринятых истин, которые изучались на втором курсе университета, готовившего кадры пропагандистов системы политпросвещения. Понятия сильно упрощались, сущность подстраивалась под текущую реальность, понимать которую мне, честно говоря, не очень

удавалось. Осмысливая её сквозь призму научных догм, внушаемых упрощёнными хрестоматиями, я, оставаясь юнцом, лишь гордился азами престижной науки, называемой «*философией*». Однако, самосознание обретало некий каркас мышления, который со временем обрёл устойчивость, необходимую для духовной самостоятельности, когда я научился волшебству *оригинальности* мышления.

Что касается журналистики, она меня сильно привлекла внешней стороной: общением, готовностью выслушивать людей, оценивать факты, влиять на события или выстраивать их в выводах, которые я делал, сидя над составлением коротких статей или информационных подборок. В редакции у меня был куратор – молодой парень лет двадцати восьми, который дал мне временное удостоверение, чтобы меня пускали на территорию учреждений, когда о них или работающих там людях надо было что-то написать. Сложность для меня была в том, что я никак не мог выстроить в стилистике изложения *усреднённую* версию *бытописца*, готового пересказать событие, представить факт, обрисовать случай, достойный отражения в газете. Меня *несло* на анализ скрытых явлений, якобы зревших или в человеке, или в событии. Качество анализа хромало на обе ноги. Материал становился скучным и утрачивал привлекательность. В итоге, мой куратор злился, иногда переделывал мои материалы, требовал от меня *конкретики*, которая мне казалась скучной и пресной. Я был еще не очень умён, хотя и достаточно начитан, чтобы писать ярким, привлекательным стилем, но кому он был нужен в заметках о соревновании или строительстве, где работала бригада коммунистического труда, о которой требовалось написать очерк. Но и это было для меня подобием *начальной школы* сочинительства, в которой я обретал навыки авторской стилистики, свободы изложения, прочно сросшейся с природным красноречием, помогая мне упрочить гибкость мышления, развить

художественную культуру письменного изложения идей.

В моей жизни что-то складывалось, как бы само собой. Хотя, на первый взгляд я никак не мог представить, что происходящее вокруг меня имеет какую-то явную перспективу, без которой я мог бы обойтись. Я был сыном своего времени и даже ложные усилия, на реализацию которых я затрачивал свою энергию, оказывались удивительно кстати через год, два, три...

...Рядом с помещением редакции было здание Горкома ВЛКСМ. Однажды мой куратор в газете сообщил, что меня хочет видеть секретарь по идеологии. Поскольку газета, где я печатался была органом именно Горкома, мои публикации, с рассказами о работе первичных комсомольских организаций, неожиданно заинтересовали горкомовских функционеров. То был момент, когда я написал материал о комсомольской организации завода имени Седина. Завод стоял неподалеку от моего дома и я несколько раз туда заходил, разговаривал с молодыми ребятами... В общем, что-то я путное *сочинил!* Статью опубликовали. Как мне казалось, именно это и послужило стимулом к разговору со мной молодого чиновника из Горкома.

Беседа была недолгой, но её итогом было знакомство с высоким, сутулым парнем, лет двадцати девяти-тридцати, которого звали Валерий Реутов. Поговорив со мной, он неожиданно предложил мне подумать об избрании в комитет комсомола Краснодарского телеграфа. Думаю, эта мысль у него окончательно вызрела, как только я рассказал ему о моём опыте такой же работы год назад на Бакинском телеграфе.

— Судя по содержанию статей в «Комсомольце Кубани» — сказал Валерий, — ты хорошо знаешь суть этой работы. Не стоит игнорировать свой опыт...

Честно говоря, повторно заваливать себя заботами, которые лежали тяжким грузом на моих плечах в Баку, мне

не хотелось. Я попытался спустить тему *избрания на мозах*. Но Валерий был человеком умным и цепким.

— Нет, нет, конечно! Я просто сказал: «Подумайте!» Мы еще вернемся к этому разговору... — Он встал, пожал мне руку. В это время в комнату вошел невысокий крепыш. Подошёл к нам. Валерий представил его.

— Алексей Черкашин, заворотделом Горкома. С этим парнем у меня отношения развивались вплоть до его работы в ЦК КПСС. Но об этом потом...

Через полгода я был избран секретарём по идеологии комитета комсомола Краснодарского телеграфа. Собрание проходило при участии Реутова, который меня и рекомендовал...

С приездом в Краснодар я перешёл из кандидатов – в члены КПСС и надо было престижный статус *отрабатывать*, исполняя общественную нагрузку. Второй год работы в Баку мне пришлось стать пропагандистом комсомольской системы политпросвещения, что тоже накладывало на меня обязанности *излагать* партийные истины стандартного для КПСС и ВЛКСМ свойства. Уже тогда мне было ясно, что противоречий в политической реальности страны хватало и говорить о каких-то реальных прорывах в экономическом развитии СССР не приходилось. Лично меня спасало то, что *империализм* США не дремал, а факторы, которые замедляли решение проблем в СССР излагались мной *буквально* со страниц партийной и комсомольской печати. В сентябре 1957 года, например, как раз в самом начале учебного года в сети политпросвещения, СССР выражает протест Турции – в то время сателлит США – в связи с сосредоточением войск государства на границе с Сирией. Мне восемнадцать лет. Я ищу материалы, свидетельствующие об агрессивных намерениях Турции, готовых развязать военный конфликт в арабской стране, объясняю, что Азербайджанская ССР, будучи миролюбивым государством следует политике КПСС, в которой главная задача – сохранение мира во всём

мире! И пошло поехало! То, что трудности с продуктами, с ширпотребом – реальность, становится ясно, потому что нам приходится помогать «братьям арабам», к тому же, еще и защищая их от вероятной агрессии Турции, которая является марионеткой США в регионе. Вся эта политическая *эквilibристика* излагается на хорошем русском языке, с отчётливой логикой и, разумеется, с фактами на руках.

В октябре СССР запускает в космос первый спутник. Интонация моих *речей* становится иной. Панегирик в адрес КПСС, политика которой научно-техническое развитие страны, освоение космоса и... предупреждение враждебным силам мира, готовым развязать новую войну себе же на погибель! Стилистическая ловкость в мои восемнадцать лет демонстрировалась в рамках политпроса так же убедительно, как Агитпроп вдалбливал в головы населения свои мифологические идеи. Хороши были любые спекуляции, которые использовались такими же как и я рядовыми пропагандистами и мэтрами словесной *эквilibристики*, привлечёнными Агитпропом для оболванивания людей. Конечно же, я даже не подозревал о том, что в моей деятельности есть какая-то ущербность, а главным ферментом моих пропагандистских *упражнений* была ложь. Неправда была особой, невидимой на первый взгляд, содержащая в себе реальный факт, но истолкованная иезуитскими методами, с помощью которой внушалась исключительность системы власти Советов и мировая значимость идей строительства коммунизма.

Наше социально-экономическое развитие в 1957 году сравнивалось с показателями 1913 года, достигнутыми в Российской Империи. Разница была впечатляющая и безоговорочно убеждала в грандиозных перспективах советской экономики. Никому и в голову не приходило усомниться в этой нелепой сравнительной *эквilibристике* Агитпропа, которая, тем не менее давала громкий пропагандистский эффект.

Когда я уже приехал в Краснодар, продолжать свои пропагандистские *упражнения* перестал. Во-первых, мне не хотелось уже тратить слишком много времени на подготовительные усилия. Во-вторых, я увлёкся журналистикой, познакомился с активом газеты «Комсомолец Кубани», начал писать на страницах газеты и мне это нравилось. Однако неожиданно, правда ненадолго, мне пришлось попасть в городскую Краснодарскую больницу с угрозой обострения болезни в правом бедре. Мне делали уколы пенициллина, блокируя развитие туберкулёза. Но я бы не сказал, что в моей жизни произошёл некий спад активности, скорее наоборот!

Здесь, в больнице я познакомился с человеком, который лечился от язвы желудка и *прибился* ко мне более чем странным образом. Я редко присаживался к группам больных, судачивших о своих проблемах. Уходил в тихое место, читал книги или просто прислушивался к голосам, репликам, праздно болтовне, потом отправлялся в свою палату, засыпая на час-полтора. Однажды ко мне подсел лысый мужчина, лет пятидесяти пяти или шестидесяти, интеллигентно попросив разрешения. Я молча кивнул.

Мне впервые приходилось видеть мужчину с таким отточенным, но помятым болезнью лицом, черты которого выдавали переживания, которые приходят к людям, страдавшим внутренними болями. Он появился в больнице день или два тому назад и, присев ко мне, наверное, хотел пообщаться. Я с любопытством выслушал его реплику, которой он предупреждал меня, что его мимика далеко не всегда подчиняется его воле, и он заранее просит меня его простить. Тут же высказал вторую мысль. Мол, конечно, он мог бы уйти куда-нибудь в угол, чтобы не докучать таким же бедолагам, как и он, но одиночество его сильно угнетает, и он решил рискнуть, выбрав из десятка больных меня, как человека молодого, с «...очень интеллигентным

лицом...», готового его потерпеть.

Мне уже исполнилось 20 лет и в этом возрасте я готов был без удивления воспринимать выразительную, даже изощрённую стилистику речи этого человека, испытывая даже удовольствие от речевой культуры, которую он мне адресовал, по-видимому не будучи готов говорить иначе. Он тщательно выстраивал предложения, хотя скорость их построения вовсе не мешала ему придерживаться темпо-ритма, свидетельствующего о присущей ему речевой практике. И всё же мне он показался иностранцем. На фоне непрерывного мата, простых, даже примитивно сколоченных предложений и беспомощного речевого синтаксиса, который висел в воздухе, как застиранное тряпье, он казался мне *инопланетянином* среди больничного мужского населения, собравшегося в просторном холле здания клиники или на дворе, где мы рассаживались по скамейкам. Осень только что наступила... Была она пряной и вязкой, тёплой и очень уютной на этом больничном дворе. Греясь на солнышке, мы с Михаилом Антоновичем (*назову его так, поскольку имя его я не помню*), тихо и очень редко вели неспешную беседу.

Я уже узнал, что его родители были русскими, но еще до революции жили в Париже, но так и не рискнув возвращаться в Россию. Потому и сам он родился в Париже, молодость и часть его жизни прошла во Франции. В Краснодар он приехал совсем недавно... «*чтобы умереть на родной земле...*» Во время войны жил в каком-то портовом городе, где преподавал немецкий язык. Не помню каком... Участвовал во французском Сопротивлении, поскольку хорошо знал немецкий. Собирал разведданные, притворяясь психически ненормальным, собирая подаяние рядом с ресторанами, где часто обедали немецкие офицеры.

Я был очень увлечен его рассказами, но никогда сам не просил поведать мне подробности о себе. Говорит –

слушаю. Молчит – я сижу молча. Пожалуй, я понял, что разговор со мной был для него неким сеансом психотерапии в короткие моменты между приступами боли, которые он переживал. Часто, присев ко мне, он через пять–десять минут вставал и уходил, глянув на меня извиняющимся взором со следами страданий. Я понимал – ему плохо. Он не хочет навязывать мне свои мучительные ощущения, вынуждая меня сочувствовать ему или сопереживать. Позже, через час или два, увидев меня, он подходил, произносил две–три отточенные фразы с извинениями или, присаживаясь, молчал, будучи благодарным мне за моё терпение.

Его состояние иногда улучшалось. Однажды мы сидели с Михаилом Антоновичем неподалеку от группы сравнительно молодых людей, обсуждавших друг с другом какие-то случившиеся с ними события или жизненные случаи.



Олег Юрганов
сентябрь 1960 год

Молчим. Среди собеседников выделялось трое мужчин, лет тридцати пяти–сорока. Их можно было бы отнести к разряду рабочих, которые уже завершали своё лечение, выпались, отдохнули и весело болтали о том, о сём из области обыденного *пустозвонства*, которое доносится и до наших с Михаилом Антоновичем ушей. Выделялись двое собеседников. Один из них, с густой блондинистой шевелюрой, с правильными чертами лица, с редкими следами оспинок на щеках и второй – брюнет, крупнотелый, но не рыхлый, скорее мускулистый, улыбающийся, готовый соглашаться со всем тем, что он слышал в разговоре.

Я невольно прислушался. Разговор зашел о дамбе на реке Кубань. Район был мне хорошо знаком, там совсем недавно был выстроен дом, в котором поселились мои родители и я с младшим братом. Блондин рассказывал, как он месяца два или три назад, после «дружеской попойки» возвращался с приятелем домой. Смешно пересказывая, как они шли, помогая друг другу не упасть, затянули песню, чтобы под её ритм легче было идти. Неожиданно увидели впереди на дороге что-то белеет. Подошли ближе. Видят на дороге, освещённой фонарём, неподвижно лежит женщина. Рассказчик, всё тот же блондин, подробно излагал, какая именно она была. Это был труп – по словам блондина – молодой, очень красивой женщины, совершенно голой, с копной густых, чёрных волос. Рядом лежала её одежда и аккуратно стояли туфли. Оба приятеля, обалдев от увиденного, наклонились над ней, осмотрели и быстро сообразили, что ничем этой бедолаге уже не поможешь. Никаких следов насилия или убийства не заметили, подивившись красоте лица, сложению тела и чистоте кожи. Заспорили друг с другом, решая что же делать? Блондин весело рассказывал, как они, присев перед трупом, размахивая руками и отталкивая друг друга, спорили, как же быть? Брюнет жадно слушал, иногда переспрашивал, удивлялся, ахал, жадно затягиваясь сигаретой.

Двое его соседей стояли позади скамейки за его спиной, неотрывно слушая слова блондина.

Михаил Антонович сидел, смежив веки, сильно сжав губы, по-видимому сдерживая боль в желудке. Я, чуть повернувшись влево, прислушивался к разговору на соседней скамье. Блондин громко расхохотался, рассказывая, как его приятель неожиданно предложил «*трахнуть*» женщину. Я обомлел, не в силах двинуться с места. Брюнет замер, а блондин, раскатисто хохоча, завершил свой рассказ. «*Перестань... Она холодная... Никакого кайфа не будет...*»

Услышав это, я поднялся и ушёл. Михаил Антонович остался сидеть. Смешанные чувства плескались в моей душе. Придя в палату, я свалился в кровать. Мне впервые приходилось ощутить то редкое чувство омерзительной брезгливости, которое охватывает человеческое существо, оглушая его сознание валом, выдавливающим из мозга все свидетельства жизненного равновесия. Жуткий спазм сотряс моё тело, и распрямившись, я медленно ощутил жуткий покой, разлившийся по всему телу. Михаил Антонович на завтра исчез из больницы. Мне сказали, что его выписали, а через день выписали и меня.

Случайно подслушанный эпизод чужой жизни оставил в моей душе странный отпечаток. После встречи с моими друзьями в Баку, два или три года тому, случай с сапожником, убившем свою жену в припадке ревности, был вторым эпизодом, показавшим мне абсолютную незащитность перед встречами с тяжкими человеческими экземплярами. Я понял, сколь убийственна может быть палитра человеческих типов, сущность которых никак не связана ни с их деятельностью, ни с душевным складом. Жуткая сущность некоего субъекта сталкивает тебя *со злом* лицом к лицу. Но ты в первые минуты созерцания не в силах его разглядеть! В облике зрелого, внешне симпатичного человека нет даже *намёка* на него. Десятилетиями невинная обыденность

прячется в его личине, откуда не возникнет некий миг *икс*, ярким светом осветив *ту самую убийственную* сущность этого человека.

Знакомство с Михаилом Антоновичем преподавало мне урок уважительности к человеку, чья жизнь была полна тоже *скрытых* тайн, которые шаг за шагом он быть может готов был раскрыть, если бы не мучительные страдания, которые крепко-накрепко запирали кладовые его памяти...

...Я вернулся на работу из больницы, снова втянувшись в каждодневные рабочие будни. Исполнение роли секретаря комитета комсомола уже не казалось мне делом нудным и тягостным, поскольку я отдохнул, отоспался в больнице, а лекарства слегка приглушили боль, притормозив развитие абсцесса. Теперь в этой бестолковой буче молодёжных нужд, которые мне следовало исполнять, я чувствовал себя вполне нормально.

На Краснодарском телеграфе комсомольская организация не была многочисленной. Что-то около тридцати-сорока человек. Я организовывал политобразование, тематические вечера, посвященные героям комсомола, соцсоревнования и прочую *лабуду*.

Неожиданно Горком потребовал от меня разобрать персональное дело двух наших комсомольцев, которые *венчались* в церкви. Реутов позвонил мне и попросил сделать разбор «*умным*», «*убедительным*» и «*строгим*», чтобы неповадно было тем, кто покусится на «*комсомольскую честь*» и захочет «*играть свадьбу под прикрытием церкви*».

До сих пор без стыда не могу вспоминать ту «*бешеную*» активность, которую я развил, готовясь к этому собранию. К тому времени, в Горкоме комсомола уже случались разборы персональных дел на заседаниях Бюро. Случалось приглашали актив, чтобы поучаствовали в этом *судилище*. Например, молодая студентка Краснодарского пищевого института почти три года скрывала свою

религиозность. Девушка ходила в церковь, участвовала в богослужениях и не скоро была замечена, поскольку аккуратно платила членские взносы, и, как говорится, была старательной комсомолкой. ...Собрали мы комсомольское собрание в актовом зале телеграфа. Посадили молодых супругов в первом ряду. Язык у меня был подвешен *хорошо*, и я вышел на трибуну. По законам тамошнего времени это, с позволения сказать, *мероприятие* было явлением обыденным. Уже сорок один год страна жила в режиме полного атеизма, под Советской властью, исповедуя коммунистическую идеологию, растворённую в бытии людей всех возрастов. Воинственность атеизма была *жестоккой, хамской и безнравственной*. Вот и я выступал резко, красноречиво, ссылаясь на те доктрины, которые нам за четыре десятка лет вдалбливали со всех сторон. В зале сидел Реутов и внимательно слушал мой доклад. Потом начались прения, которые (так было принято) мне пришлось готовить, тщательно выписывая и заранее *репетируя*, чтобы создавалось впечатление *искренности* оратора. В общем, собрание прошло хорошо, виновников наказали, исключив из комсомола, я мог быть доволен. Похвалил меня и Реутов...

...Чтобы самостоятельно осмысливать свои действия, у меня не было *бесстрашия и независимости* мышления. Я был выращен и воспитан системой, настолько пропитанной правящей идеологией, что без неё шагу нельзя было шагнуть! *Сомнения*, как фермент, способствующий *вызреванию самостоятельности* в принятии решений, в сознании просто не вырабатывался. Я не способен был подвергать сомнению происходящее вокруг, потому что альтернативы ни в чём не было! Двадцать четыре часа в сутки утверждалось ежедневно, ежечасно всё то, что составляло идеологическую сущность окружающего бытия! Она высказывалась по радио в телепередачах, множилась в статьях, книгах, на политзанятиях, отпечатывалась во множестве лозунгов

аршинными буквами, закрепленных на крышах домов, излагалась на лекциях, которые, кстати сказать, я начал читать во множестве аудиторий. Единообразие политическое, духовное, идеологическое и смысловое превращало меня в *попугая* с хорошо организованной речью, готового провозглашать банальные истины и убедительно, и красочно. Случилось главное – *это меня... не пугало!* Никаких сомнений в своей правоте я не переживал...

Новыми друзьями в Краснодаре я не обзавёлся. Не было выбора. Не с кем было вольно или невольно осмысливать казусы в моей *духовной* жизни. Тот молодой преподаватель философии, который познакомил меня с Эллой, неожиданно из Краснодара уехал, а его курс стала читать пожилая и очень неинтересная женщина.

Я пребывал на своеобразных *качелях* – с одной стороны я исполнял некую работу, которая была сопоставима с моими знаниями и опытом. С другой – испытывал глубокие внутренние переживания, связанные с собственной *ничемностью*. В девятнадцать-двадцать лет люди начинают *обрастать* кругом союзников, товарищей, друзей. Наиболее удачливые становятся студентами. Счастливики обзаводятся девушками, гуляют с ними, обмениваясь взаимными впечатлениями, утоляя чувственные потребности жизни. Ничего подобного у меня не было, а нагружать свой еще явно неокрепший разум интеллектуальными усилиями было равносильно созданию духовных побрякушек. К тому времени я еще не увлёкся интересными идеями, в которых отразились бы мои оригинальные мысли. Организм тупо *накапливал* сексуальную потребность, которая в девятнадцать-двадцать лет ищет *выхода*. По этнической принадлежности в моей плоти была замешена кровь *цыган*, пусть в третьем поколении, но не столь уж и отдалённом от времени потребностей сексуального самовыражения, поэтому моя пубертатность протекала мучительно...

...Я отправился на Кубанский затон, где купались горожане. Плавал я хорошо, ходил без костылей, хотя отчаянно хромал, невольно демонстрируя на пляже свои худые, изуродованные болезнью ноги, бёдра, изъеденные шрамами от свищей. Однако, когда я был в воде – всё менялось! Я быстро плавал. Заплывал довольно далеко и сам себе казался «*крутым*» парнем, которых во множестве видел здесь же в воде.

Недоступность девушек, во множестве купающихся в затоне, вызывала во мне агрессию, хотя никаких реальных оснований для таких тяжких эмоций у меня не было! То, что случилось со мной в тот день, то есть *почему* у меня возникли *недопустимо* враждебные к девушкам ощущения, я стал осознавать позже. Пока же моё тело напряглось, мускулы налились энергией. Я видел в каждой девушке *врага*, желающего мне бед, отвергающей меня, точно так же, как выбрасывают гнилой фрукт, посмотрев на него презрительно и безразлично, убедившись в его непригодности.

Я прыгнул в воду. Она была тёплой. Приняла моё тело покорно и мягко. Я погрузился глубже, повернулся на спину и увидел, как мимо, надо мной, проплывает аккуратно сложенная в красивом купальнике девушка лет семнадцати. На миг залюбовавшись, я увидел её лицо, распущенные в воде волосы, руки, отгребавшие воду и... груди, выпиравшие под купальником. Мгновенно я протянул руку вперед и коснулся их ладонями. Она отчаянно дёрнулась. Рванулась вверх, случайно ударив меня ногой по лицу, устремившись к поверхности воды. Мой поступок, хулиганский и дерзкий, вызвал у меня прилив адреналина и я, высунув голову из воды, чтобы набрать воздуха, увидел ту самую девушку, которая смотрела в мою сторону, крутя пальцем у виска. Я снова нырнул. Проплыв метра три-четыре, я вынырнул, встал на ноги и увидел впереди себя странную картину. Двое, то ли армян, то ли адыгейцев, стояли вокруг высокой, худой женщины лет тридцати, уговаривая её познакомиться

с ними. Она отказывалась, стараясь вырваться из их круга, но они не пускали. Я решил посмотреть, чем закончится эта сцена. Парни, лет двадцати пяти, двадцати трёх, стали действовать всё активнее, но у них ничего не получалось. Случайно, а может и намеренно, один из них схватился за лифчик женщины и сорвал его. В панике она закрыла рукой два крупных соска, вырвала бюстгалтер и нырнула в воду, энергично двигая ногами, затем попыталась, закинув руки к спине, застегнуть его.

Кругом не было особой суматохи, никто не возмущался, не пытался как-то урезонить парней. Сами они, смеясь, направились к берегу, а женщина, как ни в чём не бывало, поплыла в сторону буйка.

Мне стало не по себе. То был миг нравственной *ломки* от совершенного мною поступка и тут же увиденного своими глазами сходного *насилия*. Пусть не в безобразной форме, но тем не менее, случившегося в *действиях* незнакомых мне парней по отношению к молодой женщине. Я вернулся домой подавленный и сломленный...

Прошло почти пятьдесят шесть лет, и я помню эти два случая очень отчётливо, уже точно осознавая, какими последствиями могут обернуться могучие внутренние силы природы, *разрушающие* возведенные культурой и воспитанием символические границы дозволенного...

...Я встретился с Людой, той самой девушкой, которая подумала, что я мёртв, раз лежу ночью неподвижно, когда я, обессиленный, улёгся на асфальт не в силах идти. Случилась наша встреча в самом начале осеннего тёплого вечера в городском парке. На свидание я пришёл раньше. Ждал её, сидя на скамье перед дорожкой, на которую она должна была ступить, сойдя с троллейбуса и входя под своды крон деревьев, растущих у входа в парковую зону. Я увидел её издали.

Она была среднего роста, хорошо сложена, с короткими

каштановыми волосами, никак не убранными, но с аккуратной стрижкой. Цветастое платье – было еще очень тепло, хотя приближался конец сентября – облегло её фигуру, приятно освежая облик. Я бы не назвал её красивой девушкой. Однако в лице была завершенность черт: большие глаза, слегка вытянутое лицо, аккуратный нос, прижатые уши, короткая шея. Черты придавали её внешности привлекательность, характерную для её возраста – девятнадцати или двадцати лет.

Она подошла ко мне, поздоровалась. Приняла с улыбкой мой букет, поблагодарила. Сделала это просто, естественно, что меня внутренне обрадовало. Люда предложила мне пройтись, и я с готовностью согласился. В глубину парка мы пошли вдоль дорожки, обмениваясь впечатлениями о прожитом дне, событиях, которые сегодня случились друг у друга. В её поведении, примерно через десять-пятнадцать минут после встречи, я почувствовал некоторую напряженность. Наконец Люда предложила мне сесть на скамью и умолкла. Я начал разговор о фильме «Алёшкина любовь», который только что вышел на экраны. Предложил сходить в кинотеатр, посмотреть.

— Ты знаешь, я уже видела... — Нерешительно сказала она и добавила. — Честно говоря, второй раз смотреть не хочется... — Фильма я не видел, спросил.

— Что, скучный?

— Честно говоря, да... — Настаивать я не стал.

— Давай просто посидим еще немного, а? — Я согласился.

В итоге мы проговорили с Людой еще час. Она оказалась девушкой начитанной, умной. Во всяком случае мне так показалось. Говорила легко, шутила. Мне и в голову не приходило проявлять какую-то активность или заинтересованность парня к девушке, о чём нередко мне приходилось слышать в рассказах молодых людей, отправляющихся на свидания. Она собиралась завершить свой техникум,

работать технологом в пекарне, потом поступать в пищевой институт, который был у нас в Краснодаре. Говорила она об этом легко и чувствовалось – думала о своём будущем. Мне пока нечего было сказать о себе. Мои увлечения были еще рыхлыми, хотя, казалось бы всё у меня было путём! В общем, было типичное общение молодых людей, которые едва знают друг друга, но тем не менее друг для друга интересны. Она осторожно спросила меня, что у меня с ногами? Я рассказал. Сделал это довольно подробно, и, быть может, выглядел мой рассказ печально. Она внимательно выслушала короткий монолог и стала собираться. Последняя её фраза меня заставила задуматься, когда я возвращался домой.

— Я, пожалуй, пойду... Мне еще надо сделать домашние задания... Спасибо, тебе, Олег, за откровенность.

— Ты не сказала мне, когда мы встретимся еще раз? — Спросил я осторожно, понимая, что, быть может, она намеренно не говорит мне об этом. Шаг в сторону остановки на троллейбус она уже сделала, ничего мне не пообещав.

— Дня через два приходи к пекарне, я буду заканчивать работу... — Помолчала. — Вообще-то, мы с тобой обязательно встретимся... — Повернувшись ко мне, завершила — Это начало хорошей дружбы, Олег... — И ушла, шагая к остановке, к которой уже подъезжал троллейбус. Её словами я был, честно говоря, немного ошарашен...

Меня долго занимал миг её напряженности, причин которой я не знал. Лишь спустя день или два я *понял*, что, когда мы прогуливались по парку, с каждым шагом я замедлял движение, сам того не замечая. Происходило это, потому что боль так и не оставляла меня, и инстинктивно я притормаживал. Ей тоже приходилось делать это, невольно связывая замедление своих шагов с моими. Наконец она остановилась и предложила сесть на скамью, мимо которой мы проходили. Тогда я неверно истолковал

её чувствительность, полагая, что она – доброй души человек, пожелавший продолжить общение со мной, но в более комфортной для меня ситуации – сидя на скамье. Оказалось, что истинная причина была в другом: она предложила сесть, потому что не привыкла ходить столь замедленным прогулочным шагом. Ей было *неудобно* идти со мною рядом!

Случилось так, что у пекарни мы не встретились. Она не пришла. Или не захотела со мной встретиться, ускользнув от моего внимания. Телефона не было ни у неё, ни у меня. Адреса, её фамилии я не знал. Единственно, что я сказал, когда речь зашла о месте моего проживания, еще в момент нашей первой встречи, я автоматически проговорил свой адрес. Она сказала, что живёт где-то в нашей округе и всё! Я понял (до меня *дошло!*), что настаивать не стоит.

Такие скоротечные свидания бывают, конечно, но надо к этому относиться без излишних надежд. Да и чувства остались сравнительно спокойными, не затронув души, постепенно устающей от так и не вызревающих тайн отношений с девушками. Года через два, приехав на каникулы из Саратова, где я учился в университете, совершенно неожиданно я получил от Люды письмо. В своих архивах я сохранил этот странный документ, который с одной стороны был полон раскаяния, с другой – свидетельствовал о нелепых ожиданиях, которые человек выстраивает на остатках впечатлений, неведомо как и почему сохранившихся.

«Здравствуй, Олег! Даже не знаю, вспомнишь ли ты меня? Я – Люда, и мы с тобой некоторое время встречались... Я пишу тебе, потому что помню тебя и очень хотела бы восстановить наше общение. Я раскаиваюсь, что не сумела оценить тебя, твой ум и чувства по достоинству, поторопилась отказаться от тех встреч, которые поначалу очень ждала и так нелепо всё сама же и оборвала. Я несколько раз отступалась. Было больно, но быть может, я сама в этом

виновата и теперь мечтаю о чём-то ином, что почувствовала при встрече с тобой, но не оценила. Конечно, я не уверена, захочешь ли ты ответить на моё предложение, моя надежда ни к чему тебя не обязывает. И тем не менее. Мой адрес на конверте. Люда»

Не скрою, прочитав её письмо, я совершенно не почувствовал никакого внутреннего отзвука и никакого желания вновь восстановить встречи с ней у меня не появилось. Возможно, было это связано с тем, что в тот момент я был в некотором раздвоении, случившемся после знакомства с Верой Четвертковой, которая была в команде студентов филфака университета, помогавших мне готовиться к сдаче вступительных экзаменов ранней весной прошлого года в Саратове. Одновременно с этим я был уже знаком с Леной Козловской, правда, нашу встречу я тогда никак не мог себе представить, хотя получил от неё письмо буквально за день до получения письма от Люды. То был *момент пустоты*. Он хоть и впечатал *свою* конфигурацию в мою судьбу, но и то лишь потому, что я принимал решения, не углубляясь в их последствия. К Вере была страсть, которая захватывала мои чувства целиком, хотя внутри зрела только абстрактная картина с яркими, сочными красками. Лена осмысливалась скорее прагматически и равнодушно, по принципу: получится – так получится, нет – так нет. Теперь в мои семьдесят шесть лет моя потребность рассказать читателю об этих эпизодах моей пубертатной *индивидуальной* истории, не вызывает никаких переживаний не только потому, что все её участницы ушли в мир иной, а потому, что каждая из них, встретившись со мной, *выразила* своё отношение к моей личности, использовав запас *ресурса* своей индивидуальной *нравственной* культуры. О двух последних соучастницах моей судьбы рассказ впереди, а письмо Людмилы – странный документ нелепых надежд – заслуживает только забвения...

...Год, когда мне исполнилось двадцать лет, оказался для меня временем напряжённым. Я продолжал работать на Краснодарском телеграфе. Сославшись на боли в ногах и быструю утомляемость, я оставил работу в комитете комсомола. Завершил второй год учёбы в Университете Марксизма-Ленинизма и сдал все экзамены, получил свидетельство. Что заставляло меня аккуратно, два раза в неделю, ходить на занятия, писать конспекты, читать умные книги, посещать семинары, лекции, делая это почти сразу после работы? Не знаю...

...Я был молод, занимался *спортом на полу*. То есть ложился и подымал гири и гантели. Тело налилось силой, но боль не проходила и хотя она периодически исчезала, но не надолго, одуряя меня и портя мой и без того жесткий характер. Иногда мне казалось, что опасность вызревания свищей исчезла. Опухль куда-то проваливалась, и я снова ничего тревожного не ощущал. Но приходила осень, за ней – зима, и всё снова начиналось: боль, припухлость, покраснения в бедренных зонах.

...Осенью произошёл конфликт с матерью. Ей исполнилось пятьдесят лет и занималась она домашним хозяйством. Мы с отцом работали, отдавая в общую семейную кассу наш заработок. Этот эпизод я упомянул в первой книге: «Родня и Время», потому не буду повторяться.

К тому времени в моём характере усилились быть может не самые *удобные* для жизни черты. Двадцать-двадцать один год – время сложных переживаний, в которых чувственная неустроенность и отсутствие привязанности приводит характер к депрессивным состояниям. Они усугублялись тем, что у меня никак не складывались интересы, которые можно было бы увидеть в будущей перспективе – в профессии, карьере. Но главное, эта моя *чувственная неустроенность* заставляла думать о себе и своей жизни без надежд на оптимистическое развитие моей личности. Мне приходилось

включаться во внутренние размышления с самим собой, усугубляя одиночество, насыщенное непрерывающимися болями в бёдрах и невозможностью избавиться от них, чтобы чуть-чуть отдохнуть.

Моей матери – женщине достаточно упрямой и с твёрдым характером – осмысливать мои поступки и стиль моего поведения было непросто. Она не знала подробностей моей жизни, хотя пребывал я в поле её зрения, всегда готов был откликнуться, в конце-концов, нёс в чертах своего лица все отпечатки тайн, которые оседали в моей душе.

Из тех физических обязанностей, которые лежали на моих плечах, всё давалось мне чертовски тяжело. В доме их было немного, но приходилось их исполнять! Надо было принести воду от общей колонки, которая стояла за воротами дома, когда мы жили на Новокузнецкой. Приходилось в субботу и воскресенье ходить в магазин за продуктами, точно рассчитывая *килограммы-рубли*, что мне и поручалось осуществлять. Надо было принести сетку с продуктами, которая была достаточно тяжёлой. Было понятно, когда я иной раз отлынивал. Это было простительно, учитывая мой *ограниченный* ресурс. Ни мать, ни отец не отличались физической статью. Однако жизнь в Краснодаре опиралась на *деревенские* правила. То есть она требовала такого обустройства, в котором минимальный комфорт строился на *значительных* физических усилиях всех членов семьи. Разумеется, возможности каждого учитывались, но когда тебе *двадцать* лет, а ты выглядишь на *шестнадцать* и даже ходишь без костылей и палочки, тебя вольно или невольно *вовлекают* в «хозяйственный оборот». К тому же ты работаешь на телеграфе, принимая на себя значительные нагрузки, от которых тебе тебуется отдохнуть *временем* *лежания на тахте или в кровати*. Но разве это возможно, когда мать и отец в это время что-то таскают, делают руками, строя свой дом или потом, после вселения в него,

обустроивают домашний быт и комфорт?

Усталось *трудовая* мало чем отличалась от усталости *бытовой* – те же физические нагрузки, причём на точки в организме, которые никак не были к ним приспособлены. Отсутствие у меня *двух тазобедренных суставов* ни я, ни мои родители не *декларировали*. Я не мог произнести, например, такие слова: «*У меня нет ни левого, ни правого тазобедренного сустава, потому я и не могу поднимать больше килограмма или двух.*» Если бы я был лишен двух стоп и ходил бы на протезах, это было бы очевидно и, наверняка, в такой ситуации моя жизнь в таком же возрасте, протекала бы с неким *нимбом* героя над головой. Во всяком случае тот факт, что я переносу постоянные боли, был недоступен для созерцания, потому что моих рентгеновских снимков никто не видел, я всего лишь хромал, и *как* я осуществляю каждый свой шаг никто не знал!

Ни отцу, ни матери и в голову не приходило, что, подымая телеграфный аппарат двадцать пять килограммов весом, я разрушаю острые концы костей, которые упирались в мои тазовые лунки подвздошных отверстий, поддерживаемые слабыми массами мышц, чтобы не сорваться влево или вправо. При этом происходит трение, незаметно накапливающее костную пыль вокруг, превращая их в *материал для воспаления*, готового через два-три года стать полноценным *абсцессом*.

Были две жизни – моя личная и обыденная, в которую я был вовлечен, как член семьи. Обыденная жизнь была полна совершенно естественных обязанностей выживания в городе, похожем в конце пятидесятых, начале шестидесятых годов на огромную деревню, с её бытом и каждодневными заботами, *противостоящими* моему состоянию здоровья. Семья, озабоченная выживанием в строгих условиях быта, неприспособленного *для больного человека*, не могла создавать мне *особые условия*, соответствующие моим

возможностям. Каждый день я ходил на работу. Ночами дежурил на стройке нашего краснодарского дома, охраняя стройплощадку с ружьём, чтобы соседи не разворовывали стройматериалы. На телеграфе я забирал с рабочих мест испортившиеся телеграфные аппараты и ремонтировал их. Затем привозил их к телеграфисткам в аппаратном зале, снова поднимал, чтобы поставить на место и запустить. За рабочий день мне приходилось делать это пять-шесть раз, чувствуя в бедренных точках опоры огромную нагрузку.

Никто не был *виноват* в том, что мне приходилось исполнять эту работу. Надо было трудиться, чтобы обеспечить прожиточный минимум семье. То, что мать не работала – было естественно. Она – *мать* младшего брата, десятилетнего малыша, которого надо было растить, следить за ним, когда он начал уже учиться в школе, кормить, лечить, если заболел и т.д. Бюджет семьи строили мы с отцом и конечно же я очень гордился этим, понимая свою роль в обеспечении семьи. Этим, кстати сказать, объяснялось формирование в моём характере черт, которые *выделяли* меня из массы моих сверстников. Они-то обладали ресурсами здоровья. Это позволяло им не чувствовать тяжести нагрузок, но те, которые легли на мои плечи, я молча нёс, несмотря ни на что...

Рядом со мной работали мужчины и женщины, физически крепкие, с лёгкостью справлявшиеся с тяготами им выпадавшими. Они пили, курили без видимого вреда для своих организмов. Завидовал ли я им? Конечно! Я стремился выглядеть физически таким же сильным, независимым человеком. Конечно, это не было *главным* моим состоянием. Я исполнял свою работу, вовсе не сравнивая себя с теми, кто обладал *большими* чем у меня *ресурсами*. Я старался приноровиться к тем нагрузкам, которые были *неизбежны* в моих трудовых обязанностях и постоянно занимался рутинным спортом, чтобы нарастить вокруг бёдер крепкую

мускульную массу и сделать своё тело готовым нести себя легко. Я постоянно забывал, что несу в себе туберкулёз, который сидит во мне в неких недосягаемых мне глубинах и подтачивает меня изнутри. Телесная закалка справлялась с болезнью и, вырисовываясь на внешней конфигурации моего тела, искажая его, не затрагивала внутренние органы. Ничего, кроме сильной хромоты, уродовавшей моё тело, болезнь засвидетельствовать не могла, но этого было достаточно, чтобы считаться с ней и нередко *туберкулёз* снова укладывал меня в клинику...

...Я прошёл комиссию ВТЭК (всесоюзная трудовая экспертная комиссия). Взглянув на снимки моих бёдер, признать меня абсолютно здоровым было *нельзя*. Две кости, торчавшие в бедренных лунках, недоразвитых и маленьких, как крохотные блюдечки, красноречиво свидетельствовали о невозможности достичь устойчивости во время движения. Мизерная мышечная масса, упругая, развитая постоянными нагрузками, удерживала бедренные кости только в позиции *шага* и всё!

Врачи готовы были дать мне первую группу инвалидности, объяснив, что работать *я не имею права*. При всей нелепости этого словосочетания размер пенсии в 1960 году выглядел примерно как половина моей заработной платы. По тем же причинам могли мне дать и вторую группу, но с требованием исполнять работу без поднятия тяжестей. Стало быть, профессию следовало сменить! Стать, допустим, слесарем-ремонтником швейных машин на фабриках по пошиву верхней одежды или что-то в этом роде. Значит надо искать работу, осваивать новую профессию. Канитель! К тому же, оплата труда и там – низкая... Овчинка выделки не стоила. Что делать? Уговорил врачей дать мне третью группу, а в рекомендациях написать «*имеет право на ручной труд*». Врачи легко согласились, потому что пенсионный бюджет страны – копеечный!

Так всё вернулось на круги своя!

...Получив возможность зарабатывать для семьи, я после ВТЭК вернулся на телеграф. Конечно же, я был страшно горд! Еще бы – сумел таки отказаться от *привилегий* инвалидности! Так шанс доказать свою значительность в семье я использовал полностью! Иначе говоря, я не выглядел *больным* человеком, имея все основания таковым считаться.

В стране, где миллионы инвалидов войны жили на положении изгоев, сложилось *презрительное* к ним отношение. Презрительное, не в смысле *агрессивного* их отрицания, а *п р е н е б р е ж е н и я*! Инвалиды по болезни получили к себе точно такое же отношение. Им, как и мне, к примеру, приходилось изображать из себя «героев», отказывающихся считать себя беспомощными субъектами. Мы жили в стране, где *героизация* была *политическим* пунктиком, быстро уничтожая те мизерные ресурсы здоровья, которыми располагали физически неполноценные люди. Почему? Болезнь быстро нас *настигала*, превращая уже в *реально* беспомощных субъектов, готовых уйти в мир иной. Не зарабатывалось никаких технических *инструментов существования* инвалидов с реальными стандартами бытия, приспособленного только для здоровых! У тебя нет ноги – ты подстёгиваешь штанину и опираешься на костыли. У тебя нет руки? Торчит пустой рукав в пиджаке и так далее и тому подобное. Не говоря уже об отсутствии инвалидных колясок, протезов и т.п.

Страна, выигравшая самую страшную войну в истории человечества, на весь мир провозгласившая о своих уникальных социальных и политических обязательствах перед людьми, казалось бы, должна была развивать прежде всего *реабилитационную* отрасль медицины, чтобы обратить многомиллионные человеческие *обломки* войны в достойный уважения людской ресурс, способный трудиться в разнообразных отраслях промышленности, где труд

инвалида мог быть применен. На самом же деле Родина безжалостно выметала из активной жизни искалеченных войной людей по крайней мере в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы. Та же участь ждала инвалидов ортопедических заболеваний, как у меня.

В такой атмосфере жила моя семья и я. Вольно или невольно она привела к переживанию нелепого, даже глупого по своей сути конфликта между мной и моей матерью. У конфликта была психологическая предистория.

Однажды в мастерскую аппаратного зала, где я работал, зашли две женщины. Одна постарше, ей было лет тридцать, вторая совсем молоденькая, наверное лет двадцати-двадцати двух. Обе приветливо поздоровались, о чем-то негромко переговорили между собой и ушли, а я понял, что молоденькую зовут Лариса. Она стала работать там же, где и я, посменно меняясь со своей более старшей подругой, которую звали Валя.

В книге моей покойной жены Татьяны есть отрывок об этом моём мимолётном романе. «Лариса... Чуть выше меня. С хорошим русским лицом и косами толщиной с руку. Они венцом укладывались ею вокруг головы. Года полтора-два до нашего знакомства во время ночного дежурства её изнасиловал механик, который тоже дежурил в ту ночь. Искать на него управу она не стала, к тому же он вскоре сменил работу. Когда Лариса поняла, что беременна, нашла его и предложила оформить с ней брак. Тот не возражал. Так несчастная женщина избежала огласки неприятной истории и вскоре родила мальчика.

Мне шел тогда двадцать первый год, а ей было уже 22 или 24. Мы встречались на работе в вечерние смены, а к полуночи я провожал ее домой. Непросто мне было вести её по переулкам и темным улицам до дома, где ждал муж. Казалось, что я делаю что-то неприличное и даже опасное для неё. Однако, с каждым днем эта женщина притягивала меня все

больше и больше. Влекла её красота и горестная судьба.

Однажды, когда её муж уехал в длительную командировку, Люда пригласила меня к себе домой. Это была старая, покосившаяся хатка, с тесным входом и бедным убранством внутри. Несколько недель назад Лариса сделала аборт, простодушно признавшись мне в этом. Всхлипнула... Мы переступили порог её домика. Малыш, уложенный её матерью, спал, и бабушка сразу ушла, ни слова нам не сказав, но с интересом взглянув на меня. Мы остались вдвоем.

Я с болью в сердце смотрел на эту ладную, сочную женщину. Никаких желаний, кроме утешения, у меня в тот момент не возникло. Возможно она ждала моей активности, но через полчаса наших разговоров полушепотом и очень скромных поцелуев я ушел домой. По дороге я размышлялся, что мы обязательно еще встретимся, и я сумею поддержать эту женщину, потому что... люблю ее.

Назавтра Лариса на работу не пришла. Её подруга Валя, бесцветная, суевливая женщина, едва со мной поздоровавшись, бросала на меня ненавидящие взгляды. Я не выдержал и спросил: «Что с тобой?» Тут она взорвалась: «Ты – дурак! Ты Лорку так оскорбил!» Я опешил. Валька продолжала: «Да, Лорка тебя боготворила! Она мне покою не давала, все о тебе рассказывала, а ты!»

Я решительно ничего не понимал. В чём она меня обвиняет!? Валя, наверное, почувствовав мою «тупость», сказала прямо: «Да как ты мог такую бабу отринуть, мерзавец!» Тут уж я просто обалдел. Валька стремительно выбежала из комнаты, а я стал мучительно соображать и вскоре меня осенило! Действительно, получалось я «отринул» от себя женщину, которая была готова отдаться мне в ту минуту, когда я был полон к ней доброго сочувствия! Представив, какие муки испытала она при аборте, я под тяжестью этого, как теперь оказалось, нелепого сочувствия к женщине, не был способен идти на поводу у своей похоти.

Тут уж меня никак не могли привлечь ни её красота, ни мое естественное желание молодого парня. Оказалось, что Лариса расценила мое поведение, как оскорбительное к себе равнодушие!»¹ Я был удручен, ужасно огорчился, когда узнал, что Лариса, ничего не объясняя, перешла работать в другой отдел и к нам уже не заходила, чтобы ненароком меня не увидеть. Все мои попытки объясниться ни к чему не привели. Через полгода та же Валя, презрительно на меня поглядывая, как бы между прочим, сообщила, что из армии возвращается старый приятель Лоры. Он настоял на её разводе с мужем-насильником и хочет на ней жениться. Спустя год так и случилось. Конечно, мои коллеги, прознав от той же Вальки подробности моего неудачного «романа» с Ларисой, потешались надо мной...

Главные заботы юности – поиск друзей и любви. Духовное развитие уродуется, если ты окружён субъектами, стремящимися использовать в своих интересах твою волю, ум, зреющие интересы. Ничего подобного у меня не было, а мои интересы зрели в области... философии бытия. Каждый момент жизни, оставивший заметный и нередко болезненный след в моей судьбе, заставлял задуматься над причинами. Однако каждый раз я приходил к убеждению, что скорее всего я сам был виноват в случившемся.

Да, я увлёкся женщиной с ребенком. Моё сочувствие оказалось побочным продуктом моей готовности любить её не столько плотской любовью, сколько душевной. Всё развивалось столь стремительно, что я не в силах был обратить своё желание в миг воплощения. Я понимал, что могло произойти и решительно отодвинул миг плотского наслаждения. Я надеялся на благодарность, а оказался перед агрессивным презрением. Я хотел объяснить женщине мотивы моего

1) Татьяна Юрганова. «Автопортрет любви без ретуши»
Минск, Издательство «Четыре четверти», 2006 год, стр. 32.

самообладания, но она стала меня избегать, не желая даже взглянуть в глаза! Однажды я увидел её, сидящей на мотоцикле, который вёл парень. Я понял, что Валька была права, вернулся – таки из армии некто и это был он.

Я не знал любила ли она меня? Был ли я достоин её чувств? Готова ли эта женщина взять на себя роль моей жены и т.д. и т.п. Я просто допускал, что если она целуется со мной, даже готова мне *отдаться* – этого достаточно для серьезного решения. Я находился в людском окружении, в смыслах того времени, где не было примера, из которого я мог бы черпать опыт достойный для подражания.

Однажды я пригласил Ларису к себе домой. Познакомил её с моей матерью. Она внимательно её оглядела, поддержала разговор, потом вышла из комнаты. Минут через десять-пятнадцать мы расстались. Вечером мать спросила меня.

— А зачем ты пригласил её в наш дом?

— Это мой друг... — Ответил я. — Мы вместе работаем. Мне хотелось ей показать, где я живу. — Что я еще мог сказать? Мне и в самом деле очень хотелось показать Ларисе дом, в котором я живу, познакомить с моей матушкой, угостить чаем. Всё обернулось подозрением матери в том, что замужняя женщина, к тому же еще и с ребенком, положив глаз на меня, преследует некие эгоистические намерения. Я был настолько неразумен в свои двадцать лет, что мне и в голову не приходило, что вся эта любовная круговерть опасна впечатлениями, которые произрастают из обыденного опыта, в котором у каждого из нас спрятаны нелепые шаблоны...

Так я осваивал философию обыденности. Оказывается, она была полна реальными сценариями! Их моментально обнаруживали опытные люди, с которыми я общался. Со временем и мой жизненный опыт эти сценарии адаптировал к моей жизненной практике, оставляя чувствительные следы в моих эмоциях, пускал корни в душе.

Сходные сценарии опыта *произрастали* в моей собственной родительской семье, то есть в отношениях между отцом и матерью, их со мной. Мой отец любил фотографировать. Стал осваивать цветопечать. Тогда химические препараты стоили дорого, а технические условия требовали оснащения и оборудования. Мать относилась к его увлечению сдержанно. Оно и понятно! Отец получал заработную плату два раза в месяц – в начале и в конце месяца. Попытка *отщипнуть* от заработка деньги, чтобы накопить на химикаты и оборудование нередко заканчивалась его ссорами с матерью, потому что она вела хозяйство и дыр в семейном бюджете было больше, чем достаточно! Когда мы поселились в новом доме, возникли сложности с покупкой мебели. Это был сложный период, но отец был мастер на все руки и сколачивал сам то лежанку, то столик, то стульчик, чтобы не тратиться на покупку новых. Матери это не нравилось. Хотелось комфорта, дизайна. Снова возникали споры... Положение улучшилось, когда я начал работать, потому что я полностью отдавал свой заработок матери, и она как-то *выравнивала* наш семейный бюджет перед неизбежными расходами. Мои собственные интересы были более чем скромными, поэтому я от заработка в заначку не *отщипывал*. То же происходило и с моей инвалидной пенсией. Конечно, возникал *соблазн* взять из заработной платы пять-десять рублей для себя, но, обычно, я спрашивал разрешения или у матери, или у отца. Таков был стиль жизни в нашей семье, и не скрою, с каждым разом мне становилось всё сложнее обращаться к родителям с такими просьбами. Однако, этот *соблазн* я преодолевал сравнительно легко!

Конечно, я ощущал накапливающееся раздражение от необходимости следовать этому моральному обязательству. Это внутреннее недовольство никуда не исчезало, а до поры до времени *сожительствовало* со мной. Но, тем

не менее, я продолжал аккуратно класть зарплату и пенсию под салфетку на тумбочку в дни получек и прихода почтальона, приносившего мне инвалидную пенсию.

Однажды, мать спросила меня недовольным тоном, почему я не положил деньги? «*Во всяком случае* — сказала она — *я их не видела*». До сих пор для меня остаётся загадкой этот факт, но я отлично помню, как, услышав эти слова упрёка, в моей груди, что-то горячо меня *обожгло* и я замер, потеряв дар речи.

При сравнительно высоких ценах 1959-1960 годов на продукты первой необходимости, при полном отсутствии прочих привычек и у меня, и у отца, при массе обязательных расходов: оплата квартиры, воды, газа, электричества и т.п. бюджет семьи оставался самым чувствительным *нервом* нашего совместного бытия. Возможны были всякие случайности. Мать могла *неосознанно* забыть о том, что *деньги* взяла в тот же день, причём забыть *прочно*, но она выбрала иную форму утверждения: «*Ты что, считаешь, что я идиотка?*» в ответ на мой вопрос: «*Может быть, ты просто забыла, что взяла деньги?*» В напряженной *нервной ткани бюджета* пронеслась болезненная *искра*, уничтожившая *нравственную проводимость* сознания матери. Она рассердилась, а я был просто в бешенстве и, как говорится, оскорбился *на смерть*. Отец на нашу ссору не отреагировал. Был озабочен каким-то конфликтом, случившимся в его мастерских.

Я молча оделся и, не говоря ни слова, ушёл на работу. Мне был уже двадцать один год. То, что этот возраст – один из сложных рубежей юношеской судьбы я не знал, как не знал и о *предпосылках* возникновения семейных конфликтов, зреющих в обидах детей на родителей. Не ведал я, как формируются моральные нарывы, когда ты годами живёшь в режиме непрерывных физических страданий. Мне хотелось решительных, ответных агрессивных *действий*, что я и сделал, *удалившись*

из-под крыши семейного очага...

Я устроился жить в доме, в полуподвале которого я снял «угол» у старухи – хозяйки строения. Приближался вечер. Я чувствовал желание присесть или даже прилечь, чтобы отдохнуть после рабочего дня и трудного утреннего разговора с матерью. На пороге сидел парень-квартирант, поскольку имени того парня не помню, назову его Николаем. Он обрадовался мне и пригласил присесть рядом. Сентябрь был тёплым, хотя уже рано вечерело. Поговорили, потом сыграли партию в шахматы. Пора было укладываться спать. Кровать Николая была напротив моей в том же полуподвале...

Я аккуратно положил на стул свои вещи и улёгся на скрипучую тахту, застеленную выстиранным постельным бельём. Заснул почти мгновенно, хотя не отказался бы и поужинать. Проснулся рано утром. По стенам бегали тараканы, норовя пронестись и по моей руке, прыгнуть на голову. Окно было слегка приоткрыто. Я заметил, что помещение погружено в землю, то есть и в самом деле имело все основания называться полуподвальным. Простыни и наволочка были слегка влажными.

Хозяйка – старуха лет семидесяти – жила в том же домике, что и мы, только находящемся на этаже выше нашего с Николаем жилища. Спустившись к нам, спросила, надо ли нам идти на работу? Мы с Николаем кивнули. Умывшись на дворе, воспользовавшись полотенцами, выданными хозяйкой, ушли каждый на свою работу.

У меня была утренняя смена, но я сходил и позавтракал в закусочную, которая открывалась часов в семь утра и находилась рядом с телеграфом. Днём раньше я получил зарплату, вчера же расплатился со старухой за две недели проживания, и денег у меня осталось в обрез, потому что остаток я отдал отцу, которого после обеда увидел в ремонтных мастерских телеграфа.

Интересна метаморфоза, произошедшая во мне в мои двадцать один год при виде моего отца. В его облике не было привычной уверенности в действиях, знакомых мне по опыту нашей жизни в семье. Я увидел растерянность на его лице. Едва справляясь с удивлением, сильно сковывающим его, он спросил, куда я пропал и как это понимать? Я спокойно сказал ему, что поскольку меня в семье считают вором, жить под одной крышей не желаю. Отец изумлённо умолк. Потом стал уговаривать меня вернуться домой. Я решительно отказался. Он молча кивнул и удалился. Прошёл рабочий день.

Вернувшись в свой новый дом, я почти сразу попал в какую-то веселую *карусель*, развернувшуюся на дворе. Между частью двора, в центре которого стоял дом старухи, у которой я снял угол, и вторым, таким же домом, встроилась стена трехэтажной «хрущёвки» и получалось так, что пространство двух дворов стало общим, потому что его делили жители двух домов и трехэтажки.

На открытом пространстве были расставлены столы. За ними сидели люди разного возраста и *подпития*. Николай сидел за одним из столов, увидев меня громко позвал к себе. Я присел рядом. Спросил, что за праздник. Он шепнул, что празднуют выход из тюрьмы «... *вон того мужика...*» Он показал мне мужчину лет сорока-сорока пяти, который уже был серьезно пьян, с трудом стараясь держаться прямо. Николай быстро познакомил меня с сидевшими рядом, бабы наполнили мою тарелку снедью, кто-то налил водки, и я быстро влился в странную для меня компанию людей.

На дворе было человек двадцать, двадцать пять. Примерно одного возраста, от тридцати до пятидесяти лет. Женщины, мужчины, облик которых выдавал их маргинальность. С каждой минутой атмосфера заряжалась бранью, матом, короткими репликами и непрерывным гулом непрекращающегося пьяного разговора. Вдруг занялся ливень.

С хохотом, воплями и криками все устремились в просторное подвальное помещение трехэтажки. Я хотел уйти домой, но Николай уговорил меня продолжить гульбу в подвале.

Здесь уже горели лампочки и было светло. Быстро установили столы, на которые женщины шустро и ловко расставили чистые тарелки, еду, нарезанный ломтями хлеб, напитки. В новой обстановке оживилась суэта, а гости, уже «принявшие» накануне, стали набирать градус разговоров и эмоций.

Вдруг мужчина, который был «героем дня», увидев меня, удивлённо выпятившись в мою сторону спросил.

— А это кто?

— Сосед — лаконично ответил Николай.

— А почему он не сказал тост? — спросил мужчина с пьяным изумлением.

— В самом деле, Олег, давай... Скажи, а? — Все дружно стали меня разглядывать, будто только что пробудились ото сна.

Внешне я сильно отличался от публики. Наверняка, это обстоятельство привлекло ко мне внимание, особенно того «героя», который, встав, подошёл ближе ко мне. Решительно и громко сказал, обращаясь ко всем, держа рюмку в неуверенных пальцах, раскачивая её, слегка проливая содержимое на стол.

— Ша! Молчок! Олег будет говорить! Давай... — Я встал, держа в руках маленький стаканчик, наполненный водкой.

В это время со створы входа к нашему столу стала пробираться худая, с желтоватым лицом женщина в косынке. В наступившей тишине она громко и ворчливо требовала, чтобы её пропустили к «герою». Наконец, приблизившись к нему, она стала визгливо требовать, чтобы он отдал ей двадцать пять рублей «...сию же минуту...» Тот досадливо отмахивался, глядя на меня и, по-видимому, ожидая, что же

я скажу. Я молчал, надеясь, что женщина угомонится. Но та продолжала верещать. На неё стали кричать все, кто сидел за столом, призывая угомониться. Некоторые уговаривали замолчать, но — бестолку.

Вдруг «герой», поставив стаканчик с водкой на стол, быстро спихнул соседа со скамейки, нагнулся и схватил её за ножку. С гримасой вспыхнувшей на лице ярости, он замахнулся на оравшую женщину, пьяно зарывав: «Убью, зараз-з-зз-а!» Бросив рюмку, я инстинктивно выкинув руки вперед, схватился за перекладину скамьи и буквально повис на ней всем телом, невольно завалив «героя» на пол.

Он вскочил, видимо, сразу поняв, что был за секунду от *результатов* той самой ярости, которая всегда *некстати*, всегда *затмевает* разум, уже и так разбавленный водкой и всегда заканчивается *неоправимыми* последствиями. Глянул в недоумении в мою сторону. Я лежал на полу, обняв табуретку. Неожиданно он громко расхохотался и загробастал меня, оторвав от пола, обдав жутким перегаром. Все вокруг, мгновенно избавившись от жуткого испуга, лопнувшего, как веревка под тяжестью груза, засмеялись, нервно раскачиваясь и размахивая руками.

— Спасибо, Олег... Я б уж точно эту сучку убил бы! Ай-яй-яй! Снова получил бы срок... Садись... — Он поставил табуретку. Я, растерянно озираясь, еще не веря, что сделал что-то неординарное, сел. — Давай выпьем, — услышал я и снова ощутил запах перегара. Скандальная женщина, испугано озираясь, бочком двигалась к выходу, изредка поворачиваясь к нам, еще не веря, что жива и здорова. Я обессиленно обмяк...

...В доме старухи я прожил ещё неделю. Поскольку условия были прескверные, я быстро почувствовал, что в моих бёдрах что-то происходит! Это было связано не столько с тем, что в помещении, где я жил было очень сыро, сколько оказалось итогом нагрузок, которые мне пришлось

пережить, начиная с шестнадцати лет, когда я начал работать на бакинском телеграфе. Тогда же мои попытки оставить костыли привели к резкому росту давления костей на крохотные лунки бедренных углублений. Скорее всего, я уже исчерпал возможность жить так, как *складывалось*.

В «*проекте*» моего тела была заложена неравная программа: верхняя его часть, от головы до бёдер, самая сложная и здоровая – головной мозг, глаза, внутренние органы, включая сердце и прочее. Эта часть развивалась без каких-либо отклонений. Правда, кроме правого уха. Там развился гнойный отит и слух здесь был потерян.

Я инстинктивно развивал верхнюю часть своей «*телесной конструкции*». Отжимался на турнике по двадцать раз, хотя все мои сверстники одолевали только в лучшем случае десятку. Крутил на том же турнике «солнце» или делал стойку. Отжимался от пола уже в 20 лет сорок раз, хотя тренированные одногодки могли одолеть не больше двадцати пяти и то с огромным трудом. Верхняя часть тела была сложена по классическим канонам и строением мышц можно было гордиться. Но надо было ...ходить! Не летать, не ползать, а ходить! В этом обыденном для всех здоровых людей занятии мне *ничего* не было доступно. Шаг был слаб. Устойчивость – тоже. Но руки, при моём тщедушном теле, были сильными. Я на спор мог преодолеть десять, пятнадцать, двадцать метров, поднимая ноги под прямым углом, опираясь только на ручки костылей, двигаясь на них, как на ходулях.

Наградой моим усилиям были сны, в которых я... летал! Полёты во сне были частыми и очень счастливыми. Я просыпался в немом восторге, припоминая состояние необыкновенной легкости парения, которую никогда не чувствовал в яви.

Однажды, на старой Кубани, где стояла вышка для прыжков в воду, я забрался на десятиметровую высоту



Олег Юрганов
лето 1960 года

и с замиранием сердца прыгнул в воду «ласточкой». Тот миг полёта, который я пережил, сравнить с полётами во сне невозможно. Было слишком много страха! В точности выполнив все правила «*выстраивания*» тела в воздухе, как я сам себе представлял, наблюдая, как это делали профессиональные прыгуны, я, тем не менее, при погружении в воду, почувствовал сильный толчок воды в крестец...

...Развитие моего тела интуитивно согласовывалось с теми диспропорциями, которые *были заданы* болезнью. Профиль и размер мышечной массы верхней части тренированного тела имели вес. Он вызывал боль в моих слабых бёдрах. Ходить становилось тяжело, потому что мышечная масса верха давила на крохотные точки в подвздошных лунках бёдер. Возможно и проблемы, возникавшие на моём

жизненном пути, оказывались *неподъёмными* для моего организма.

...Однако, я сильно отвлекся от хронологии моей судьбы. Однажды, проснувшись ночью, я почувствовал в правом бедре сверлящую боль. Со стороны окна с трудом пробивался туманный свет зарождавшегося дня. Напротив спал Николай, с которым мы до поздней ночи играли в шахматы, а соседняя кровать была пуста. Похоже, что там будет кто-то спать с будущей недели. Об этом, вскользь, нам сказала хозяйка. Я лежал с открытыми глазами, вспоминая разговор с отцом, который пришёл в мастерскую вчера пополудни и снова уговаривал вернуться домой. Наверное, он не совсем понимал, причину моего ухода, жаловался на то, что некому охранять стройку дома, который возводила бригада из трёх рабочих, определённых начальством Почтово-телеграфной конторы, где он работал.

Я согласился дежурить и отбыл исполнять свою обязанность. С матерью отношения вроде бы наладились, но возвращаться домой я не хотел до тех пор, пока она не извинится передо мной за свои нелепые подозрения и упрямство. Она, по-видимому, считала, что ничего *особенного* не сделала, хотя, как я считал, всё было *очевидным*...

...Очередное утро в доме у старухи. Пробудившись, я протянул руку к чашке, стоявшей на подоконнике. Я знал, что хозяйка сварила кисель и принесла мне перед сном, чтобы угостить. Но я ужасно устал, хотел спать и не притронулся.

Приложив губы к краю чашки, я глотнул киселя. Наткнулся на что-то твёрдое, думая, что это ягоды изюма. Перекусил... Через секунду понял, что в чашку забрались тараканы, чтобы полакомиться киселем, да так в нём и завязли. Было ужасно неприятно! Спасло то, что был я не брезглив. Выскочив во двор, я выплюнул кисельное желе с тараканами, вычистил зубы и забыл о случившемся...

Боль в бедре усилилась. Я решил сходить в городской

противотуберкулёзный диспансер. Меня приняла врач-женщина, лет сорока пяти, осмотрела, вздохнула и направила в профильную клинику, куда меня немедленно положили. Из разговора с главным врачом, а она была начальницей тубдиспансера, я понял, что дела мои плохи. Впервые я получил исчерпывающую и беспощадную информацию о перспективах, которые меня ждали в ближайшие три-пять лет.

Оказывается, в правом бедре начал созревать большой гнойный абсцесс, который образовался на основе микроскопических фрагментов трущихся костей. При ходьбе, особенно без костылей, опора на правую ногу пагубно сказывалась в зоне такого трения. Иначе говоря, накапливалась масса костной *пыли*, которая к тому же становилась *хранилищем* туберкулёзных токсинов, постоянно *«подплавивая»* накапливающийся костный *«порох»*. Происходило это медленно, незаметно, без острых ощущений и видимых признаков.

Лариса Аркадиевна – так звали главврача диспансера – осторожно поделилась со мной тревогами. Оказалось, что созревание абсцесса – дело долгое, к тому же обкалывать зону опухоли антибиотиками – пенициллином или стрептомицином – не слишком эффективно. Оперировать? Кто возьмётся делать операцию? Чтобы только разрезать и *вытащить* абсцесс? Ну а потом? Судя по рентгеновским снимкам абсцесс зреет где-то на стыке бедренной и верхушки берцовой кости... *«Слишком всё это сложно! Но главное – неэффективно!»* Подытожила Лариса Аркадиевна. На мой выбор, что тоже было впервые в истории моей болезни, она предложила мне сделать пункцию, то есть выкачать из абсцесса накопившийся гной, а туда накачать пенициллин. *«Когда рана затянется, быть может через год-два-три найдется умница-хирург, который придумает, что делать с твоими бедренными костями...»*

На том и порешили. Меня положили в палату. Здесь лежали человек шесть или семь больных разного возраста, с больным позвоночником, коленным суставом, и я со своим абсцессом на правом тазобедренном...

Подступал конец декабря 1959 года. Перспектива встретить новый 1960 год в тубдиспансере не очень меня радовала. «А ты попроси Ларису Аркадиевну, может она разрешит тебе встретить Новый год дома?» Эту мысль подсказал мне Миша Архипов, мой сосед по палате, которого положили из станицы Лабинской с обострением нижнего звена позвоночника. Его готовили к операции, но на это требовалось время. «Если бы я жил в Краснодаре, – добавил он решительно, – я бы уговорил...»

Конечно, я был подавлен всеми предстоящими событиями, а главное, беспомощностью медицины, не готовой помочь мне с моими *болячками*. Двадцатилетний парень, я нёс в себе грозные перспективы, не дававшие мне шанса делать судьбу, карьеру, строить семью, растить детей. К тому же меня угнетала и ситуация ссоры с матерью, которая будила во мне злость, неприязнь к женщине, которая меня родила, и теперь так безжалостно обвинила меня в краже денег. Причём тех, которые я сам же, своим трудом заработал! В общем, всё мне казалось мрачным. Назавтра наступал предпоследний день декабря 1959 года, и мне предстояло или промолчать, или обратиться к Ларисе Аркадиевне с просьбой разрешить справить Новый Год дома.

Как обычно, в палату вошла Галина, розовощёкая молодка, которая обслуживала нас по утрам: подавала *судна*, потом подносила тазик, чтобы почистить зубы, умыться, поливая из кувшина воду в наши сложенные ковшиком ладони... Принесли завтрак. Честно говоря, я уже решил проводить новогоднюю ночь в палате с ребятами. Соседи слева играли в карты. Моя кровать стояла у окна, выходящего на улицу, куда я периодически заглядывал. Мальчишка лет

семнадцати, лежавший впереди, у второго окна, читал книжку, остальные занимались каждый чем хотел.

Распахнулась дверь. В палату вошли Лариса Аркадиевна, палатный врач Людмила Сергеевна, женщина лет сорока, трое или четверо студентов. Подошли к первой кровати, стоявшей у самой двери, стали о чем-то переговариваться. Потом двинулись ко второй. Наконец, остановились у моей. Лариса Аркадиевна попросила меня повернуться на левый бок. Стала осторожно ощупывать едва заметное вздутие на бедре. Комментировала рентгеновские снимки студентам, спросила палатного врача о температуре и всех остальных подробностях моего состояния, которые обычно озвучивают врачи при обходах.

— Да, Олег! Твоя мама попросила меня отпустить тебя встретить Новый Год дома. Как ты сам? Не возражаешь? — Новостью я был ошарашен, пробормотал.

— Если можно...

— Конечно, милый! — Тепло пропела Лариса Аркадиевна. — Третьего января начнём пункцию. Приедет замечательный специалист, она тебе всё и сделает. Ну что, договорились? Только второго января надо обязательно быть здесь! — Она направилась к следующей кровати.

Домой меня привёз на такси отец. Тогда мы, кажется, уже обустроили отстроенный дом, если я не ошибаюсь. В нём еще не было обычного порядка и наполненности, что позволило бы назвать «*домашним очагом*», однако, было главное – крыша над головой. Тепло шло от впервые затопленной печки. Даже стояла на табуретке маленькая ёлка, которую нарядила мать с младшим сыном, моим братом Александром.

Праздник был на редкость дружным и домашним. Новый Год встретили, как и положено, под бой курантов, звучавших по радио, потому что телевизор купили только через год... Я чувствовал себя превосходно! Наслаждался

полнотой чувств, привязанностью и нежностью ко мне родителей и десятилетнего брата. Это был тот случай, когда все обиды – забыты. Ты – дома! Твои родители, младший брат составляют не иначе, как часть тебя. Нет дела до всего когда-то случившегося между тобой и матерью. До тех недоразумений, которые испортили тебе настроение. Единственное, что немного свербило где-то под ложечкой, предостоявшая через два дня пункция.

Само слово было пугающим. Я видел, как выкачивали гной абсцесса из межпозвоночного пространства у моих *однопалатчан*, как им было трудно терпеть боль... Когда тебя ожидает нечто подобное через два дня, отдаться радости праздника совсем не просто, даже в семейной атмосфере, где царит нежность дорогих тебе людей.

...Третьего января 1960 года меня привезли в операционную тубдиспансера и положили на стол. Я сейчас написал эти слова и подумал: а действительно ли то был операционный зал? Маленькая комната, стол, средних размеров, деревянный, на который я взгромоздился. Над столом – лампа с большим металлическим абажуром. Хирург – женщина лет сорока пяти-пятидесяти, с волевым лицом, в шапочке, надетой поверх копны черных волос с густой проседью, молча следила, как я перебираюсь с каталки на поверхность стола, потом глазами показала, что лечь надо на левый бок. Ассистент – крупный мужчина, стоявший у стола с противоположной от хирурга стороны, осторожно меня повернул, притянув меня за ягодицу к себе. Было довольно холодно, но с меня уже стащили рубашку и больничные кальсоны. Хирург спокойно стала объяснять мне, что сейчас будет делать.

— Ну, что ж, Юрганов... Судя по снимку, абсцесс у тебя большой и подрос он под двумя костями – бедренной и тазовой. Придётся мне иглу этой штуковины — она показала на огромный шприц с толстой иглой, которую взяла

с маленького столика, стоявшего неподалеку от стола, на котором я лежал — двигать чуть в бок... Это неприятно... Впрочем, не волнуйся, всё будет в порядке. Но вот что плохо... — Она умолкла, глядя на меня сверху вниз. Затем прихватила шприц правой рукой поудобнее и добавила — Если обкалывать тебя новокаином, всё пространство, то самое, откуда мы будем выкачивать гной, заполнится лекарством... — Продолжая лежать на левом боку, слегка повернув голову вправо, чтобы видеть лицо хирурга, я ждал, что она скажет? — Может быть, ты просто потерпишь? — Хирург наклонилась ко мне и очень тихо добавила. — Больно будет только в первые секунды, когда я буду прокалывать и погружать иглу в опухоль... Ну, как ты?

Я почувствовал, что мои ноги кто-то привязывал к столу. Сначала левую, потом правую, предварительно немного их разведя в коленках. Ну что я мог сказать? Хирург свободной рукой подтянула маску к глазам, и под марлей исчезли овалы морщины у губ, едва заметные волосики под носом, у верхней кромки тонких губ.

— Хорошо... — хрипло прошептал я и замолк, в ожидании врачебных экзекуций.

— Ну вот и хорошо, Олег. Если будет больно, можешь кричать. Мы тут народ закалённый... Не испугаемся...

Я отвернулся и схватился правой рукой за кромку стола. Больно было чертовски! Именно в первые секунды проникновения длинной толстой иглы в глубину бедренной ткани и продвижения её в массу абсцесса с поворотом под стык двух костей, где он *созрел*.

Когда была пройдена граница абсцесса, внутреннее давление оказалось слишком большим. Был я худ, мышечные ткани сильно натянулись, поскольку я лежал на боку, к тому же моя правая нога была крепко приязана к столу.

— Ногу правую отвяжите, — спокойно приказала хирург и ассистент мгновенно сбросил с голени повязку.

От не-ожиданности нога дёрнулась, и я почувствовал чудовищную боль и, чтобы не закричать, так сжал пальцами край стола, что раздался треск отламываемой боковой кромки столешницы.

— Это что там случилось? — Спокойно спросила хирург, вытаскивая иглу из бедренной мышцы.

— Он... стол... сломал... — Растерянно пробормотал ассистент, который держал меня за плечо.

— Стол сломал? — В голосе хирурга было не то удивление, не то восторг. Когда меня повернули на спину, в моих побелевших пальцах оказался кусок стола с острыми краями. Во взгляде у меня — туман. Полное отсутствие понимания, что же произошло? — Ну что ты, голубчик! — Голос хирурга звучал вкрадчиво и нежно. — Отдай свои дрова! На кой чёрт они тебе нужны?

Я покорно подчинился и... потерял сознание. В себя я пришёл в палате. Кругом было шумно. Однопалатчане смотрели на меня с изумлением и увидев, что я открыл глаза кто-то спросил:

— Юрганов! Кто теперь за порчу имущества будет платить? — Раздался дружный хохот!

Назавтра в палату пришла Лариса Аркадиевна. В руках у неё была какая-то газета.

— Олег, — сказала она — по-моему, у тебя появился шанс выкарабкаться! — Она развернула газету, оказавшуюся «Известиями». Вслух прочитала: — «...В саратовском институте ортопедии и травматологии руками хирурга-кудесника Демидова был восстановлен тазобедренный сустав, раздробленный после тяжёлой травмы...» — Она стала что-то говорить мне горячо и торопливо. Зачитывала фрагменты статьи. Наконец, сказала:

— Пиши письмо в Саратов... Демидову... Проси его осмотреть тебя! Сейчас у тебя там — она показала на мою правую ногу — сравнительно чисто, мы поколем тебе

стрептомицин, чтобы снова эта гадость, твой туберкулёз не полез, а к тому времени всё и утрясётся. — Она оставила мне газету, встала и ушла.

Я не понял, что «утрясётся»? Наконец, сообразил, что получу я на своё письмо лишь *один* ответ, который меня *мог бы* устроить. И я решил, что если Лариса Аркадиевна считает, что *шанс есть*, надо убедить Демидова, взять меня в его институт...

Послесловие

...Мне кажется, что первая часть книги наполнена множеством поступков, которые я совершал, не умея задумываться над их последствиями. С одной стороны это понятно, поскольку возраст детства, отрочества и даже юности далеко не всегда предполагает готовность разума осмысливать деяния личности. К тому же, больной ребёнок – существо травмированное болезнью, это обстоятельство уже лишает его возможности воспользоваться развивающимся сознанием. Преодолев первый десяток лет, оказавшись в пространстве отрочества, подросток, тем не менее, продолжает оставаться травмированным. То есть он испытывает боль, он страдает, но... в его поведении, тем не менее, обнаруживаются новые признаки. Он становится любознательным, пытается делать выводы из увиденных вокруг себя событий, пытается принять в них участие, как бы тяжело ему ни было. Вместе с тем, подросток развивается, ощущая жёсткие границы *невозможностей*, продиктованных болезнью. Та же любознательность *наталкивается* на невозможность её развить или воспользоваться ею. Болезнь *наталкивается* на упругие границы возраста, незаметно травмируя и душу, оставляя мрачную печать на чувствах. Одновременно с этим следом болезни начинают пробуждаться природно-биологические признаки отрока. Поначалу он не знает их истоки, но постоянно ощущает их *присутствие!*

Законы общества неумолимы – надо приобретать навыки для сосуществования с такими же, как травмированная личность субъектами, которые могут быть взрослыми, сверстниками или младшими по возрасту. Тебя отправляют в школу, ты усваиваешь грамоту, начинаешь читать книги, иначе говоря, осваиваешь плоды цивилизации. Время летит быстро, но, оставаясь травмированным болезнью, переживая трудное время излечения, ты можешь остановиться на полпути. Да, ты можешь умереть, получить неудачное развитие болезни, так и не увидев все прелести той поры, которая называется юностью.

Даже, если тебе повезло и ты обрёл новизну ощущений и чувств, так характерных для юности, ты... остаёшься травмированным болезнью, эволюция которой хоть как-то примирена с прожитыми годами и судьба даёт тебе шанс добрести до молодых лет. В таком изложении детства, отрочества, юности травмированной болезнью личности, царит однообразие того обстоятельства, без которого не обходится ни один день её (личности) бытия. Я имею в виду, во-первых – риск негативной эволюции болезни, которая может привести к тупику, даже к трагедии, во-вторых – непрерывность ощущения *боли*.

Меня постоянно мучил вопрос: как жить, чтобы никто *не видел* твою личную травму болезни? Разумеется, саму болезнь не видеть *невозможно*. Она оставляет свой явный след в судьбе человека. Но *травму* вследствие болезни можно скрыть, замаскировать, как-то мимикрировать внутри её беспощадной оболочки, пряча признаки недуга под камуфляжем эмоций и поступков, взятых напрокат у здоровых людей. Это занимало меня годы осознаваемого детства, вполне ощущаемого отрочества и времени юности, когда я, очертя голову, бросался в водоворот *конкуренции* с физически здоровыми сверстниками. Я помню школу в Баку, где я, взобравшись на турник, стал крутить «солнце» в возрасте

семнадцати лет, рискуя сорваться и покалечить свои хрупкие кости. Все, кто созерцал это «упражнение», были поражены его практической недоступностью для обыденных взрослых и вполне здоровых «конкурентов», не прошедших специальной подготовки. Когда спала первая волна «обалдевания», я был приглашён в школьную волейбольную команду, состоявшую из моих сверстников. Я участвовал в тренировочных матчах, умело пряча «зубовный скрип» от жуткой боли в бедренных зонах. Я постоянно улыбался, искусно делая вид, что всё в порядке. Однако на матч меня не взяли. Мне не сказали ни слова и это было верхом деликатности. Меня просто усадили на «скамью запасных». Неожиданно травму получил один из команды, но меня опять не поставили на его замену. То, что я был в шоке – понятно, но вопрос: «почему?» не давал мне покоя... Лишь потом, много позже я понял: инвалид – клеймо, которое ставит на тебе болезнь, оставляя на твоей судьбе *тавро* на всю жизнь, как бы искусно ты не маскировал полученную травму по болезни.

Что будет происходить дальше в днях, месяцах, годах, выстроившихся в частокोल лет моего бытия? Прожитое время покажет, выразив это бытие в своде поступков и событий, свершенных мною в чередующихся годах, о которых я расскажу во второй части книги «Белое и Чёрное.» Но одно останется неизменным: всё, что я делал, продолжая жить, происходило в годы, когда я оставался... инвалидом. Менялась мера травматического следа болезни. То есть, я стал, наконец, ходить без трости, бегать километры, танцевать и т.п., но травматический след болезни всегда, как верный пёс, оставался со мной. Между тем, я совершал ошибки в годы молодости, потом в зрелые годы, даже, когда, достигнув мудрых лет, проживая в разных городах СССР, наконец, отправился за два океана в США, на постоянное место жительства. Внутри этих ошибок были

признаки болезненной травмы, которая осталась со мной, с той лишь разницей, что «белое», то есть всё то, что составляет истинную сущность моего бытия, воплощалось-таки в судьбе, которая решительно отринула эту болезненную травму. Удастся ли мне убедить самого себя в том, что это так и есть, решит сам читатель моих книг...

США, Балтимор
9 апреля, 2016 года

Содержание

Предисловие	8
Глава 1. Несостоявшееся детство	14
Глава 2. Переходный возраст	180
Глава 3. Юность	318
Послесловие	490

Олег Юрганов
«На перекрёстке судеб»
Документальный роман-трилогия
Книга вторая, часть первая «Черное и белое»

Фото на обложке – Геннадий Гурвич
Художник Татьяна Солодилова
Компьютерная верстка Татьяна Солодилова

Подписано в печать 16.06.2016. Бумага офсетная
усл. печ л. 31,8. Тираж 10 экз.
Заказ № 501

Отпечатано в авторской редакции в ООО «Аркаим»
г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 1а
print@arkprint.ru

